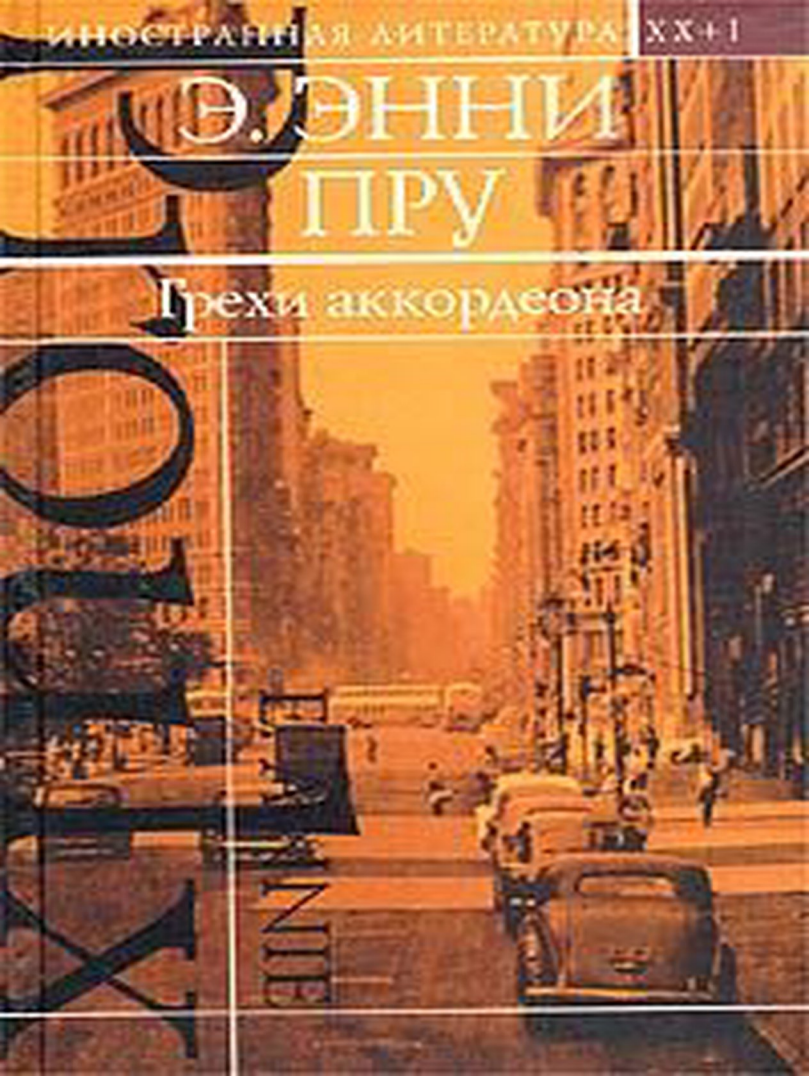
ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА XX+1

Э. ЭННИ ПРУ

Грехи аккордеона



Грехи аккордеона
Эдна Энни Пру

Аннотация
Эдна Энни Пру. Грехи аккордеона
Благодарности
АККОРДЕОННЫХ ДЕЛ МАСТЕР
- Инструмент
- Мир – это лестница
- Парализованный генерал
- Услужливый молодой человек
- Земля аллигаторов
- Демон в отхожем месте
- Сахарный тростник
- Бананы
- Лира Аполлона
- Странный инструмент
- Первый заказ
- Облава
- Страшный сон
- Крысиный король
- У ног Клэя
- Разгром
- Лекарство от головной боли
- Инспекция

Боб Джо
Выше по реке
ОПЕРАЦИЯ С КОЗЛИНОЙ ЖЕЛЕЗОЙ
Прэнк
Совпадение
Полька в конторе пиломатериалов
Новые дома и женщины
Зеленый аккордеон
Фотография на память
Лярд и сало
Воскресенье
Поездка в Чикаго
Страсть Бетля
Куриное гнездо
Война
Беды
Ночные заботы
Карл восстанавливает равновесие
Доктор Сквам лечит козлиной железой
Адская жара
Промашка Чарли Шарпа
КУСАЙ МЕНЯ, ПАУК
И не смотри на меня так
Релампаго
Танцы у Трескучего ручья
Хорнет

Трейлер
Уроки
В колесе
Полярный медведь
Миссионеры
Согнутые ветки
В «Сизокрылом Голубе»
Четки на зеркале заднего вида
Взрывной костюм
Старший сын
Улыбайся
Заботливый учитель Фелиды
Побег преступной дочери
Остались сыновья
Обращение
Блудный сын
Все хорошо
Кусай меня, паук
El Diablo
Арест наркопреступника
Отцовское возмездие
Горячая рука
Его сестра спит с итальянцем
Запах паленого
АВТОСТОПОМ НА ИНВАЛИДНОЙ КОЛЯСКЕ
На улицах Парижа

Пожар в кафе
Монреаль
Наугад
Фабрика ящиков
Гнездо
Нелепое наследство
Такси
Мэн
Чужак у себя на родине
Солнышко мое
Грузовик
Где найти французскую музыку
Выбрались
Дурные мысли
Первое выступление
Виртуозы
Что толку?
Une douleur
Все в порядке
Пропущенный аккорд
Святой Иуда
Свадебный гость
Ex-voto
Эмиль рассказывает анекдот
В Луизиану
НЕ ПОДАВАЙТЕ РУКИ МЕРТВЕЦУ

Новый хозяин
Trois jours apr s ma mort
Белль
Онесифор изучает зеленый аккордеон
Женщина на fais dodo
В гостях у traîteuse
Смерть пришла за рыжим котом
Странная встреча
На буровой
Зеленый аккордеон приносит неплохие деньги
Эй, посмотри на себя
Продано в Америке
Не подавайте руки мертвецу
Город Холодного Джо
Думаешь, все уладится
Ты понятия не имеешь, откуда ты взялся
Девушка осталась позади
Байю-Ферос
Вырывание волос
Ида находит дело
Жировая ванна преподобного Визи
Сидячая демонстрация
Что дальше?
Старый зеленый
СТУКНУЛ ПОСИЛЬНЕЕ И УПАЛ
За дворами

Заживо погребенная
Иероним Пжибыш, также известный как Гэрри Ньюкамер
Старые времена
Дедушкины кошмары
Что Иероним (также известный как Гэрри) сказал Джо
Третья радость
Червячный щуп Иеронима
Песий вой не достигнет небес
Поспешная свадьба
Джо и Соня
Пирог
Ломбард
Приготовления
Польская честь
Опять в гримерке
Победители
Подарок
«Пудра белая на твоем лице...»
Подарок
Шериф
ЦВЕТА ЛОШАДЕЙ
Древний Египет
Эта штука на крыше
Дороги

Фэй Макгеттиган
Ранчо
Зонтико
Вёрджил и Фэй
Пьяный за рулем
Вёрджил и Джозефина
Обратно в город
«Bizitza hau iluna eta garratza da»
В армии
Папаша Фэя
Отвергнутая любовь
Танец на холодном линолеуме
Ломбард «Бедный Мальчуган»
ДОМОЙ – С ПРИШИТЫМИ РУКАМИ
Безобидный
Нильс и Элиза
Терпение, терпение
Атомная странствующая церковь
Обращение
Порка
Небольшая услуга
«Мне бы ангельские крылья»
Свет страха
Айварово счастье
Что нашел Айвар
Подземелье

Брат Айвара Конрад Хасманн
В стороне от дома
Скука
Гости
Мусор
Побег
Вашу маму ждут большие перемены

Аннотация

Роман Э. Энни Пру «Грехи аккордеона» – волшебная сага, охватывающая всю историю минувшего столетия и целого континента, бесспорный шедевр мистического реализма, подлинная энциклопедия культурных влияний множества этносов, из которых сложилась американская нация. Широкая панорама действующих лиц и сокровищница историй, рассказанных автором, поставили книгу в ряд выдающихся достижений мировой эпической литературы XX века.

Современный американский классик Эдна Энни Пру – лауреат Пулитцеровской и Национальной книжной премий и премии Фолкнера, присуждаемой Международным ПЕН-клубом. Роман «Грехи аккордеона» публикуется на русском языке впервые.

Эдна Энни Пру
Грехи аккордеона

E. Annie Proulx Accordion Crimes

Copyright © 1996 by Dead Line, Ltd.

Маффи, Джону, Гиллис и Моргану и в память о Лоис Нелли Гилл

Благодарности

Я писала «Грехи аккордеона» два года — два года срывов и стрессов: смерть моей матери, нескольких родственников и друзей, переселение из Вермонта в Вайоминг, когда восемь месяцев книги отбывали заключение в коробках, постоянные разъезды, сломанное запястье, смена издателя. Я никогда бы не закончила эту книгу без помощи множества заинтересованных и просто отзывчивых людей, которые делились со мной всем, что касается аккордеонов: знаниями, литературой, вырезками, открытками, лентами и дисками, начальными курсами по аккордеонной музыке и именами аккордеонистов. Всем, перечисленным ниже, мои искренние и огромные благодарности, но особенно — благоразумнейшей Лиз Даранзофф, которой много раз приходилось разуверять меня в том, что книга не выдержит очередного перерыва, Барбаре Гроссман за то, что помогла ей сдвинуться с места, и Нэну Грэйму, стараниями которого у меня была еда, время и свобода действий.

Спасибо стипендии фонда Гуггенхайма за 1992

год, которая помогла мне в сборе материалов для «Корабельных новостей», «Преступлений аккордеона» и продолжает помогать по сей день. Фонд «Ю-Кросс» штата Вайоминг предоставил тихий остров (в буквальном смысле слова, спасибо весеннему наводнению), где была написана часть этой книги. Отдельная благодарность Элизабет Гахин и Рэймонду Плэнку за сотни добрых дел.

Я благодарю Патрицию Э. Джаспер, директора Техасского Фольклорного Фонда за разрешение прослушать интервью с техасскими аккордеонистами и зато, что познакомила меня с музыкальной жизнью юго-западного Техаса, от «Антуана» в Остине до «Континентального театра» в Хьюстоне, и Рику Эрнандесу из Техасской Художественной Комиссии, который представил меня этой женщине. Благодарю Джейн Бек из Форльклорного Центра штата Вермонт за несколько полезных советов. Огромные благодарности музыковедам Лизе Орнштейн и Нику Хьюзу из Акадианского Архива университета Мэйна в Форт-Кенте. Глубокие познания Лизы в квебекской музыке, и то, что она познакомила меня с Марселем Мессервье и Рэйнолдом Оуле, виртуозами-аккордеонистами из Монмани, да и ее помощь в переводе поистине неоценимы.

Рэйнолду Оуле, не только всемирно признанному музыканту, но и мастеру, сделавшему своими руками прекрасные аккордеоны, и организатору «Carrefour mondiale»[1] — большое спасибо за все, что касается истории аккордеонов и их производства. Марселю Мессервье, чьи замечательные аккордеоны и невероятное музыкальное мастерство давно стали легендой, спасибо за те часы, что я провела в его мастерской, и за истории из жизни аккордеонистов. Спасибо Джерри Майнару из Нью-Праги, Миннесота за помощь в поисках неуловимой концертины «Хемницер», более известной в тех краях как немецкая концертина. Спасибо Джоэлу Коуэну, остроумному и мудрому редактору журнала «Концертина и Гармошка». Спасибо Бобу Снопу, занимающемуся ремонтом аккордеонов в мастерской «Кнопочный ящик» города Амхерста, Массачусетс, за терпеливые и подробные разъяснения всех аккордеонных премудростей, а также за советы, чтение рукописей и исправление ошибок. Спасибо Ри Коте Робинсу из Франко-Американского центра университета Мэйна в Ороно и вермонтке Марте Пеллерин из трио Джетер-ле-Понт за примечания, касающие-

[1] Примечания: 1

Всемирный перекресток *(фр.)* — Здесь и далее примечания переводчика

ся франко-американцев и франко-американской музыки. Спасибо Барту Шнейдеру, музыканту и редактору «Хангри-Майнд Ревью» за то, что навел меня на редкую книгу об аккордеонах. Спасибо Пэт Фискен из музыкальной библиотеки «Паддок» при Дартмонтском колледже; фольклористу Джудит Грэй, Эдвину Матиасу из Звукозаписывающего справочного центра и Робин Шитс, консультанту Музыкального отделения Библиотеки Конгресса. Спасибо Лауре Хонхолд, сотруднице журнала «Аутсайд» за случайный фрагмент чикагской аккордеонной музыки. Спасибо острому глазу Кристофера Портера из издательства «Форт Эстэйт», исправившему фактические и стилистические погрешности. Спасибо Джиму Кэди из «Кэди и Хоар» за то, что прояснил детали профессиональной деятельности персонажей книги. Спасибо моему немецкому редактору Геральду Дж. Трэгейзеру из издательства «Luchterhsand Literaturverland» за исправление ошибок, как грубых, так и незначительных. Спасибо Барри Энселе из университета Юго-западной Луизианы за неоценимые советы.

Спасибо за постоянную помощь моему сыну, звукоинженеру Джонатану Лэнгу, и его жене, блюзовой певице Джэил Лэнг, за учебники, спе-

циальные статьи, посвященные современным инновациям в мире аккордеонной музыки, ленты с записями игры волшебных аккордеонистов и советы, касающиеся старых звукозаписывающих устройств. Моему сыну этномузыковеду Моргану Лэнгу за то, что первым рассказал мне о китайской шенге, прародительнице свободноязычковых инструментов, и расширил — во всех направлениях — мои музыкальные познания, спасибо. Спасибо моему сыну Джиллису Лэнгу за вырезки из сан-диегских газет, посвященные аккордеонам и за остроумные каламбуры, а также дочери Маффи Кларскон, снимавшей с моей души камни и приносившей английские кексы — в невероятном разнообразии. Спасибо моему отцу, Джорджу Н. Пру за правдивую историю об учительнице, в наказание сажавшей мальчиков под свой стол.

Джоэлу Конаро спасибо за фотографию дяди Дика, в одних подштанниках, с аккордеоном на коленях; спасибо Клее Ван Вле за бумажный тостер в форме аккордеона от Кеке Белл; спасибо Джону Фоксу за миниатюрный аккордеон (и футляр), который умел делать все — только не играл. Дэну Уильямсу спасибо за редкие записи, пленки и диски, и спасибо-спасибо-спасибо — Роберту

Варнеру, за сверхъестественные аккордеонные эфемеры. Спасибо Бобби Доберштейну за помощь и советы во всем — от маршрутов лыжных прогулок до починки двери гаража. Спасибо Кимбл Мид за «Гавайского ковбоя» и множество других лент, а также «Клубу завтраков», показавшему мне настоящих коллекционеров во всем их безумии. Спасибо Лорен и Паскалю Годен, которые привезли мне из Франции редкие записи французских мюзетов, также спасибо Тому Уоткину, энтузиасту, составившему мне компанию в путешествии на ежегодный фестиваль в Мотмани «de l'accordeon». Спасибо денверскому книжному магазину «Драная обложка» и в особенности Дотти Эмбер за книги, помощь и быстрое — быстрее всяких ожиданий — обслуживание. И, наконец, спасибо Джиллану Блэйку, силачу из Нью-Йорка, дотащившему мешки с книгами от Музея телевидения и радио до моего отеля.

Папа приехал с кнопочным аккордеоном в вещевом мешке, и больше у него почти ничего не было.

Рэй Маки, аннотация к «Аккордеону в ножнах»

Если бы в Америке не поселились чернокожие, европейские американцы никогда бы не были просто «белыми» – а всего лишь ирландцами, итальянцами, поляками, валлийцами и прочими, обреченными на классовую, этническую и гендерную борьбу за источники существования и собственную идентичность.

Корнель Уэст, «Расовый вопрос»

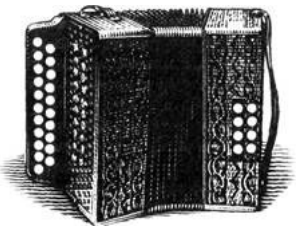
Camminante, no hay camino,
Se hace camino al andar.
Послушай, путник, здесь нет тропы,
Тропу проложит идущий.

Антонио Мачадо

Более ста лет, переходя из рук в руки, зеленый аккордеон играет песни самых разных этнических групп. По ходу дела исторические фигуры смешиваются и сталкиваются с вымышленными персонажами. В некоторых случаях эти персо-

нажи помещены в центр реальных событий, в других — реальные события оказались в той или иной степени беллетризированы. История аккордеонных дел мастера тоже вымышлена, однако в ее основе — заметка в нью-орлеанской «Дейли Пикайюн» за 1891 год о линчевании одиннадцати итальянцев. На протяжении всей книги реальные газетные объявления, рекламные радио-ролики, афиши, названия песен, обрывки стихов, этикетки на знакомых товарах и списки организаций, будут перемешиваться с вымышленными и изобретенными объявлениями, роликами, афишами, названиями песен, стихами, этикетками, товарами и списками. Ни один персонаж не имеет прототипа среди реальных, ныне живущих лиц. Аккордеоны — вполне возможно.

АККОРДЕОННЫХ ДЕЛ МАСТЕР



Двухрядный кнопочный аккордеон

Инструмент

У него загорались глаза, и даже трещало в ушах, едва взгляд падал на аккордеон. Инструмент лежал на полке, поблескивая лаком, словно живительной влагой. Ручейки света омывали перламутр, девятнадцать костяных кнопок, два подмигивающих овальных зеркальца в черных ободках; глаза ищут глаза, ловят губительный взгляд *malocchio* [2], торопясь отразить этот горький взор, вернуть его смотрящему.

Решетку он вырезал ювелирной пилочкой из медного листа, сам сочинил узор из павлиньих перьев и веток оливы. Щитки и пряжки, скрепляющие меха с корпусом, медные шурупы, цинковые язычковые пластинки, тонкую ось, сами стальные язычки и старый черкесский орех для корпуса — все это пришлось покупать. Но остальное он придумал и сделал сам: V-образные проволочные струны, закрученные ушки которых располагаются под клавишами и тянут их вслед за пальцами, кнопки, переливающиеся лады. Изогнутые впадины мехов, кожаные клапаны

---

[2] Примечания: 2
Дурной глаз *(ит.)*

и прокладки, косые ластовицы из лайки, глянцевые крышки — все это появилось от козленка с перерезанным горлом, чью шкуру он выдубил золой, мозгами и твердым маслом. Меха растягивались восемнадцатью складками. Деревянные части из закаленного ореха, чтобы не коробились от влаги, он выпиливал, шкурил и подгонял, вдыхая миазмы пыли. Склеенный корпус ждал шесть недель, пока будет готово все остальное. Мастера не интересовали обычные аккордеоны. У него имелась своя теория, образ идеального инструмента — воплотив его, он надеялся найти свое счастье в Ла Мерике.

С помощью камертона и невооруженного слуха он установил кварту и квинту, точно уловив болезненный, но приятный диссонанс. У него было безукоризненное чувство тона, даже в скрипе дверных петель он слышал гармонию. Кнопки откликались быстро, а еле слышное прищелкивание походило на стук костей в руке игрока. Издалека аккордеон звучал хрипловатым плачем, напоминая слушателям о жестокости любви и муках голода. Ноты падали, впиваясь и царапая, словно тот зуб, что кусает, а сам проеден болью.

Мир – это лестница

Аккордеонных дел мастер был мускулист и волосат, черная копна волос высилась над красивым лицом, уши — как круглые бублики. Радужки у него были янтарного цвета — в детстве пришлось намучиться с прозвищем «Куриный глаз». В двадцать лет, взбунтовавшись против владевшего кузницей отца, он оставил поселок, уехал на север и устроился работать на аккордеонную фабрику Кастельфидардо. Отец его проклял, и с тех пор они не разговаривали.

Он вернулся в поселок, когда обрученная невеста сообщила: неподалеку сдается в аренду участок земли с крошечным виноградником и миниатюрным домом. Мастер с радостью покинул город, поскольку успел к этому времени запутаться в отношениях с некой замужней дамой. Его пышная растительность всегда привлекала женщин. За годы брака жена не раз обвиняла его в неверности, и иногда оказывалась права. Аккордеон и волосы манили женщин — что он мог поделать? Она это знала — музыкальный дар и ее держал крепко, а еще — шелковистая кожа и курчавые волосы, выбивавшиеся из ворота рубашки.

Он легко замерзал и начинал дрожать, едва солнце исчезало за облаком. Жена была очень теплой — стоя рядом, можно было почувствовать, как она излучает жар, словно небольшая печка. Ее руки одинаково крепко держали детей, тарелки, куриные перья и козье вымя.

Из арендованных виноградников «калабрезе», «негро д'авола», «спаньоло» получалось терпкое безымянное вино, и его продавали иностранцам. Согласно местным обычаям, забродившее сусло неделю выдерживали в кожах, от чего и возникал этот особенный грубоватый привкус и темно-пурпурный цвет. Проглоченное второпях, вино обдирало глотку и, как любое вяжущее питье, обладало, по слухам, лечебными свойствами. Иностранцы платили очень мало, но, поскольку других источников дохода ни у кого не было, виноградари не роптали. Пылкие нравы, вечная нехватка земли, денег и утвари создавали подходящую почву для махинаций, укрывательства, нечистых на руку людей, тайных сговоров, грубой силы. А можно ли прожить по-другому?

Кроме виноградников, мастер и его жена арендовали пять старых олив и одну фигу, державшуюся у стены на шпалерах, — таким образом их жизнь крутилась вокруг детей, коз, прополки,

подрезки и тяжелых корзин с виноградом. По ночам нищета свистела ветром сквозь дыры в сухом винограднике, сливалась со стонами трущихся друг о дружку ветвей. Они продолжали цепляться за свой участок даже когда хозяин, живший в Палермо, в доме с черепичной крышей, поднял арендную плату, а на следующий год — поднял еще раз.

Аккордеонная мастерская располагалась в самом конце сада — в хижине, когда-то построенной для больных коз, маленькой, не больше двуспальной кровати. На полках стояли горшки с лаком, коробки сухого шеллака, разнообразный клей и шлихты, квадраты перламутра и два закупоренных пузырька бронзовой краски, размером с ноготь. Там были напильники, скребки, специальные стамески — одна из осколка кремнистого сланца, который он выкопал из земли — долота, втулки, красители, металлические шпунты и крючки, пинцеты и обрезки стальной проволоки, штангенциркули и линейки, кусачки, перфораторы и зажимы; многие из этих инструментов он украл с фабрики Кастельфидардо — а как иначе обзавестись столь необходимыми вещами? С помощью собольей кисточки толщиной в несколько волосков мастер рисовал завитки

и раскрашивал клавиши; тройные рамки поблескивали бронзовыми искорками. Готовые аккордеоны он продавал перекупщику на городском рынке, а тот, подобно покупателям вина, платил сущую ерунду — прокормишь разве что сороку.

Научившись управляться со своими инструментами, мастер стал мечтать о жизни, наверняка невозможной в этом озлобленном поселке, но вполне реальной в другой стране, что все шире разрасталась в его мыслях: Ла Мерика. Он думал о новой судьбе, свежей и незапятнанной, о деньгах, что свисали из будущего, словно груши с верхушки дерева. Он шептал по ночам жене. Та отвечала:

— Никогда.

— Послушай, — говорил он так сердито и громко, что просыпался ребенок. — Ты же читала, что пишет твой брат. — Дурак Алессандро с мордой ящиком прислал недавно письмо, все в пятнах красного соуса и жирных отпечатках. В нем, однако, говорилось: приезжайте, приезжайте, поменяйте свою судьбу, превратите свои муки в серебро и веселье.

— Мир — это лестница, — шипел в темноту аккордеонных дел мастер. — Одни спускаются,

другие поднимаются. Мы должны быть наверху.

Она не соглашалась, затыкала уши и громко застонала, когда он объявил о дне отъезда, а увидав чемодан с металлическими углами, подняла голову и закатила глаза, как отравленная лошадь.

Парализованный генерал

Осанка мастера, таившая скрытый напор и вызов, всегда обращала на себя взгляды других мужчин. Обычно он стоял, опираясь на левую ногу, правая многозначительно отставлена, черные башмаки стоптаны. Поза выдавала характер; мастер выглядел *louche* [3] и агрессивным, а на деле таким не был. Он не любил и не умел решать задачи. Когда приходилось выпутываться из неприятностей, он зависел от жены. Он сочинял безудержные планы, радужные надежды, она прокладывала путь — до последнего момента.

Сколько людей, пробуждаясь ночью, тянут руки к спящей половине и вдруг натыкаются на труп? Вечером жена мастера поплакала, жалуясь на маячившее впереди путешествие, но ничто, ни единый знак в ее дурном настроении не указывал на то, что несколько часов спустя явится паралич — сожмет ее ребра, загонит в суставы стержни, зацементирует язык, заморозит мозг и зажмет в тиски глаза. Пальцы мастера трясли застывшее туловище, каменные руки, жесткую

---

[3] Примечания: 3
Суровый *(ит.)*

шею. Он решил, что жена мертва. Он зажег лампу, стал выкрикивать ее имя, лупить по мраморным плечам. И все же сердце билось, гоняя кровь по трубам вен, грудная клетка вздымалась — это и помогало ему верить, что беда не окончательна и уйдет, как только наступит утро. Но беда не ушла.

Дни шли, становилось ясно, что паралич наслала злобная, разгневанная сила, и этот враг не желал, чтобы она покидала поселок, ведь жена мастера всегда славилась прекрасным здоровьем, лишь изредка ее беспокоили начавшиеся еще в детстве припадки, да небольшое помутнение радужки — след шального миндального ореха, попавшего в глаз на танцах после свадебного ужина. Она никогда не болела и через день после каждых родов всегда была на ногах, властно управляясь по хозяйству. Ее сильное контральто словно было создано для команд. В детстве отец звал ее генералом. У таких людей всегда есть враги.

Мастер готов был броситься со скалы и уйти в пустыню — только пусть кто-нибудь скажет ему, что же делать. Свои мольбы он обратил к теще.

Мать парализованной женщины сложила на груди руки. Басовитый голос звучал так, словно

из-под дряблой желтой кожи говорил могущественный карлик.

— Езжай. Три года. Зарабатывай деньги и возвращайся. Мы за ней посмотрим. Это даже лучше, если мужчина едет один. — Влажные оливковые глаза бегали.

Старик-отец склонил голову, показывая, что видит смысл в этом совете. Старший сын Алессандро перебрался в Нью-Йорк двумя годами раньше и теперь слал им набитые деньгами конверты, а в письмах рассказывал про шикарную одежду, положение, новую роскошную ванну (в этой самой ванне несколько лет спустя его укокошил сумасшедший цыган, вне себя от злости на Алессандро — ведь тот стукнул его сына, оравшего на лестничной площадке, но даже тогда старики-родители отказались признать, что над их семьей тяготеет проклятие).

Дочерей мастера, пускавших сопли оттого, что не поедут на корабле в Ла Мерику, поделили между собой тетушки. Сильвано, единственному мальчику — зачатому в воскресенье — уже исполнилось одиннадцать лет — вполне достаточно, чтобы выдержать целый день работы; он и должен был сопровождать отца. Девочки смотрели на него с завистью.

В этой истории пострадал еще один человек — младшая сестра застывшей женщины, сама еще ребенок, чьей обязанностью теперь стало лить в стиснутый рот жидкую кашицу, выгребать вонючие тряпки из-под сочащихся отверстий, переворачивать неподвижное тело с грубыми пролежнями, и капать в сухие незрячие глаза чистую воду.

Услужливый молодой человек

Отец и сын ушли в тусклую утреннюю полутьму вприпрыжку, вниз по крутой тропке, прочь от застывшей женщины и беспокойных глаз ее родни, от обиженных девочек, мимо каменного улья, что отмечал границу поселка. Мастер нес чемодан, инструменты и аккордеон за спиной, соорудив себе нечто вроде сбруи из связанных узлами веревок. Мальчик Сильвано сгибался под скрученной овчиной, серым одеялом и холщовой сумкой с буханками хлеба и сыром. Меньше чем через семьдесят шагов поселок навсегда пропал из виду.

Два дня они шли пешком, переправились на пароме через сверкавшую белым пунктиром воду и, наконец, добрались до станции. В пути отец почти не говорил; вначале, сквозь застилавшие глаза слезы, он думал о жене, которая была тканью его рубашки, влагой его рта, а затем ситуация вдруг предстала перед ним грубой мужской поговоркой: лучший кусок холодного мяса в доме мужчины — это мертвая жена. К сожалению, она была не живой и не мертвой. Нескладный мальчик, обиженный молчанием отца, перестал

задавать вопросы, даже когда они заходили в деревни — он лишь собирал в карманы чертовы камушки, чтобы швырять в рычащих собак.

Сицилия сыпалась, словно кукурузный помол из дырявого мешка. Станция была забита людьми — они кричали, размахивали руками, таскали туда-сюда саквояжи и деревянные ящики, проталкивались сквозь вокзальную дверь на платформу, и без того полную, они обнимались, хватали друг друга за плечи — море колыхающейся материи, женские платки сложены треугольниками и завязаны под подбородками, яркие геометрические фигуры на фоне черной массы спин.

Отец и сын сели в вагон и теперь ждали отправления в компании жужжащих мух и пассажиров, пробивавшихся кто наружу, кто внутрь. Они прели в своих шерстяных костюмах. Люди на платформе словно посходили с ума. Женщины рыдали и заламывали руки, мужчины лупили кулаками по плечам и спинам уезжавших сыновей, дети ревели и с такой силой хватались за подолы, что трещала материя, а совсем маленькие вцеплялись матерям в волосы. Кондукторы и начальники поездов орали и выталкивали из вагонов безбилетников. По всей длине поезда пассажиры с искаженными от горя лицами

высовывались в окна, сжимали и целовали в последний раз протянутые к ним руки.

Мастер и Сильвано молчали, обводя глазами представление. Поезд тронулся, и плач стал еще громче — люди на платформе смотрели, как вагоны проплывают мимо, превращая родные лица в чужие маски.

Какой-то пожилой и тощий, как скелет, мужчина в потертом костюме вдруг оторвался от толпы и побежал за поездом. Цепкий взгляд поймал Сильвано. Люди часто засматривались на мальчика, отмечали его круглые щеки и опущенные ресницы, недетское выражение лица, что-то испанское или мавританское в глазах с покрасневшими веками. Человек выкрикнул какое-то слово, повторил еще раз, поезд набирал скорость, а он все бежал и кричал; бежал рядом с поездом, переставляя паучьи ноги по бугристой земле, затем паровоз повернул, вагоны ушли в сторону, и мальчик, оглянувшись, увидел, как человек еще бежит, сильно отстав, потом падает на руки и замирает в дыму паровоза.

— Что он кричал? — спросил отец.

— Просил передать Сильвано — я сперва подумал, мне — другому Сильвано, чтобы тот прислал денег. Сказал, что умрет, если не уедет. Мастер

скрипнул зубами и перекрестился. Промелькнула мысль, что незнакомец мог действительно назвать его сына по имени и попросить денег. Но сосед слева, крепкий молодой человек, который забрался в вагон перед самой отправкой, страшноватый на вид парень с дыркой между передними зубами и расплющенным носом, потянул мастера за рукав.

— Я знаю, кто это! *Pazzo* [4], *pazzo!* Этот сумасшедший является на платформу каждый день, гоняется за поездами и орет, чтобы кто-нибудь уговорил его брата выслать денег на билет до Нью-Йорка! *Pazzo!* Нет у него никакого брата! Этого брата сто лет назад в Ла Мерике затоптала лошадь! А вы, вы тоже туда?

Мастер обрадовался прямому вопросу — его грела возможность выговориться.

— В Нью-Йорк. Жена и дети, мы должны были ехать все вместе еще два месяца назад, подумать только, всего два месяца, жена теперь как доска, страшная болезнь напала, и вот мы с мальчиком вдвоем. Она не умерла, она жива, только не шевелится. У нас план добраться до Ла Мерики и открыть маленькую музыкальную лавку, я

---

[4] Примечания: 4
Сумасшедший *(ит.)*.

ремонтирую инструменты. Я сам аккордеонных дел мастер, ну и немного музыкант, вы знаете, играю на свадьбах, именинах. Сотни песен. Мастер знает, как научить инструмент звучать в полный голос. Но моя судьба — делать аккордеоны. Я понимаю инструмент, я его чувствую. Еще могу чинить другие — треснувшие скрипки, мандолины, порванные барабаны.

Он открыл футляр, чтобы стал виден блестящий лак инструмента, полированные кнопки. Взял широкий аккорд, брызнул несколько нотных капель, продемонстрировав молодому человеку точность звучания; играть он не стал — неуместно, с полумертвой-то женой. Кажется, он начинает вести себя, как настоящий вдовец. Мастер медленно опустил инструмент обратно в футляр из козлиной кожи, крепко перевязал.

— Как красиво! Какой прекрасный инструмент! У меня двоюродные братья тоже играют, но у них в жизни не будет ничего похожего. Эмилио в прошлом году какой-то мужик избил от ревности — так взбесился, что помер от инсульта. Может вам и повезет в Нью-Йорке! А может, и нет. В Нью-Йорк едут итальянцы с севера, чванливые *Liguri*

[5]. Их там полно! Музыкантов, мастеров! Знаете сколько музыкальных лавок на Малберри-стрит, там продают механические пианино, все, книги, граммофоны, мандолины, ноты! А какая дикая в Нью-Йорке зима, мясо примерзает к костям, а снег! Ветер такой, что невозможно представить! А дома для сицилийцев — они там как сельди в бочке! Нью-Йорк? Холод, шум и суета! Я прожил в Нью-Йорке целый год! Невыносимо! В Нью-Йорке брат этого сумасшедшего попал под лошадь, а от чего взбесилась лошадь? Да от этого жуткого холода! Лучше поехали со мной в Луизиану, в Новый Орлеан! Погода теплая, как кожа младенца! Почва — чернее зрачков, неслыханное плодородие! Сицилийцы везде, на любой работе! Креветок и устриц ловят с лодок! Гигантские возможности! Ни одной музыкальной лавки! Город рыдает, как они там нужны! А как люди любят музыку! Залив — прямо рог изобилия; креветки такие огромные, что взрослый мужчина удержит в руке не больше двух штук, устрицы шириной с каравай и сладкие, как мед, рыбы, сытные орехи, пекан растет сам по себе — всюду! На фруктовые баржи устраивайся хоть сразу! Зарабатывайте деньги

---

[5] Примечания: 5
Лигурийцы *(ит.)*.

и открывайте свою музыкальную лавку! Только подумайте! Вы сходите с корабля, отправляетесь в док и через две минуты уже работаете на разгрузке апельсинов! Ваш наниматель говорит по-сицилийски, он вас понимает! Прежде, чем вы проведете свою первую ночь в Ла Мерике, у вас уже будет столько денег, сколько вы не видели за неделю, за месяц в Сицилии! Но, возможно, ваши родственники ждут вас в Нью-Йорке, возможно, у вас там кузены и множество братьев, возможно, ваши связи помогут вам одолеть в неравной борьбе всю Малберри-стрит? Возможно, у вас уже имеется достаточная сумма, чтобы сразу открыть вашу музыкальную лавку?

Он закурил сигару, предложив другую мастеру — тот взял и стал бурно благодарить.

Нет, нет, у них никого нет, сказал он, отрекаясь от ненавистного шурина Алессандро с мордой, как половая тряпка. Глаза б не смотрели на этого антихриста. В конце концов, у них разная кровь. Нет, сказал он молодому человеку. Его сын не силен в музыке, но у него хорошие способности к математике. Лодки или музыкальная лавка, они согласны на все. Мастер подался вперед и спросил, как? Нов'Орленза, Луиджиана? Жители в самом деле тоскуют по музыке? Ароматный

дымок собрался в облачко у них над головами.

Салага, подумал молодой человек. Еще один из тысяч, тысяч и тысяч. Себя он не считал.

Весь путь до Палермо, пока поезд дергался на длинном спуске к морю, молодой человек развлекался тем, что расписывал прелести Луизианы, зазывающей к себе музыкантов, которым без толковых мастеров остается лишь играть на обломках инструментов, или даже петь *a capella* [6], потому что во всем городе нет ни единого аккордеона, чтобы им аккомпанировать, и в конце пути мастер уже не представлял, как он мог даже подумать о собачьем нью-йоркском холоде и толпе квартиросъемщиков; зачем ему Нью-Йорк с этим хвастуном Алессандро — единственным человеком на свете, продолжавшим называть его «Куриный глаз» — когда его ждет город отчаянных музыкантов. В Нов'Орленза он возьмется за любую работу, будет разгружать бананы, жонглировать лимонами, свежевать котов и откладывать каждое скудо — нет, пенни. В кармане у него лежала бумажка с названием пансиона и карта, которую нарисовал молодой человек из поезда, сказав, что плывет другим,

---

[6] Примечания: 6
Без сопровождения *(ит.)*.

более быстрым пароходом — знаете, сколько кораблей уходят из Палермо в Ла Мерику. Молодой человек божился, что встретит их в Нов'Орленза и покажет дорогу. Карта нужна только если они разминутся.

Так аккордеонных дел мастер свернул на роковой путь.

Земля аллигаторов

В Палермо он растерялся. Билеты на пароход до Нового Орлеана оказались дороже, чем до Нью-Йорка. Деньги, отложенные когда-то на билеты парализованной жены и дочек он хотел сберечь для будущей музыкальной лавки. И все же он заплатил, сорок американских долларов за каждый, ибо распоряжался своей жизнью, как и все — глядя в будущее.

На причале Палермо бурлила толпа эмигрантов. Отец и сын стояли в стороне, мастер зажимал ногами чемодан, аккордеон висел за спиной. Он видел в мечтах чисто выбеленную мастерскую, на столе разложены инструменты, а сам он водит пальцем по списку заказов. В глубине маячит неясная женская фигура, возможно это вернулась к жизни его парализованная жена, а возможно — *americana* с молочной кожей.

Сильвано пугала причальная суета. Словно гигантский скребок прошелся по всей Италии и собрал на край маслянистого залива эту человеческую корку; шевелящаяся толпа была здесь в тысячу раз больше, чем на станции. Всюду люди, прямые и согнутые: завернутый в грязное одеяло

мужчина дремлет на камнях, положив голову на чемодан и держа в вялой руке нож, плачущие дети, женщины сворачивают темные плащи, суетливо перевязывают веревки на ободранных чемоданах, мужчины сидят на корзинах с добром и грызут хлебные горбушки, черные платки старух повязаны узлами под волосатыми подбородками, носятся, не помня себя от радости, мальчишки, хлопают на ветру рубахи. Он лишь наблюдал за ними, не вступая в игру.

Час за часом шумная шевелящаяся масса тащилась по сходням на корабль, волоча за собой узлы и сумки, свертки и холщовые мешки. Очередь тянулась через всю палубу к столу, где рябой чиновник делил людей на группы по восемь человек, разлучая семьи и соединяя посторонних — ему было все едино; самому высокому человеку в восьмерке он выдавал номер, означавший их место в столовой. Эти восемь пассажиров, знакомых или чужих друг другу, на тысячи водных миль связывал теперь обеденный билет. В одной группе с мастером оказалась противного вида старуха с лицом, как полумесяц, и два ее племянника.

Мастер и Сильвано спустились на три уровня вниз, к мужским каютам — длинные ярусы коек

там напоминали складские дровяные штабели. Им досталось две верхних полки, клетка, чтобы спать и держать вещи: чемодан и аккордеон, скрученную овчину и серое одеяло. Керосиновая лампа флегматично поблескивала, тени качались, словно висельники, мерцающий свет пробивался с трудом, пробуждая сомнения и заставляя поверить в демонов. Отец и сын еще помнили уверенное спокойствие электрических огней Палермо.

(Пары керосина, днище судна, металл, морская краска, запах беспокойства, грязной одежды и человеческих выделений, приправленный соленым ароматом моря, крепко отпечатался в памяти Сильвано, знакомые миазмы вспомнились позже, на борту техасской рыбацкой лодки, их не стерли даже зловоние прогорклого масла и газа, что пропитали его трудовые дни в первые десятилетия нового века. Одно время он работал пожарником на гидропонной ферме, стрелял ядрами в горящие резервуары, чтобы выпустить масло в выкопанный вокруг них ров, прежде чем оно начнет взрываться. Он уехал в Спинделтоп, потом в оклахомский Глин-Пул[7], мельком видел

[7] Примечания: 7

Спинделтоп и Глин-Пул — названия нефтяных скважин в Техасе и Оклахоме соответственно.

нефтяного короля Пита Грубера в костюме за миллион долларов из кожи гремучих змей, работал на «Золотой линии» от Тампико и Потреро до озера Маракайбо в Венесуэле, где и закончилась его игра — в джунглях, сжавшись в комок, он так и не смог вытащить из горла индейскую стрелу.)

Мастер предупредил Сильвано, что переход тяжелый, и его, возможно, будет все время тошнить, но выйдя после Палермо, Сицилии, Европы в открытые воды земного шара, они вдруг попали в зону ясной погоды. День за днем солнце золотило волны, море оставалось спокойным, без барашков и гребней, лишь бесчисленные возвышенности, лоснясь, раскатывали по его поверхности пенные ковры. По ночам это водное кружево светилось и мерцало зеленоватыми блестками. Корабль со свистом летел по морю, а Сильвано таращился в небо такого глубокого цвета, что видны были клубящиеся личинки — это ползали в пурпурной глубине зародыши звезд и ветра. Каждое утро из чрева парохода, как долгоносики из пня, выползали пассажиры и укладывались на солнце; женщины шили и плели кружева, мужчины что-то мастерили, рассказывали о своих планах, бродили кругами по кораблю, надеясь избежать запоров. Почти

все ели на палубе, отвергая вонючую столовую. Чтобы превратить корабельное варево во что-то более-менее пристойное, из чемоданов доставались сушеные помидоры, чеснок, колбаса и твердый сыр. В спокойствии моря мастер видел добрый знак, он верил, что счастье повернулось к нему лицом, с удовольствием раскуривал сигары, а по вечерам играл на аккордеоне. Женщины улыбались ему, одна спросила, знает ли он *«L'Atlantico»* и напела подходящую к волнам мелодию. Мастер ответил, что с удовольствием выучит песню, если она согласится быть его наставником.

От команды и пассажиров, уже побывавших там или получивших письма знакомых, просачивались рассказы о Новом Орлеане: город формой напоминает ятаган, втиснут в излучину великой реки, гроздья мха свешиваются с деревьев, словно птицы, чайная вода заливов кишит аллигаторами, а по улицам разгуливают черные, как эбеновая древесина, люди; мертвые там лежат в мраморных кроватях прямо на земле, и все мужчины носят с собой пистолеты. Один из матросов научил Сильвано слову «морожино» — очень редкое и вкусное холодное лакомство, которое готовят с большим трудом и только на

сложной машине.

Молодой человек из поезда уверял, что в Новом Орлеане с легкостью поймут их язык, но столовская старуха, которая успела в Новом Орлеане пожить, похоронить после какой-то эпидемии сына и всю его семью, уехать в Сицилию, вытащить оттуда двух своих племянников, и теперь возвращалась вместе с ними, предупредила, чтобы он бросал свой сицилийский диалект и говорил на нормальном итальянском, а еще лучше — побыстрее выучил американский.

— Итальянцы думают, что сицилийцы говорят на своем языке для того, чтобы у всех на глазах замышлять убийства. Американцы думают, что сицилийцы и итальянцы — это одно и то же, ненавидят тех и других, держат их за исчадий зла. Если хотите чего-то добиться, вы должны быть мастером в американском языке.

Их словами можно сломать зубы, думал мастер. Старуха посмотрела на него, словно прочла мысли.

— По глазам вижу, вы не хотите его учить.

— А как же вы? — отбился он. — Вы, разумеется, говорите свободно, а?

— Я выучила много слов, — ответила старуха, — у сына и его детей. Теперь буду учиться у

племянников. В Америке обычный порядок переворачивается, и старики учатся у детей. Будьте к этому готовы, мастер.

В последний день пути, когда пароход обогнул острый конец Флориды и вошел в Мексиканский залив, все почуяли мускусный запах земли. Они пересекли некий невидимый барьер, и теперь уже не отдалялись от чего-то, а к чему-то приближались. Мастер вынес аккордеон на палубу и запел высоким голосом никогда не слыханную в поселке песню.

И вот мы плывем в Ла Мерику –
Прощай, наш родительский дом.
Здесь новая жизнь начинается.
Здесь деньги и слава нас ждут.
Дома и льняные рубахи.
Мы станем прекраснее принцев.

Матрос напел смешную американскую песенку — «Куда, куда ты делся, мой маленький щенок?» — но мастер с пренебрежением отверг ее и заиграл «Мою Сицилию». Уверенная поза, волосы, отчаянный голос и приглушенные вздохи аккордеона собирали кольцо женщин и девушек. Однако он верил в ад, где грешников сажают

враскорячку в гигантские разогретые ключи или превращают в язычки раскаленных добела колокольчиков.

Под закатным солнцем они заплыли в дельту, вдохнули запах ила и древесного дыма; на западе клубились золотые облака — или то были рассыпавшие пыльцу тычинки неизвестного цветка с очень широким зевом. В сумерках виднелся мерцающий свет боковых каналов, иногда слышался жуткий рев — аллигаторы, сказал палубный матрос; нет, это корову затянуло в трясину, возразила старуха с племянниками. Иммигранты сгрудились у поручня, и корабль, сотрясаясь, вошел в зажатую клещами берегов реку Миссисипи. Сильвано стоял рядом с отцом. На востоке ползла красная луна. С берега донеслось конское ржанье. За несколько часов до Нового Орлеана запах города достиг их ноздрей — вонь выгребных ям и аромат жженого сахара.

Демон в отхожем месте

Все пошло не так, как предполагал мастер. Молодой человек из поезда не встретил их в доке. Они прождали несколько часов, пока остальные пассажиры не растворились в многолюдных улицах.

— Настоящие друзья попадаются реже, чем белые мухи, — горько произнес мастер. Сильвано в изумлении таращился на чернокожих, в особенности на женщин с намотанными на головы тюрбанами, словно там, в складках материи, прятались рубины, изумруды и золотые цепи. Разобравшись в карте молодого человека, они добрались по шумным, полным народа улицам до Декатур-стрит, однако номера шестнадцать там не оказалось — лишь накренившиеся обугленные балки пепелища, дыра в плотном ряду многоквартирных домов. Собрав все свое мужество, мастер заговорил с прохожим, с виду напоминавшим сицилийца. По крайней мере, прическа у него была сицилийская.

— Простите, я ищу меблированный дом номер шестнадцать, но, кажется, здесь такого нет…

Мужчина не ответил, сплюнул в сторону и

прошел мимо. Сильвано увидел в этом наказание за то, что они не знают американского языка. Мужчина, должно быть, американец — из тех, что презирают сицилийцев. Мастер обреченно сказал Сильвано:

— Проклятый ублюдок, чтоб ему жрать траву, на которую ссут пьяницы. — Они потащили узлы и чемодан обратно на пристань. Корабль, откуда они сошли несколько часов назад, стоял на том же месте. Сильвано разглядел знакомые лица матросов. Те смотрели на них без всякого интереса. Один крикнул по-американски какую-то грубость. Сильвано чувствовал безнадежную ярость человека, угодившего в тюрьму чужого языка. Отец, казалось, ничего не замечал.

Контора по трудоустройству, про которую рассказывал молодой человек из поезда, оказалась голубой будкой в самом конце причала. Около дюжины мужчин, и черных, и белых, стояли, прислонясь к кучам щебня и ящикам, плевались табаком, курили сигары и таращились на приближавшихся незнакомцев. В будке под стулом разлегся пес в железном ошейнике. Человек с заплывшим синим носом назвал себя Граспо — Грэйспток; он говорил на понятном языке, но держался недоверчиво и высокомерно: потре-

бовал предъявить документы, спросил, как их зовут, из какого они поселка, имена родителей, имена родственников жены, кого они здесь знают и почему приехали именно сюда. Мастер показал карту, рассказал о молодом человеке из поезда, который дал им адрес меблированных квартир, затем описал покосившееся пепелище, сказал, что не знает никого и хочет работать на баржах или в доке.

— Как звали человека из поезда?

Но мастер, конечно, не знал. Постепенно Граспо смягчился, хотя тон его остался таким же надменным и снисходительным.

— Все не так просто, как вы думаете, *contadino* [8], здесь включается слишком много факторов, слишком много натянутых отношений. Иногда возникают проблемы, времена сейчас трудные. Сицилийцы страдают больше других. Мы должны приглядываться друг к другу. Но я дам вам адрес ночлежного дома в Маленьком Палермо, Мираж-стрит, номер четыре, там дешево и близко до работы. Возможно, я найду на фруктовых баржах что-нибудь для вас и для мальчика. Вы сами увидите, что лучшие места достаются чер-

---

[8] Примечания: 8
Крестьянин *(ит.).*

ным и ирландцам, они служат штивщиками. Скромные итальянцы — сицилийцев здесь тоже считают итальянцами, вам это придется проглотить — работают грузчиками. — Он прокашлялся и сплюнул. — Это будет стоить три доллара за вас и два за мальчика, адрес ночлежки я вам даю бесплатно. Да, вы платите мне. Я ваш *bosso*. Такие в Америке правила, *Signor' Emigrante Siciliano*. Вы платите за то, чтобы получать плату. Вы не знаете ничего, никого и платите за образование. Я продаю вам образование за весьма умеренную сумму.

У него был выбор? Нет, нет. Он заплатил — повернувшись спиной к Граспо, хотя тот все равно подглядывал, достал из промокшей от пота овчины непривычные на вид монеты. Граспо сказал, чтобы мастер шел сейчас в ночлежку, договаривался с хозяином, а завтра приходил за разнарядкой — если повезет, будет работа. Мастер кивал, кивал, кивал и улыбался.

— В ночлежке спросят, есть ли у вас работа и какая. Покажете им эту бумагу, скажете, что работаете на Сеньора Банана. Ах-ха.

Ночлежку они нашли в Маленьком Палермо, вонючем квартале, ничем не лучше сицилийских трущоб, только кроме итальянцев и сицилийцев,

здесь жили еще и чернокожие. Мираж-стрит представляла собой ряд полусгнивших французских особняков, обсыпанных, словно перхотью, крошащимся шифером; шикарные комнаты тут разбили на каморки, гипсовые херувимы пошли трещинами, а танцевальный зал разделили на двадцать клеток не больше собачьей конуры каждая. Номер четыре представлял собой грязное кирпичное соружение, исчерченное веревками с серым бельем и опоясанное кругами провисших балконов. Где-то лаяла собака.

(Через много лет, уже на нефтедобыче, ничего не вспоминал Сильвано с большим ужасом, чем этот безжалостный, не умолкавший ни днем, ни ночью лай невидимой твари. Американский пес. В Сицилии за такое его бы давным-давно пристрелили.)

Двор был по колено завален отбросами: обломки кроватей, щепки, целые реки устричных раковин, ручки от чемоданов, окровавленные тряпки, дырявые кастрюли, черепки, ночные горшки с зелеными нечистотами, сухие деревяшки, безногий заплесневелый диван из конского волоса. Вонючий *baccausa* в углу двора обслуживал потребности всех, кто жил в доме. Заглянув в нужник, мастер отшатнулся, и его чуть не вы-

рвало: из дыры там торчала гора экскрементов. В углу стояла заляпанная палка, которой полагалось заталкивать эту кучу немного вглубь. Позже он заметил, что некоторые обитатели, чтобы освободить кишечник, присаживаются по-собачьи прямо во дворе, и на этой же несчастной земле играли дети.

— Послушай, — сказал он Сильвано. — Не ходи сюда. В этом нужнике живет демон. Найдешь другое место. Откуда мне знать, где? И вообще, держи это подольше в себе, больше будет толку от еды, зря что ль я деньги плачу. — Так у Сильвано начались постоянные и мучительные запоры.

По разбитой лестнице они взобрались на четвертый этаж, стараясь держаться подальше от накренившихся перил.

— Высокий уровень жизни, мой друг, — посмеиваясь, сказал хозяин. Комната была не больше шкафа, очень грязная. Там стояли две деревянные кровати, над каждой длинная полка, одну частично заполняло имущество человека, с которым им предстояло делить жилище. Глухой и безобидный, сказал хозяин. Сильвано предстояло спать на полу, подстелив овчину. Мастер тронул отваливающийся кусок штукатурки, ткнул ногой в ломаные половицы. Из соседней комнаты

послышалась ругань, потом звук шлепка, еще один, приглушенные вопли и новые удары. Но Сильвано был в восторге от окна — двух прозрачных пластин над матовым стеклом янтарного цвета. Его даже можно открыть, сказал он, глядя на крыши и мутную реку, по которой вверх и вниз ползли лодки. На стекле жужжали мухи, а подоконник был утоплен в стену не больше, чем на дюйм.

Но когда Сильвано бежал вниз по дребезжащим ступенькам, на лестничной площадке его зажали в угол трое мальчишек. Одного, с тупой рожей и кривым ртом, он посчитал менее опасным, но пока остальные плясали и пихались, этот подкрался сзади, и, словно топором, ударил сцепленными руками Сильвано по затылку. Мальчик упал на колени, прокатился между ног тупорожего, приподнялся и больно ущипнул мягкую ляжку, не обращая внимания на три удара в лицо и расцарапанные о шершавый пол щеки. Дверь на площадке рывком распахнулась, и прямо на него выплеснулся поток холодной жирной воды, послышалось негромкое звяканье, каскад вилок и ложек, а трое нападавших поскакали вниз, что-то крича на бегу.

Сахарный тростник

Хозяин — тучный калека, одноногий и наполовину слепой, с серой и лоснящейся, как днище лодки, кожей и изрезанными тростниковым ножом руками, взял у них деньги на неделю вперед. Он называл себя Каннамеле, Тростниковый Сахар, в память о сахарных плантациях, где работал, пока не искалечил в дробилке ногу. Острый конец тростникового листа оставил его без глаза.

— Но послушайте, когда-то мои руки были такими сильными, что я мог выдавить из камня воду. — Он сжал кулак. Услыхав название их поселка, хозяин подскочил от волнения — оказывается, он родился всего через две деревни от них. Он бросился расспрашивать о разных людях. Но ни одно имя не было знакомо мастеру, и через пятнадцать минут стало ясно, что Каннамеле перепутал свою деревню с какой-то другой. И, тем не менее, некая сердечная связь меж ними установилась. Каннамеле счел своим долгом объяснить, что тут происходит.

В Маленький Палермо, сказал он, американцы не заходят никогда. Здесь перемешаны все диалекты, все провинции Италии и Сицилии: люди

с гор и плодородных равнин Этны, из северной Италии, Рима, даже из Милана, но эти снобы удирают отсюда при первой возможности. Он объяснил мастеру, что раз в месяц специальная команда чернокожих приезжает чистить нужник, они выгребают оттуда все скопившееся дерьмо и увозят на своих тележках, но давно не было, кто их знает, почему. Может, приедут завтра. Значит, Граспо обещал им работу? Граспо — он из «Мантранга», стивидоров, которые воюют с *padroni* [9] «Провензано»: шла жестокая битва за то, кто будет контролировать наем работников для фруктовых барж. Ирландцы и черные обычно идут в хлопковые штивщики, им платят больше всех; сицилийцам и итальянцам остается только разгрузка, но это лучше, чем разнорабочими, там только черные — дикие речные свиньи, вечно в струпьях. А что до этих черных, то если у мастера есть глаза, он сам увидит, какие они жалкие и ободранные, вся их так называемая свобода — форменное надувательство. Но все же в доках Нового Орлеана есть свои правила, которые часто работают против сицилийцев и итальянцев; черный штивщик здесь считается не хуже белого

---

[9] Примечания: 9
Хозяева *(ит.).*

и всяко лучше иммигранта. Хитрые американцы знают, как вести игру всех против всех. Их сосед по комнате, глухой по прозвищу Нове, Девятка, за то, что как-то в драке ему откусили мизинец — был портовиком. А что до «сеньора Банана», то так называют уважаемого и богатого Фрэнка Арчиви, он родился в Новом Орлеане, но мать и отец у него сицилийцы, американец по рождению, и кто знает, если бы он в двадцать лет не свихнулся от горя, возможно, стал бы лодочником или настройщиком органом, а не владел бы целой флотилией, и не контролировал бы весь фруктовый импорт.

— Вы только подумайте, за неделю до свадьбы его невеста умерла от креветки, засмеялась и подавилась — ни в коем случае не смейтесь, когда едите креветки, — Арчиви просто сошел с ума: глаза красные, как фонари, пошел ночью на могилу, выкопал вонючий труп, выволок на улицу и целовал в гнилые губы, пока не свалился без сознания. Месяц пролежал в бреду, а когда пришел в себя, стал как ледник — с тех пор его интересуют только деньги. И теперь он Арчиви, Арчиви — это бананы и фрукты из Латинской Америки, апельсины и лимоны из Италии. Арчиви — это сделки и изобретательность, это

тяжелый труд, который приносит удачу, удачу, которая растет и пухнет. Если вы хотите знать, кто такой Арчиви, смотрите на тележки уличных торговцев. Ему принадлежат суда и склады, на него работают тысячи, он вращается в высших кругах новоорлеанского общества, он важный человек в политике. Он пожимал руку Джону Д. Рокфеллеру. Он сам фруктовый Рокфеллер. В этих доках Арчиви контролирует каждую фруктовую дольку. Свое горе и безумие он превратил в деньги.

Мастер жадно слушал.

— Он умен и проворен, он боролся с реконструкционистами. Вам было бы полезно изучить его *americanizzarti*, чтобы самим американизироваться так, как он. Когда черные решили выжить сицилийцев из доков, он выступил против них во главе армии разнорабочих. Я это видел. Там было море крови, но он победил, точно вам говорю, он победил. У вас есть нож? Хорошо. Нужен еще пистолет. Это необходимо. В Новом Орлеане вы каждый день защищаете себя сами.

Арчиви, сказал он, уверенно вошел в американский мир.

— Но даже и не думайте играть для него на своем аккордеоне. У него тонкий музыкальный

вкус, он предпочитает концерт или оперу. С другой стороны — радуйтесь. В доке работает очень много музыкантов. Новый Орлеан — королева музыки, королева коммерции. — Он фальшиво пропел несколько строк какой-то незнакомой мастеру песни, тягучей, с изломанным ритмом.

— Я хочу открыть музыкальную лавку, — признался мастер. — Я буду аккордеонным Арчиви. — Каннамеле пожал плечами и улыбнулся — у всех свои фантазии. Он и сам когда-то думал основать банк, первый банк для сицилийцев, но потом…

Действительно, по всему городу на тележках замызганных торговцев красовались необыкновенные фрукты; между ночлежкой и пристанью Сильвано насчитал двадцать разных сортов: крупные вишни с кровавым соком, желтые персики, шелковая оранжевая хурма, холмики груш, панамские апельсины, клубника, формой и размером напоминающая сердце Христа. Выпуклые лимоны светились в темноте улиц. Какой-то торговец, поймав голодный взгляд Сильвано, дал ему перезревший банан; он был покрыт черной кожей, а внутри — слабоалкогольная мякоть гниющего плода.

— Эй, *scugnizzo* [10], мать, когда тебя носила, должно быть, мечтала о таком лакомстве. Тебе еще повезло, что у тебя на физиономии нет банановой родинки. — (Четыре года спустя этот разносчик фруктов переехал в Сент-Луис, открыл там фабрику «Американские макароны» и умер с тысячами долларов на счету.) На самом деле у Сильвано была родинка, но на животе и в форме сковородки — причина его постоянного голода.

[10] Примечания: 10
Беспризорник *(ит.)*.

Бананы

Граспо поставил их на разгрузку бананов — огромных зеленых когтистых связок, тяжелых, как камни — невыносимо тяжелых даже для широких плеч и крепких мускулов мастера. За двенадцать часов работы платили полтора доллара. Сильвано, шатаясь, прошел со связкой двадцать футов и упал на колени. Его ноги не выдерживали такой вес. Граспо назначил пятьдесят центов в день за то, чтобы мальчик подбирал выпавшие из связок бананы, давил уродливых тарантулов и мелких змей, которые вываливались, время от времени, из мешков с фруктами. Дрожа от страха, Сильвано цеплял их специальной палкой.

Вдоль реки тянулись несколько миль доков и насыпей, наполненных запахом соленой воды, пряностей, дыма и прелого хлопка. Целые бригады белых и черных людей складывали кипы хлопка в огромные недостроенные пирамиды, другие грузчики снова и снова катили кипы к кораблям, чьи окутанные дымом трубы возвышались неподалеку, словно деревья с обрубленными ветвями. Люди складывали распиленные бревна

двое на двое — полуфабрикаты будущих городов для прерий верхнего течения реки, их останется лишь скрепить гвоздями, — а четверки чернокожих превращали древесные стволы в квадратные брусья. Ниже по реке с креветочных барж выгружали корзины блестящих рачков всех мастей и оттенков. В пещеры складов впихивали все тот же хлопок, бочки с патокой и сахаром, табак, рис, хлопковый жмых, фрукты; обливаясь потом, грузчики закатывали кипы хлопка на специальный двор, где их сжимали в пятисотфунтовые кубы. Всюду, куда ни падал взгляд, кто-то тащил ящик, катил бочку, волок дрова для прожорливых пароходов, каждый из которых на пути от Нового Орлеана до Кеокука заглатывал по пятьсот вязанок. Бригады, катавшие бочки, пели:

Катим, катим, катим!
Все, что для жизни нужно,
Сон и жратва, навались-ка дружно!
Катим, ребята! Катим!

Сквозь адский грохот отчетливо доносился шум коммерции: клацанье копыт, дырявое бормотанье колес по деревянным настилам, обиженный свист машин, шипение пара, стук молотков, крики подрядчиков, музыкальный звон, переклички

рабочих, призывы торговцев «гамбо»[11], раками и слипшимся жареным миндалем, треск дощатых повозок, приглушенные понукания извозчиков, доставлявших на корабли провизию — все это сливалось в монотонный дурманящий гул.

В стороне от суеты важно расхаживали штивщики — короли доков с зарплатой по шесть долларов за день. Выбросив недокуренные сигары, они бригадами по пятеро спускались со своими домкратами в корабельные трюмы — дожидаться грузчиков, которые лебедками поднимали тюки хлопка и по одному опускали вниз. Штивщики хватались за эти тюки, уплотняли, выравнивали, впихивали каким-то образом в невозможно тесное пространство — кривое, с неровными щелями и углами, — время от времени пуская в ход рычаги из досок и свои раздвижные домкраты, — пока трюмы не набивались так, что судно, казалось, вот-вот расколется; при этом груз нужно было еще как следует сбалансировать, чтобы корабль вдруг не перевернулся.

Как-то ранним вечером по докам разнеслась весть: доска, не выдержав напряжения, треснула, и острая щепка впилась в горло черному

---

[11] Примечания: 11
Гамбо — густая похлебка с плодами окры.

штивщику по прозвищу Клад. Услыхав с ближайшего корабля крики, мастер подбежал к уже собравшейся толпе. Замедлив шаг, он смотрел, как из трюма поднимают расслабленное тело и уносят прочь — кровь капает на палубу, сходни, причал.

— Тащи бананы, сукинамагогна! — закричал подрядчик, прогоняя сицилийцев обратно к фруктам.

Лира Аполлона

Воскресным вечером Сильвано болтался по исчерченным комарами улицам, слушал лопотанье американцев и размышлял о том, как бы стащить леденец: вокруг заманчиво кричали уличные зазывалы, предлагая горшки и кастрюли, одежду, лимонад, «*gelati, gelati*» [12], конфеты и кухонную утварь, но остановился он только перед торговцем, продававшем уморительных игрушечных котов из пятнистого олова, которые скрипели, если нажать им на бок; мастер же с Каннамеле отправились сперва в устричный салун «Видже» — там было жарко, дымно, и Каннамеле проглотил четыре дюжины устриц в лимонном соусе — потом в трактир на соседней улице, битком набитый головорезами; там они выпили пива, съели несвежие яйца с жареным сыром и маринованные поросячьи ножки, после которых мастер с тоской вспомнил грубое деревенское *rosso* [13]. Но вдвоем они опустошили достаточное

---

[12] Примечания: 12
Мороженое *(ит.)*.

[13] Примечания: 13
Красное вино *(ит.)*.

количество бутылок, и мастер решил побаловать себя сигарой-торпедой по пятаку за две штуки, из коробки с толстым раджой на крышке. Кривоногий итальянец плачущим голосом пел *«Scrivenno a Mamma»* [14], а допев, зарыдал уже по-настоящему.

— Толку экономить, все равно достанется псам, — воскликнул Каннамеле и махнул рукой, чтобы принесли американское виски.

— Не рви мне сердце, виноградная жаба, — крикнул ирландец.

То в дверь, то из двери таскался Каннамеле по тянувшимся вдоль улицы виски-барам, погребкам, пивным и трактирам; мастер брел за ним, пошатываясь и слушая доносившуюся из каждой двери мерную дробь барабанов, звон банджо, крики, дребезг пианино, вопли скрипок, хриплое нытье труб и других духовых; несколько раз провизжали сумасшедшие пилы струнного квартета. По улицам носились мальчишки, высматривая на земле отвалившиеся подметки и устраивая из-за них драки; белые и черные уличные музыканты сочиняли на ходу куплеты о том, как обидят их прохожие, если забудут бросить

---

[14] Примечания: 14
Письмо Матери *(ит.)*.

вертлявую монетку.

Эй, кривая нога,
Да косой башмак,
Не жалей медяка,
Безголовый дурак.

Из каждой пивной на них выплескивались целые ушаты звуков. Скрежетали по полу стулья, орущая музыка и разговоры переплетались с громогласным хохотом, не прекращалось мельтешение в глубине залов, где в длинный коридор выходили двери комнатушек, и девушки, чья плоть пока еще была свежа, уводили в них посетителей — чирканье спичек, хлопанье карт, звяканье бутылок о стаканы, грохот стульев, глухой топот неторопливых танцоров, медяки, замусоленные бумажки, мусор. Игроки в кости, пьяницы и любители петушиных боев с налипшими на подошвах окровавленными перьями заполняли каждый трактир, и с каждым новым посетителем в дверь врывался уличный гам. Часто случались *faito* [15] с хрюканьем и хрипом, руганью, чавканьем липких тел, криками, затем

[15] Примечания: 15
Драки *(ит.).*

тенор начинал выводить *«O dolce baci…»* [16].

За поясом брюк мастер теперь носил пистолет. Сильвано, раздобыв себе нож с ручкой из оленьего рога и тремя лезвиями, хватался за него всякий раз, когда приближалась подозрительная компания. Этот нож он украл у развалившегося на стуле пьянчужки, и тогда же, обращаясь к подбиравшей объедки одноглазой собаке, произнес свою первую американскую фразу:

— Вали отседова, прибью.

Мастеру не нравилась музыка чернокожих: странная и запутанная, а мелодия, если она была вообще, будто специально спрятана в туго замотанный клубок ритмов. Он с презрением разглядывал их инструменты: рожок, сломанное пианино, скрипку — проволочные кольца струн свисали с деки, как виноградная лоза по утрам, — банджо. Одного игрока он видел в доке: черный, как лошадиное копыто, с повязкой на глазу и решетчатым шрамом от виска до челюсти, отчего половина его лица казалась твердой и бесстрастной. Его звали Полло — как? Цыпленок? — подумал мастер, но, похоже, полное имя этого создания было Аполлон — чья-то

[16] Примечания: 16

О, сладкие поцелуи *(ит.)* — начало арии Каварадосси из оперы Пучини «Тоска».

сардоническая шутка — он лупил по — как это называется? — такая гофрированная штука, что-то знакомое, в яркой деревянной раме; она резко скрежетала, словно пальма с цикадами, — и он пел *«как же так вышло, нет, нет, нет».* Мастеру понадобилось не меньше четверти часа, чтобы вспомнить — стиральная доска, штука, о которую женщины трут белье — и только потом он разглядел на пальце у музыканта металлический наперсток. Несколько минут спустя Полло отложил в сторону ребристую доску, достал из заднего кармана пару ложек и забренчал ими, как кастаньетами. Другой человек, Рыба, принялся скрести ножом по гитарным струнам, издавая вихляющий визг. Что за разлад! Что за кухонный концерт! И слова — мастер не понимал, но догадывался о смысле по развязному тону певца и по низкому, сладострастному смеху. Крутя гитару с расцарапанным днищем, Рыба пел:

На моем столе – миска крови,
Капает кровь на стол
Кто-то зарезал мою корову,
Знаешь, а это не так уж плохо
Вовсе не плохо –
Мне некого больше доить.

Довольно скоро мастер, смутившись, обнаружил, что Каннамеле с ликующим видом усаживает напротив него черную женщину с блудливым взглядом бегающих глаз, и тут же, тычась мокрыми губами мастеру в ухо, говорит, что она приносит удачу.

— Если мужчина воздерживается, он рискует подхватить туберкулез или еще чего похуже. Тело ослабевает. Вперед, нарой угля. — (После этого приключения мастер заработал сифилис, но так никогда об этом и не узнал.)

В сицилийской деревне, у больше не парализованной женщины вдруг зверски зачесался глаз.

Странный инструмент

Через пару недель мастер научился распознавать в докерах музыкантов из трактиров. Он ни разу не слышал аккордеона до тех пор, пока на холме за городом не расположился цыганский табор — с лудильными инструментами, лошадьми и гадалками; двое мужчин там играли на аккордеонах. Цыгане стояли неделю, потом еще одну, месяц, чинили для всей округи горшки и кастрюли. Иногда по ночам прохожие слушали их музыку, медленную и плаксивую, смотрели на мельканье танцующих фигур в расшитых блестками нарядах. Как-то вечером мастер с Каннамеле решили прогуляться до табора — взглянуть, что там происходит. Музыка была неистовой и одновременно тягучей, а танец пятерых мужчин напоминал палочный бой. Мастера интересовали аккордеоны, но он не смог объяснить цыганам, что хочет рассмотреть поближе. Понять их язык было невозможно, и они отворачивались, как только деньги переходили из рук в руки. Настоящие изгои, думал мастер, люди, у которых нет дома, потерялись в этом диком мире. В один прекрасный день они исчезли, оставив

после себя вытоптанную землю.

— Лунные люди, — сказал Каннамеле, моргнув изуродованным глазом. Поначалу мастер опасался приносить свой аккордеон в потный опасный гвалт, где пьяницы устраивали драки, пускали друг другу кровь и переворачивали столы. Он играл только в комнате, которую делил с Сильвано и сорокалетним полуглухим Нове — тот не раз приходил, истекая кровью, после ночной поножовщины, а по ночам просыпался и сипло орал:

— Эй, слушайте! Кто-то стучит! — Но стучало только у Нове в голове, и несколько минут спустя бедняга в мятых, заляпанных грязью обносках уже крепко спал.

По сравнению с ноющим и бьющим по ушам кабацким скрежетом, собственная музыка представлялась мастеру спокойной и очень красивой. Аккордеону не к лицу вульгарность, хотя его болезненный голос, возможно, и вписался бы в стиль — впрочем, это немыслимо: так ослаблять и выгибать ноты. Аккордеону пришлось бы удовлетвориться фоном, не вести мелодию, а лишь аккомпанировать.

И все же, набравшись храбрости, мастер принес в трактир инструмент. Там, как всегда, было шумно. Он сел в одиночестве — буфетчик вечно

жаловался на его «итальянский парфюм», то есть на чесночный запах — и через некоторое время, когда пианист ушел на смену, заиграл. Сперва никто не обращал внимания, но потом, когда мастер запел громким и непривычным для всех голосом, шум вдруг утих, и головы повернулись к нему. Он спел старую песню виноградарей — с выкриками и притопываниями. Однако после двух или трех мелодий трактир зашумел вновь — вопли, смех, разговоры и восклицания заглушили его музыку. Лишь сицилийцы пододвинулись поближе — они изголодались по забытым песням, что вызывали сейчас в памяти аромат тимьяна и звяканье козлиных колокольчиков, они просили сыграть знакомые мелодии, их лица кривила печаль.

Тем же вечером, проложив себе путь сквозь толпу и скаля в улыбке зубы, сжимавшие белую сигару, к ним подошел Полло. Вблизи его кожа оказалась багряно-черной, словно мебель красного дерева. Он указал на аккордеон и что-то произнес.

— Он спрашивает, как это называется, — пояснил Каннамеле и ответил громко, словно разговаривал с глухим. — Аккордеон. Аккордеон.

Чернокожий добавил что-то еще, потянулся за аккордеоном, оглядел его со всех сторон, взял в

руки, прикинул вес, прижал к груди так же, как, он видел, это делал мастер, и осторожно растянул меха. *Аxx. Oxx. Аxx. Oxx.* Затем что-то сказал. Каннамеле засмеялся.

— Говорит, стонет, как женщина. — Полло нагнулся над инструментом, нажал несколько клавиш, отпустил, прислушался к тону, и через пару минут стал пристукивать ногами — аккордеон звучал непривычно, получалось нечто среднее между гортанными криками и аханьем, небольшая импровизированная песня. Каннамеле повизгивал от удовольствия.

— Он мужчина, его песня — это мужчина, он поет для женщины, аккордеон и есть женщина!

Чернокожий затянул опять, аккордеон застонал, а мастер покраснел.

Как тебе – Аxx
Моя птичка – Oxx
Порезвее, детка – Аxx
Аxx – негодник – Oxx.

Яростно ухмыляясь, он вернул аккордеон хозяину.

На следующий день мастер снова увидел чернокожего — Полло в изящной позе сидел на кнехте и курил длинную белую сигару, на ногах у него бы-

ли туфли из Сент-Луиса — башмаки без каблуков с зеркальными пластинками на носках, — лицо сонное, но не совсем: заметив мастера, Полло поймал его взгляд и повел руками, как бы что-то сжимая — то ли играл на аккордеоне, то ли тискал груди какой-то толстухи.

Первый заказ

К началу октября в доки полился хлопковый урожай, и насыпи стали оползать из-за неимоверного количества грузчиков, трудившихся и днем, и ночью. Мастер зарабатывал и даже откладывал — несмотря на экскурсии с Каннамеле. Однажды утром, выходя из ночлежки, они с Сильвано заметили поджидавшего их Полло. Тот что-то спросил, но мастер не понял. Зато понял Сильвано, уже протоптавший себе тропинку в американском языке.

— Он хочет купить у тебя аккордеон. Он даст тебе десять долларов!

Мастер сочувственно улыбнулся.

— Скажи ему, что инструмент не продается. Он мне нужен для показа. Но скажи ему, что я могу сделать такой же. Скажи, это будет стоить тридцать долларов, а не десять. Скажи, что работа займет четыре месяца. — Он уже соображал, что здесь почем.

Полло заговорил, отгибая по одному пальцы со своей длинной светлой ладони. Не то описывал, не то перечислял. Сильвано переводил.

— Он хочет красный — зеленый ему не подхо-

дит. Он хочет, чтобы там было его имя — Аполлон. И чтобы на раздвигающейся части была картинка, «Алиса Адамс» на всех парах.

— Скажи ему, нет ничего проще. Но в субботу пусть принесет пять долларов — задаток и на материалы. — Он был вне себя от радости. Это начало успеха. Вечером он соорудил в комнате небольшой рабочий уголок и достал коробку, простоявшую все это время под кроватью; теперь он вставал перед рассветом — клеил, подгонял, выпиливал и отшкуривал детали; работал ночами, но совсем недолго — столько, сколько мог себе позволить жечь свечу и не спать; он работал и по воскресеньям — ибо в этой безбожной стране все равно не было смысла ходить к мессе — погружаясь в магию тонкого мастерства, как кто-то другой мог бы очаровываться словами заклинаний. Счастье, что у него была комната — многие спали на улицах или в доках, и каждое утро повозки увозили прочь безжизненные тела с вывернутыми карманами и перерезанными глотками — в том числе, детские. Куче народу вокруг приходилось справлять нужду в крапиве.

Он оставил для салунов только субботние вечера, презрев соблазны музыки и черных женщин, сосредоточил свою жизнь на работе, аккордеоне и

коротком сне. Он стал похож на всех итальянцев — тощий, лохматый, с тяжелым пристальным взглядом.

Облава

Как-то ноябрьским вечером к нему зашел Каннамеле:

— Послушай, ты горбатишься, как последний дурак. Заработаешь водянку мозга.

— Мне нужен успех.

Каннамеле покачал головой.

— Сицилиец никогда не найдет здесь успеха, — сказал он. — Для этого надо водить знакомство с определенными людьми и делать определенную работу. Точно тебе говорю. Пойдем, прогуляемся, проветришь мозги. Посмотри на себя, ты похож на придурка. И потом, я ставлю пиво.

— На час, не больше. Приглядеть новых заказчиков.

В «Золотом кинжале» хозяин ночлежки, облокотясь на стойку, слушал крикливую музыку. Мастер сидел с аккордеоном в углу, подбирая минорные аккорды к длинным стонам скрежещущей скрипки и треску тамбурина, когда распахнулась дверь, и в трактир, рассыпая удары дубинок, ворвались полицейские.

— Всем итальянцам, руки вверх, вонючие да-

го[17], все сюда, шевелитесь, ублюдки, а ну, живо, ЖИВО!

Ничего не понимая, мастер таращился на них, как последний дурак, пока его не вытащили из кресла, а аккордеон не упал на пол. Он наклонился, чтобы поднять инструмент, но его рывком разогнули и заломили за спину руки. Перепуганный взгляд нашел чернокожего Полло, скрючившегося у дверей в задний коридор. Их глаза встретились. Чернокожий кивнул, отвел взгляд и исчез в темноте коридора.

На улице полицейские схватили и Сильвано, когда тот бросился к отцу. Выстроив задержанных у стены, американцы обрушили на них залп непонятных вопросов. Молчание мастера, недоуменные пожатия плеч разозлили полицейских, и, найдя у него пистолет, а у Сильвано нож, они тут же втолкнули обоих в группу арестантов с перевязанными длинной веревкой лодыжками и запястьями, а затем, лупя и подталкивая дубинками, повели эту толпу по улице — в загон, в приходскую тюрьму, в клетки, уже набитые сицилийцами и итальянцами.

Преступление было серьезным. Застрелили

---

[17] Примечания: 17

Dago (амер. слэнг, бытует с начала XVIII века) — уничижительное название людей итальянского происхождения.

шефа полиции. Американская патриотическая лига тут же завопила «Итальянцы! Католики!» — очередная кровавая жертва порочной и непрестанной портовой войны одних итальянцев с другими, ирландцев с итальянцами и с чернокожими: смесь языков и красок, ненависть и соперничество разрослись до того, что реки крови и остановки работы давно уже легли несмываемым пятном на доброе имя Нового Орлеана. Американцы, обычно державшиеся подальше от грязных дел чужаков, а также чернокожие, цеплявшиеся за свою нелегкую работу, вместе и вытащили полицейских на улицы.

— Скажите им, — уже в клетке молил мастер человека, который говорил по-американски, — скажите им, что это ошибка. Я ни в чем не виноват. — Его пиджак был обсыпан каким-то белым порошком.

— Вы полагаете, я виноват?

— Нет, нет, но…

Через пару недель выпустили многих, включая Каннамеле, но не мастера, которому ставили в вину подозрительное молчание, странную скрытность и конфискованный пистолет, — и не Сильвано, поскольку он тоже был молчалив, а молчание подразумевало вину. Шли месяцы, на-

двигался декабрь, а несколько дюжин сицилийцев и итальянцев все так же плакали и молились в своих клетках. Это была зона неизвестности. Мастер погрузился в кошмар отчаяния.

— Ах, — восклицал он, — ну зачем я туда пошел. — Он послал записку Каннамеле, чтобы тот забрал у Полло аккордеон и сберег его, но в ответе говорилось, что Полло перебрался выше по реке и теперь работает на лесосплаве, что его вышвырнули с «Алисы Адамс», и что аккордеон он забрал с собой.

Рождественским вечером неизвестно кем присланная пожилая негритянка раздала заключенным апельсины и «лицо старухи», *faccia da veccha* — лепешки с запеченной коркой и уложенными сверху сардинами, сыром и луком. Кто-то прошептал «Арчиви».

— Это справедливая страна, — доверительно сказал мастер, проглотив свой кусок лакомства. — Они скоро поймут, что ошиблись, и нас отпустят. Но другой заключенный, низкорослый мускулистый человек, сбитый крепко, словно ящик, лишь язвительно усмехнулся.

— Американцы так обращаются с башмаками. Приобретают подешевле, таскают не снимая, а когда изнашивают, выбрасывают и идут за но-

выми. Каждый день им привозят целые трюмы этих башмаков. Вы говорите о справедливости и о своем дурацком аккордеоне, но на самом деле вы просто башмак. Дешевый башмак. *Sfortunato*. Несчастный человек.

Да, думал Сильвано.

Страшный сон

Как-то вечером по тюрьме пронесся гвалт, охранники привели новенького, протащили по коридору и затолкали в дальнюю клетку.

— О, Gesu, Gesu, — прошептал Полицци.

— Что? Кто это? — Заключенного с перепачканным лицом и в рваной одежде они видели всего несколько секунд.

— О, Gesu, Gesu.

Шепот перерос в бормотание.

— Арчиви. Арчиви.

Мухи сбились в угол клетки, похожие на шляпки гвоздей.

— Посмотрите, — сказал кто-то, — даже мухи не летают, боятся, что их тоже посадят.

Арчиви кричал из клетки:

— Ваша гнусная Америка — обман и мошенничество. Удача покинула меня. Америка — это страна лжи и горьких разочарований. Она обещает все, но съедает живьем. Я здоровался за руку с Джоном Д. Рокфеллером, но это теперь ничего не значит. — Он говорил по-американски.

Чей-то голос саркастически добавил:

— Chj non ci vuole stare, se ne vada. — Если вам

здесь так не нравится, поезжайте куда-нибудь еще.

Несколько ночей спустя мастеру приснился сон: мясо, сырое мясо, влажные козлиные туши, он видел такие в мясной лавке у себя в поселке — полные тазы красной плоти с прожилками жира, блестящие кости с бордовыми обрезками тканей, сцепленные суставы, темные куски, беспорядочно разбросанные по пролетам огромной лестницы.

Крысиный король

Едва левая нога Пинса коснулась спускавшейся с верхней ступеньки темно-красной ковровой дорожки, из комнаты для завтраков послышалось «дзинь». Вчера он вернулся поздно, почти в час ночи — после недели, проведенной на разрушенной робинсонвилльской дамбе. Сомнений не было: ее специально взорвали те, кого он уволил по истечении контракта; иностранцы, это их манера — приглядеться, подкрасться, выбрать подходящий день и проскользнуть незаметно. А теперь, когда в дамбе зияет брешь, они исчезли. Разрушения, правда, небольшие, тяжелее пришлось долине Язо, но поток ила пойме только во благо. Он твердо знал одно: лучше иметь дело с ниггерами, чем с толпой социалистов-даго, которые вопят про еженедельную плату, устраивают забастовки, и взрывают дамбы, когда не получают, чего хотят. У него горели глаза. Лестница извивалась, словно раковина моллюска, он быстро спустился вниз, держась одной рукой за перила, — и на самом пике виражей с удовольствием ловил в серебряных зеркалах свои мелькающие отражения — потом вошел в фойе,

бросил взгляд на морской пейзаж, пришпиленный к бежевой бумаге: айсберг в каком-то там северном море, — через дверной проем посмотрел на плащи, что повисли на вешалке, словно безголовые фигуры, и с удовольствием опустился в резное кресло неподалеку от хромированной визитницы, головой Адриана[18] таращившейся на бусину дверной ручки. Он заметил в жардиньерке обрывки птичьих перьев — что-то новое — и почувствовал обычное раздражение, взглянув на свою приземистую фигуру в большом зеркале. Зевнул.

Бостонский папоротник на восьмиугольном столике, отражаясь в зеркальном буфете, окрашивал комнату в зеленоватый цвет; Пинс взглянул на дымчатую вардианскую коробку с орхидеями жены, вздохнул, потянулся, зевнул. После утренней уборки чувствовался слабый, чуть горьковатый запах чайных листьев. Стол покрывала скатерть, расшитая виноградными лозами, на ореховом буфете с резными фигурками зайцев и фазанов дожидался серебряный набор — кофейник на медленном огне и бабушкин хрустальный графинчик. Эта комната сильнее

---

[18] Примечания: 18
Адриан — римский император 117-38 г. до н. э.

других отражала экстравагантный характер жены, ее вечное возбуждение, как при сильном туберкулезе — экзотические цветы, мрамор и зеркала, хрусталь, серебро и зелень, бархат. И даже более того — уже несколько месяцев она страдала нервным расстройством; причиной тому был ужасный инцидент: однажды под вечер они вышли погулять, она оперлась на его руку, и вдруг к декоративной птичке, украшавшей поля ее шляпки, спикировала настоящая сова, острые когти разодрали жене голову до самого черепа, хлынула кровь, а птица со шляпкой в когтях унеслась вверх, оставив после себя горячий запах свалявшегося пуха. У стены выстроились детские креслица «Астли-Купер» для хорошей осанки — и мальчики, и девочка слишком сутулились.

Он тронул пальцем чашку, вдохнул аромат цикория и хорошо прожаренного «мартиника», подул на черную жидкость. Слишком горячо. Поставил чашку на стол, большим и указательным пальцами взял рюмку с анисовой настойкой, проглотил одну-две капли. Отражение в овальном стенном зеркале проглотило столько же. Запах илистой дамбы и соленой воды еще держался. Он принялся за кофе. В висках стучало. Еще настойки и еще кофе. «Таймс-Пикайюн» на столе не было.

И это когда он и так пропустил большую часть разбирательства. Пинс жадно следил за процессом, пока не пришлось уехать на разрушенную дамбу. Он побренчал звонком.

— Где газета? — спросил Пинс, хотя газета уже лежала на подносе.

— Несу, са. Сегодня поздно.

Он резко развернул бумагу — на первой полосе только суд: ага, вчера ушло к присяжным — удовлетворенно ткнул вилкой в фаршированные бычьи хвосты, которые из всех в доме любил только он один, и начал есть, подцепляя зубчиками кругляши трюфелей.

Вилка остановилась в воздухе и вновь нырнула в тарелку с золотым ободком. Он придвинул газету поближе к глазам. Сначала ему показалось, что заголовок гласил «Виновны», но — невероятно — там было «Невиновны»!

Нет слов.

Они ошиблись в этих присяжных. Да, уже много лет подряд Новый Орлеан заливало кровью, тошнотворные итальянцы убивали друг друга, это ладно, пускай перережутся все до единого, но теперь они добрались до посторонних, тем более высокопоставленных, а всему виной развращающая жадность банановых торговцев

— банановых торговцев! — он вдруг вспомнил эту отвратительную песенку из мюзикла, который смотрел в Лондоне, «Я вам продам бананчик»: гнойная иностранная коррупция проникла в самое сердце Луизианы. «Черная Рука» убила капитана Хеннесси. Это все известно, известно. Мафия и каморра. Бесконечные разборки с портовыми рабочими, забастовки и бунты штивщиков. Все это внутренние проблемы города, а хуже всего то, что белым и ниггерам разрешили работать вместе — нигде больше, только в Новом Орлеане — половина на половину, сами запутались в своих идиотских правилах, потворство кровосмешению и мятежам. Белые? Иностранцы. Ирландцы и итальянцы. Социалисты. Грязные, больные и опасные подстрекатели, которые не знают своего места. Как, скажите ради бога, эти наши бизнесмены решились везти сюда итальянцев, с чего они взяли, что ими можно заменить бестолковую черноту? О да, поначалу итальянцы работают хорошо, но они жадные и хитрые, думают лишь о том, как бы пролезть повыше. Ниггеры, по крайней мере, знают свое место, знают, что их ждет. Взять хотя бы этого жирного даго Арчиви — как пиявка к горлу, присосался ко всей городской коммерции, — и мало того, что Пинсу

пришлось принимать его у себя в доме, так этот негодяй еще имел наглость разглядывать орхидеи жены, приценяться и ухмыляться. Сделай итальянцу добро, увидишь, что получится. Они опасны. Они заходят слишком далеко. Дашь им палец, откусят руку.

И ничего не предпринималось до тех пор, пока сознательные граждане не вынудили власти арестовать этих итальяшек и посадить в тюрьму — наивное упование на справедливость. Так цинично растоптать доверие к закону. Невиновны! Эти, если их можно так назвать, присяжные со своим оправдательным приговором — последнее свидетельство коррупции на самых верхних уровнях, доказательство того, что все здесь схвачено и куплено итальянцами — эти их продажные адвокаты, любители иностранцев, этот их хваленый закон. Честным людям отвратительна их постыдная трусость.

Глаза его жадно пробежали страницу: рисунок из зала суда, лица итальянских убийц — особенно этот, скулящий, с торчащим зубом, без подбородка — трусливое ничтожество, Политс, Полицци, или как там его, которого пришлось буквально выволакивать из зала суда прямо посреди заседания — жалкого и ревущего — лживый и

беспощадный пахан, он сознался практически во всем и вдруг оправдан? А в правой колонке портреты другой банды преступников — присяжные во главе с еврейским ювелиром — Джейкоб М. Зелигман, еще ухмыляется самодовольно, «у нас были серьезные сомнения». Напечатаны адреса и места работы всех присяжных. Хорошо! Известно, где их искать. И вот репортер задает ключевой вопрос Уильяму Йокаму, крысенышу с блеклой физиономией: «Приходилось ли вам слышать о попытках подкупа кого-либо из участников процесса?» Нет, ни о чем подобном они не слыхали — лживым скользким голосом.

Подкуп? Ну конечно, присяжные куплены — куплены и обласканы, руки испачканы позолоченными итальянскими рукопожатиями, плечи лоснятся от объятий денежных мешков из «Черной Руки» и, естественно, за всем стоят еврейские банкиры.

Он порвал страницу и вернулся к передовице «У НОГ КЛЭЯ[19]». «Ниже мы публикуем объявление… массовый митинг у подножия памятника Клэю… выразить причину… нас вынуждают к действиям… без сомнения убитым итальянцами,

[19] Примечания: 19

Генри Клэй (1777—1852) — американский государственный деятель, Госсекретарь США.

но не итальянцами, как расой… Давайте оставим расовые предрассудки…» Мусор, мусор. Он стал искать объявление, сначала не нашел, но, просмотрев газету еще раз, заметил его прямо под передовицей — видимо, раньше закрывал рукой.

МАССОВЫЙ МИТИНГ!

Все честные граждане приглашаются на митинг в субботу 14 марта в 10 часов утра у Памятника Клэю, чтобы обсудить судебную ошибку в деле Хеннесси. Будьте готовы к действиям.

Будьте готовы к действиям. Куда уж яснее. Ниже, в алфавитном порядке, имена выступающих; его среди них, конечно, нет. Не нужно, чтобы имя Пинс стояло в одном списке с определенными личностями. Глаза его задержались на том месте, где мог бы находиться соответствующий чернильный оттиск. Часы пробили четверть. Улицы, должно быть, полны. Он встал, резко отодвинув кресло. В голове прояснилось. Недоеденные хвосты остались в тарелке.

В прихожей он надел котелок, взглянул на себя в зеркало и принялся перебирать трости в подставке для зонтов, пока не нашел ту, что купил год назад в Англии, перед прогулкой в Озерный

край. Почему он не взял тогда палку черного дерева со свинцовым набалдашником? *Будьте готовы к действиям.* Он потряс тростью, стукнул ящик со стереоскопическими фотографиями, сбросил на пол роман, на обложке которого двое чернокожих держат за лапы аллигатора — вокруг шеи животного обмотана веревка, черные ухмыляются, напрягаясь от тяжести. И достал револьвер.

На полпути к воротам он с такой силой вогнал трость в землю, что металлический наконечник пробил устричную раковину; в этот момент его догнал Джоппо. Конюх остановился, размахивая руками и дергая головой.

— В чем дело? У меня нет времени.

— Са, са, у нас там король в конюшне, большой крысиный король, са, клянусь Иисусом, такой большой.

— А! — Он видел его только раз в жизни, много лет назад, на отцовском хлопковом складе, воплощенный ужас. — Очень большой? — Крысы, как и все паразиты, вызывали в нем тошноту: на годы его детства пришлась вспышка желтой чумы — тогда умерло несколько тысяч человек, умерла его мать; тогда днем и ночью стреляли из пушек, и от грохота трещала голова, прямо на

улицах жгли бочки с дегтем, надеясь зловонными парами остановить распространение заразы, звери и иностранцы удирали, а невидимые семена болезни вырывались из их открытых ртов. До сих пор одно лишь воспоминание об этом неумолимом грохоте вызывало у Пинса острый приступ мигрени и отчаяния, на несколько дней укладывало на диван и погружало во тьму. Он помнил, как у причалов складывали трупы, в стороне от готовых к отправке грузов. Да, отправка в ад, говорил его дедушка, и дождь лился потоком по оконному стеклу, а по желтым улицам катились повозки с мертвецами.

Джоппо дважды взмахнул ладонями — двадцать.

— Которые дохлые, а которые и гнилые.

Прямо по траве Пинс быстро зашагал к конюшне, Джоппо топал сзади, расписывая крысиного короля, как его нашли, как они подцепили его вилами и вытащили из-под пола; должно быть, тяжелый, много их там.

У конюшни уже собралась толпа: конюхи, повариха в перекрученном фартуке, несколько черномазых полковника Содея, видимо пробрались через дырку в живой изгороди — увидав его, все расступились.

Оно лежало в семи или десяти футах от стены, морды тварей вывернуты наружу, хвосты зажаты и перекручены под каким-то немыслимым углом так, что ни одна не могла освободиться. Какие-то крысы уже сдохли, на других видна кровь от того, что их вытаскивали вилами, третьи нагло щелкали бурыми зубами. Он пересчитал их, тыкая палкой в головы: восемнадцать. Почти двадцать. Дурной знак, этот хвостатый клубок; жутко представить, как они пищали и скреблись под его конюшней.

— Прибейте их побыстрее. — Он поспешил на улицу, а за спиной раздавалось щелканье зубов и удары дубинок.

У ног Клэя

Там, где сходятся улицы Канал и Ройял, собрались вокруг памятника Клэю сотни мужчин с тростями и дубинками, а некоторые — с ружьями и пистолетами. Трое стояли на постаменте самой статуи — над уплотнявшейся толпой, над волнами котелков и надвинутых на лбы шляп, над всем этим неспокойным черным озером.

Он разглядел знакомое лицо — Байлз, похожий на оленя со своими рыжеватыми бачками и выдающейся вперед челюстью. Тот поднял трость.

— Пинс! Только подумал, не увижу ли я вас здесь, сэр. Вашего имени не было в газете.

— Да. Я не попал в список — уезжал на разлом дамбы.

— Кажется, что-то настоящее, вы не находите?

— Да, будет дело.

— О, да. Все определилось вчера вечером. Люди, наконец, поняли, что пришло время остановить беспорядки, этот рабочий кошмар. Вспомните, Пинс, прошлогоднюю забастовку штивщиков. У моей сестры тогда осталось в доке пять тысяч тюков хлопка — ни одного свободного дюйма на складе, а корабли уходили пустыми. Потом

дождь. Вы когда-нибудь видели такой дождь? И ни один ублюдок даже не прикоснулся к хлопку. На каждом тюке она потеряла пятнадцать долларов.

Пинс высморкался в льняной платок. Нос раздувало изнутри, в висках стучало.

— Я твержу об этом уже который год. Господствующий класс Америки обязан заявить о себе в полный голос, иначе потеряет все. Нас обгоняют европейские полукровки. Говорю вам, этот наплыв иммигрантов — в некоторых кварталах, я слышал, поговаривают, что за ними стоит сам Папа, — все это вместе — секретная и массированная акция по обращению страны в католицизм. Моя жена — католичка, но тем не менее, я начинаю подозревать, что в слухах есть доля истины.

— Вы бы видели, что творилось вчера в Даготауне — настоящая демонстрация: двадцать святых, флаги, музыка и песни, свечи, парад. Все пьяные. Они думают, что выкрутились, понимаете?

Какой-то человек, крича и жестикулируя, прокладывал себе путь сквозь поблескивавшую ружейными дулами толпу. Трое на постаменте, под бронзоволиким Клэем, оглядывали собравшихся и ждали начала митинга. Один поднял руку, призывая к тишине. Потом заговорил, и

голос крепчал по мере того, как он описывал вероломство судей и злостные махинации итальянцев.

— …был благородным человеком. Никто в этой стране так не знал итальянских головорезов, никто с таким мужеством не боролся против даго из «каморры».

Байлз хихикнул и шепнул Пинсу в ухо:

— …и никто так не тянул руки за даговскими деньжатами. — Черный каштан его глаза сверкнул.

— Все ли готовы посмотреть в глаза убийцам этого смельчака?

Толстобрюхий человек в мятом черном костюме взобрался на несколько ступенек к пьедесталу и заорал:

— Повесим даго! Перевешать этих вонючих убийц!

— Кто это? — спросил Пинс.

— Не знаю. Народ уже готов.

Троица, спустившись вниз, двинулась в сторону Конго-сквер и приходской тюрьмы. Толпа катилась вперед, громыхая, словно гигантский механизм. У полуоткрытых окон выстроились проститутки. Перед самой площадью к толпе прибились черные оборванцы. Стучали палки, и

кто-то пиликал на скрипке.

— Скоро вы увидите другие танцы, а не только «свиное рыло»! Вперед, ниггеры!

Добравшись до тюрьмы, поток растекся перед стальной дверью главного входа, напор угас, все громко проклинали свои маломощные ломы и кувалды. Несколько минут спустя по флангам толпы пробежала недовольная волна.

— На Трим-стрит деревянная дверь, — крикнул кто-то. И тут же масса людей, белых и черных, отхлынула от главных ворот и, подобрав по пути железнодорожную шпалу, словно вязкая человеческая лава, потекла к Трим-стрит.

Десять или двенадцать человек, ухватившись за шпалу, стали таранить дверь, толпа сопровождала каждый удар громким ахом. АХ АХ АХ.

Разгром

Тюремный надзиратель остановил взгляд на Фрэнке Арчиви. Пропитанное виски дыхание ходило волной.

— Они уже здесь. Дверь не выдержит. Прячьтесь. Куда угодно во всей тюрьме — лучше в женском отделении, наверх!

— Ради Христа, ради всего святого, дайте нам оружие! — Лицо Арчиви напоминало цветом холодное сало.

— Не могу.

Доски у дверных петель затрещали.

Кто-то ринулся наверх, в женское отделение. Сильвано бросился в пустую клетку и забрался под матрас. Растянулся плашмя на голых досках. В глазах плыло, спина непроизвольно выгибалась. Он застыл от страха и не удержал мочевой пузырь.

На улице громадный чернокожий тащил к дубовой двери булыжник. Он стукнул им по замку. Металл треснул, дверь распахнулась, и страшный рев пронесся по толпе. Она выплеснулась на лестницу, Пинс бежал в первых рядах, стуча по ступенькам тростью.

Охранник кричал им вслед дрожащим от возбуждения голосом:

— Третий этаж. Они на женском этаже.

Сотня человек, грохоча, неслась вверх: ступени трещали и стонали под их тяжелым топотом, а заключенные сбежали по черной лестнице во двор. Ворота оказались заперты. За ними — улица. Они смотрели на эту улицу, запруженную людьми. Возбужденные американцы с радостными воплями вывалились во двор, а сицилийцы, сцепившись руками и сжавшись в кучу, забились в угол. Мастер видел наступавших с неправдоподобной четкостью: порванная нитка на плаще, забрызганные грязью брючины, деревянная цепь в огромной руке, багровый блеск налитых кровью лиц, у одного разноцветные глаза — голубой и желтый. Но даже тогда он еще надеялся уцелеть. Он же ни в чем не виноват!

Пинс держал револьвер в опущенной руке — палку он потерял еще на лестнице, в давке — и смотрел на сгрудившихся в углу сицилийцев: нечестивые глаза сверкают, кто-то молится, кто-то просит пощады — трусы! Он вспомнил о крысином короле, выстрелил. Другие тоже.

Огневой вал всех сортов и калибров разорвал сицилийцев. Мастер два раза дернулся и упал

на спину.

Лекарство от головной боли

Толпе у дверей на Трим-стрит достался Полицци — неподвижный и окровавленный, слюна каскадом лилась по скошенному подбородку, он все еще дышал. Его подбросили в воздух, потом другие руки поймали и подбросили опять — словно корабль, он плыл над их головами до границы квартала: толпа играла — кто выше, — соревновалась в искусстве подхвата до тех пор, пока у поворота на улицу святой Анны кто-то не привязал к фонарному столбу веревку и не набросил петлю на шею Полицци.

Раздался крик:

— Отмерь тринадцать локтей, а то удачи не будет! — Выше, выше, вопли и одобрительные возгласы тащили обвисшую фигуру наверх не хуже пеньковой веревки. Тело завертелось, но вдруг — чудо — нога повешенного дернулась, костлявые руки поднялись и ухватились за веревку; оживший Полицци стал карабкаться вверх, перехват за перехватом — к кронштейну с лампой. По толпе пронесся вздох ужаса.

— Мой бог! — воскликнул Байлз. Кто-то выстрелил, следом толпа, хохоча, заспорила, кто попадет

в глаз, и отстрелят ли Полицци его длинный нос. Руки повисли, теперь навсегда.

— С меня довольно, — сказал Байлз, — такие номера не для моего желудка. Но что-то же надо было делать. — Он рыгнул и торопливо извинился.

— Пойдемте, — сказал Пинс, подхватывая друга под локоть и направляясь к улице, которую оба хорошо помнили. — Я знаю, что вам нужно. Мы выполнили свой долг. — Голова у него теперь болела гораздо меньше. В баре хлопковой гильдии он скомандовал Куперу:

— Два «сазерака». — Тяжелые стаканы они опустошили одновременно, словно эта золотистая жидкость была простой водой, Байлз тут же щелкнул пальцами, требуя новой порции, затем повернулся к Пинсу, достал кожаный футляр с гаванскими *oscuro* [20], одну протянул другу, другую взял себе. Головка сигары тут же намокла в его красных губах, длинным ногтем правого мизинца, отпущенным специально для таких манипуляций, он надрезал рубашку и наклонился над протянутой Купером горящей спичкой.

— Мы открываем торговую компанию, — ска-

---

[20] Примечания: 20
Темные *(исп.)*.

зал Байлз. — Вместе с джентльменом, которого вы хорошо знаете. Ваше имя упоминалось. Мы хотели бы назвать ее «Фрукты полушария».

Инспекция

Толпа прокатилась по всей тюрьме, попинала Арчиви, истекавшего кровью и сжимавшего в неподвижной руке булаву, которую он раздобыл где-то в самый последний момент.

Охранник нашел под матрацем Сильвано и за волосы выволок в коридор — там, словно в лавке мясника, были выставлены напоказ трупы итальянцев. С улицы неслась победная музыка: рожок и слюнявая губная гармошка, из которой кто-то выдувал тягучие аккорды, всякий раз громко вскрикивая, прежде чем приложиться к отверстиям — *ух!* аккорд *ах!* аккорд *ух!* аккорд — все та же треснувшая скрипка и хриплый барабан. Изувеченный отец Сильвано — *sfortunato*! — лежал на спине, окровавленная голова прижата к стенке, подбородок упирается в грудь. Руки в изодранном плаще раскинуты в стороны, будто он взывает к кому-то. Брюки задрались до колен, ступни разведены наружу, изношенные подошвы выставлены напоказ. Насмотревшись на отчаянное лицо Сильвано и, видимо, удовлетворившись его горем, охранник втолкнул мальчика в кабинет смотрителя,

битком набитый американцами, которые тут же сгрудились вокруг, стали кричать в лицо, требовать ответа, требовать, чтобы он рассказал, как его отец убивал их шефа. Один за другим, они сильными ударами сбрасывали Сильвано со стула. Потом кто-нибудь хватал его за ухо и заставлял подняться.

— Говори, он сидел в засаде, да? и стрелял? — Они еще долго били и терзали, потом кто-то ткнул ему в губу зажженной сигаретой. Неожиданно раздался крик «деру», все вдруг разбежались, и охранник, ни слова не говоря, вытолкал Сильвано на улицу.

(Десятилетия спустя, правнук этого охранника, умный и привлекательный молодой человек поступил на первый курс медицинского факультета; в качестве донора спермы он участвовал в программе искусственного оплодотворения и породил на свет более семидесяти детей, воспитанных другими мужчинами. Денег за свой вклад он не взял.)

Боб Джо

Скрючившись, он сидел на пристани и боялся пошевелиться; рядом и до самого неба, словно брызги черной краски, сновали комары; где-то вдалеке закручивались яркие ленты молний. Горло саднило от сдавленных рыданий. В левом ухе стоял режущий звон. Безнадежность заполняла его, как заполняют концертный зал звуки органа. Из темных углублений донесся не то свист, не то потрескивание, словно кто-то раскрутил праздничную свистульку, и он закрыл голову руками, уверенный, что сейчас придут американцы и на этот раз его убьют. Он ждал их — с пистолетами и веревками, но никого не было. Свист затих и начался дождь; тяжелые, как монеты, капли, барабаня, сливались в тропический ливень, теплый, словно кровь. Он встал и побрел к складским корпусам. По камням неслись потоки воды. Свою мать он считал парализованной, отец был мертв, поселок в невозможной дали, сестры и тетушки навсегда потеряны, и сам он без единого пенни в этом диком враждебном мире. Теперь он презирал погибшего отца. В груди копилась тяжесть — красный камень ненави-

сти обратился не на американцев, а на глупого, слабого отца-сицилийца, который не научился жить по-американски и позволил себя убить. Он шел вдоль реки, в тени складов, мимо пароходов и грузовых судов, плоскодонных барж, на запах рыбы и мокрого дерева.

Несколько рыбачьих лодок были привязаны к доку, другие ползли по реке в ста милях от берега. Кто-то снова и снова насвистывал одни и те же три ноты, грубый сицилийский голос кричал, что его тошнит, два пьяных американца осыпали друг друга проклятиями. На одной лодке было тихо — не считая храпа, приглушенного и булькающего. Надпись на борту: «Звезда Техаса». Он забрался на палубу, свернулся в комок за грудой вонючих корзин и натянул на голову рубаху, спасаясь от комаров.

— Боб Джо, — тихо сказал он по-американски, разогревая свою ненависть к сицилийцам. — Меня зовет Боб Джо. Я работаю на вас, пожалуйста.

Выше по реке

В ста милях выше по реке, на палубе привязанной на ночь дровяной баржи сидел Полло и поглядывал на проходившие мимо пароходы — вдруг у кого кончается топливо, можно крикнуть кочегару: «Кому — дрова, дрова — кому?» — а пока тискал зеленый аккордеон, напевая что-то вроде:

Я слышал, как трубит моя Алиса,

Я слышал, как трубит моя Алиса,

Она трубила, как труба, когда я лез на борт.

Рыба скреб лезвием финского ножа по гитарным струнам, разливая серебристые подводные звуки, иногда хлопком убивал комара, но думал он о том, что — эге, сидим на этой шаланде вместо «Алисы Адамс», а все потому, что Полло натворил дел, но я-то тут при чем. Мерцающий свет костра, который они развели на берегу, отражался красным в металлических глазах аккордеона.

— Бренчишь ты, как дурак, — сказал Полло. Рыба ничего не ответил, только хмыкнул.

Но в пепельном свете приближавшегося восхода Рыба навалился на Полло и всадил ему между ребер пять дюймов остро отточенной стали. Срезал с шеи мешочек с золотыми монетами и перекинул за борт содрогающееся тело. Под нежно-фиолетовым, словно внутренность устричной раковины, небом, он отчалил от берега и, оттолкнувшись шестом, двинулся вверх по ленивому течению, увозя с собой аккордеон.

ОПЕРАЦИЯ С КОЗЛИНОЙ ЖЕЛЕЗОЙ



Клубный аккордеон

Прэнк

Городок строили и покидали дважды: в первый раз после пожара, во второй его опустошила холера и страшная зима, а несколько лет спустя появились три германца — сажать кукурузу вдоль реки Литтл-Рант. По счастливой случайности этот плодородный кусок прерии лежал невозделанным в то время, когда все хорошие земли среднего запада обрабатывали уже несколько поколений фермеров.

Прибыв на место, германцы — вюртембержец, саксонец и кенигсбержец, последний стал германцем уже в Америке — обнаружили четыре или пять полуразвалившихся контор, пятьдесят футов тротуара и забитую мусором общественную водокачку у подножия холма, за салунным клозетом. Иссушающая летняя жара и хлесткие ветры прерий так долго вгоняли в обшивку гвозди, что вагонка перекорежилась, ощетинившись острыми краями.

Они явились поодиночке, не знакомые друг с другом, в один и тот же день поздней весной 1893 года. Людвиг Мессермахер, сын германо-русских эмигрантов, променявших свои степи на такие

же, но в Северной Дакоте, привязал лошадь с пятном на заду к непрочной ограде — лошадь была куплена, хотя он об этом не знал, в округе Пэйлоуз у нез-персэ[21] по имени Билл Рой и досталась сперва странствующему зубодеру, затем виртуозу-налетчику из Монтаны, потом уполномоченному по делам индейцев из резервации Розбад и дальше целой череде пастухов и фермеров — она ни у кого не задерживаясь надолго из-за привычки лягаться, от которой ее отучил только Мессермахер. (Деду Билла Роя как-то довелось охотиться, прячась за крупом далекого предка этой самой лошади — тогда с помощью треснутого рога горного барана и единственной стрелы он завалил бизониху и трусившего рядом с ней теленка.)

Мессермахер ходил по искореженному тротуару, заглядывал сквозь разбитые окна в дома. Худой и жилистый, он знал толк в фермерстве и плотницком деле. Его смуглое лицо было абсолютно плоским, словно в детстве на него наступила корова, а безгубый рот, прикрытый, будто соломой, горчичного цвета усами, огибали тонкие, словно трещины на льду, линии. Более

[21] Примечания: 21

Нез-персэ — индейское племя, обитавшее в центре современного штата Айдахо, на северо-востоке Орегона и юго-востоке Вашингтона.

темная борода свисала с подбородка, как спутанная пряжа. Он приехал сюда вдоль реки, берега которой опирались на поросшие ивняком отмели, выше поднимались дикая рожь и просо. Спал он под тополями, разжигал небольшой костерок из разбросанного по земле хвороста, иногда прочным немецким башмаком выворачивал из земли стрелолисты. Все его имущество умещалось в двух мешка из-под зерна.

Час спустя появился Ганс Бетль — на подскакивающей телеге, прищелкивая языком и напевая песни своей кобыле. На его худощавом лице остро торчали высокие скулы, мяса на щеках не было. Из-за низкого сагиттального гребня брови нависали над бледными радужками, придавая лицу напряженный вид. Тупой нос, круглые уши и жесткие волосы цвета железняка были совсем обычными, но изгиб рта, слегка выпяченные и словно готовые к поцелую губы, глубокий грубый голос — молоко с песком — всегда привлекали внимание. Он был силен и широк в плечах, с крупными запястьями. В Баварии работал помощником мельника, славился музыкальным даром, однако после ссоры с хозяином, когда последнего нашли бездыханным в заполненном на четверть мешке с мукой, Бетль сбежал в Америку,

пообещав при первой же возможности вызвать к себе жену Герти с новорожденным Перси Клодом. Он так и не решил, повезло ему или нет, когда за двадцать долларов в месяц его взяли играть на корнете в бродячий итальянский оркестр. В Чикаго дирижер сломал зуб о кусок ореховой скорлупы, попавшейся в восхитительной помадке, которой его угостила молодая крестьянка в перепачканном платье. Зуб пульсировал от боли. Дирижер взялся прокалывать раздувшуюся десну перочинным ножом и получил скоротечное гнилокровие. Он умер в грязной комнате, не заплатив за аренду; музыканты остались одни. Бетлю к тому времени осточертели трясущиеся поезда, потные толпы, итальянская музыка и эмоции. На вокзале ему попалось объявление о бесплатной земле на реке Литтл-Рант. Раз уж они дают по четверти акра всем желающим, то пусть дадут и ему. Говорят, крестьянская жизнь полезна.

Перед закатом появился третий германец, Вильям Лотц — на визжащем велосипеде, пыхтя и глодая хлебную корку. Вечерний свет заливал улицу, словно театральные подмостки. Увидав двоих незнакомцев, палками чертивших что-то на земле, Лотц остановился на другом конце

заросшей травой дороги. Воздух дрожал. Эти двое неожиданно выпрямились и посмотрели на него.

Из своей прежней страны он приехал еще ребенком и поселился на ферме у дядюшки, на северном берегу озера Гурон; с самого дальнего поля там можно было иногда заметить дым торопящегося на запад парохода. В доме у дядюшки говорили по-английски.

Лотц был смышлен и прижимист, худ, как мотыга, с круглой, словно булыжник, головой, темными курчавыми волосами, надутыми щеками и маленькими косоватыми глазками. Он был добродушен — из тех людей, что никогда не кричат даже на лошадь. Двенадцать дядюшкиных сыновей и слушать не хотели о том, чтобы часть фермы когда-нибудь перешла к кузену, и в конце концов он ушел от них, загоревшись объявленной в дядюшкиной фермерской газете бесплатной раздачей земли. Он купил билет на «Сильный» — пароход, отправлявшийся по Великим Озерам в Чикаго. Тот вез бочки с сахаром и три сотни пассажиров: индейскую семью из Корте д'Ореллес[22], группу молодых польских

---

[22] Примечания: 22
Корте д'Ореллес — индейская резервация.

рабочих, с воодушевлением направлявшуюся на мясоконсервные заводы, двух норвежских пасторов, ирландского железнодорожника и три белокурых русских семейства, плывших в Дакоту. В Сент-Игнасе они остановились, чтобы взять еще пассажиров. Дул сильный ветер. Белые цветочные лепестки из окрестных садов опускались на палубу и темную воду. На борт взобрались голландские эмигранты в деревянных башмаках — их путь лежал к утопической Индиане — и разбрелись по заполненной людьми палубе, но еще больше народу осталось стоять на пристани, выкрикивая приветы и послания родне.

В половине второго ночи, под полной холодной луной «Сильный» наткнулся на необозначенный на карте риф и разломился пополам. Нос почти сразу затонул, но корма еще держалась на воде, полная огня, который охватил и бочки с сахаром. Лунный свет падал на катившиеся мимо волны и мокрые лица тонущих пассажиров, на шести языках кричавших о помощи. Лотца выбросило на берег вместе с молодой голландкой — вдвоем они цеплялись за сосновое изголовье капитанской кровати. Пока доска погружалась и всплывала, Лотц мысленно изобретал спасательную машину — прямоугольную деревянную раму на надувной

резиновой подушке для плавучести, задний винт приводится в движение ручным кривошипом, другой, педальный винт под ногами; еще должна быть мачта с небольшим парусом, свисток, привязанный к тросовому талрепу, сигнальный флаг и даже фонарь. Но как зажигать фонарь? Он ломал над этим голову, пока волны не выбросили их на песчаные буруны. Помог дрожащей и задыхающейся женщине встать на ноги, и они двинулись в сторону зеленого дома с трубой и дымом. Вокруг, на мокром песке, валялись деревянные башмаки утонувших голландцев, а из леса, привлеченный запахом горелого сахара, вдруг появился медведь и замер, держа нос по ветру.

Совпадение

Мессермахер и Бетль, кивнув, подозвали Лотца. Теперь они стояли втроем на искореженном тротуаре и разговаривали на смеси немецкого и американского — оценивали друг друга, находили сходство и пытались как-то объяснить странное совпадение, приведшее их в один и тот же день в эту высокую траву. Они были ровесниками — двадцать восемь лет — а их дни рождения разделялись считанными неделями.

— Как братья!

— Неразлучная троица!

— *Aller guten Dinge sind drei!* [23]

Бетля распирало от смеха, как туго набитый матрас.

— Только не как те мужики, что отправились в горы за золотом, два старателя — друзья-товарищи навек. Перед этим они закупили в продуктовой лавке провизию и все, что нужно. Баб в горах нет, так что взяли заодно и любовные доски. Это такая специальная сосновая доска с дыркой от сучка, к ней еще прибивают кусочек меха. — Он

---

[23] Примечания: 23

Все хорошее собирается по трое *(нем.)*.

подмигнул. — Ну вот, а через год с гор вернулся только один изыскатель. «Где же твой друг?» — спрашивает торговец. И тот и говорит… — Когда Бетль закончил историю, Мессермахер рассмеялся, а Лотц поджал губы.

У реки, в зарослях колючего дуба они разбили лагерь; после заката пламя прорывалось сквозь угли, они курили сигары «Западная Пчела», которые пускал по кругу Лотц, и разговаривали, пока листва не растворилась в темноте, и сон не приглушил их голоса.

Утром они пробирались сквозь заросли: бобровик и индийскую траву, ковыль и лисий ячмень, усыпанный птичьими лапками фиалок, бутончики земляники и многоцветные розаны, полевые гвоздики, тростянку и шпорник — они промокли от росы, штанины затвердели от желтой пыльцы, а подошвы оттягивали благоухающие зеленые подушки. Германцы обогнули огромную, поросшую болотной травой трясину — острые, зазубренные листья резались, как ножи.

— Зато хорошее топливо, — сказал Лотц. — Скрутить их как следует, и можно жечь.

Мессермахер был озабочен поисками глины — дайте мне хорошую глиняную яму, говорил он, и я покажу вам, как надо строить лучшие в

мире дома. Они спотыкались о бизоньи кости и бросали взгляды в прерию — переливчатое волнующееся море. Показывали друг другу острова и архипелаги колючего дуба, утес черного ореха, тополя, вязы и ясени у речных берегов. Лотц сорвал какое-то хилое растение с пучком розовых цветков.

— Только не это! Отрава для скота. Ядовитая квамассия. У моего дяди росла. — Он стал искать другие такие же растения, но ни одного не нашел.

— Вот здесь, *Tiefland* [24], — сказал Мессермахер.

Судьба бросала на них венки птичьих трелей: двойные булькающие ноты жаворонков, ржавые крики полевых дроздов — *кисс-хи, кисс-хи, кисс-хи* — и следом *жап-жап-жап, клип-клип* кардиналов, щелкающие рулады и чистые меланхоличные звуки, скользящий переливающийся свист, сладкий щебет, треск, мурлыканье и жужжание прорывалось сквозь лазуритовые хлопки ароматного воздуха — словно длинная шелковая лента, прошитая металлическими нитями. Когда на берегу Литтл-Рант они нашли отмель со скользкой голубой глиной, Мессермахер сказал, что

---

[24] Примечания: 24
В низине *(нем.)*.

ими руководит высшая сила, и стянул с головы рваную шляпу. Затем уронил бороду на грудь и прочел молитву.

Лотц предложил назвать поселение «Трио».

– *Nein, nein,* нет, — воскликнул Бетль, придерживая шляпу костлявой рукой. — Это *Pranken* [25], это наши когти построят фермы и город. Пусть в имени отразится дело наших рук. — Из всех троих он был самым эмоциональным, самым заводным и чувствительным. Плакал от простого минорного аккорда. Он был самоучкой, собирал книги и вечно носился с какими-то фактами и их толкованиями.

— Ладно, пусть будет *Pranken*, — сказал Мессермахер, было заметно, что идея пришлась ему по душе, но когда они стали заполнять бумаги в деревенском присутствии, слово записали как Прэнк.

— Если бы мы назвали его *Hande*, — сказал Лотц, — они превратили бы его в Хэнд, Рука, тоже неплохое имя. Но Прэнк? Розыгрыш. Место, где ты живешь, становится розыгрышем из-за путаницы в языках! — С тех по каждый год он подавал ходатайства, предлагая переименовать городок в

---

[25] Примечания: 25
Когти, лапы *(нем.)*.

Снежный, Кукурузник, Парадиз, Красные Груши, Росистый, Антенвилль и Яркоглаз. (Позже в его вариантах появилась горечь: Забытый, Бурьянтаун, Ад, Недовилль, Вонь.)

Полька в конторе пиломатериалов

Времени не было. Земля требовала вспашки, а сезон заканчивался. Три германца гоняли себя без всякой жалости, спали в одежде, ели во сне и поднимались затемно, когда единственным признаком наступающего дня был свежий запах сырой земли. Пошатываясь, в перепачканных комбинезонах, они шли понукать лошадей, пахать и боронить, сажать кукурузу и пшеницу, отгонять птиц от набухших проросших зерен. Один из своих дорожных мешков Мессермахер превратил в сеялку: заполнил на четверть озимой пшеницей, привязал ремнем к груди так, что мешок был широко раскрыт, но защищен, и можно было разбрасывать семена даже на ветру. Пшеницы поменьше, сказал Бетль, где-то вычитавший, что этим краям суждена кукуруза, на кукурузе выросла цивилизация. Лотц кивнул. Нужно было успеть построить хотя бы землянки.

— Если я не привезу сюда свою бабу, вам, мужики, лучше спать с топорами, — сказал Бетль, почесывая пах и постанывая от притворной страсти. Лица всех троих потемнели от солнца, от шляп на лбах появились страшноватые бе-

лые полосы; тела в заскорузлых комбинезонах были гибкими и сильными, взгляд — острым, а будущее — блестящим. Работали они с энергией настоящих маньяков. Возможным казалось все.

Раз за разом они отправлялись в Кеокук: сперва — забрать женщин и детей, затем коров и семь фунтов кофе для Мессермахера, потом лес для домов и сараев — южную сосну для них везли из Луизианы через Канзас-Сити. Туда-сюда гоняли они бетлевскую телегу, доставляя в Прэнк очередную порцию желтых смоленых досок, и тут же отправлялись за следующей.

— Если хотите, чтобы гвозди держались крепко, берите желтую сосну, никогда не разойдется, — говорил Мессермахер, знавший толк в дереве и столярном ремесле.

Лотц заказал дюжину досок из болотного кипариса, но никому не сказал зачем, пока у него наконец не выпытали, что это для ящика.

— Они ведь не гниют, свежие и твердые, хоть сто лет простоят. Надо думать и о будущем тоже.

— Вот это правильно. А то вдруг на следующий год гробы подорожают, — сказал Бетль. — Тебе ж целых двадцать восемь лет.

В конторе пиломатериалов Бетль отсчитал деньги. Потом обвел взглядом знакомую комнату:

заляпанную меловую доску, пыльные стенные часы, счеты, отполированные до блеска пиджачными рукавами и густо позолоченный сейф, весь в следах от пальцев. На сейфе, в меховой опушке пыли, стоял зеленый кнопочный аккордеон.

— Твой инструмент? — спросил он клерка. Американца.

— Не-а. Это один ниггер в прошлом году оставил мистеру Бейли — приплыл на лодке, говорит — помираю с голода. Сам играть не мог, рука-то у него поломана. Помнится, мистер Бейли что-то дал ему из жалости: жри, говорит, и проваливай, плыви себе дальше.

Бетль снял с сейфа аккордеон, взял на пробу скрипучий аккорд, и вдруг контора заполнилась громкими звуками разудалой польки. От растянутых мехов во все стороны летела пыль. Два других германца застыли с раскрытыми ртами.

— Ганс, — сказал Мессермахер, — это восхитительно. Как у тебя так получается? Эта музыка делает меня счастливым.

— Неплохо, — сказал Бетль, — Хороший звук, легкие кнопки. Сколько мистер Бейли за него хочет?

— Незна. Его сейчас нет. — Клерку пришло в голову, что хорошо бы самому поиграть на ин-

струменте. Наверняка нетрудно, раз получается даже у германцев.

— Спроси. Я сентябре приеду за новыми досками. Скажи ему: захочет продать инструмент, так я куплю. Коль не слишком дорого, как сказал одной шлюхе мужик с пятаком в кармане.

Новые дома и женщины

Все лето они возились с землей и стучали молотками, возводили стены и заборы, шагами отмеряли поля под кукурузу, овес и траву. Все трое были крепки и жилисты, будто изгородь из орешника. Посевы росли, как ненормальные. На одном участке Герти посадила черные семена, формой и размером похожие на тыквенные, — ей дали на пробу в земельной конторе, арбузы — так они их назвали.

— *Raus* [26]*! Raus!* — кричал на детей Бетль темным утром каждого из убывающих дней, поднимал их с шуршащих сухой травой подушек и тут же распределял работу — по дому и в поле. Женщины — все, кроме Герти — потея от напряжения, лепили из глины кирпичи, сгребали траву, перегной из древесной плесени, кормили скотину, работали в поле и присматривали за совсем маленькими детьми, привязав к их рубашкам колокольчики; мужчины стучали молотками, пока можно было хоть что-то рассмотреть — вслепую в темноте они клали

---

[26] Примечания: 26
Шевелись *(нем.)*.

кирпичи и *batser* между вертикальными распорками, подчиняясь командам Мессермахера: вот так, вот сюда. Герти трудилась наравне с ними, размахивая молотком и распевая песни.

Когда арбузы выросли до размера детской головы, женщины испекли их, но эту зеленую кашу не смог есть никто — ни дети, ни коровы. В середине августа убрали в стога второй покос, и Лотц разбросал между кукурузными рядами семена ржи, чтобы весной перепахать. Другие смеялись: в таком плотном суглинке это была пустая трата времени.

В конце сентября они перебрались из земляных избушек в маленькие, но крепкие дома, ровно обмазанные глиной, с толстыми стенами и печными трубами из того же, самого прочного кирпича. Всю зиму жена Мессермахера по специальному трафарету рисовала под потолком узор из красных цветов с острыми лепестками, чем снискала бурные одобрения беспалой индейской женщины, явившейся однажды утром выменивать на что придется корзинку змеевидного кирказона. Земляные избушки превратили в сараи, а на будущий год, сказал Мессермахер, они достроят дома и сараи тоже поставят новые. Герти ходила с детьми по высокой траве, наступая

босыми ногами на бизоньи кости (в конце лета приехал на телеге человек и заплатил им за эти кости денег — он отправил их на восток, перемалывать в удобрения), они ели плоды шиповника, наслаждаясь мимолетной сладостью. У старшего сына Бетлей, Вида, открылся настоящий талант отыскивать гнезда полевых жаворонков.

Зеленый аккордеон

— Вы только посмотрите. Четыре месяца назад мы ходили по голой земле. А теперь здесь стоят три фермы.

Перед уборкой кукурузы Бетль отправился на древесный склад Кеокука забрать доски для обшивки курятника. Аккордеон так и стоял на сейфе.

— Так сколько за него хочет мистер Бейли?

Клерк состроил кислую мину.

— Мистер Бейли не хочет за него ничего. Мистера Бейли забрал к себе Создатель. Видите эти доски, которые вы сложили к себе в повозку? Они свалились на него. Эти и другие. Их неправильно уложили. На этих досках его кровь и мозги. Вон, видите, с краю. Они проломили ему голову, раздавили, как клопа. Сам виноват. Брал всех подряд: бродяг, макаронников, пшеков, немчуру, венгров. Он грузил телегу какому-то оборванцу, потянул верхнюю доску, вот тут оно все на него и свалилось. Только и успел, что взвизгнуть — будто топор точат. Я потом целый час стаскивал с него доски. Так что, думаю, теперь мне надо назначать цену за этот проклятый писклявый

ящик. Не знаю, что вы, германцы, в нем нашли. Верещит, как мистер Бейли под досками. Один доллар. Наличкой.

Фотография на память

В новом, еще пахнущем южной сосной доме Бетль играл на аккордеоне; смолистый запах вызывал из памяти свист ветра в иголках, стрекот цикад.

— Вы только посмотрите. Какой красивый цвет. — Он растягивал меха, брал долгий аккорд. — И голос хорош. — Его собственный сахарный тенор набирал высоту, старая немецкая песня плыла над кухней, дети под столом подкладывали соломинки под пристукивающие пальцы, женщины утирали слезы.

— Да, хорош аккордеончик, — важно проговорил Бетль, закуривая свою изогнутую трубку. — Но я бы предпочел добрый немецкий «Хенер». Посильнее будет. Мессермахер барабанил по стиральному корыту, а Лотц дул сквозь бумажку в гребень, пока не онемели губы.

— Теперь у нас есть все, — заявил Лотц.

— Нет, — возразил Бетль, почесывая палец ноги. — Нужна туба. И *Bierstube* [27]. Я все вспоминаю одно место: под деревьями стулья и маленькие

---

[27] Примечания: 27
Пивнушка *(нем.)*.

столики, скатерти в красно-белую клетку, птички собирают крошки, люди отдыхают с кружками доброго лагера — ох, как я тоскую без пива герра Грюндига, его лагер был как хорошее вино. Немного музыки, аккордеон, вот послушайте. — Он растянул меха и взял несколько аккордов из *«Schöne Mähderin»* [28]. — Дети притихли, пожилые дамы, помнится, вяжут, на столиках перед ними небольшие стаканчики. В Америке такого нет, и пойти некуда. Все или сидят по домам, или работают. Американцы ничего не понимают в жизни, только и умеют, что брать, брать и брать. А давайте устроим свое *Bierstube*, а? Я и место приглядел — у реки под ивами; воскресным вечерком, в хорошую погоду можно устраивать теплые пирушки. Дети будут играть в официантов.

— Ага, — нахмурилась Кларисса Лотц. — А я кем буду — старой дамой со стаканчиком или, как положено, таскать взад-вперед пироги и сыр с сосисками?

— Женская работа есть женская работа, — отвечал Бетль. — Сперва таскать, а потом пить и вязать.

---

[28] Примечания: 28
Прекрасная жница *(нем.)*.

Дядюшка Лотца числился в *Turnverein* [29], и племянник под впечатлением гибкой силы старика уговорил всех заняться упражнениями. По утрам на рассвете три германца поднимались — каждый у себя дома, опустошали мочевые пузыри, делали три обязательных поклона, касаясь пальцами ступней, и разводили руки — назад, вперед, в стороны. Мессермахер крутил самодельную булаву, Лотц умел ходить на руках. Затем каждый садился к столу и выпивал кварту пива домашней закваски — Бетль еще выкуривал сигару; хозяйки в это время гремели крышками молочных бидонов, а на сковородке потрескивала соленая свинина.

— Хороши у нас дела, — говорил Бетль.

Но в ноябре у Лотца заболел ребенок, высокая температура и судороги оказались воспалением мозга, хваленая докторская книга Бетля *«Praktisher Führer zur Gesundheit»* [30] ничем не помогла, и через неделю мальчик умер. Отойдя немного в прерию, Лотц с Мессермахером выкопали могилу, а Бетль, утирая слезы, поклялся весной обнести участок забором. Он дважды

---

[29] Примечания: 29
Общество гимнастов *(нем.)*.

[30] Примечания: 30
Практическое руководство по врачеванию *(нем.)*.

сыграл «Похоронный марш» под рыдания женщин и аккордеона. Но это было только началом бесконечной череды болезней и травм, приводивших германцев в отчаяние. Из года в год дети болели дифтеритом, воспалением позвоночника, тифом, холерой, малярией, корью, коклюшем, туберкулезом и пневмонией — это не считая ожогов, царапин, змеиных укусов и обморожений. Когда от осложнения после кори умер младший сын Бетля, Герти велела мужу позвать странствующего фотографа, за несколько дней до того проходившего мимо фермы — сделать фотографию на память. Она быстро одела мертвого ребенка в брюки старшего брата и черное зимнее пальто, затем, пока он еще сгибался, усадила маленькое тело в кресло и вложила ему в руку деревянную лошадку, которую еще раньше вырезал Бетль. Поскольку труп не может сидеть прямо, Бетлю пришлось привязать его веревкой, испачканной в саже, чтобы не видно было на снимке. Когда прибыл фотограф, они вынесли кресло на яркое солнце. Ограду вокруг участка так и не построили, и Бетль сыграл «Похоронный марш» всего один раз. Достаточно. Жизни детей пребывали в таком ненадежном равновесии, что лучше не любить их слишком сильно.

Лярд и сало

К началу 1900 годов Прэнк окружали тридцать ферм; новые семьи тянулись на запад — их подстегивали как личные беды, так и засуха в Канзасе и Небраске; за несколько лет до того появились недотепы с востока, которым не досталось приличной земли в Оклахоме; кто-то, разорившись в депрессию, решал начать все заново, нескольких крупных скотоводов подкосили пыльные бури 86 и 87-го годов, но они все же надеялись восстановить былые владения — большинство переселенцев, воодушевившись идеями нового века, чувствовали, что пришло их время. Несколько лет подряд кукуруза росла так, как никто в жизни не видел и не мог даже мечтать; прямо на глазах она выскакивала из пурпурно-черного суглинка, и в тихие жаркие дни на пустынном поле слышался скрип растущих стеблей. Сила жизни.

Но засуха добиралась и сюда — сжигала на корню урожай, а зудящие тучи проклятой саранчи так плотно облепляли ограды, что тонкая проволока становилась похожа на корабельные канаты, шевелилась и корчилась. Черные стены

облаков вдруг оборачивались ревущими тоннелями торнадо, а неизвестно откуда взявшийся ураганный ветер сметал дома и постройки, швырял в овраги лошадей. Люди замерзали, пойманные в прерии снежным бураном, лошади околевали на ходу, а одна из женщин как-то добиралась до дома, борясь с ревущим ветром и цепляясь за мужа, пока сильный порыв вдруг не расцепил их руки. Он нашел ее только на следующее утро: обледеневший труп прибило к стене сарая, и если бы не эта постройка, его, наверное, катило бы до самой Миссури. Затяжную варварскую засуху вдруг ломали стремительные ливни, разрубая на овраги иссушенную почву, вымывая из нее полумертвый урожай. Град размером с чайную чашку налетал, словно нелепые груши, размешивал в кашу кукурузные поля, избивал скот. Дети тонули в Литтл-Рант, терялись в кукурузных лесах.

Появилась долгожданная железнодорожная ветка длиной в тридцать пять миль, «Ролла и Хайрод», которую немедленно переименовали в «Лярд и Сало» за любовь к импровизациям — вместо машинного масла для смазки механизмов компания пускала в дело перетопленное сало и, не желая строить водонапорную баш-

ню, заставляла рабочих черпать воду из речки Литтл-Рант — но тем не менее, это был прямой выход к процветанию и чикагским рынкам. А также возможность почитать железнодорожные плакаты и рекламу. Бетль презирал ирландских болотных кикимор, насыпавших полотно своими «ирландскими ложками», то есть железнодорожными лопатами, но их деньги были ничем не хуже других, и на целый год он пристроил у себя столоваться четверку грязных, бормочущих молитвы любителей виски.

— Ох, эти грязные ирландцы, — вздохнула Герти после того, как отнесла миску картофельной размазни в хижину, где четверо детей лежали с тяжелой оспой. Мать предложила ей чашку кофе, и когда Герти неохотно согласилась, ушла в закопченную кухонную пристройку. Выглянув через минуту, Герти увидела, что эта отвратительная неряха облизывает внутренность чашки, а давно закипевший на плите кофе воняет горелыми тряпками.

Бетль продал ореховую рощу на железнодорожные шпалы и поздравил себя с удачной сделкой. Кое-кто из ирландцев остался добывать за городком известняк, остальные двигались вместе с железной дорогой на запад, оседая то там, то

здесь — батраками на ранчо, агентами по продаже земли или клерками в новых госконторах.

— Эти грязные католики, — говорил Бетль. — Они ж бандиты, им можно все, сходят потом на свою исповедь, помолятся и хрясть! — все чисто. Знаете, как один ирландец стащил у соседа пять цыплят, а потом и говорит на исповеди: «Отец, я украл пять цыплят». — «Сколько?» — спрашивает священник. «Пять, отец, но пускай будет десять, остальных я захвачу по дороге домой».

Каждую неделю Герти замешивала тесто на двадцать буханок: ее окрепшие руки орудовали, как механические мешалки, мускулы выпирали, особенно на предплечьях, так, словно их что-то перекрутило. Бесконечные дойки сменялись поливкой огорода, для которого приходилось таскать тяжелые кадки с водой, и правое плечо навсегда осталось выше левого. Но несмотря на кривобокость и воспалительный ревматизм, она работала в поле, проворачивала кучу домашних дел и каждое утро заплетала себе и дочерям косы, укладывая их на голове короной, хотя по городской моде волосы полагалось закручивать на макушке в пучок размером с молодой качан. Она расчесывала волнистые пряди любимым гребнем, делила пополам, затем быстро и туго

заплетала в две косы, завязывая на концах тонкими лентами. Обматывала косы вокруг головы, а встретившиеся на затылке ленточки скручивала и прятала среди волос. Две толстые косы превращались на головах дочерей в сверкающие короны; У Герти она была русой, с проседью. На ночь косы расплетались — разве можно спать на волосяных канатах? — и струились вниз теплой курчавой волной. А когда несколько раз в году девочки приезжали домой из школы — никогда не садитесь за одну парту с ирландцами, предупреждала она их — и привозили вшей, она промывала им волосы керосином, частым гребнем вычесывала из вонючих прядей гнид; если же проклятые червяки заставляли детей чесаться и извиваться, поила их микстурой от глистов доктора Лага — смолистой субстанцией, воняющей паленым рогом.

Появилась вторая железнодорожная ветка, двойной рельсовый ряд облепили китайские рабочие; лопоча на непонятном языке, они продвигались на юг в Канзас-сити и на север к Миннеаполису. Железнодорожники построили станцию, посадили туда начальника, телеграфиста и распорядителя грузоперевозок. Зал ожидания украсился десятифутовой скамейкой

из дырчатой фанеры с гигантским лозунгом: НАВЕЩАЙТЕ БОЛЬНЫХ. Начальник станции по имени Бак Торн был инженером — до тех пор, пока в крушении поезда не потерял ногу. Он шутил, называя себя «паровозом». В обеденный перерыв надевал каску и ковылял на подбитой резиной деревянной ноге со специальными шарнирами к своему круглому домику, чтобы затопить печь, принести угля и воды. Субботними вечерами накачивался виски до тех пор, пока не начинал гудеть и объявлять, что вот теперь он как следует себя смазал.

Поезд из Канзас-сити совершил свой первый рейс в день Четвертого Июля. В Прэнке устроили праздник.

Три германца стояли в первом ряду, на платформе из нестроганных досок. Каждый держал самодельный американский флаг на древке из молодого побега. Дети сжимали двумя пальцами зубочистки с бумажными флажками размером не больше марки. С другой стороны полотна выстроились вдоль загона свиньи — встав на задние копыта и упершись в изгородь передними, они с интересом наблюдали за толпой.

— Нада мнохо трудитца, и удачша будет, — не стесняясь сильного акцента, ораторствовал

Бетль. — У нас тсэлые мылы кукхурузы, и это карашо, это труд, а тепер шелесная дорокха открыла нам страну. — Он потел и заикался от гордости, а ирландцы лишь посмеивались над его неуклюжей речью. Поезд из Канзас-сити зашипел и охнул, лошади заржали, раздался свист — его тон меняла деревянная пластинка, которую инженер Озро Гэйр зажал между язычками свистка, чтобы тот звенел отчетливее, три германца прислонили флаги к стене, Бетль достал из багажной телеги аккордеон и рассыпал теперь аккорды новой пьесы Сузы[31] «Марш покорителей запада», игнорируя тот факт, что железнодорожная линия шла с юга на север. Лотц притащил свою матовую тубу, которая рычала и глотала ноты, а Мессермахер, пронзительно звеня, стучал по рельсу во славу железной дороги. Дети изображали поросячий визг, и все вместе старательно мычали «Боевой гимн Республики»[32].

Задыхаясь и вопя, поезд уполз прочь, а толпа

---

[31] Примечания: 31

Джон Филипп Суза (1854 — 1932) — американский композитор и дирижер, сочинитель военных маршей.

[32] Примечания: 32

«Боевой гимн Республики» — патриотический марш, слова к которому сочинила во время американской Гражданской войны Джулия Уорд Хау (1819 — 1910), положив их на мелодию солдатского марша «Тело Джона Брауна».

махала вслед последнему вагону, пока тот не скрылся из виду. Пять или шесть мальчишек прижались ушами к рельсам — послушать отголоски стальной песни. Мужчины уселись за расставленные прямо на платформе столы, а женщины принялись носить сковородки с цыплятами и запеченными яблоками, лоханки булочек, караваи с маслом, пареную свеклу. Больше всего наготовили германские женщины: огромные куски розовой ветчины и сковородки с красными, сваренными в пиве сосисками по дюжине в ряд, копченые свиные ребра с квашеной капустой, присыпанной перцем и ягодами можжевельника, редька в сметане, луковый пирог пятнадцати дюймов в диаметре, маринованная свинина с яблоками и грушами, головы сыра. Двадцать приехавших на поезде зрелых арбузов остужались в корыте со льдом, а еще пирог с черносливом, гордость Герти — *Apfelkiachle* [33] и двенадцатифунтовый торт с медовой глазурью. Кто-то из ирландских детей, схватив второй кусок торта, вдруг вскрикнул от боли — в язык воткнулся твердый кусочек желтой кожуры, залитый сладкой глазурью. Чуть в отдалении стояли девочки

[33] Примечания: 33
Яблочный пирог *(нем.)*.

и, кто полотенцами, кто ивовыми ветками отгоняли мух.

— Помните, как в первый год мы эти арбузы пекли? — вспомнила Кларисса Лотц, заливаясь тонким смехом. Лотц крутил булаву, а Бетль, забравшись на станционный чердак, бросил из открытого окна целую горсть мятных конфет Ирландцы задудели в свои тягучие трубы, и прямо на платформе все принялись отбивать деревенскую чечетку; пыль стояла столбом, однако люди не спускали глаз с германцев. Прохладным вечером толпа перебралась в новое школьное здание, где, быстро сдвинув парты, устроили настоящий танцзал.

— Господи! Пляшем! — орал Бетль, заводя для начала шуточные немецкие песни: «*DieAnkunftderGrünhorner», «AufderAlmdasteht ’neKuh»,* и самую свою любимую *«HerrLoatz, wasistmisdeinerTubalos?»*[34] — но потом ирландцем надоело, они потребовали джигу и рил, которые германцы не знали, как играть, а американцам тут же захотелось «Старого дядюшку Неда» и «Арканзасского путника». Три германца играли до полуночи, неутомимый Бетль наяри-

[34] Примечания: 34

«Прибытие новичка», «На лугу стоит корова», «Герр Лотц, где ты потерял свою тубу?» *(нем.).*

вал на аккордеоне польки, туба гудела, и брызги пота, отлетая от выписывавших кренделя пар, сверкали в лучах керосиновой лампы. В полночь кто-то зазвонил в колокол, ирландцы принялись палить из винтовок в небо, и тут германцы устроили самое восхитительное из всех своих представлений.

Из повозки Лотца они принесли две наковальни, одну поставили вверх ногами на землю. Бетль забил в дыру порох, а остатки насыпал дорожкой к краю, затем они поставили вторую наковальню, тоже вверх ногами, прямо над дырой. Мессермахер стукнул раскаленной кочергой по пороховой дорожке. Взрыв, огневой шквал, наковальни стучат, станция трясется, свиньи визжат от ужаса, а весь Прэнк охрип от воплей.

Воскресенье

Население Прэнка перевалило за шесть сотен. Рядом с железной дорогой, словно привязанная, легла проселочная. «О'Рурк Коместибл» и «Мерчендайз» установили в темной комнате синематограф, и Бетль во время воскресной поездки в город пострекотал через аппарат «Великое ограбление поезда»[35].

— На это стоит, пожалуй, взглянуть, и все ж никакого сравнения с доброй германской пьесой. — Мимо ферм прошел цыганский табор, продавая всем желающим плетеные ивовые кресла, в которых так удобно сидеть на крыльце — Бетль, поворчав на дороговизну, купил две штуки, имея в виду *Bierstube* у реки. Но когда перед закатом он понес туда кресла, то обнаружил срубленные под корень ивы и два кострища на том месте, где стояли табором *Roma*.

— Господи Иисусе, я купил свои собственные деревья. — (На следующий год, когда тот же са-

---

[35] Примечания: 35

«Великое ограбление поезда» — первый в истории кинематографа художественный фильм, снятый в 1903 г. Эдвином С. Портером (1869 — 1941).

мый, а может другой, табор вновь расположился у реки, он прогнал их прочь, наставив дуло ружья; когда же колесо кибитки увязло в грязи, он засмеялся и, целясь в черную юбку повисшей на колесе старухи, стал кричать, чтобы они убирались немедленно. Старуха пронзительно завопила, а дети Бетля заплакали.

— А ну, молчать! Ничего ей не сделается — иностранцы как звери, им не больно. Специально притворяется, чтоб вы ее пожалели. — Он плевался и покрикивал, — *raus, raus!* — пока они не выбрались на дорогу, а старуху не втащили в кибитку.)

По воскресеньям три германца сидели дома, пили пиво, курили доморощенный табак, закусывали и играли музыкальные пьески — в хорошую погоду они шли к тому самому месту у реки, которое расчистил для всех Бетль, поставив там скамейки, небольшой дощатый столик и цыганские кресла. (Ивы, в конце концов, выросли снова.) В жару тут было очень славно — журчала речка, и в ярком послеполуденном небе звенели песни жаворонков. Германцы никогда не понимали как могут эти янки проводить весь день в скучных и унылых молитвах.

— Знаете зачем пуритане уплыли из Англии в

Америку? — Бетль поставил аккордеон в кресло и потянулся к кувшину с пивом. — Господи Иисусе, как сказал один мужик, а куда еще им было тащить свою религиозную свободу и заставлять других ею заниматься. — Он оглушительно пернул, и дети покатились со смеху.

Поездка в Чикаго

В городке пошли разговоры о том, что дети трех германцев слишком уж между собой похожи — наверное, семьи друг другу ближе, чем кто-либо мог предположить. Истории про Бетля гуляли по округе из года в год, и если бы не аккордеон и не нахрапистый веселый нрав, как-нибудь темной ночью ему наверняка начистили бы физиономию.

— Боже правый! Кому охота со мной связываться, *den rauch ich in der Pfeife [36]!* Я его выпущу через вот эту трубку!

В той памятной поездке в Чикаго, где они продавали свинину — шесть центов за фунт! — отличная белая немецкая свинина, — Бетль сказал, что отдаст старый зеленый аккордеон Мессермахеру. Научиться играть — плевое дело. Очень хороший инструмент, хоть и маленький. Себе же он купит новый «Хенер», немецкий инструмент той же фирмы, что делает отличные губные гармошки. Там есть дополнительные кнопки для диезов и бемолей. А с двумя инструментами они

---

[36] Примечания: 36
Больше дыма, чем свиста *(нем.)*.

устроят ансамбль, настоящий ансамбль немецких аккордеонистов. Лотца укачало, и он вышел на платформу вдохнуть холодного порывистого ветра, отдававшего серным запахом сгоревшего угля.

— Аккордеон изобрели германцы, — растолковывал Бетль Мессермахеру. — Они изобрели тысячу вещей, но аккордеон — главное. Потому что германцы думают, у германцев есть головы. Был такой мужик, музыкант, германский скрипач, потом он играл в придворном оркестре — в России, не при Екатерине Великой, но когда-то в те времена, на скрипке играл. Но он был германец, много чего примечал, и как-то услыхал: когда вешаешь смычок на гвоздь, получается тихий приятный звук. Так он изобрел скрипку из гвоздей, я ее слышал. Деревянный круг с гвоздями, проводишь по ним смычком и *ооо ааа ооо ааа,* очень красивый тон. И вот этот мужик получает из Китая странную посылку, кто-то передал, тоже что-то такое выдумывал — германец, конечно, — а там круглая тарелка с бамбуковыми трубками, на тарелке мундштук. Он в него дует. Получается интересный звук. Для этой штуки китайский Иисус Христос в каждую трубку сунул по язычку, прямо как в аккордеоне, маленькие язычки,

одним концом торчат в ваксе, а другой дрожит, вот так. — Он помахал рукой перед лицом Мессермахера. Немецкий скрипач учится играть на этом инструменте *de liebliche Chinesenorge* [37]*l*, и потом уже другим германцам пришла в голову идея аккордеона — свободные язычки. Так оно начиналось. Позже придумали меха.

В Чикаго Бетль заливался привозным баварским пивом, курил в кабаках закрученные испанские сигары, объедался кислой капустой с сосисками, распевал до полуночи пьяные песни и развлекался со шлюхами; на часть вырученных за свинину денег он купил новый инструмент, а жене — продырявленную надписью «Боже, благослови наш Дом» картонку и набор цветных ниток для вышивания. Лотц раздумывал о желтых карандашах и листах толстой бумаги для детей, но потом остановился на футляре для измерительной ленты в форме курицы и бутылке тоника «Миллион благодарностей» — жене, которая в последнее время что-то стала хворать. Он съел тарелку чикагских сосисок странного бронзового цвета, отдававших на вкус керосином. Мессермахер заказал кресло-качалку и новые пружины

[37] Примечания: 37
Симпатичный китайский орган *(нем.)*.

для матраса всего на шесть долларов, купил для детей ящик апельсинов и теперь, в поезде, время от времени отодвигал крышку, чтобы вдохнуть аромат.

По дороге в Прэнк, пока новый аккордеон, щекоча германские пальцы, перемещался с одних колен на другие, они говорили о том, какой властью обладает над людьми музыка.

— Вы только послушайте этот звук, такой сильный и чистый. — У нового аккордеона были крепкие стальные язычки, тон яркий и по-немецки напористый, хотя из-за лишних кнопок играть на нем было труднее. В Чикаго Бетль приглядывался к стиральной машине, медной «Мэйтаг» с отжимом и специальной ручкой, которую нужно было вертеть до тех пор, пока белье не становилось чистым, но купил не ее, а заводной патефон и несколько эдисоновских дисков с отборными немецкими вальсами, ирландскими джигами и рилами в исполнении аккордеониста по имени Киммель[38]. Бетль сгорал от желания побыстрее добраться до дома, чтобы их послушать.

— Поневоле начинаешь думать, что в музыкальных инструментах есть что-то человеческое

[38] Примечания: 38

Джон Дж. Киммель (1866 — 1942) — ирландско-американский аккордеонист.

или хотя бы живое, — говорил он. — Возьмем, к примеру, скрипку: у нее есть горло, а что мы видим у человека в горле? Голосовые связки — это струны, вот откуда все пошло. Теперь аккордеон, у нас есть инструмент, который дышит! Он дышит, он живет. Господи Иисусе! Даже без горла. Легкие — вот, что у него есть. А пианино? Клавиши — это пальцы, отзываются на пальцы музыканта. Труба, кларнет — это нос. В него дуют. Знаете, чего мне рассказали? Мужик едет в Чикаго продавать свинину и получает хорошие деньги. Кошелек полный, даже не закрывается. Ясное дело, боится, что сопрут. Но сразу на ферму он не хочет, надо же немного развлечься. И вот он находит такое место, где полно баб, здоровые такие бабищи с руками, как у матросов. Но других нет, так что он говорит себе: ладно, я осторожно. Баба просит доллар. Ладно, говорит он, я дам тебе два, если…

— Отойди, — закричал вдруг странным голосом Лотц и бросился к окну, выблевывать чикагские сосиски.

Страсть Бетля

Сначала Бетль заявил, что Киммель мошенник.

— Там два аккордеона. Одному так не сыграть. — Затем он признал, что это один музыкант — конечно, германец, — хотя зря он так любит ирландские джиги.

Три германца исполняли добрую громкую фермерскую музыку, и танцевать под нее нужно было громко топоча ногами.

— Если ты будешь играть, как эти германцы, то когда вырастешь, сможешь только свистеть, как Квинт Флинт, — наставлял ирландский трубач своего сына, как-то решившегося поиграть с германцами, но те его заглушили. Квинт Флинт, инженер-железнодорожник, насвистывал «Ставь чайник, Полли»[39] всякий раз, когда появлялся на станции.

Когда через Прэнк проходили бродячие оркестры, Бетль увязывался за их главным, представляясь бывшим странствующим музыкантом.

— Вы не слыхали о золотом оркестре Тонио? —

---

[39] Примечания: 39
Детская песенка неизвестного автора, популярная в начале века.

Ach, много лет назад, другие города. Я с ними играл. Теперь я фермер. М-да, может у вас есть лишние инструменты, пускай ломаные. Я бы купил, если недорого, а после починил. Немного музыки для нашей скучной прерии. — Так германцам достались саксофоны и барабаны, губные гармоники, глокеншпили, и Бетль стал учить играть детей. Сын Мессермахера, маленький Карл, в семь лет уже резво бренчал на нескольких инструментах, исполнял «Лагерные гонки»[40] на аккордеоне, гармошке и свистульке.

В городке говорили «танцы под трех германцев», потом все смеялись, и кто-то обязательно вспоминал про Бетля и Герти. «Три германца» стало именем ансамбля, несмотря на то, что с ними играли еще полдюжины детей. Под пристукивание правой ноги Бетля, крепкое и ритмичное, как тиканье заводных часов, они заводили танцевальные мелодии. Усаживались в кружок около угольной печки — отличная вещь, особенно после того, как столько зим подряд приходилось топить скрученной болотной травой, — и вот уже Лотц пилит на скрипке, аккордеоны пыхтят,

[40] Примечания: 40

«Лагерные гонки» — песня Стефана Фостера (1826 — 1864), американского композитора, автора популярных песен и сентиментальных баллад.

маленький Вид управляется с набором ножных колокольчиков, а Перси Клод бренчит на банджо, да так чисто и громко, что старый пес принимается выть всякий раз, когда тот снимает его с гвоздя.

Страсть Бетлей ни у кого не вызывала сомнений, и не только потому, что у них было девять здоровых детей — многие в Прэнке могли похвастаться дюжиной, а то и больше — но и потому, что Бетль вовсе не заботился о приличиях и не намерен был держать себя в узде, дожидаясь ночи и одеяла. Рабочий «Рэйлуэй-Экспресс» по имени Малкенс вез однажды мимо фермы корзинки молодых яблок, да вдруг застыл на месте, увидав под дровяным навесом Герти, склоненную над колуном и Бетля, который бросался на нее, «как голодная свинья на корыто с помоями». Рабочий пустил лошадь галопом, чтобы поскорее попасть в город и рассказать об увиденном — он проскакал совсем рядом с прыщавой задницей Бетля, хотя, вполне возможно, это были не прыщи, а знак какой-нибудь ужасной болезни. Или даже укусы! Немецкие твари. Почтальон рассказывал, что приносил Бетлю незаклеенный конверт — там были неприличные женские фотографии и даже дама в черном мундире с дырками, из

которых торчали голые сиськи.

Осенью на уборке кукурузы они обычно работали вместе, по очереди обходя поля, особенно в первое время, пока не подросли сыновья. Однажды в полдень Герти привезла на поле Бетля ведерко с обедом и банки с уксусной водой. День был теплый. Бетль работал на самом солнцепеке и все поглядывал, не едет ли

Герти — наверное, думал Лотц, оттого что проголодался. Лотц и Мессермахер шли с дальнего края поля, отмотав от правых рук булавы для молотьбы (Бетль очищал кукурузу прямо в поле) и задирая головы к небу, чтобы размять затекшие шеи. Издалека они увидели, как Бетль и Герти забираются под телегу.

— Смотри-ка, Бетлю досталась тень, — с завистью сказал Мессермахер.

— Бетлю досталась не только тень, — ответил Лотц, засекая взглядом белую плоть бетлевской задницы. Они подошли к телеге.

— Неужто тебе все равно, кто на вас смотрит, — спросил Лотц, вгрызаясь желтыми зубами в кусок холодной свинины. Он присел на корточки и заглянул под телегу, рассчитывая таким образом смутить Бетля.

— Смотри как следует, Вилли, — ответил тот,

глубоко дыша и забивая поглубже, — может чему научишься, и, Господи Иисусе, мне не надо будет ходить к тебе по воскресеньям.

— *Animalicsh* [41]*!* — только и сказал Лотц.

— *Leck mich am Arch!* [42]

— И что с того, никто же не отворачивается, когда этим занимаются собаки, или когда бык покрывает корову, — говорила Герти Клариссе. — Какая разница? Мы ничем от них не отличаемся. Зов природы. *Sowieso* [43], как я могу его удержать. Ему это нужно три раза в день, а то помрет. — Ей теперь было чуть больше сорока, и верхняя губа ее уже собиралась симпатичными морщинками. Ей страстно хотелось иметь немного денег для себя, но Бетль, когда дело касалось кошелька, становился непреклонен. Она постоянно носилась с какой-нибудь идеей: масло от коров — но на него уходило ужасно много труда, а продавалось всего по пять центов за фунт; откорм индюшек, но первый же град убил семнадцать птиц, а других утащили ястребы.

---

[41] Примечания: 41
Животное *(нем.)*.

[42] Примечания: 42
Поцелуй меня в зад *(нем.)*.

[43] Примечания: 43
И все равно *(нем.)*.

— Разница в том, что мы христиане, а не животные, — отвечала Кларисса. А сама думала: три раза в день! *Wahnsinn [44]!* Этот человек маньяк, ходячая ненормальность.

Он и был маньяк. Чем старше он становился, тем сильнее рвалось наружу его желание, и тем слабее оно было у Герти. Ничего не могло удержать или утихомирить его похотливый напор. Словно тот паровоз, что с ревом катится под уклон на двадцатимильном полотне, которое железнодорожники прозвали «старая столешница». В 1910 году через Прэнк проехала команда Ирвинга Берлина[45] с «Девушкой и волшебником». Бетль, сам не свой от радости, распевал, словно собственную, малоприличную песенку «Ох, как же этот германец умеет любить».

---

[44] Примечания: 44

Сумасшествие *(нем.)*.

[45] Примечания: 45

Ирвинг Берлин (1888 — 1989) — американский композитор, внесший большой вклад в развитие популярной музыки.

Куриное гнездо

Три германца вступили в немецко-американское историческое общество Крингеля, чисто немецкого городка в тридцати милях к северу. Общество собиралось раз в месяц, чтобы развивать *Kultur* выступлениями гостей, концертами и вечерами песен. Бетль радовался дальним поездкам. Просторы этой страны по-прежнему кружили ему голову — даже под проливным дождем он пускал рысью дымящуюся лошадь, высовывал нос из-под дождевика и, глядя вверх на умытое небо и несущиеся прочь облака, повторял вслух фразы из предстоящей речи:

— Германцы очень много дали Америке. Без германцев американская революция была бы проиграна. Республиканская партия Америки выросла из интересов немецких американцев. И никогда нельзя забывать об Абраме Линкольне, который происходил из семьи германских иммигрантов с фамилией Линкхорн. Америка нуждается в германцах, чтобы выполнить свое предназначение.

Но в самом Прэнке человек с «Рэйлуэй Экспресс» говорил, что хорошо бы их всех отсюда выкинуть,

они никогда не приживутся в его стране, немчура с квадратными головами, кислокапустники.

Раз в неделю Бетль получал германскую газету — прочитывал, вырезал интересные объявления и отдавал Лотцу и Мессермахеру. Из этой газеты он узнал о Линкхорне и там же заказал расчерченный на клетки портрет погибшего президента, чтобы Герти вышила его цветными нитками. Она покрасила шерстяную пряжу чертополохом, и цвет лица у Линкольна получился сначала желтым, но за зиму постепенно выцвел до зеленовато-коричневого. Подолы передников она обычно подрубала сама. Швейная машинка — да если бы она у нее была.

— Именно германцы сделали эту страну великой, — соглашался Лотц. — Посмотрите на этих грязных ирландцев у нас в Прэнке, ни один не в состоянии разобрать дорожный знак и даже расписаться.

Из всей троицы самым богатым был Мессермахер, несмотря на вечные проблемы с глазами, в которые из-за обостренной чувствительности к пыльным ветрам приходилось заливать капли доктора Джексона. Двое его сыновей работали с отцом на ферме, трое — отдельно на соседних участках, а еще один, Карл, устроившись

телеграфистом на железную дорогу, переехал в город. Мессермахер одним из первых купил квадратно-гнездовую сеялку для кукурузы, но она часто засорялась и пропускала борозды, когда приходилось двигаться по мертвой стерне. Он переделал машину, написал письмо на завод, а когда приехали люди из фирмы, устроил им такую демонстрацию, что компания заплатила ему целых сто долларов и назначила за изобретение ежегодный гонорар. До самой войны на их рекламе красовалась фотография с подписью: *«Фермер Л. Мессермахер говорит: Сеялка никогда не ломается. Такая простая, что с ней управится даже ребенок».*

Свинина Лотца прославилась на весь Чикаго, несколько раз ее подавали на стол губернатору и в чикагском «Столетнем Клубе». Дела с пшеницей и свининой шли хорошо, но лучшим на своей ферме Лотц считал вишневый сад — когда поспевали плоды, каждое дерево становилось светящимся белым сетчатым шаром.

И все же что-то странное творилось вокруг. Несмотря на удачу в фермерстве, на то, что их подворья стали образцом бережливости и хорошего управления, несмотря на музыку и все деревенские праздники, германцев в Прэнке не любили.

Дети (в школе их дразнили кочанами) и женщины водили дружбу только между собой. Частично это объяснялось невероятной хозяйственностью Клариссы: она буквально выскребала стены дома и сараев, а белоснежные полы у нее всегда блестели — редкая женщина захочет дружить с такой перфекционисткой; частично оттого, что три германца слыли вольнодумцами, явными агностиками и почти открыто признавали, что им не до Библии. А еще потому, что несмотря на саранчу, засухи, град, наводнения, торнадо, зимние морозы и не ко времени оттепели, все трое каждый год снимали вполне приличный урожай, в то время как большинство народа в округе оставались ни с чем. Наводнение на Литтл-Рант как-то залило Бетлю нижнее поле, но когда вода сошла, в мокрых бороздах застряло несколько дюжин отличных рыб. Их оставалось только собрать. Ходили приправленные сочными подробностями слухи о том, какая среди германцев царит свобода нравов, а то и инцест. Львиная доля этих сплетен приходилась на Бетля с его ненасытным аппетитом.

— Не-а. Мы не то играем на танцах, — сказал Бетль. — Наверное, здешние люди хотят негритянских песен. Рэгтайм. Саксофон. Им нужен

клавишный аккордеон, кнопочный уже не годится. Понятно?

К этому времени появились внуки — старший сын Перси Клод, женившись, построил дом неподалеку от главного, другие мальчики тоже перебрались в свои дома — Герти не хотелось, чтобы кто-то видел, как она ублажает Бетля. В их-то годы! — говорила она. Седина и все такое. С ее толстым животом и его волосатыми медвежьими ляжками. Она отталкивала его все чаще. То, что хорошо для молодых, отвратительно в человеке с отвисшей кожей и седой головой. Ситуация заметно осложнилась после того, как войдя как-то в курятник, она застала его с одной из работниц: Бетль в курином гнезде, девушка — верхом, у него на коленях, а ее панталоны — на гвоздике. Он подмигнул жене, как бы говоря: ты вот не хочешь, а она — пожалуйста. В волосах у него запуталась солома.

Она отпрянула так, словно на нее выплеснули ведро холодной воды, ледяное отчаяние погнало ее прочь. Причитая, она ворвалась в кухню, тяжелые груди раскачивались, бедра колыхались при каждом шаге. Прислонившись к остывшей плите и упершись лбом в хромированный край духовки, она рыдала от ревности и обиды, пока

не распух нос. Потом, спотыкаясь, добрела до буфетного ящика с кухонными ножами, выбрала резак с черной ручкой и штампом IXL на лезвии и, не долго думая, полоснула себя по горлу. Тепло собственной крови, промокшая блуза, привели ее в чувство. Убиваться из-за мужика в курином гнезде! Никогда!

Она поставила в раковину кривоватое зеркало и стала смотреть. Кровь сочилась, но не текла струями, несмотря на то, что рана была в полдюйма глубиной — хороший слой жира спас ей жизнь. Прижав шею белоснежным полотенцем, она достала из шкатулки нитку с иголкой, вернулась к зеркалу и недрогнувшей рукой сшила края пореза. Нитка ей попалась синяя. Замотала шею чистой тряпкой. Промелькнула мысль, что можно зашить и кое-что еще.

Теперь она считала Бетля старым грязным ничтожеством. Она зарезала всех кур, ставших свидетелями ее унижения, с воплями гнала до самого дома ревущую девушку — он не сказал ни слова. Она сыпала сметенный с пола мусор в его табакерку и размазывала комки пыли. Она подумывала о том, чтобы добавить в кофе крысиного яда, но все же не стала.

Однако, каждый день после обеда он запрягал

коляску и куда-то отправлялся.

— Навещу Лотцев, — говорил он, и Герти догадывалась, что все дело в дочери Лотцев, Полли, по-прежнему жившей дома. Сухая старая дева двадцати шести лет от роду, которая в детстве чуть не умерла от чахотки, но потом поправилась — в общем-то, была не такой уж сухой, кое-какой сок в ней имелся.

Герти шепнула пару слов Клариссе, которая и без того не спускала с них глаз и очень скоро заметила, как Бетль направляется вслед за Полли в яблоневый сад. Кларисса примчалась к Лотцу и потребовала, чтобы тот взялся за ружье.

— Зачем? Они просто пошли погулять, что тут такого?

— Ты что, не знаешь Бетля? Не знаешь, что ему нужно?

— Ты сказала, он шел за ней. Раз она первая, значит он ее не заставлял.

— Она не знает, что делает. Она невинна, говорю тебе.

— Дело к тридцати, может не так невинна, как тебе кажется.

— Хороший отец вышиб бы из него дух, но ты, я вижу, не намерен ничего делать.

Нет, Лотц не собирался ничего делать. Если

Бетлю захотелось развлечься с Полли, значит, он взялся за то, что никому другому просто не надо. Лотц верил, что трех германцев свела вместе судьба, а судьба — главная сила на свете. Но даже если, как он считал, именно судьба однажды вытащила всех троих из нищеты своей страны и направила к богатству и процветанию, то эта же самая судьба явно от них отвернулась, когда сербы в Сараево застрелили эрцгерцога Фердинанда. Словно старые европейские враги выследили их за морем, незаметно подкрались со спины, зарылись в траву и стали ждать — подобно тому, как ждет подходящего момента чума, чтобы выпрямиться во весь свой губительный рост.

Война

Ненависть подползала медленно — так на закате скатывается по склону холодный воздух.

— «Инородность» — что еще за инородность такая? — спрашивал Лотц, листая газету Бетля. Они сидели за дубовым столом в жарко натопленной кухне Лотца, жена гладила рубашки, на плите грелся тяжелый утюг, а Бетль, пыхтя, раскуривал свою черную трубку. На выскобленном столе стояла бутылочка с уксусом, каменная подставка для вилок и ножей, валялась целлулоидная погремушка.

— Это все рузвельтовская лошадь, он слишком быстро ее погоняет. Не любит инородцев! Господи Иисусе! Его волнуют германо-дефис-американцы. Нет, ты только посмотри. Он говорит: «Иным американцам нужен дефис в имени, потому что они американцы лишь наполовину. Когда человек становится американцем, и сердцем и мыслями, он выбрасывает дефис, как из своей души, так и из имени». А еще чего выбросить? Господи, Господи Иисусе, прекрасный язык, Баха, Генделя, Моцарта, Шиллера выбросить, Гете выбросить, Канта и Гегеля, Вагнера, Вагнера тоже выбросить.

Шуберта выбросить. Аккордеон выбросить. И пиво выбросить. Зато у нас останутся сушеные американские психические бабы, которые всю дорогу вопят, чтобы их пустили голосовать, да еще проклятые сушеные американские мужики и их сушеные идеи насчет сухого закона. Они не понимают, что германцы — это самые сильные, самые трудолюбивые люди во всей Америке. Они не видят, что всем лучшим Америка обязана германцам.

— Кроме электроутюга, — сказала жена Лотца, новая жена по имени Пернилла, Кларисса в конце концов умерла от лихорадки и слабости. — Мне сказали в городе, что у миссис О'Грэйн утюг работает от электрического провода. Не надо нагревать на плите и жариться, как в аду. Вот на что я бы потратила свои деньги за яйца, на такой утюг.

— Господи Иисусе, — вздохнул Бетль, — нужно же электричество. Куда ты собираешься его втыкать, в какую дырку? Какой толк от одного утюга. — (Шесть месяцев спустя, узнав, что эти приборы выпускает немецкая фирма «Ровента», он сказал Лотцу, чтобы тот непременно покупал.) Осенью 1916 года Бетлю надоело вранье в американских газетах, и он подписался на еще одну

немецкую под названием «Отечество», которую и читал с тех пор с саркастическим удовольствием. Он пожертвовал три доллара в фонд помощи пострадавшим на войне германцам и в знак признательности получил кольцо с уменьшенной копией Железного Креста и надписью: «Чтобы доказать мою преданность старому Отечеству я в тяжелое время обменял свое золото на этот кусок железа».

— Знаешь что, Ганс, — сказал Лотц — не носи ты мне больше эту дурацкую газету. Мне она разонравилась. И вообще у меня теперь радио. Они передают все военные сводки. (Правду сказать, сколько он ни просиживал в наушниках, подергивая тонкие, как у кота, усики проводов, он так ни разу ничего и не услышал.)

— Ого! — воскликнул Бетль. — Опомнись, дружище, радио ничем не лучше американских газет, а в американских газетах печатают только про то, какие хорошие англичане и плохие германцы. Хваленый Вильсоновский нейтралитет! Только «Отечество» и исправляет это вранье. Вспомни эту ложь, вспомни, как они переиначили все цифры о «Лузитании». Ты еще будешь спорить. «Отечество» так и пишет: эти сумасшедшие американские газетчики назвали историю с

«Лузитанией» «самым страшным преступлением со времен распятия Христа». Господи Иисусе, они даже отказались признать, что корабль вез боеприпасы. Если хочешь знать правду, ты просто обязан читать эту газету! И посмотри, американские новости они тоже печатают — вот, в Нью-Джерси какого-то мужика жена отравила блинами.

— Видно, я больше не инородец, Ганс, я выбросил свой дефис. Мне все равно, сколько бомб они скинут на голову кайзера. Я не чувствую себя германцем. Мои дети родились здесь, в этой стране. Почему я должен цепляться за ту другую, которая не сделала мне ничего, только прогнала? Я хочу одного: чтобы Америка держалась от этой войны подальше, чтобы я мог работать на ферме, есть свой обед и крепко спать по ночам. — И это было правдой: дочь Лотцев Дэйзи взяла у учителя книжку Уолта Уитмена «Слушай, поет Америка» и читала ее вслух после ужина.

Бетль плевался и орал, что это предательство, заказал в «Патриотических немецких песнях фирмы Колумбия» четыре пластинки: *«Hipp, Hipp, Hurrah», «Die WachtamRhein», «WirMussenSiegen» и*

«Deutschland, DeutchlanduberAlles» [46] в исполнении низкоголосого мужского квартета. Но этого ему показалось мало. Он вступил в Германо-Американский Альянс, и теперь его двуколку можно было видеть на каждом их митинге. На своем проржавевшем немецком он настрочил занудную статейку под названием «Немецкая свинина в Америке», в которой перечислил названия благородных пород белых немецких свиней, большинство из которых были его собственными. Дважды в неделю после ужина он являлся со своим аккордеоном в салун Прэнка и подробно растолковывал человеку, заподозренному в германском происхождении, что он, Бетль, одинаково предан как своей матери Германии, так и невесте Америке. Аргументы подкреплялись немецкой музыкой.

— И это ужасное пиво. Господи Иисусе! Приезжайте ко мне на ферму, я вам покажу, что такое настоящее немецкое пиво.

Бармен отводил от Бетля свои холодные американские глаза. Потом что-то шептал посетителям на противоположном конце стойки.

— Они лезут к тебе в душу и говорят, что они

---

[46] Примечания: 46

«Гип-гип, ура», «Просыпайтесь на Рейне», «Мы победим», «Германия, Германия превыше всего» *(нем.)*

лучше.

— Повесить ирландцев и перестрелять инородцев, — посмеиваясь сказал посетитель. На следующий день над стойкой висела чистая, без единого мушиного пятнышка, надпись: ГЕРМАНЦЫ, ВАС СЮДА НЕ ЗВАЛИ. КАТИТЕСЬ К ЧЕРТУ В СВОЮ ДОЙЧЛЯНДИЮ. Бармен указал на нее пальцем. Бетль прочел, состроил рожу, как будто одновременно выпил целую чашку уксуса и увидал летающую корову, перднул и вышел вон. Он отправился в расположенный на той же улице новый кинотеатр смотреть на длинномордого Уильяма С. Хэрта и Луизу Глум в боевике «Ариец»[47]. Пока ирландский тапер наигрывал грохочущий марш, на экране высветились титры. *«Написано в кровавых письменах, вырублено на лике судьбы, известно любому мужчине, в чьих жилах течет кровь арийской расы: мы защитим наших женщин».* Он подумал о том, что хорошо бы защитить Герти от какой-нибудь напасти, и захрапел.

---

[47] Примечания: 47

Уильям С. Хэрт (1870 — 1946) — актер немого кино, снимался в первых вестернах. Луиза Глум (1894 — 1970) — звезда немого кино, амплуа — женщина-вамп. «Ариец» — фильм, снятый в 1916 г. режиссером Реджинальдом Бейкером (1886—1945).

Беды

Антигерманский пожар разгорался. В апреле 1918 года пришла весть, что шахтеры Иллинойса, словно пятьдесят котов с единственной мышью, два дня играли с немецким иммигрантом Робертом Прагером, наивным и растерянным юношей, толком не понимавшим по-английски. Разодрав одежду, они валяли его в уличной грязи, снова и снова заставляли целовать американский флаг, петь «Звездно-полосатое знамя»[48], хоть он не знал ни слов, ни музыки, потом «Мы будем сражаться за Красное, Белое и Синее» — эта песня у него получилась, правда, с пропущенными словами — отпускали, забывали о нем, выхватывали опять из рук ухмыляющейся полиции, били и допрашивали, потом снова поцелуи флага и песни, поиски дегтя и перьев, вместо которых нашлась веревка, и наконец пьяно, бессмысленно и безжалостно толпа набрасывает на несчастного петлю и тянет вверх до тех пор, пока тот не перестает дышать. С дерева полился целый дождь из

[48] Примечания: 48

Эта песня, сочиненная в 1814 г. Фрэнсисом Скоттом Ки, в описываемые времена еще не была гимном Америки.

потревоженных мертвецом черных мотыльков.

В мае, среди бела дня в кухню валился сын Мессермахера Карл, работавший в Прэнке телеграфистом: он едва дышал, одежда порвана, лицо в крови, целлулоидный воротничок сломан, левая рука висит плетью и вывернулась так, что он никогда больше не мог поднять ее выше плеча.

— Они ворвались прямо на телеграф и потащили меня на улицу, сказали, что я немецкий шпион, шлю телеграммы кайзеру. Сказали, что повесят, — выдохнул он, — как Прагера. У них была веревка, я видел. В толпе Джек Кари, боже мой, я учился с ним в школе! Я вырвался, сам не знаю как, просто упал на землю, пробрался между ногами и бросился бежать. Я шел по конской тропе через кукурузу дяди Ганса.

Он не остался дома, мать замотала ему руку белым льняным бинтом, после чего он залез под груду мешковины в углу повозки Лотца да так и просидел, не слыша ничего, кроме клацанья лошадиных копыт и стука собственного сердца. На станции в Крюгеле он послал телеграмму в главный офис. Оттуда ответили, чтобы он добирался до Чикаго первым же поездом, в багажном вагоне.

Бетль, упорно продолжавший ездить в Прэнк,

ничего не говорил ни о Карле, ни о Прагере, ни о кайзере и американских сводках, но как-то в продуктовой лавке пошутил, что хорошо бы нанять молоденьких фермеристочек убирать кукурузу — ему как раз таких не хватает — серьезных девушек в штанишках и рубашечках. На днях дюжина таких симпатяг маршировала по главной площади Прэнка. В лавке вдруг стало тихо. О'Грэйн плюнул на пол, Бетль плюнул рядом с башмаком О'Грэйна.

Вечером, когда они сидели за столом и тыкали вилками картошку, в окно вдруг влетел камень и стукнулся о стоявший на плите чайник.

— Чтоб тебя раскололо, — выругался Бетль. Камень был обернут в страницу из «Похоти преподобного Ньювела Дуайта Хилла», печатавшего порнографические истории о зверствах германцев в Бельгии. Толстым карандашом было подчеркнуто: «Немецкая кровь — ядовитая кровь».

— Это явно работа О'Грэйна. Разве нет? Господи Иисусе, что за злобный сукин сын. Знаете, почему ирландцы так похожи на пердеж? Во-первых, много шума, во-вторых, непонятно откуда, в-третьих, воняет. Ему подожгли поле. Сто акров горелой пшеницы. Бетль шел по обугленной

земле, с каждым шагом подкидывая в воздух головешки, но пройдя сто футов, закашлялся, лицо стало черным, как уголь. В воскресенье, когда он назло всем опять отправился в город, банда мальчишек и юнцов с криками «немчура!», «ебаный дойч!» и «насильник!» забросала его камнями.

— Я купил облигации Займа свободы! — орал он им. У нас там мальчик. Мой сын, Вид Бетль, он родился здесь, в Прэнке. — Лошадь под ударами камней сперва отступила, потом попятилась и наконец галопом понеслась к дому. У Бетля слетела шляпа, а один из камней попал в челюсть и сломал отличный германский зуб, остатки которого в конце недели Лотцу пришлось тянуть злодейскими зубоврачебными щипцами. Бетль сидел весь в поту, плевался кровью и изредка шипел:

— *Rauch ich in der Pfeife!*

Однако, этой же ночью Герти, наконец, смягчилась и позволила ему взгромоздиться на себя, несмотря на то, что запах крови у него изо рта тут же напомнил ей историю с куриным гнездом, а также, что вместо девиза «Боже, благослови наш Дом», на стене теперь висел ее собственный «Боже, прокляни нашего Изменника». Бетль не заметил подмены.

Надвигалась полоса несчастий. Младший сын Мессермахера разбился насмерть, упав с верхушки стога — шестнадцать футов, сломанная шея, но он хотя бы не мучился, не умер такой нелепой смертью, как Вид Бетль — в дальних краях, на их прежней родине, в Германии — умереть в Германии от раны в паху! В декабре 1917 года бьющая фонтаном кровь превратилась в черную лужу и приморозила к земле его ягодицы. (Шестнадцать лет спустя под мышиной обложкой австралийской «Истории Великой Войны» появилась фотография без подписи, на которой были изображены его заляпанные грязью ботинки и негнущиеся ноги.) Лотц подружился со странствующим скрипачом, и тот прожил у них неделю — жрал, как людоед, пока однажды перед рассветом не удрал, прихватив с собой все деньги, которые нашлись в доме.

— Наверняка цыган, — сказал Бейтль.

Сам Лотц как-то утром упал без чувств, когда плохо повязанный бандаж пережал ему бедренную артерию — у него уже давно кружилась голова. Без бандажа паховая грыжа болталась до середины ляжки и непристойно торчала из трусов. Стеная, он доехал до Кригеля и в задней комнате знакомого аптекаря купил другое

устройство, от которого тоже все болело, но иначе и на некоторое время как будто становилось легче. Когда боль усилилась, он обвинил во всем аптекаря — грека с куском мрамора вместо головы.

Ночные заботы

Летом, когда война уже закончилась, с двумя внучками Бетлей, одиннадцатилетними близняшками Флореллой и Зеной произошла странная и страшная история. После полудня мать видела, как вместе с тремя девочками Мессермахеров они играли под старой вишней, где вечно копались куры, добывая из земли насекомых и устраивая потайные гнезда. Когда пришло время ужинать, Герти вышла на крыльцо и крикнула:

— *Essen! Kommt* [49]*!* — сзывая Перси Клода, все его семейство и нескольких работников — работниц они больше не держали — ужинать вместе с Герти и Бетлем. Но дети за стол не явились, даже когда Бетль, потеряв терпение, сам отправился их звать.

— Пусть остаются голодными. Они наверное у Мессермахеров разрисовывают себе физиономии. — После ужина Перси Клод с женой, приехав на телеге к Мессермахерам, застали семейство за столом, но близняшек с ними не было.

Они играли в саду в «Кухню холостяка», сказала

---

[49] Примечания: 49
Идите есть *(нем.)*.

Томалина, самая старшая из трех девочек, потом они стали играть в «Реки» — текли через сад, сливались друг с другом и впадали в загон для свиней, который считался у них океаном. Под конец решили поиграть в «Черного Паука», Флорелла была слепнем, Зена стрекозой, а Томалина — мухой-поденкой. Грини была сразу матерью и нянькой, потому что для правильной игры им не хватало людей, а Риббонс — черным пауком. Теперь заговорила Риббонс, а взрослые сердито уставились на нее.

— Я сперва поймала слепня, то есть Флорену, и положила ее на траву, потом ушла и поймала Зену и тоже положила на траву рядом со слепнем, потом опять ушла и поймала Томалину и тоже положила на траву, но мухи уже все улетели. Мы подумали, что они хотят играть в прятки, и стали искать, но никого не нашли, и тогда мы рассердились и пошли домой.

— Значит вы никого не видели?

— Нет.

— Неправда! Я же вижу, как ты кусаешь палец. Кто там был?

Грини заплакала.

— На дорожке. Два больших медведя куда-то убегали.

— Здесь не бывает медведей.

— Значит собаки. С короткими хвостами, они увидели меня и спрятались в нору! — После жутких криков Мессермахера все отправились к дорожке и в уже наступивших сумерках принялись искать следы (не нашли), нору (не нашли), и тогда заставили девочек разыграть всю сцену заново. Мессермахер лупил дочерей, требуя сказать, что они видели на самом деле, а не морочить голову собако-медведями, но Герти вздрогнула, вспомнив, как десять лет назад, а то и больше, в такие же вот густые сумерки она искала в траве гнезда несушек, а потом, на этой самой дорожке, увидала колесо от сенокосилки, а на нем громадного черного человека — он сидел на колесе и выдувал из ноздрей дым, который перед тем, как раствориться в воздухе громко щелкал, как будто лопался рыбный пузырь.

Всю ночь три германца прочесывали территорию, фонари качались в темноте полей, как лодки в штормовом море. Ничего, ни единого следа. Как вдруг перед самым рассветом Бетль услыхал на дороге стук колес — потом звук смолк и через несколько секунд раздался снова. Бетль подошел поближе и в бледно-желтом утреннем свете обнаружил, что по дорожке, прихрамывая,

бредут девочки: в волосах запутались листья, платья порваны и перепачканы. Они были босые, без штанишек, на бедрах кровь, и, несмотря на все мольбы, ни слова не могли сказать о том, что же с ними произошло. Лишь истерически рыдали и клялись, что ничего не знают. Только что они играли в саду, а уже секунду спустя, дрожа, брели по темной дороге. Между собой Бетль, Лотц и Мессермахер сошлись на худшем: из города приехали американцы, усыпили девочек хлороформом и изнасиловали, решив таким образом отомстить германцам за Бельгию.

Всего этого оказалось слишком много для Перниллы — через полгода после того, как вышла за Лотца, она слегла от какой-то внутренней хватающей боли, не снимавшейся никаким эликсиром (Лотцу не везло на жен). Пернилла кричала, что Бетль сам изувечил своих внучек, понятно как. Потом притихла. Промолчав неделю, она повредилась рассудком. Вышла в поле с картофельными вилами, принялась выкапывать беспорядочные ямы — она расшвыривала по сторонам стебли и землю, и так уходила все дальше и дальше, пока не превратилась в еле заметную точку на темной пашне. Вернулась она незаметно для всех, направилась прямиком к Бетлю в сарай

и стала тыкать в него стальными зубьями.

— Господи боже, рехнулась баба! А эти идиоты еще хотят пустить их голосовать.

Доктор государственной больницы записал все в журнал, сфотографировал Перниллу в апатичной стадии.

— Улучшение маловероятно, — безразлично сказал он, ему наскучили сумасшедшие женщины. Половина баб в этой стране была явно не в своем уме.

— Хотела бы я тоже так свихнуться, — сказал Герти, зайдя к Пернилле и оглядев свежеокрашенные бежевые стены. — Ни о чем не думать, лежать себе в чистой палате, ни забот, ни хлопот, теплая постель, обед приносят — а что, разве плохо? Отдохнуть наконец от всего. Говорят, здесь даже кино показывают. А так отдохнешь от жизни только если умрешь.

Но через месяц Пернилла вернулась домой, правда с твердым убеждением, что по ночам из города приходят американцы — отравлять колодец. Эти мысли появились у нее после демонстрации, которую она видела в Прэнке, пока ждала Лотца, — в изношенной пролетке, стыдясь своих тусклых заколотых волос, неряшливого платья, стоптанных башмаков и старого безум-

ного лица. Демонстрацию устроили женщины из Христианского Союза Борцов за Трезвость; они маршировали вокруг судебной палаты — со вкусом одетые американские женщины, многие с короткими стрижками, в светлых льняных платьях и белых туфлях с ремешками вокруг лодыжек. В руках они несли плакаты: ПЬЯНСТВО — ЭТО ПРОКЛЯТИЕ ИММИГРАНТОВ и НАСТОЯЩИЕ АМЕРИКАНЦЫ — ЗА ЗАПРЕТ, а еще СПИРТНОЙ ДУХ УБИВАЕТ ДУХ АМЕРИКАНСКИЙ. По ночам Лотц слышал, как она встает, на ощупь бродит по темной комнате и вглядывается в темные окна, не мелькнут ли там предательские фонари американцев. На столе она оставляла записку: «Не пей *Wasser* [50]». Днем говорила:

— Я бы хотела уснуть, но сон не приходит. — Или: — Какой прок столько работать на ферме? Мистер Лотц покупает землю, чтобы откормить побольше свиней, чтобы купить новой земли. Скоро он будет хозяином всего мира.

Временами она ела бумагу, обрывки страниц из Библии заворачивала в блины и макала в сметану — ей нравилось, как бумага застревает во рту, ее можно долго и с удовольствием пережевы-

---

[50] Примечания: 50
Воду *(нем.)*.

вать. Даже горький вкус типографской краски ей нравился. Как-то вечером она стояла у плиты и жарила картошку, как вдруг напряженно застыла, крепко зажав в неподвижной руке лопаточку. От сковородки разносился запах паленого. Лотц поднял голову от фермерской газеты.

— Что ты делаешь, у тебя же все горит! — Еще секунду женщина не шевелилась, потом хлопнула себя по лицу жирной лопаткой, схватила кипящий чайник и вылила его на раскаленную плиту. Шипящее облако пара окутало ее целиком, одной рукой она держалась за крышку плиты, другой лила кипяток. Дочка Клариссы Джен пронзительно закричала:

— Пернилла, ты совсем сдурела! — А Лотц, одним прыжком подскочив к жене, выхватил из обожженной руки чайник.

Тем же вечером пришла Герти и принесла пирог с лимонным экстрактом.

— На твоем месте я бы все ж не сходила с ума, — шепнула она покрытой испариной женщине, — даже ради той чистой комнаты. Они же только обрадуются. Еще чего?

На следующий день Пернилла пришла в себя — только обожженная рука теперь была обмотана засаленным бинтом.

После взрыва на Уолл-стрит в 1920 году и нового всплеска антииммигрантских настроений, три германца и их семьи окончательно замкнулись в своем кружке — они больше не ездили в Прэнк, предпочитая более длинную дорогу до Крингеля, где германцев жило больше, чем ирландцев. Иногда по воскресеньям Бетль доставал свой двухрядный «Хенер» и играл два-три куплета то из одной, то из другой песни, но музыка трех германцев кончилась.

Карл восстанавливает равновесие

Прэнк подобрался к самым границам ферм. В засушливые послевоенные годы в воздухе носилось чувство, подобное тому, что возникает летом после грозы, которая так и не смогла охладить или хотя бы освежить атмосферу — никуда не делась угрюмая влажность и изнуряющая жара, и где-то за горизонтом уже собирается новый, более сильный ураган. Старый мир погиб, его больше не существовало, на смену приходила лихорадочная тревога и ожидание непонятно чего. Появлялись новые дороги, армейские подразделения двигались по ним от берега до берега, намереваясь показать всей стране, насколько эти дороги плохи, и что с ними надо что-то делать. Старую школу у перекрестка Джон О'Клири переделал в заправочную станцию и теперь продавал на ней колеса «Фиск», а еще бензин «Мобил Ойл» и «Стэндард Ойл»: «гарантия на любой вкус — ни керосинового масла, ни других вредных примесей».

Карл Мессермахер явился из Чикаго в брюках гольф, за рулем автомобиля. С собой он привез газеты и журналы «Тру Конфешн» и «Ридерз Дай-

джест» — смешные газеты комиксами о Трудяге Тилле и Беспокойных Ребятах, которые Бетль тут же выбросил в печку, посчитав насмешкой над германцами. Карл теперь только улыбался, вспоминая, как пять лет назад его вытащили из телеграфа.

— Все к лучшему: после той истории компания дала мне новую должность, кабинет и телефон. А то бы я до сих пор так и стучал в Прэнке ключом — или вообще болтался на веревке, спасибо Джеку Кэри. Я слыхал, он надышался иприта и выхаркивает кишки у матери на ферме. Надо перед отъездом зайти сказать этому сукиному сыну спасибо. — В голосе Карла звучала издевка. Он показывал всем свитер с ромбами, говорил о цветном фильме «Дань моря»[51], который смотрел недавно, пускал по кругу пакет с новым изобретением — картофельными чипсами, — затем повел своих кузин к задней стенке сарая, покурить сигареты «Мюрад», и там, показывая фигуры какого-то сумасшедшего танца, выделывал курбеты и извивался до тех пор, пока не поскользнулся на утином дерьме и не перепачкал колени белых фланелевых брюк.

---

[51] Примечания: 51

«Дань моря» — фильм, снятый в 1922 г. Честером М. Франклином (1890 — 1954).

Но до того, как он упал, кузина Лулу сказала:

— Карл, ты теперь ну точно американский студент.

— Зови меня Чарли, — ответил он, — я поменял имя — Чарли Шарп. Это я. Послушай, — продолжал он, — я не германец. Я родился здесь, в Айове. Послушай, — говорил он, — А и Б сидели на трубе А упало, Б пропало. Кто остался?

— Никого, — сказала Лулу.

— Детка, — Карл затряс головой от смеха, — от какой ты сохи, детка? Пойдем, детка, я тебе кое-что покажу.

Они пришли во «Дворец» когда сеанс уже начался. Действие фильма происходило на автомобильном заводе, и на переднем плане красовался громадный черный котел. Внутри этого котла с одной стороны экрана плясали кучки нелепых иммигрантов в национальных костюмах, пели песни на чужом языке и дрыгали ногами — по другую сторону, уже за котлом колонны облаченных в костюмы американцев высвистывали «Звездно-полосатое знамя».

— Вонючка, а не кино, — шепнул Чарли Шарп. — Пошли съедим по хот-догу и завьем тебе волосы.

Бетль сказал, что он перестарался с выбрасыва-

нием дефиса, в ответ Карл засмеялся и возразил, что вся их аккордеонная музыка — старый деревенский мусор.

Сигареты привели Мессермахера в бешенство.

— Если бы Господь хотел, чтобы его создания курили эти штуки, он бы приделал к их головам вытяжные трубы. Курить нужно либо трубку, либо сигары. — Еще он заявил, что картофельные чипсы не годятся даже на корм собакам.

Три старых германца с женами сидели по домам, но дети и внуки перебирались в Прэнк. Злобно шмыгающий нос общества принюхивался к новым жертвам — красным, евреям, католикам, другим чужакам, не только к германцам. Когда на рычащем «де-сото» в город въехал оркестр клезмер-музыкантов[52], шериф заявил, чтобы они катились подальше, Прэнку не нужны еврейские агитаторы, и ему плевать, какую музыку они собираются играть на своих вонючих аккордеонах, в Прэнке полно аккордеонистов, валите отсюда, и вы, и проклятые цыгане с их быстрыми жуликоватыми пальцами, Прэнк желает слушать только «Старый суровый крест» и

[52] Примечания: 52
Клезмер — род еврейской музыки.

«Ты, моя страна»[53], правда родная дочь шерифа пела «Я снова влюблена», аккомпанируя себе на гавайской гитаре.

Никто уже не кричал «пиво, фартук, брюхо», когда Перси Клод и его вторая, явно беременная жена, семнадцатилетняя дочь Мессермахеров Грини, заходили в продуктовую лавку. Две других девочки Мессермахеров вышли замуж за американских трамвайных кондукторов и уехали жить в Миннеаполис. Еще одна дочь, Риббонс, устроилась помогать жене директора известняковой шахты, но через год уволилась, чтобы выйти замуж за нового почтового агента и стать миссис Фланахан, наведя таким образом мост через ирландскую пропасть. Сыновья Лотца, Феликс и Эдгар купили грузовой «форд» модели «Т» и стали возить на нем для магазинов продукты. Феликс (дети были уверены, что его назвали так в честь кота из мультика) был вне себя от счастья, когда сел наконец за руль после стольких лет пешкодрала по горячим дорогам и глотания пыли всякий раз, когда мимо на полной скорости проносились американские юнцы. Он не позво-

[53] Примечания: 53

«Старый суровый крест» — гимн, сочиненный в 1912 г. преподобным Джоржем Беннардом (1873—1958). «Ты, моя страна» (1831) — песня Сэмюэла Фрэнсиса Смита на мотив гимна Великобритании.

лял себя обгонять, подрезал и загораживал дорогу водителям, если те вдруг решали это сделать. Оба женились на американских девушках, и немецкий язык никогда не звучал в их домах.

(Двадцать лет спустя, в 1944 году, охотясь в поле, которое было когда-то частью отцовской фермы, Феликс заметил над речкой Литтл-Ран воздушный шар, и побежал к нему навстречу. На канатах там болталось что-то подозрительное. Шар плавно опустился на землю, Феликс подался вперед и ухватился за японскую бомбу. После похорон — полной правой руки, искалеченной ноги и уха — к родственникам явился губернатор и долго умолял хранить молчание, чтобы не сеять среди людей панику и страх).

Бетль ругался с Перси Клодом, отказывался покупать трактор и не допускал в дом радио. Мессермахер, у которого скопилось прилично денег, вызвал из Крингеля мастеров, провел в дом канализацию и сжег уличный нужник, подняв при этом столб зловонного дыма, но осенью 1924 года ко всеобщему удивлению вдруг продал ферму и перебрался в Кому, Техас, растить хлопок. В Коме половину городка занимали германцы, а в другой селились богемские чехи. Вняв примеру Карла, Мессермахер сменил фамилию на Шарп:

он рассудил, что Чарли Шарпу живется не в пример легче, чем Карлу Мессермахеру.

Складывая перед отъездом вещи, дочка наткнулась на зеленый аккордеон.

— Что с ним делать? Это старый аккордеон, *Vati*[54], который тебе отдал дядя Бетль. Он еще неплохо звучит. — Она растянула меха и сыграла первый куплет из «Да, сэр, это мой мальчик»[55].

— Суньте его в коричневый сундук. Может Вилли надоест гавайская гитара — а может кто из внуков когда займется. — Мать уложила аккордеон на дно сундука, сверху на него опустились корзина для ниток, кофемолка, поношенный бизоний плед и набор чесалок для шерсти.

Бетль ругался, называл Мессермахера предателем, не понимал, как можно покинуть такую хорошую землю, которую они нашли все вместе и все вместе превратили в отличные фермы.

---

[54] Примечания: 54
Папа *(нем.)*.

[55] Примечания: 55
Популярная песенка Уолтера Доналдсона (1893—1947).

Доктор Сквам лечит козлиной железой

Весной 1929 года первым умер Лотц — от осложнения грыжи; его похоронили в кипарисовом ящике. Ферму разделили между собой пятеро детей и множество внуков, которые тут же продали свои участки. По огромным полям рассыпались гаражи и маленькие домики. Месяцем позже из Техаса пришло известие о том, что Мессермахер упал замертво прямо у почтового ящика. На груди у него остался лежать новый каталог из «Сирса», раскрытый на странице с рекламой женских сеточек для волос. Старому другу и соседу Бетлю он оставил акции «Радио» на две тысячи долларов, которые неслись сейчас вверх, как настоящие ракеты.

Чарли Шарп вытащил старика на биржу. Не в силах сдержать изумление перед открывающимися горизонтами, вне себя от одной только мысли о легкой удаче на «бычьем» рынке, Бетль дозвонился из продуктовой лавки до Чарли и стал спрашивать советов. Может нужно вложить деньги еще в какие-нибудь акции? В какие именно?

— Американская радиокорпорация. То, что

держал *Vati*. Радио сейчас выходит на самый верх. «Дженерал Моторс», «Монтгомери Уорд», биржа — это дело, настоящее дело. Дядя Ганс, в Америке может разбогатеть кто угодно. Прошлой зимой чуть-чуть штормило, биржу штормило, но сейчас рынок стабильно поднимается. Страна тверда, как скала. — Он понизил голос. — Я вам кое-что скажу. Я сейчас стою четверть миллиона, дядя Ганс. Я начинал с того, что купил немного акций «Студебеккера», но сейчас все идет вверх очень быстро. Неплохо для деревенского мальчишки из Айовы, а? — Он еще некоторое время поразглагольствовал о том, как покупать акции в долг и предложил Гансу свои услуги в качестве брокера.

Бетль, поверив после тридцати лет жизни в этой стране, что Америка наконец-то вступила в эру процветания, взял под залог фермы кредит и через Чарли купил сто акций «Радио» по 120,50 за пай.

— Если бы вы купили их на прошлой неделе, дядя Ганс, вы заплатили бы всего девяноста четыре. Так быстро растет. Предела нет. Предел — само небо.

Попав в плен к «Радио» и ее распухающему успеху, Бетль наконец-то сдался и купил дорогой

фрид-эйсмановский пятиламповый приемник с девяностоамперной батареей «Прест-О-Лайт», двумя сорокапятивольтовыми батарейками, наушниками, антенной, вакуумной трубкой и круглым динамиком, который одиноко висел на стене и оглушал всех звуками «Цыганский час Эй-Пи». Перси Клод сказал:

— Провел бы электричество, не понадобились бы все эти батареи, просто втыкал бы в розетку. «Кроссли Пап» стоит десять долларов, а сколько ты отдал за все это, пятьдесят? Шестьдесят?

Поверив в свалившуюся на него удачу, Бетль задумался о судьбе: — Трое ровесников, три одинаковых жизни, Лотц и Мессермахер умерли, их уже нет, вроде того, один, два, я третий, я следующий. Значит и я скоро умру. Тот же возраст, шестьдесят четыре, а они уже в *dem Grab* [56]. — Впервые, со времен своих мальчишеских лет, он чувствовал, как уменьшается желание. Наклонясь над бочонком с картошкой и держась рукой за крестец, Герти напевала «Лучшее в жизни — это свобода» и размышляла о том, какие бывают надгробья.

Но он все так же прямо сидел за столом, все так

---

[56] Примечания: 56
В могиле *(нем.)*.

же раскуривал трубку, все так же поднимался ни свет, ни заря — получалось, он и вправду их пережил, двух других германцев, и единственное, что отличало его жизнь от их — это активность, что сберегла ему силу и мощь, добрая честная похоть. Она и сохранит его живым и здоровым лет до ста.

— Господи Иисусе, я же им говорил!

Но и его пламя остывало, в этом была реальная опасность. Он заставлял себя минимум раз в день сцепляться с Герти, но от усилий, которых это требовало, корчился, покрывался потом, впадал в тоску. Он говорил отрывисто, командовал сыновьями, словно те все еще были детьми — наверняка ждут не дождутся, когда он отправится вслед за Лотцем и Мессермахером, особенно Перси Клод, поглядывавший на отца волчьими глазами. Ответ пришел к Бетлю по радио.

Обычно он хранил верность «Кей-Эф-Кей-Би», которая вещала из Топеки, и переключался на другие каналы, только когда не мог до нее добраться — слушал «Обзоры Концертины», «Веселую сельскую музыку», «Мужик-ковбой и его маленькая гитара», несколько раз натыкался на чикагскую передачу «Пляски у сарая Дабл-Ю-Эл-Эс», но чаще всего ловил на «Сидер-Рэпид»

«Полуночников Куна Сандерса». Он не особенно вслушивался, о чем поют в этих джазовых фокстротах, и, скажем, «Жизнь похожа на рай», звучало для него как «Джон пошел за сарай». Иногда он доставал «Хенер» — маленький зеленый аккордеон подошел бы лучше — и подыгрывал музыкантам «Концертины», хотя эти ненормальные шведы издавали звуки вроде тех, с которыми вылетают из бутылок пробки, или когда писают коровы. (Только раз ему удалось услышать, как какой-то виртуоз играет на уитстоновской концертине прелюдию Баха номер 1 ми-бемоль-мажор, но после этого на радио пришло столько жалоб, что номер больше не повторяли.) Однажды в репродукторе раздался скрипучий гнусавый голос доктора Сквама.

— Друзья, у микрофона доктор Сквам, и он приглашает вас для прямого разговора. Сегодня я хочу сказать несколько слов мужчинам, так что если нас слушают леди, то они могут спокойно подняться наверх и заняться рукоделием, ибо нам предстоит мужской разговор. Но прежде, чем вы нас покинете, примите две столовых ложки моего лечебного тоника номер пятьдесят пять, ибо в вашей жизни скоро произойдут большие перемены.

Ну, что ж, джентльмены, когда мужчина достигает определенного возраста, вы знаете, что я имею в виду, вы ведь из тех мужчин, которым это небезразлично, его пыл остывает, определенные железы увядают, и весна уходит из его шагов. Если то, о чем я говорю, вам знакомо, слушайте внимательно. До последнего времени этим мужчинам не на что было надеяться, несмотря на прекрасное здоровье, силу и способности во всем остальном. Но сейчас появился шанс. Доктор Сквам разработал сложную четырехступенчатую операцию по омолаживанию истощенных половых органов с помощью вливания свежей крови в пораженные участки — это дает настоящий толчок старому двигателю. Послушайте, что говорит нефтяник из Техаса.

Из-под целлюлозной крышки динамика полилась медлительная речь, затем диктор объявил с тщательно скрываемым возбуждением:

— Если вы хотите узнать побольше о волшебной процедуре, которая вернет вам вашу же энергию и радость восемнадцатилетнего юноши, напишите доктору Скваму по адресу…

Бетлю тут же пришло в голову, что если продать пару акций из тех, что ему оставил Мессермахер, можно сделать операцию за мессермахеровский

счет.

— Узнал бы — перевернулся в гробу от смеха. И на кой черт писать этому Скваму. Клод! Перси Клод, давай сюда, мне надо на станцию.

Вечерним поездом он отправился в Топеку. Была середина августа. Два дня спустя он лежал на операционном столе, и доктор Сквам, надрезав мошонку, искусно имплантировал ему в яички часть козлиной железы. Пока шла операция, персональная радиостанция доктора передавала с больничного двора отборные вальсы и польки. Узнав, что Бетль играет на аккордеоне, доктор Сквам снизил цену за операцию до всего лишь семиста долларов.

Адская жара

В поезде, который вез его обратно в Прэнк, было невыносимо: зной распаханной прерии, удушающее одеяло жары, плотное, словно клей, воздушное марево — кукуруза сохла прямо на глазах, и пыльная корка покрывала обочины дорог. Грубая обивка сиденья раскалилась. Распухшие яички Бетля начали пульсировать, и меньше чем через час давление туго натянутой материи брюк уже невозможно было вынести. Он попытался шагать взад-вперед по проходу, но приходилось так широко расставлять ноги, что все на него оглядывались. Когда поезд добрался до Прэнка, он был готов упасть на землю — почти без чувств, с выпученными глазами. Он все же пытался смотреть этими воспаленными шариками, но небо переворачивалось вверх тормашками, и птицы скользили по нему, словно мухи по стеклянному полу. В Прэнке кондуктор вытащил его на перрон и сдал на руки Перси Клоду, который флегматично дожидался отца, прячась в тени навеса и болтая покрасневшими руками.

— Что-то не то с вашим стариком, Перси Клод. Ходит, будто у него в жопе кукурузный початок.

На твоем месте я бы показал его доктору.

Доктор Дилтард Кюд, длинноногий человек, владевший солидным пакетом акций «Американ Телефон энд Телеграф», вышел из дому, бросил взгляд на зашитые яички, затем на воспаленные полосы, тянувшиеся от паха к животу и вниз к почерневшим бедрам, сказал: инфекция, гангрена, ничего не сделаешь, нужно везти домой, уложить, как можно удобнее в этой проклятой жаре, пристроить на поднос кусок льда и установить вентилятор так, чтобы воздух шел ото льда на больного, затем — ничего не поделаешь — дожидаться конца. Перси Клод не стал говорить, что они без электричества не смогут установить вентилятор.

Тридцать часов Бетль пролежал на диване, не в состоянии открыть глаза. Он чувствовал, когда кто-то заходил в комнату. По всему телу разливался звон, обжигающий и жужжащий. Он хотел пошевелиться, но не мог. Он хотел крикнуть *«der Teufel* [57]*!»*, но слова застревали в горле. Однако страшно не было, только очень интересно — он явственно слышал хрипловатые звуки «*Deutschland, Deutschland»* так, словно там,

---

[57] Примечания: 57
Дьявол *(нем.).*

куда он уходил, его наконец-то ждала настоящая немецкая аккордеонная музыка. На памятнике его имя написали неправильно — Ганс Буттл. Но так их называли в округе, и Перси Клод решил, что пусть так и будет.

Промашка Чарли Шарпа

В первой трети сентября скорректированная цена «Радио» добралась до 505 за каждую из дважды разделенных акций; оставшиеся после Бетля сто акций стоили больше пятидесяти тысяч долларов. Перси Клод встал, разогнул спину, примерно час побродил вокруг дома, затем вернулся, сел рядом с Грини и рассказал ей все как есть.

— Ты знаешь, *Vater* Ганс оставил кое-какие акции. Он занимался биржей через Чарли, Чарли Шарпа. Там немало.

— Сколько? — Она поднесла спичку к сигарете и выпустила дымок через напудренные ноздри.

— Да немало. — Ему не нравились курящие женщины, но он ничего ей не говорил. Волосы у нее были подстрижены — обрублены, думал он, — густые прямые пряди резко обрезаны самых у мочек. И, похоже, она что-то сделала с грудью, стала какой-то плоской.

— А что если бросить эту чертову ферму и переехать Де-Мойн? Какой смысл торчать здесь? Я так давно мечтаю о Де-Мойне.

— Только не надо повторять за этой ненормальной Флэминг Мэйм. Ты совсем не думаешь

о *Mutti* [58].

— Ей понравится в городе — там много пожилых дам, всегда есть чем заняться, будет ходить в кино, научится играть в маджонг. Покрасит волосы, приоденется немного. Господи, Перси Клод, скажи, ну пожалуйста, мы переедем в Де-Мойн? Я так устала от этого старого корыта, так надоело чистить эти вонючие керосиновые лампы. Во всем Прэнке без электричества только мы.

— Я не говорю «да» и не говорю «нет». Очень многое нужно сделать. — Но из продуктовой лавки он позвонил Чарли и сказал, что хочет продать акции.

— Господи, Перси Клод! Не сейчас! Только не сейчас! Они поднимаются! Акции снова разделят, у тебя будет в два раза больше. На твоем месте я бы ни за что не продавал, я бы покупал новые, нужно распределять капитал. Я уже давно присматриваюсь к «Ротари Ойл».

— Нет, я их, пожалуй, все же продам. Подумываю о том, чтобы выставить на продажу ферму — возможно, мы переедем в Де-Мойн.

— Послушай, если уж переезжать, то в Чикаго. Ты не поверишь, это такой город. Это самый важ-

---

[58] Примечания: 58
Мама *(нем.)*.

ный город, здесь живут самые большие люди, и отсюда, из самого сердца страны, управляют всем. Восточные миллионеры уже не в вертят этот мир. Эй, ты слушаешь по радио «Банду Рокси»? Вчера вечером был Эл Джолсон[59]. Я тебе скажу, вот это номер.

— Нет. У нас нет этой станции. И все же я буду их продавать.

— Перси Клод, ты себя хоронишь. Вспомнишь мои слова, когда они вырастут выше крыши.

— Я так решил.

— Подумай, как следует подумай, Перси Клод.

Меньше чем через месяц биржа рухнула и покатилась вниз, но Перси Клод лишь посмеивался. Каждый день он ходил к почтовому ящику проверять, не пришел ли чек от Чарли. В конце концов он позвонил из ему продуктовой лавки, намереваясь спросить, послал ли тот чек заказным письмом, но на другом конце провода никто не ответил, лишь зудели гудки, снова и снова, до тех пор, пока не подключился оператор и не велел ему повесить трубку. Новость дошла кружным путем только к середине октября: дочь Лотца получила письмо от Шарпов из Техаса. Чарли

---

[59] Примечания: 59

Эл Джолсон (1886 — 1950) — популярный в 30-е годы певец и эстрадный актер.

Шарп, потеряв в Чикаго все, что имел, включая доставшиеся в наследство Перси Клоду акции «Радио», которые он так и не продал, выстрелил себе в голову. Он выжил, но разнес нос, рот, зубы и нижнюю челюсть — на ободранном мясе остались только два безумных голубых глаза. Смотреть без ужаса на него невозможно, так что они привезли его в Техас и держат в полутемной комнате. Он не может говорить, а кормят его через трубку.

— Знаешь, Перси Клод, — по телефону сказала Рона Шарп после того, как подтвердила, что все так и есть, да, это, конечно, очень печально и даже трагично, но ведь есть и светлая сторона, ведь теперь Чарли обратился к Иисусу, ведь ясно видна связь, правда? — Здесь дают бесплатно целый ящик помидоров, когда заливаешь машину бензином. Вам обязательно нужно сюда переехать.

Не обращаясь к посредникам, Перси Клод продал ферму какой-то паре из Огайо, но их банк рухнул до того, как он успел получить по чеку деньги. У пары остались в руках документы, а у него — бесполезный чек. Теперь он был беднее, чем Бетль сорок лет назад.

— Я поеду в Техас и убью Чарли Шарпа, — сказал он Грини. Но вместо этого они отправились

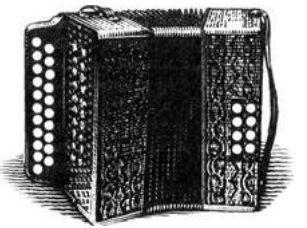
в Де-Мойн, где после трехнедельных поисков Грини нашла работу в «Пять-на-Десять»[60], а он подписал контракт с дорожностроительной бригадой Коммерческой кредитной ассоциации.

(Но не их ли сын Роули, рожденный несколько лет спустя на заднем сиденье машины, собрал по кускам дедову ферму, добавил к ней три тысячи акров пашен, построил поле для гольфа, стал хозяином механической мастерской, плиточной и кульвертной фабрик, а еще вошел на паях во владение сырным производством, получая одновременно двадцать тысяч в год из фонда государственной дотации фермерам? Не тот ли самый Роули открыл на свои деньги музей пионеров-фермеров Прэнка, перерыл землю и небо, нанял частных детективов, чтобы найти старый зеленый аккордеон своего деда? И не продолжались ли эти поиски осенью 1985 года, когда Роули с женой Эвелин отправились в честь двадцать пятой годовщины свадьбы в парк Йеллоустоун, где Роули уронил пленку от фотоаппарата в гейзерный бассейн «Западный палец», наклонился за ней, потерял равновесие и упал головой в кипящий ключ, но, несмотря на обваренные до

[60] Примечания: 60
Сеть магазинов, торгующих спортивно-туристским инвентарем.

полной слепоты глаза и знание о неминуемой смерти, все же выбрался — оставив на каменном бордюре, словно красные перчатки, кожу своих рук — однако, лишь для того, чтобы тут же упасть в другой, еще более горячий источник? А как же иначе.)

КУСАЙ МЕНЯ, ПАУК



Маленький однорядный аккордеон

И не смотри на меня так

Великий аккордеонист, а по совместительству уборщик посуды Абелардо Релампаго Салазас — это он в Хорнете, Техас, майским утром 1946 года, перевернувшись незадолго после восхода солнца в собственной кровати, вдруг почувствовал, что умирает, а, может, и умер уже. (Несколько лет спустя, когда он действительно умирал в той же самой кровати, он ощущал себя поразительно живым.) Чувство было не сказать чтобы неприятным, но с оттенком сожаления. Сквозь ресницы он видел кроватные шарики из чистого золота, а в окне — трепетное прозрачное крыло. Его омывала небесная музыка и голос, чистый и умиротворяющий, — голос, которого он не слыхал ни разу, пока был жив.

Прислушавшись, он вернулся к жизни и сообразил, что кроватный шарик позолотило солнце, а крыло ангела было всего лишь развевающейся занавеской. Музыку играл его аккордеон, но не четырехрегистровый двухрядный «Маджестик» с инициалами АР на белом перламутре, а другой, особенный, маленький девятнадцатикнопочный двухрядный аккордеон с очень редким голосом. К

которому никому, кроме него, не позволено прикасаться! И все же он лежал и слушал — несмотря на протестующие позывы переполненного мочевого пузыря и разгоравшийся жар нового дня. Голос принадлежал его почти взрослой долговязой дочери — голос, которого он никогда не слышал, если не считать басовитого жужжания, что издавала эта замарашка, бродя по дому. Он был уверен, что девчонка умеет играть разве что нескольких элементарных аккордов, хотя вот уже четырнадцать лет она была его дочерью, и сто раз у него на глазах забавлялась с маленьким «Лидо» своих братьев. Когда ему узнавать детей, если он почти не бывает дома? Сыновья, да — они музыканты. Он злился еще и от того, что именно дочь вдруг оказалась исключением. Этот удивительный голос, исходивший из самого верха носоглотки, печальный и вибрирующий, словно вобрал боль всего мира. Он вспомнил старшего сына, Кресченсио, бедного покойного Ченчо, начисто лишенного музыкального слуха и похожего на робкого пса, что боится сделать шаг вперед. Какая потеря! Должно быть, дьявол, а не Бог послал в его сон эту музыку. Тот самый дьявол, что вот уже целый век водит за нос людей, пряча в труднодоступных местах ископаемые ко-

сти. Абелардо злился еще и потому, что девчонка терзала главное сокровище его жизни.

Не вставая с кровати, он прокричал:

— Фелида! А ну иди сюда! — и прикрыл голову подушкой, чтобы дочь не видела его растрепанных волос. Громкое шебуршание и выдох аккордеона. Она вошла в комнату и остановилась, отвернув лицо в сторону. Руки пусты.

— Где зеленый аккордеон?

— В футляре. В передней.

— Чтобы ты никогда больше к нему не прикасалась. Не смей даже открывать футляр. Ты слышишь меня?

— Да. — Она сердито повернулась и, сгорбившись, ушла в кухню.

— И не смотри на меня так! — прокричал он.

Он думал о дочери. Как хорошо она пела! Он слушал ее, но и не слышал. М-да, но когда она научилась играть? Вне всякого сомнения, глядя и слушая его игру, она восхищается своим отцом. А что если устроить сенсацию, взять ее с собой на выступление, представить им свою дочь, пусть видят, как щедро одарил Господь всех его детей — кроме Чинчо, конечно. Но даже когда он воображал себе эту прелестную картинку: себя в темных брюках и пиджаке, в белой рубашке и бе-

лых туфлях, и Фелиду в роскошном отороченном кружевами платье, которое Адина шила сейчас для девочки на *quinceñera*[61] — *ay*, сколько же оно будет стоить! — и как Фелида выступает вперед и поет своим изумительным голосом — куда там Лидии Мендосе[62] — вот вам новая *gloria de Tejas* [63], даже тогда будущее упрямо корчилось у темной боковой дорожки, на глухой тропе событий.

Мимо проехал автобус, наполнив комнату гулом, словно эхом от взорвавшейся канализации. Абелардо встал, закурил сигарету, поморщился от боли в правом бедре и, скосив глаза, откинул назад волосы. Как это у него получается — целый день мотаться взад-вперед на работе, а потом еще полночи играть? Не считая обычных дел с *agringada* [64] женой. Мало кто вынесет такую жизнь, думал он. По крайней мере, с таким мужеством.

---

[61] Примечания: 61

Праздник пятнадцатилетия. По традиции мексиканских общин пятнадцатилетняя девочка считается взрослой, поэтому пятнадцатый день рождения отмечается с особенной пышностью.

[62] Примечания: 62

Лидия Мендоса (р. 1916) — известная мексикано-американская певица.

[63] Примечания: 63

Слава Техаса *(исп.)*.

[64] Примечания: 64

Американизированная *(исп.)*.

Однако он был уже на ногах, и, как всегда в это время, в голове звучала музыка — грустноватая неровная полька, похожая на *«La Bella Italiana»*[65] в исполнении Бруно Вилларела[66]. Всю жизнь он наслаждался своей внутренней музыкой — иногда это были несколько фраз из никому неизвестного *ranchera* [67] или вальса, иногда разыгранная нота за нотой *huapango* [68] или полька, которую он играл сам или слышал, как играют другие. Время от времени возникали совсем незнакомые мелодии, новые никогда не звучавшие пьесы — внутренний музыкант работал всю ночь, пока Абелардо спал.

У двери, на небольшом трюмо лежали приспособления, с помощью которых он тщательно укладывал длинные пряди волос, стараясь замаскировать лысеющую макушку. На затылке и висках волосы были очень длинными, и сейчас, ранним утром, отражение в зеркале напомина-

---

[65] Примечания: 65
Прекрасная итальянка *(исп.)*.

[66] Примечания: 66
Бруно Вилларел — полуслепой музыкант, один из пионеров мексикано-американской аккордеонной музыки, стиля «конхунто».

[67] Примечания: 67
Ранчера — вид народного танца.

[68] Примечания: 68
Гуанпаго — музыкальная пьеса в мексиканском стиле.

ло покрытого паршой античного пророка. Он расчесал локоны деревянным гребнем, искусно расположил на голове каждую прядь и закрепил ее для надежности заколкой. Возня с прической неплохо успокоила нервы, и он запел: *«Не ты ли это, моя луна, проходишь мимо дверей...»* Его целью была пышная шевелюра, но посторонние люди, взглянув на эту высокую прическу, иногда — на секунду — принимали его за женщину. А незнакомцы попадались ему часто, поскольку он работал в ресторане «Сизый голубь» — не официантом, а всего лишь уборщиком посуды. «Сизый голубь» располагался в Буги — городке чуть южнее Хорнета, где раньше стоял старый дом Релампаго, и где они когда-то жили. Сейчас он сидел за кухонным столом, слушал звяканье кастрюль, Фелида подогревала молоко для его любимого *caf con leche*[69], Бобби Труп тянул по радио припев «66-го тракта»[70], потом комментатор с заговорил о забастовке шахтеров и федеральных войсках, что-то еще про коммунистов, все те же старые песни — Абелардо вздохнул с облегчени-

---

[69] Примечания: 69

Кофе с молоком *(исп.)*.

[70] Примечания: 70

Бобби Труп (1918 — 1999) — американский певец и автор песен. «66-й тракт» — самая известная его мелодия.

ем, когда Фелида выключила приемник. Нужно торопиться.

Он был невысок, на мясистом лице выдавалась челюсть. Маленькие глубокие глазки, темно-русые брови изогнуты дугой (он приглаживал их чуть смоченным слюной пальцем), а над ними, словно панель, высокий лоб цвета фруктового дерева. Короткая шея уничтожала всякую надежду на элегантность. Руки у него были толстыми и мускулистыми, чтобы лучше, как он говорил, сжимать аккордеон, а кисти заканчивались сильными, но тонкими пальцами, умевшими двигаться очень быстро. Не слишком стройный торс, короткие тяжелые ноги, так же густо заросшие волосами, как и грудь. Тяжелый — это слово приходило на ум Адине при взгляде на его обнаженные бедра.

Беспокойный и порывистый — его лицо меняла каждая фраза, идея или мысль, что рвалась наружу. Он сам придумывал себе прошлое — взамен того, которого никогда не существовало. Ничем не примечательные события он превращал в истории, мелкие неприятности вырастали до истинных драм, а голос раздувал их еще сильнее.

Dios [71], удивлялись официанты и растерянные дети, как можно столько говорить, наверное во младенчестве его укололи иголкой от «Виктролы».

Но были в его жизни моменты, которых он никогда не смог бы описать словами: когда, словно птицы в общем полете, сливаются вместе голоса, и по телу слушателя пробегает счастливая дрожь. Или когда музыка бьет из инструмента, словно кровь из вскрытой артерии, а танцоры, захлебываясь этой кровью, топают ногами, сжимают скользкие руки партнеров и кричат во все горло.

Его голос возбужденно бросался от верхних нот к нижним, иногда делая глубокие паузы для эффекта — для звукового эффекта. Когда он не говорил, он пел, собирая вместе слова и музыку: *«Спи-засыпай, моя прекрасная Адина, и черный волос твой на беленькой подушке, должно быть полная луна тебя к моей постели привязала».* Хотя размер ноги у него был не маленьким, ему нравились элегантные туфли, и он покупал их при первой же возможности, правда всегда дешевые, так что не проходило и месяца, как коробилась кожа, и отлетали каблуки. Напиваясь,

---

[71] Примечания: 71
Господи *(исп.)*.

он впадал в отчаяние, своя же собственная музыка бросала его в пещеры, полные гуано и костей летучих мышей, изглоданных дикими зверями.

Я рожден в нищете

Я один в этом мире

Я тружусь, чтобы жить

Я искал красоту

Но нашел лишь уродство и злобу людскую…

Его работа была абсолютно идиотской, и именно этим она ему нравилась, он получал болезненное удовольствие, когда белые тарелки, перепачканные соусом и сыром, ненавязчиво соскальзывали со скатерти прямо в пластмассовый таз, ему нравилось собирать миски с плавающими в соусе обрывками салата, воткнутые в жир окурки сигарет.

Наступал вечер, и он входил в другой мир: аккордеон у груди, сильный голос управляет движениями и мыслями двух сотен людей, он непобедим. В ресторане он был рабом не только по долгу службы, но и по собственной внутренней склонности. Его день начинался в семь утра пустыми чашками из-под кофе и крошками сладких пирогов, а заканчивался в шесть первой

порцией вечерних тарелок. Он знал всех дневных официантов, их было семеро. Все, кроме одного, с уважением относились к двойственности его натуры, хотя может и ругались вслед, когда он шел по коридору в кухню, чтобы протолкнуть таз с грязной посудой через окно в раковину, — его медлительность, неуклюжесть и бестолковость была всем хорошо известна. Но по вечерам и в выходные дни эти же люди вопили от радости, когда на них лился водопад его музыки, хватали его за рукава и повторяли его имя, словно имя святого. Они бы целовали ему ноги, если бы знали, откуда берется сила его голоса и в чем секрет зеленого аккордеона — а может, из ревности или зависти швырнули бы его в огромный горячий котел.

Релампаго

До войны, прежде чем в 1936 году переехать в Хорнет, семья жила у реки, в саманном домике. В округе еще оставалась дюжина таких же домов, нищих и удаленных друг от друга. Неподалеку, описав дугу, исчезала на западе железная дорога. Первые годы своей жизни сыновья играли со старыми колесами, пылью, палочками, мятыми банками и бутылками. Релампаго жили в этом доме несколько веков, еще с тех времен, когда не существовало самого Техаса. С 1848 года они считались американскими гражданами, но несмотря на это англо-техасцы называли их «мексиканцами».

— Кровь гуще, чем вода в реке, — говорил Абелардо.

Поколение назад мать Абелардо — на самом деле не мать, поскольку он был подкидышем, голым младенцем, завернутым в грязную рубаху и оставленным в 1906 году на полу церкви, — молчаливая согнутая женщина знала лишь детей, тортильи, землю, прополку гороха, тыквы, помидоры, чили, фасоль и кукурузу.

Старик-папаша — на самом деле, не отец —

был полевым рабочим, постоянно в разъездах: в долине Рио-Гранде, в Колорадо, Индиане, Калифорнии, Орегоне или на техасском хлопке. Человек-невидимка (подобно тому, как сам Абелардо стал невидимкой для своих детей), работа, работа, опять на север, переводы на небольшие суммы, иногда он возвращался на месяц-два, горбун с огромными расцарапанными руками и запавшим беззубым ртом. Несчастная человеческая машина для работы, искалеченные согнутые руки созданы для того, чтобы хватать и тянуть, поднимать ящики и корзины, чтобы держать. Без работы руки повисали, им становилось неловко. Он и сам знал только работу: глаза скошены и полуприкрыты, лицо не отягощено следами раздумий, вместо рта дырка, щетина на щеках, замусоленная бейсбольная кепка, а рубашки он таскал до тех пор, пока они не сгнивали. Если и была в его жизни красота, то об этом никто не знал.

Пришел день, и его изношенный отец исчез. Очень нескоро женщине рассказали, что ее муж утонул в одном из северных городков: хлынувшая на улицы девятиметровая стена воды смыла его вместе с другими несчастными — мутная желтая жидкость, наводнение, что испугало бы

даже Ноя, катастрофическое порождение ливня, свирепее которого никто никогда не видел — за одну грозовую ночь тогда выпало тридцать шесть дюймов воды.

Детство Абелардо прошло среди музыки, которую он извлекал из палочек, набитых горохом банок, металлических обрезков и своего собственного пронзительного голоса; а еще у речки, что текла, когда не пересыхала, к Рио-Гранде, была то глубокой и полноводной, с кучами иноземного мусора, а то просто размазанной по гравию пленкой ила — границы ее прочерчивали тополя и ивы, густо усыпанные резвыми птицами: в сентябре белокрылые голуби подпрыгивали, взлетали высоко в небо и расходились там веерами, вокруг них, не переставая, щелкали выстрелы, ПАФ, паф, а весной на север, на холодный пронизывающий север отправлялись ширококрылые ястребы. Он смутно вспоминал, как стоит рядом с каким-то человеком — мужчиной, но не отцом — под кедровыми вязами и эбеновым деревом, вдыхает невообразимую смесь гуаджилло, черной мимозы, акации и смотрит на темно-синюю змею, обвившую тонкие листья. Он тогда почти разглядел пятнистого оцелота, на которого показывал мужчина — словно

кусочек земли, пойманный пятном света, вдруг вытолкнул себя наверх и утек в чащу. На сыром песке речной излучины он как-то нашел оттиск целой птицы — все, кроме головы: крылья вывернуты в стороны и вниз, на распластанном хвосте отчетливо видны перья, и вся картинка ясная, как отпечаток археоптерикса в доисторической грязи. Другая большая птица стояла на спине у первой и, словно секатором, зажимала клювом ее голову — секунду спустя она унесла ее прочь.

Он был Релампаго не по рождению, не по наследству, не по крови, а лишь по формальному усыновлению, но, тем не менее, унаследовал все имущество Релампаго, поскольку одиннадцать других детей умерли или пропали. Вода была их роком. На глазах Абелардо утонула Елена. Они тогда носили воду — трое или четверо истинных Релампаго с трудом взбирались на крошащийся берег, когда вдруг раздался всплеск и крик. Он еще успел увидеть, как молотит воду рука, как над грязным потоком поднимается кричащая голова, чтобы через секунду исчезнуть окончательно. Он бежал домой впереди всех, вода плескалась из ведра на босые ноги, проволочная ручка больно резала руку.

Последним из Релампаго был Виктор, но и он

погиб в девятнадцать лет, в оросительной канаве, вода порозовела от его крови. Грубая шутка повторилась вновь: да, всем известно, в техасских рейнджерах есть мексиканская кровь. На сапогах.

Наследство ему досталось ничего себе: крошащийся саманный домик из трех комнат и клочок двора размером с одеяло. И все же они жили в этом доме до тех пор, пока каким-то образом не было доказано, что земля на самом деле принадлежит крупному хлопковику, американцу, который пожалел Абелардо и дал ему пятьдесят долларов в обмен на позволение стереть запись о том, что этот мексиканец может владеть землей, размером хотя бы с ноготь.

Прибыли два бульдозера, протащили по земле цепь, нырнули в ветвистый лабиринт, перемололи в кашу молодые листья и белую древесину сучьев, а густые заросли превратили в гору хвороста — топливо для костра — костра жизни, что сжигает дни. И с тех пор — длинные плоские хлопковые поля, глазу не на чем отдохнуть, кроме согнутых спин рабочих и желтых тележек надзирателей, воздух пропитан запахом химикатов и пестицидов. И все же до конца своей жизни Абелардо вдыхал по утрам несуществующий

запах реки, а в нем — воображаемый аромат прекрасной и трагической страны, где он, вполне возможно, был рожден.

Танцы у Трескучего ручья

В 1924 году на танцах он познакомился с Адиной Рохас. Ему тогда исполнилось восемнадцать, и единственным его имуществом был маленький зеленый аккордеон, который он купил месяц назад в техасском хлопковом городке, неделю пронаблюдав сквозь витрину парикмахерской за тем, как выцветают на ярком солнце меха и закручивается оторванный ремешок для большого пальца. Инструменту требовался серьезный ремонт. Он купил его за пять долларов, не прослушав ни единой ноты. Чем-то притянул его к себе этот аккордеон даже сквозь засиженное мухами окно — он вообще легко поддавался порывам. Одна из кнопок западала, угловые блоки под басовой решеткой отвалились, воск засох и потрескался, язычковые пластинки болтались, кожаные обратные клапаны высохли и покоробились, прокладки скукожились. Он осторожно разбирал инструмент — учился ремонтировать на глазок, спрашивал советов. Так он узнал, как нужно правильно смешивать пчелиный воск и канифоль, где покупать кожу козленка для новых клапанов — он трудился без отдыха до тех

пор, пока инструмент не зазвучал, и наконец-то Абелардо смог соединить свой голос с его чистой горькой музыкой.

Адина была пятью годами старше — смуглая, сильная и своенравная женщина, все еще не замужем. Всю их последующую жизнь ему достаточно было взять первый аккорд *«Mi Querida Reynosa»* [72], чтобы вызвать в памяти тот танцевальный вечер, и неважно, что дело было не на Рейносе, а на Трескучем ручье. Лицо ее покрывала белая пудра, Адина кружилась вместе с ним в танце, и белые горошины синего платья из искусственного шелка носились, как угорелые, при каждом ее движении — в первый раз он тогда не играл; он отдал аккордеон в руки Белтрану Дингеру, Белтран играл хорошо — а сам направился прямо к Адине. Он танцевали польку по-новому, на прямых ногах, вбивая вес в каблуки, каждый шаг делался так, словно подошвы с трудом отрывались от пола, сильные и мужественные движения — ничего общего ни с чешским порханием, ни с изнурительными подскоками *de brinquito* [73] — полная народу танцплощадка кружилась против

---

[72] Примечания: 72
Моя дорогая Рейноса *(исп.)*.

[73] Примечания: 73
Прыжочек *(исп.)*.

часовой стрелки, кружилась по шершавому полу, запах духов и бриолина, влажная рука Адины в его руке. После этого единственного танца он вернулся к музыкантам, но весь вечер постоянно и ревниво следил за платьем в горошек. Душераздирающую *«Destino, Destino»* [74] он пел только для нее, пальцы летали над кнопками, вели танцоров сквозь замысловатую музыку, заставляли их кричать «е-е-е-ЯАА!» Даже два алкаша за дверью забыли про драку и вернулись послушать.

Адина очень хорошо помнила тот танец, но считала его началом всех своих бед. Позже она полюбила рассказывать дочери кошмарные истории о том, как приходилось самой варить мыло и прямо во дворе стирать в тазу белье — когда они жили в доме Релампаго. У них не было денег на веревку, и белье сушилось на проволочном заборе: старая проволока, проржавевшая до красноты, прикрутки, обмотки, железные колючки, вся одежда в ржавых полосах, а Абелардо при этом покупал себе папиросную бумагу и табак.

— В Депрессию было очень страшно, — говорила она дочери. — Американцы тысячами депортировали людей в Мексику, не только *los*

---

[74] Примечания: 74
Судьба, судьба *(исп.)*.

mojados[75], но даже тех, кто родился здесь, американских граждан, их арестовывали и гнали через границу, неважно, что они протестовали, неважно, что махали документами. Так мы сидели и не дышали. Мы слушали тогда Педро Гонзалеса[76], каждое утро, что за дивная музыка, «Лос Мадругадорес» из Лос-Анжелеса. Я в него просто влюбилась, такой изумительный голос. И он боролся с несправедливостью. Он говорил через *corrido* [77] своих песен, что *americanos* обращаются с мексиканскими американцами, как со скотом. И тогда они его арестовали по ложному доносу, будто бы он изнасиловал певицу. Он сидел в зале суда, курил сигару и улыбался, это была его гибель, эта улыбка, все видели, что он их не боится. Они посадили его в тюрьму, в Сан-Квентин, на много лет, и его голос замолчал навсегда.

— Неправда, — кричал Абелардо из соседней комнаты. — В войну его депортировали. Он до сих пор выступает по радио из Мексики. Живет в Тихуане. Если бы ты меньше сходила с ума от

---

[75] Примечания: 75
Иммигранты *(исп.).*

[76] Примечания: 76
Педро Гонзалес — певец и общественный деятель 30-х годов.

[77] Примечания: 77
Бег, движение *(исп.)*

американских мыльных опер, могла бы слушать его когда угодно.

Адина не обращала внимания на его слова.

— А во время войны мы слушали *«La Hora Victoria»* и *«La Hora del Soldado»* [78], две самые патриотические программы.

— Я сто раз играл и там, и там. «Встать на якорь» и все такое. Круги для тако[79]. Там еще болтался по студии какой-то сумасшедший германец; куда ни пойдешь, обязательно на него наткнешься, он лез в эфир спеть на немецком языке «Боже, храни Америку».

— Да, — сказала она. — Я помню. Ты тогда говорил, что станешь криминалистом, а не будешь играть на аккордеоне; помню, вырезал из журнала купон и отправил, чтобы тебе прислали инструменты, изучал какие-то странные вещи, например, сколько волос у брюнеток на голове, говорил, что их очень много.

— Правильно. Сто десять тысяч. А у блондинок сто пятьдесят. Но это если считать на всем теле,

---

[78] Примечания: 78

«Час победы», «Час солдата» *(исп.)*.

[79] Примечания: 79

Тако — полупренебрежительное название американцев мексиканского происхождения. Круги для тако — мексиканские танцы под открытым небом на земляной площадке.

даже на лице и на руках. Но этот старый германец! «*Herr scheutz Amerika! Land трам*-тара-рам» Как же это запомнилось?

Все годы, что они прожили в доме Релампаго, она стряпала прямо на улице, плиту сложили из сотни глиняных мишеней, рассказывала она Фелиде страшным голосом. По соседству жил сумасшедший англо, на руках у него было по шесть пальцев, и он каждый день палил из пистолета 22-го калибра — по старым кубкам за катание на роликах, в форме конькобежных пар, что ли — такие ободранные, что казалось, будто через рваную хромовую одежду у них торчат голые тела. Сперва он отстреливал им руки и головы. Постоянно приходилось дрожать от страха, что в детей или в нее саму попадет шальная пуля этого ненормального. Она собственными руками каждый год замазывала глиной стены саманного дома, потому что пули отбивали штукатурку, — вот так, боком голой ладони, вся рука в мозолях, разглаживала неровности, чтобы выглядело аккуратно, и она прекрасно помнит, как один раз пуля вонзилась в стену всего в дюйме от ее среднего пальца.

— Мы тогда ужасно боялись. Но что было делать? Жили же как-то, и это просто чудо, что

никого не убило. И не ранило. Он ушел, когда началась война, с тех пор мы его не видели. Я целый год собирала пенни и пятачки, чтобы купить себе красивый алюминиевый чайник со свистком — за четыре с чем-то доллара, но в магазине сказали, что таких чайников больше не выпускают, весь алюминий идет на самолеты. Радио было для нас всем — и как же мы его слушали!

— Ты слушала, — возражал Абелардо. — Я никогда не слушал этот мусор, эти сладенькие истории Абры и Папы Ранго, а помнишь чечеточника из Техаса, который тебе так нравился? Кажется, кто-то специально ходил на станцию посмотреть, как он выделывает каблуками эти штуки, и знаете, что они там увидели? Сидит барабанщик и стучит палочками по краям барабана.

Она шепотом признавалась дочери, что ей не очень-то нравится музыка Абелардо — будь у нее выбор, она предпочла бы более изящные звуки *orquestra*. Саму себя она видела бредущей по разбитой дороге с огромным мешком забот — каждая, как стальная коробка, и все они врезаются ей в спину; Абелардо же в это время скачет впереди и играет на своем аккордеоне.

Самым красивым в ней были густые блестящие волосы, пышные и вьющиеся, а еще губы — пол-

ные и прекрасной формы. Ни одно выражение не задерживалось надолго у нее на лице, кроме усталости и горечи. В тяжелом настроении у нее была привычка вцепляться обеими руками в волосы и тянуть их в стороны — тогда вздымались черные, как вороново крыло, волны, и вокруг расходился теплый женский запах. Она не понимала юмора, жизнь, по ее мнению, была штукой ответственной и трудной. Взгляд больших темных глаз частенько словно куда-то уплывал. Она была высокой, выше Абелардо, с тонкими ступнями и лодыжками. У всех ее детей были маленькие ноги, кроме несчастного Кресченсио, рожденного словно из пучка кровавых перьев, а не из ее плоти. Когда появилась Фелида, Адина раздалась, на бедрах и животе скопились толстые подушки жира. Кровать с ее стороны прогибалась, и Абелардо беспомощно скатывался в середину. Даже двумя руками он не мог обхватить ее обширную талию. Она носила платья без рукавов, свободные балахоны из оранжевого, голубого или розового ацетатного шелка, сшитые такими слабыми нитками, что они, казалось, должны порваться при первой же стирке.

Так что же со старым домом Релампаго? Она ненавидела этот дом и все, что с ним связано,

мечтала переехать в Сан-Антонио, где открывались большие возможности. Позднее Фелида сама просила рассказать про *casa* [80] Релампаго, и в историях Адины этот дом превращался в страшное и опасное место, из которого они чудом выбрались.

В гостиной там были, говорила она своим скрипучим голосом, темно-коричневые стены, на полу лежал старый, навозного цвета ковер. На улице туалет, от которого ужасно воняло. В углу, конечно, статуи и картинки святых — святая Эсколастика защищала детей от конвульсий, а святой Перегрино, следил, чтобы никто не заболел раком. На колченогом столе цвета высохшей крови лежала скатерть — неизвестно, кто из умерших Релампаго ее связал, но изощренная фантазия этого мастера придала ей треугольную форму — а еще там стояла фотография неизвестного мужчины в черных брюках, жилетке и неправдоподобных ковбойских башмаках. На рамку наклеены зубочистки. Еще была коробка кухонных спичек, высокая бутыль с лекарственной настойкой и две медные пепельницы. На стене сетчатый мешочек для писем и открыток,

---

[80] Примечания: 80
Дом *(исп.)*.

календарь с засыпанной снегом швейцарской деревушкой. И черно-белый, истекающий кровью Иисус в чеканной металлической рамке с крестами по углам.

Фелиде очень хотелось найти этот старый саманный дом, взглянуть на место, которое помнят все, кроме нее. Абелардо качал головой и резко отвечал, что дома больше нет, его проглотил ирригационный проект, а огрызок земли англо превратил в хлопковое поле. Короче говоря, от Релампаго не осталось ничего, кроме имени, которое теперь носят люди с чужой кровью.

Хорнет

Двое из трех сыновей, Крис и Бэйби были близки друг другу, как ноготь к пальцу. Крис торопился жить, был жаден до еды и возможностей. В жилах Бэйби текла горячая кровь, температура его тела и рук всегда казалась выше, чем у других, словно он болел хронической простудой. На ощупь чувствовалось, что он покрыт испариной. Самый старший сын Ченчо был вежлив, но замкнут так, словно измерял расстояния между планетами. Фелида — самая младшая. Глядя на свою единственную дочь, Адина вздыхала:

— Бедная моя малышка, нет у тебя сестренки, не с кем тебе дружить. Я буду твоей подружкой. — Она хотела стать для девочки наперсницей, предостерегала ее от ловушек жизни, рассказывала о женской судьбе.

В Хорнер она никогда не рвалась. Когда бульдозеры разнесли дом Релампаго, они двинулись в Сан-Антонио, где, по убеждению Адины, было больше возможностей. Одолженный грузовик проехал шесть миль на север вдоль зарослей мескито, казавшихся сквозь пыльные стекла царапинами на полотне пейзажа, и на самой

окраине Хорнета сломался. Абелардо с мальчиками — Кресченсио недавно исполнилось одиннадцать лет, но он был уже силен, как взрослый мужчина — закатили машину в мастерскую; Адина с Фелидой на руках шла рядом. В мастерской Абелардо встретил двух знакомых музыкантов: гитару и *bajosexto* [81] — они стояли у телефона и, переругиваясь, объяснили ему, что ищут аккордеониста, поскольку минуту назад узнали, что этот *hijo de la chingada* [82], этот кретин свалился с виадука и сломал себе таз о торчавший из воды камень. Никто понятия не имеет, зачем его туда понесло.

– *Borracho* [83], — сказал *bajo sexto.*

– *Loco* [84], — добавила гитара, сочиняя попутно одну-две строчки *corrido* об этом идиоте.

Как только Абелардо выкопал из коробок с кастрюлями и простынями свой аккордеон — не «Маджестик», на котором он играл в последнее

---

[81] Примечания: 81
Двенадцатиструнная гитара.

[82] Примечания: 82
Ублюдок *(исп.).*

[83] Примечания: 83
Алкоголик *(исп.).*

[84] Примечания: 84
Псих *(исп.).*

время, а маленький зеленый двухрядник — как только Адина нашла его выходные туфли и вычистила их до блеска, как только он переоделся в синие габардиновые брюки и белую рубашку, они сразу отправились играть — на пикник в северную часть Хорнета. В двенадцать часов следующего дня Абелардо вернулся в мастерскую, грязный и мятый от похмелья и ночевки под кустом, но тут выяснилось, что его жена поселилась в старом трейлере на краю баррио. Путешествие в Сан-Антонио отменяется.

— Как ты могла решать такие вещи, даже не посоветовавшись с мужем? У тебя что, яйца за ночь выросли? А ну покажи. — Он потянулся к подолу ее платья.

— Пошел к черту! Кто должен решать, если ты уходишь работать и не показываешься месяцами, или на всю ночь, как сейчас? Я что, должна сидеть и не дышать? Когда мальчик попал в колесо, ты был в Мичигане, и кто кроме меня должен был тогда решать? Ты оставил меня в поломанной машине, а сам ушел на фиесту, что я должна была делать, не дышать и умереть?

Он попросился обратно в «Сизый голубь» (хоть это и означало шесть миль в один конец), но жена директора-англо сказала, чтобы он катился

куда подальше. У нее нет работы для человека, который увольняется, а через два дня просится обратно. А раз так, и поскольку у него есть дети, которых нужно кормить, а работы нет, он снова отправился на два года в поле, в Лаббок, на луковые плантации; глаза его покраснели и постоянно слезились, луковая вонь въелась в одежду и в кожу, вокруг суставов лучами расходилась грязь, похожая на картинку взрыва — голова же, словно рука человека, теребящего в кармане монету, постоянно перемалывала мысли о том, какая же это несправедливость — он, музыкант, вынужден портить руки на полевых работах.

— Взгляни по сторонам, — жестко сказала Адина, — женщины поднимают семьи. Мужчины неизвестно где играют на аккордеонах.

И каким же стало для него облегчением, когда «Сизый Голубь» перешел в другие руки, и новый хозяин лично пригласил его на службу.

Трейлер

Трейлер, который нашла в Хорнете Адина, стоял у пыльной дороги на юго-западной окраине баррио. К востоку баррио переходило в уличный лабиринт, на юге лежало громадное пастбище, по которому бродили семьдесят лошадей невиданных окрасов, на западе грязная медеплавильня, а за нею — череда оврагов и низких холмов, пепельного цвета полынь, усыпанная клещами, мутное и широкое, словно скатерть, небо, и повсюду вокруг миллиарды мелких камней. Трейлер хоть и стоял в самом конце улицы, все же был подсоединен к канализации, совсем не то, что липкая и вонючая восточная *colonia*, где люди жили в упаковочных ящиках или под навесами из обрезков железа.

Трейлер был обшарпанный, но все же просторнее, чем старый дом Релампаго, с тремя спальнями-каморками, гостиной и кухней; спереди раскладная лестница и пара баллонов с пропаном, похожих на сдвоенную бомбу. Сразу за трейлером проходило автобусное кольцо, на этот расчищенный бульдозерами круг, выходили шоферы — облегчиться на кучу колес. Почему,

спросила как-то Фелида, и мужчинам, и собакам нужно обязательно писать на что-нибудь? И получила оплеуху за неприличный вопрос. Черный выхлоп двадцати автобусов волнами качался перед трейлером, вместе с визгом тормозов и ревом переключаемых передач.

Абелардо сочинил песенку:

Эй, ты, старый вонючий автобус
Я мечтал о любви и богатстве,
Видел сны про свободу и счастье
В ночь, когда ты рычал, как десяток слонов,
И дымил, как труба крематория
Ах, зачем ты гудел, для чего ты ревел,
Разрушая мой сон, мои грезы.

Сыновья добавляли звуковых эффектов, выпуская воздух сквозь неплотно сжатые рты, пока у них не распухали губы. Адина сказала, что это отвратительно. Но год за годом песня веселила их всех — первая песня, которую научились играть Бэйби и Крис.

Чуть дальше по улице стояла развалившаяся будка, где когда-то продавали тамалу — остатки известной в 1920-е годы сети ресторанов. Будка

и сама была в форме тамалы, штукатурка на ней облезла, однако на бледной перекошенной вывеске еще можно было прочесть: ТВОИ ЛЮБИМЫЕ ГАМБУРГЕРЫ. ПИРОГИ ТАМАЛА. Через год будку снесли, на ее месте построили магазинчик, установив в глубине парикмахерское кресло, где сеньор Гарсиа подстригал волосы мужчинам и мальчикам; пространство вокруг стало заполняться домами и трейлерами. Город огибал их, как речное течение — отмель.

В этом хорнетском трейлере Адина частенько, уперев руки в бока, говорила детям:

— Ищите для себя другую дорогу. Берите жизнь в собственные руки. Не будьте такими, как — вы знаете, только работа и пьянки, работа и пьянки — и аккордеон. — Абелардо, растянувшись на кровати, ее прекрасно слышал.

— Ты мне противна, — кричал он, но не поднимался. Про себя же бормотал: — Все дело в деньгах. — Адина переключала радио на американские станции и заявляла:

– *¿Por qu* [85] вы не говорите по-американски? Больше чтобы никакого испанского. С сегодняшнего дня по-американски не только в школе,

---

[85] Примечания: 85
Почему *(исп.)*.

но и дома. Будете думать по-испански, в конце концов попадете в поле. Говорите на американском языке, получайте образование, получайте нормальную работу. Американцы вы или нет? Если да, будьте американцами и зарабатывайте деньги.

Начала она с того, что дала им американские имена: Бэйби, Крис, Бетти. Всем, кроме смущенного улыбающегося Кресченсио, названного так в память об утонувшем дедушке Кресченсио — имя в конце концов одержало над ним победу, — и бедной маленькой Розеллы, умершей в колыбели, когда ей исполнилась всего одна неделя.

— Какая глупость, — ворчал Абелардо после рождения каждого ребенка и настаивал на других именах: Роджелио, Томас и Фелида. Дочь так и носила два имени, отзываясь на Бетти, когда ее окликала мать, и на Фелиду для отца.

— Да, — отвечала жена, — до чего же ты злобный человек. Почему бы тогда не назвать их индейскими именами? Доставь им удовольствие. Вперед, опусти их еще ниже себя! Устрой им совсем легкую жизнь!

Самое интересное, что сама она выглядела *indio* гораздо больше, чем все вокруг, настоящая

oaxaqui̇a [86]. При том, что ее семья пришла в долину Рио-Гранде сто лет назад и владела землей у той самой тихой реки, которая смыла всех Релампаго.

— Да, я происхожу из семьи важных землевладельцев, — произносила она горько. Когда она была маленькой, родители еще навещали мексиканских родственников. Она помнила два долгих путешествия в Оаксаку, но считала, что это не имеет никакого значения — детство, заброшенное прошлое, о котором каждый знает, но теряет и старается забыть. Надоедливое, душное семейство со всеми их драками, истериками и скандалами, нездоровая материнская вера в вещие сны.

Острее всего вспоминались дальние путешествия, когда она скрючивалась на заднем сиденье автобуса вместе с младшими сестрами, за которыми ей велено было следить, чтобы те сидели тихо и хорошо себя вели. Сама Мексика представлялась Адине страной сильных чувств и изменчивых красок, где даже пыль дышит удивительными ароматами. Каким блеклым показался, когда они вернулись, желто-коричне-

---

[86] Примечания: 86
Оаксакианка *(исп.)*.

вый Техас: заброшенное, уже в который раз, поле ванильной фасоли, илистая река оливкового цвета, каменная пыль, лошади, запах крови и кишок со свинобойни, капельки масла, застывшие на листьях эпазота. Она видела, как ее кулак сжимает стебли, чувствовала ладонью дикую силу зеленого циланто. Песчаная и мускусная на ощупь земля под листьями кабачка, где так любил спать кот, запах белой хлопковой одежды, сохнущей на солнце, а еще свечей, керосина и ладана, гнилых апельсинов, сахара, подгоревшего масла и рубленого шалфея, перемолотых кофейных зерен и маленьких, но глубоких чашек с шоколадом, смесь корицы с миндалем, которой пахли женщины, и аромат кукурузы, когда ее молотили о камень.

Но с годами визиты становились все реже. Мексиканские родственники не одобряли испорченный испанский и не слишком вежливое поведение техасских детей; у них создавалось впечатление, что эти маленькие *norteños* [87] носятся в своем *Tejas*, как беспородные дворняжки. Выйдя замуж за Абелардо, Адина окончательно отвернулась от мексиканских родственников.

---

[87] Примечания: 87
Северяне *(исп.)*.

— Они ничего для меня не значат, я теперь *tejana*, и дети мои тоже техасцы, они американцы. — Но глубокое прошлое неосознанно проявлялось в блюдах, которые она готовила, в дымящихся сладких кушаньях, что она подавала на стол: *pasila* чили, оаксаканская *mole coloradinto*, острая свинина *picadillo*, семь видов *moles*, черных и густых, красных и зеленых — тяжелая на вкус еда, слегка подгоревшая, всегда сладковатая. Древний вкус и запах. Забыть невозможно.

Почти каждую неделю с тех пор, как они поселились в трейлере, у Адины начинался жар и головные боли. Раньше она никогда не болела, сейчас же стала почти инвалидом. Жар возвращался снова и снова в любое время года, не отпускал месяцами, затем волшебным образом исчезал. Она несколько раз ходила к врачу, но доктор лишь утомленно повторял, что она совершенно здорова. Адина лежала, свернувшись калачиком, серая и горячая, под глазами огромные круги, заснуть она не могла, в ушах стоял звон, а рот пересыхал от жажды.

— С тех пор, как мы сюда переехали, я совсем перестала спать, — жаловалась она Фелиде. — Собачье счастье. — В ушах стоял пронзительный звон, от которого кружилась голова, и приглу-

шалось все, происходившее в мире — чем-то это даже напоминало счастье. Автобусы на кольце ревели, как чудовища; она чувствовала запах выхлопа, пыли и горячего металла. Жар в воздухе, жар в ее теле. Глаза распухали от слез, она почти не видела. Она смотрела в ночное небо, и луну покрывал толстый слой пены. Стены, лица мужа и детей перекашивались. Усталость изнуряла. И, в этом полусонном мире болезни, ей некуда было деться от звуков аккордеона.

Снова и снова — как будто это играл Абелардо, как будто ее мужем и инструментом управляла заводная сила. Иногда в игру вступали другие аккордеоны, их растягивали руки его друзей по *conjunto* [88], она даже слышала, как сквозь музыку пробивается отклик *«si, señor!»* Абелардо знал тысячи песен и играл их все то время, пока ее мучил жар. Назло, думала она, назло ей. Этот голос, такой грустный и нежный, когда он пел для чужих, и такой тяжелый и мучительный дома.

---

[88] Примечания: 88

Комплекс, набор *(исп.)* Это слово стало названием направления в мексикано-американской музыке.

Уроки

Абелардо трудился с тех пор, как старого Релампаго смыло наводнением. За всю свою жизнь он провел в школе три месяца. Читать он научился уже взрослым, во время войны, наблюдая вблизи, как дети сражаются с американскими учебниками. В 1943 году Ченчо исполнилось 18 лет, его тут же призвали и отправили на Тихий океан. Абелардо, не находя себе места от волнений за нерасторопного сына, хотел знать, что к чему. Он тренировался на афишных тумбах, дорожных знаках, плакатах, потом на газетах и ничего не говорил жене до тех пор, пока не почувствовал, что может читать свободно, и не принес домой выпуски «Ла Опиньон» и «Лос-Анджелес Таймс» недельной давности. Он уселся за кухонный стол, закинул ногу на ногу, открыл «Таймс», прочел вслух несколько абзацев, затем резко развернул «Ла Опиньон» и совершенно невозмутимо прочел пару предложений о Фрэнке Синатре, чья — *«músicahainvadidoelmundoenestos últimosaños»*[89] — как волна прилива, да? — Когда

---

[89] Примечания: 89

…музыка в последние годы все сильнее вторгается в наш мир *(исп.)*.

Адина изумленно заохала, он объяснил: — Не так уж это трудно. У меня мозгов — как в роге изобилия. — Его интересы не ограничивались военными сводками, он читал альманахи, статьи о работе пищеварительных органов, описания загадочных случаев и повадок кенгуру.

Где-то он раскопал огромный анатомический плакат с изображением человеческого уха и повесил его в кухне рядом с фотографиями великих аккордеонистов. С тех пор ухо наблюдало за каждым их обедом или завтраком: бледно-оранжевая раковина, похожая на вымершего моллюска, закрученный туннель слухового канала, японский веер барабанной перепонки, ниже забавные косточки среднего уха, молоточек, наковальня и стремечко. Глаза следили, не в силах оторваться, за улиткой передней части лабиринта: водоворот, тропический ураган, что спускается с облаков, желейная трубочка, вертящиеся волчки, ниспадающая лента апельсиновой кожуры. Но ничего на этом плакате не указывало на те запутанные тропки, что вели музыку к коре головного мозга.

Абелардо хранил сотни пластинок — собственные записи 1930-х годов: несколько на «Дека», затем была «Стелла», «Белл», опять «Дека».

— В те дни я пел на испанском; эти люди из зву-

козаписи говорили: «Мы не понимаем, что ты тут поешь, поэтому, пожалуйста, без выражений». Естественно, я спел и неприличные песни тоже.

Еще была фотография, на которой он стоял прямо, правая нога отставлена в сторону, левая чуть согнута в колене, туловище откинуто назад, аккордеон растянут у груди, как спираль радиатора. Он был молод и красив, с густой шевелюрой.

— Знаете, сколько мы получали за каждую запись? Хорошо, если десять долларов. Кто скажет, сколько денег сделали на нас студии? Сотни тысяч миллионов долларов. — У него были старые пластинки Лидии Мендосы, великих аккордеонистов, записи 1928 года полуслепого Бруно Вилларела — к стенке его инструмента всегда была прикручена маленькая чашечка для подаяний — «первая запись звезды аккордеона», Педро Рочи и Лупе Мартинеса, «Лос Германос Сан Мигель», дюжина дисков Сантьяго Хименеса[90]. Когда он ставил пластинку на проигрыватель, это превращалось в настоящую церемонию — дети сидели тихо и смотрели уважительно.

---

[90] Примечания: 90

Педро Рочи и Лупе Мартинес — мексиканский дуэт (гитара и аккордеон), выступавший в Техасе в 30-е годы, «Братья Сан-Мигель» — другой известный дуэт. Сантьяго Хименес — один из родоначальников американо-мексиканской аккордеонной музыки.

— Слушайте, слушайте это *tololoche* [91], вы его нигде больше не услышите. Понимаете теперь, как качаются аккордеонные ноты, музыка всегда очень плавная, течет, как вода. Это играет Сонни. Слышите, как мягко, и ведь он пьян, он пил так, что печень сгнила заживо, его ничем было не пронять. Но как плавно. А теперь — слышите разницу, *¿no?* Сейчас все играют жесткое стакатто. Это пришло вместе с войной. Вы бы посмотрели на меня, когда я только начинал — я был сумасшедший, люди специально выискивали мое имя в газетах — нет ли там чего про новые пластинки. Или взять *farmacia* [92], сеньора Чавеса. Сеньор Чавес делал миниатюрные модели аккордеонов, не для того, чтобы на них играть, а просто так, для внуков. Он работал в одной компании, как бы искал таланты. Они дают объявление в газету, и ты приходишь в отель или еще куда. Тебя слушают, и если им нравится твоя игра, говорят, чтобы ты явился в такое-то время и место на запись. В холле стояли десять или двадцать человек, ждали своей очереди. Брали только одного, так обычно. Это было сурово. Они платили доллар, иногда

---

[91] Примечания: 91
Мексиканский музыкальный инструмент — фактически, контрабас.

[92] Примечания: 92
Аптекарь *(исп.)*.

пять. И больше ничего, даже если пластинка раскупалась тысячами.

Он прокручивал им все эти диски со старыми наклейками: «Окей», «Отдых», «Голубая птичка», «Дека», «Идеал», «Сокол», «Ацтек», особенно часто «Идеал», записанную в Элисе, в гараже Армандо Маррокино. Он много раз аккомпанировал сестрам Хернандес, Кармен и Лауре[93], обычно они сидели в кухне у Кармен, все в проводах и микрофонах.

— Вот она — о, *Dios*, какой кошмар! 1931 год, и что же мы тогда пели? «Звездно-полосатое знамя», пусть все видят, что мы настоящие американцы, как раз тогда Конгресс сделал эту песню национальным гимном. Кто-нибудь, интересно, хоть раз допел до конца этот ужас? — Дети болтали ногами.

Между музыкой и уборкой урожая дела шли неплохо, говорил он, но потом началась Депрессия, и все рухнуло, тогда же у них отобрали старый дом Релампаго, и вскоре они переехали в Хорнет.

Он обожал кино, и несколько лет подряд нагонял на детей страх, пересказывая сюжет «Белого

---

[93] Примечания: 93

Вокальный дуэт «Кармен и Лаура» — обычно они выступали в сопровождении аккордеонной музыки.

Зомби»[94] — этот фильм он смотрел семь раз.

— Фильмы! Вы не видели старых фильмов — старых, еще немых — там всегда был плохой мексиканец. Весь в черном, на голове огромная шляпа, смуглая кожа и белые глаза навыкате. Он псих, неуправляемый, он жестокий, режет людей и скалится, запросто играет на деньги и убивает. Когда они наконец-то сняли фильм с хорошим мексиканцем, то кого, вы думаете, они взяли на эту роль? Пола Муни[95], перемазанного гримом!

В Хорнете, он примерно месяц сметал волосы с пола парикмахерской; все тогда сидели на пособии, работу можно было найти разве что на хлопке, да и то, если повезет. Однажды, забавы ради, он соорудил из перфорированного металлического диска звонок, который начинал крутиться, если повернуть ручку — педальный насос гнал воздух к вращающейся пластинке. Конструкция громко выла, но через несколько дней сломалась. В самом деле, сказала Адина, у него слишком много детей, чтобы заниматься фантастическими цацками.

Каждый год Адина покупала в школе цветные

---

[94] Примечания: 94
«Белый Зомби» — фильм, снятый в 1932 г. Виктором Халпериным.

[95] Примечания: 95
Пол Муни (1895 — 1967) — американский киноактер.

фотографии своих сыновей. Родители обычно сами выбирали размер, который им нравился или был по карману — от крошечного личика, умещавшегося на почтовой марке, до портрета в полный рост на картонной подставке. Адина покупала маленькие — но не самые маленькие — размером с кошелек. Хорнетская школа была сегрегированной, «мексиканской», сколько поколений семьи учеников не жили бы в Техасе. Мальчики Релампаго ненавидели это вонючее заведение. Учили их англо, большинство с севера, и это была их первая работа. Уроки велись на американском. Существовало весьма дорогое правило: за каждое испанское слово взымался пенни штрафа.

— Вы находитесь в Соединенных Штатах, и мы здесь говорим по-английски, — повторял завуч на каждой утренней линейке, делал шаг к краю сцены и все под его руководством произносили «Клятву Верности».

— У меня нетушки ни пенни, — шепотом сказал Крис учителю.

— Тебе десять лет, ты уже в третьем классе, а разговариваешь, как маленький ребенок. Ты должен сказать «У меня нет ни одного пенни», — ответила мисс Рэйдер. — Ну что ж, раз ты не в

состоянии заплатить штраф, напишешь на доске пятьсот раз «Я буду говорить по-английски».

Бэйби держал рот на замке, только слушал. А если все-таки говорил, американские слова получались у него достаточно чисто.

Когда мисс Рэйдер входила в класс, все должны были сесть прямо и произнести тягучим хором «Доброе утро, мисс Рэйдер». Преступления вроде перешептываний, опозданий, кашля, чихания, шарканья ногами, вздохов и забытых домашних заданий карались «тюрьмой» — листом черной бумаги, прикрепленным кнопками к полу, на котором мерзавец два часа стоял у всех на виду, не имея права пошевелиться или произнести хоть слово. Ошибки в домашних работах, грубый тон влекли за собой побои сложенным в несколько слоев кожаным ремешком.

— Руку, — командовала мисс Рэйдер перед тем, как замахнуться.

Кресченсио вырезал на крышке парты свое имя — большое закрученное К и красивый, похожий на якорь росчерк вокруг всей подписи. Миссис Первиль закричала:

— Под стол, — голос хлестал, словно колючая проволока. Она показала куда.

Кресченсио медленно вышел вперед и встал

у стола.

— Под стол! — Он опустился на корточки и втиснулся в узкий проем между тумбами учительского стола. От передней панели до пола оставалась щель в пять дюймов, сквозь которую весь класс мог видеть подошвы стоптанных кедов скрюченного Кресченсио.

— Всем остальным открыть учебник истории на странице сорок пять и читать главу «Храбрецы из Аламо». — Миссис Первиль села и подвинула вперед стул. Ее колени, заполнив все свободное пространство, уперлись Кресченсио в лоб. Острые носы туфель воткнулись в колени. Икры с бедрами не пропускали свет, и проем, где сидел Кресченсио, наполнился жутковатой интимностью. Вдруг она раздвинула ноги, ляжки разошлись в стороны со слабым хлюпающим звуком. Темное пространство заполнила сырная вонь немытых прелестей миссис Первиль. Кресченсио задыхался от унижения, клаустрофобии, злобы, сексуального возбуждения, бессилия, несправедливости, подчинения и беспомощности.

На следующий день он отправился искать работу, нашел ее на фабрике зонтиков, где нужно было прижимать к древкам металлические ободья, и никогда больше не возвращался в школу.

В воскресенье утром муж учительницы мистер Первиль обнаружил, что у его нового «шевроле-седана» спущены все колеса. Это повторялось снова и снова, несмотря на запертый гараж и дьявольские ухищрения, вроде натянутой проволоки и звоночков, повторялось до тех пор, пока мистер Первиль не потратил все свои талоны, и ему не пришлось покупать на черном рынке за астрономические деньги не подошедшие по классу колеса.

Миссис Первиль обвиняла во всем «проклятых большевиков». Никому и в голову не пришло заподозрить круглолицего Кресченсио, застенчивого, грустно-улыбчивого Ченчо с его обречено опущенными плечами. Проколы прекратились в 1943 году, когда Кресченсио призвали в армию и отправили на Соломоновы острова вместе с техасским подразделением мексикано-американцев. Один или два из них вернулись домой. Абелардо заказал и сам оплатил памятник из шлифованного камня, однако злосчастное имя Кресченсио так и осталось на крышке парты, храня память о брате для Бэйби и Криса.

В колесе

В раннем детстве два младших брата были так похожи и внешне, и повадками, что никто из посторонних не мог их отличить. Они казались близнецами, хотя Бэйби был на год старше. Но после истории с колесом их вообще перестали принимать за братьев. Это случилось, когда они были совсем маленькими, когда все еще жили в доме Релампаго.

Бэйби поставил колесо от старой грузовой машины вертикально и приказал Крису залезть внутрь. Крис был мал, и его тельце как раз там уместилось. Едва он успел устроиться, Бэйби толкнул колесо вниз по усыпанному булыжниками склону, у подножия которого проходила железная дорога. Ошибку он понял сразу. Он думал, что колесо покатится плавно, легкая приятная прогулка, но резина подскакивала, взлетая высоко в воздух всякий раз, когда натыкалась на камень; Бэйби бежал далеко позади, вытянув вперед руки, словно пытаясь ухватить колесо, до которого было не меньше ста футов. Перед железной дорогой оно замедлилось, покрутилось вокруг себя, словно полтинник на стойке бара,

и рухнуло.

Крича и задыхаясь, Бэйби подбежал ближе. Крис вывалился наружу. Казалось, он мертв. С отчаянным воплем, который услыхала из дома Адина, Бэйби подобрал с земли камень и со всей силы стукнул им себя по лбу. И еще раз. В больницу повезли обоих.

После выписки у Криса появилась очень странный смех — взрослый мужчина мог так смеяться над веселым фильмом. Этому смеху он научился у заведовавшего рентгеновским аппаратом техника с круглой стрижкой, похожей на коричневый берет. Техник приходил по субботам в палату, приносил плитку шоколада, разламывал ее на кусочки и правой рукой совал их Крису в рот, левая в это время шарила под одеялом, щипая и почесывая свободные от бинтов и пластыря части детского тела. Вновь выучившись ходить, Крис теперь двигался совсем иначе: одна нога была короче другой, и он маскировал это тем, что при каждом шаге высоко поднимал пятки — плавающая подвижная походка, так обычно ходят по заросшим тропам.

Ему везло на травмы. В четырнадцать лет они ехали играть на танцах, Крис, отец и четверо других музыкантов; Крис сидел, прислонившись к

дверце одолженной у кого-то машины: они пели *ranchera* Валерио Лонгории[96] *«El Rosalito»*, удивительную песню того времени, поразительную мелодию *nueva onda* [97], грубую и возвышенную — но вдруг изношенная защелка не выдержала, и дверь распахнулась. На скорости пятьдесят миль в час Крис выпал из машины, ободрал кожу до самых костей, сломал руку, плечо и получил сотрясение мозга, все в таком духе. И вновь он встал на ноги.

Лучшим в этой истории оказался визит в больницу самого Валерио Лонгория — приглаженный «помпадур», нависшие брови, улыбчивый, но серьезный:

— Поскольку это случилось, когда вы пели мою песню, я чувствую на себе ответственность…

— Этот Валерио, — восхищенно сказал Абелардо, — это настоящий человек, *la gran cosa.* [98]

---

[96] Примечания: 96

Валерио Лонгория — аккордеонист, придумавший множество приемов игры на этом инструменте.

[97] Примечания: 97

Новая волна *(исп.)*.

[98] Примечания: 98

Настоящий *(исп.)*.

Полярный медведь

В хорнетской школе работала учительницей мисс Винг — она была родом из Чикаго, говорила очень четко и всем улыбалась.

— У многих людей есть какое-нибудь хобби. Завтра вы все принесете в класс образцы своих хобби. Каждый мальчик и каждая девочка расскажет нам о своем хобби, например о коллекционировании марок или спичечных коробков. Мой брат собирает спичечные коробки, это очень, очень интересное хобби.

На следующий день большинство ребят притащили в школу один-единственный спичечный коробок. Анжелита нашла дома деревянную спичку, и красно-синяя головка перепачкала ей карман. Но даже ей досталась похвала миссис Винг.

Братья Релампаго принесли аккордеоны. Они сыграли автобусную песню (без слов) и стали ждать поощрительной улыбки. Но на лице учительницы отразилось лишь глубокое отвращение.

— Аккордеон — плохой инструмент. Это, можно даже сказать, дурацкий инструмент. На них

играют только поляки. Завтра я принесу вам настоящую музыку, тогда сами поймете.

На перемене они шептались: кто такие поляки? Анжелита знала.

— Это белые медведи, которые живут во льдах.

Бэйби представил себе ряд белых медведей с серебряными аккордеонами в лапах. Картинка стала еще загадочнее, когда однажды вечером он услыхал по радио: «Я поляк, твой маленький щенок…»

— Что такое поляк? Белый медведь?

— Я Поля! Я Поля! Так зовут красивую девушку!

Мисс Винг принесла в школу бежевый футляр с проигрывателем, поставила на стол, вытащила черный провод, но он оказался слишком коротким и не доставал до розетки. Пришлось двум крепким мальчикам тащить стол к стене, подбитые железом ножки с визгом скребли по дощатому полу. Войлочный круг все крутился и крутился. Учительница достала из бумажного конверта глянцевый диск, подержала за края и опустила на вращающийся круг. Даже смотреть, как он поворачивается, было приятно. Она убрала руку. Класс наполнился звуками «Синкопиро-

ванных часов»[99] в исполнении популярного оркестра из Бостона.

Но эта прекрасная музыка не произвела впечатления на мальчиков Релампаго. В доме Релампаго аккордеон заменял все. В 1942 году, когда им исполнилось четырнадцать и пятнадцать, мальчики разучили на одинаковых аккордеонах — в том же стиле, как отец, — и стали петь дуэтом две самые известные отцовские композиции: польку *«La Enchilada Completa [100]»* и *ranchera «Es un Pájaro [101]»* — это принесло им победу в конкурсе молодых талантов в Макаллене. В то время они уже играли вместе с Релампаго на танцах. Они пели лирические дуэты с удивительным чувством. Это была не просто гармония звуков, что выходят из родных по крови голосовых связок — форма, структура, вокальные данные у них были подобны двум аккордеонным язычкам, что звучат почти одинаково, но все же чем-то отличаются. Призом стали двести долларов и выступление на

[99] Примечания: 99

«Синкопированные часы» — пьеса американского композитора Лероя Андерсена (1908 — 1975).

[100] Примечания: 100

Фаршированный блинчик *(исп.)*.

[101] Примечания: 101

Это птица *(исп.)*.

радиостанции, чьи передачи можно услышать даже в Канаде.

Абелардо был в восторге.

— Вот увидите, сейчас они сбегутся, компании наперебой станут звать вас записываться. Теперь для вас все и начнется. — Друг Абелардо, официант по имени Берто, на своем задрипанном «форде» повез их всех на радиостанцию. Машина въехала в ворота в одиннадцать утра, за час до назначенного времени. В коридоре мальчики сидели тихо, вцепившись в свои аккордеоны, Абелардо же хватал за пуговицу каждого встречного: человека с чашками кофе на подносе, техника с гирляндой невиданных инструментов на шее, несущегося по проходу инженера, певца-ковбоя, полупьяного и с расстегнутой ширинкой, выходящего из дверей мужского туалета.

— Знаете что, — надменно произнес директор-американец, — у нас тут поменялось расписание. Сходите пообедайте и возвращайтесь к двум часам вместе с детьми. Передача о талантах перенесена на два.

Бэйби услыхал, как в соседней комнате заикающийся мужской голос говорит кому-то:

— Ка-ка-ка-ка-ка-ка-кая разница между мексиканцем и мешком дерьма?

На улице дул сильный порывистый ветер, а небо на юге стало черно-зеленым. В струях пыли носились бумажки и перекати-поле. Абелардо с мальчиками подошли к машине.

— Сказали приходить к двум, — объяснил он Берто. — У них поменялось расписание.

— Но в два мне надо быть в ресторане. В два начинается смена. Сам же знаешь.

— Все в порядке. Высади нас в центре, мы что-нибудь проглотим, возьмем такси, вернемся сюда, а ты нас потом заберешь, когда кончится смена.

— Она кончится в одиннадцать ночи, сам же знаешь, и час, чтобы доехать, вам долго тут сидеть, слишком долго.

— Чепуха, мы с кем-нибудь познакомимся, поиграем, хорошо проведем время, можно сходить в кино.

— У меня фара не работает. — Порыв ветра швырнул в машину горсть пыли. — Ладно, ладно, садитесь.

Пока Бетро сдавал назад, чтобы развернуться на покрытой гравием площадке, новый порыв ветра качнул машину, и первые капли дождя упали на ветровое стекло — большие и редкие. Сверкнула молния, загрохотал гром. Бэйби ска-

зал, что башня сейчас упадет. Она действительно падала — двухсотфутовая башня, набирая скорость, опускалась на станцию и на стоянку. Берто надавил на акселератор, и машина, выписывая бешеные зигзаги, покатилась назад; у них на глазах башня разлетелась на куски, крыша радиостанции прогнулась, а двадцатифутовый шпиль разбился вдребезги, ударившись об оставленные на стоянке машины и клочок земли, где они стояли несколько секунд назад. Летели деревяшки и куски рубероида, большая фанерная буква W тоже упала и подпрыгнула.

— Поехали отсюда, — сказал Берто.

— Ага, — согласился Абелардо, — а то скажут, что это мы все устроили.

После этой истории в жизни Криса и Бэйби ничего не изменилось. Их слава ограничилась пределами хорнетского баррио. — *«los dos hermanos* [102] Релампаго, которые победили на конкурсе». Им оставалось только играть на воскресных танцах, фиестах и *quinceañera* — две маленькие луны, что светят отраженным светом. У них не было своего стиля.

---

[102] Примечания: 102
Два брата *(исп.)*.

Миссионеры

Перебравшись в Хорнет, Адина перестала ходить на мессы и исповеди. Через год или два она уже кормила обедами двух проповедников из «Свидетелей Иеговы», слушала их истории о судьбе и спасении, описания глубин человеческой души, а потом пересказывала это все Абелардо и детям. Религиозная пара, Даррен и Кларис Лик, светловолосые, с бледными губами и полупрозрачными глазами, приезжали к ним вместе с детьми (Кларис была наследницей Радмана Снорла, члена партии миссионеров, посланной к кайюсам[103] для того, чтобы отучить их от пагубной привычки разводить и гонять по полям прекрасных лошадей, которые потом гибли во время восстаний этих же самых злых кайюсов). Дети покорно сидели в старой раскаленной машине, припаркованной в полоске тени рядом с трейлером, окна в ней были чуть-чуть опущены, чтобы пропускать внутрь воздух. Девочкам было строжайше запрещено выходить наружу, разго-

[103] Примечания: 103

Индейское племя на территории нынешних штатов Вашингтон и Орегон.

варивать и даже смотреть на детей Релампаго. Младшую звали Лорейн, следом шла Лэсси и самая старшая Лана — альбиноска, постоянно прикрывавшая рукой слезящиеся от прямого солнца глаза. Они сидели тихо, не поворачивая голов, но жадно ловили каждое движение Релампаго, когда те, попадая в поле их зрения, демонстрировали всем своим видом, что девочки тоже могли бы бегать и толкаться не хуже их самих. Крис иногда вставал перед самой машиной, смешно разводил руки и ноги, и даже одаривал гостей суровой улыбкой.

В один из жарких дней, когда родители молились вместе с Адиной в трейлере, Лорейн принялась скулить и раскачиваться вперед-назад.

— Нельзя! — шипела Лана. — Нельзя, нужно терпеть! — Но в конце концов они открыли боковую дверь и выпустили девочку из машины — она тут же спустила потрепанные штанишки и присела на корточки.

Взглянув на струю, Крис решил, что должен немедленно достать свой инструмент и пописать у них на глазах, доказав тем самым, что Релампаго, по крайней мере один из них, делают это не в пример лучше. Абелардо презирал Ликов,

говорил, что эти фанатики глупы и опасны. Он напоминал Адине, что в то время как Даррен бубнил про «Господь то, Господь се», Кларис записывала название станции — по постоянно включенному в их доме радио как раз предлагали «подписанный автором портрет Иисуса Христа в позолоченной рамке ручной работы всего за пять долларов».

Согнутые ветки

Абелардо хотелось, чтобы его сыновья, как и он сам, готовы были отдать за аккордеон жизнь. Он играл, когда те были еще младенцами, выбирая лучшее время суток — час перед закатом. Кто же не знает, что в последние минуты дня музыка и приглушенный свет, сливаясь в мрачную гармонию, говорят человеку все, что только может быть сказано. Если ребенок будет слушать в этот час музыку, ему никогда уже не забыть той надвигающейся темноты и вспышку белой рубашки случайного прохожего.

Он купил своим сыновьям двухрядные диатонические модели, примерно того же стиля, что и старый зеленый аккордеон.

— Незачем тратить время на мелкий десятикнопочник, — сказал он. — Пусть сразу играют правильно. — Но он был тороплив и слишком настойчив; чтобы учить, ему никогда не хватало терпения. Он усаживал сыновей на деревянные стулья прямо под фотографиями с автографами его друзей-аккордеонистов: Нарциско Мартинеса, Рамона Айала, Рубена Нараньо, Хуана Виллареала и Валерио Лонгориа. Кресченсио не интересовал-

ся аккордеоном. Абелардо как-то грустно сказал ему прямо в лицо:

— Дурак ты, Кресченсио, самый настоящий дурак, — но позже оставил его в покое и занялся младшими. (При том, что Кресченсио был прекрасным танцором — правда, танцевал он под другую музыку — свинги, которые играли по радио; он умел выделывать настоящий джиттербаг, крутился сам, раскручивал партнершу и подбрасывал ее к самому потолку.)

— Аккордеон — это очень важный инструмент. Он может даже спасти людям жизнь. Прошлой весной, когда в нью-йоркском тумане налетел на мель пароход, какой-то человек стал играть на аккордеоне, и пассажиры перестали волноваться. А теперь сидите и слушайте, я покажу, — говорил Абелардо, — а вы потом повторите.

Взволнованная и частая дрожь мехов, быстрые арпеджио, глухие диссонансы, но у него вечно не хватало времени, чтобы постепенно и внимательно научить детей этим приемам. Каждый раз он торопился или на работу, или на танцы. Несколько месяцев спустя уроки прекратились. Детям приходилось самим искать себе дорогу.

В «Сизокрылом Голубе»

Как-то в «Сизокрылом Голубе» появился человек. Потом он стал приходить часто. Незнакомец всегда заказывал одно и то же — фирменное ресторанное блюдо, из-за которого большинство посетителей и шли в это заведение, соблазнившись пряным запахом соусов, капающих во дворе на угольную жаровню; блюдо называлось *cabrito al pastor* и подавалось вместе с *machitos* — нежными кусками козлиной печенки, зажаренными в длинной кишке. Деликатес настойчиво предлагало выставленное на тротуаре меню, в котором еще упоминались бифштексы, яичницы и буррито.

Человек садился за маленький угловой столик, любимое место парочек, которым не было дела до колченогих стульев, а также того, как стол качался, стоило сломаться спичечному коробку, подложенному под ножку у самой стены. Посетитель этого тоже не замечал. Клал на пустой стул газету и жестом подзывал официанта.

Стоя, он казался неприятно высоким, но усевшись на стул и скрестив под ним ноги, терялся и отличался от прочих едоков лишь тяжелым

носом и неправдоподобно тонкими усами. Из-под опущенных век он умел хитровато поглядывать по сторонам так, чтобы никогда ни на кого не смотреть прямо, и глаза его при этом не выражали ни капли интереса. Лоснящиеся волосы отступали от карамельного лба. Судя по акценту, он приехал из северного города. Человек сидел спокойно, лениво разбросав руки по столу и дожидаясь, пока принесут тарелку с мясом. Потом съедал свою порцию, складывал нож и вилку крестом, закуривал сигарету, сжимая ее между большим и указательным пальцами левой руки, и откидывался на спинку скрипучего стула. Иногда, поймав взгляд Абелардо, он сгибал на правой руке палец в знак того, что можно уносить посуду. Однажды вечером, когда после очередного такого жеста Абелардо взялся за край перепачканной соусом тарелки, человек, понизив голос, попросил его встретиться с ним на другой стороне улицы — он сказал название бара — в шесть тридцать. Сквозь сигаретный дым Абелардо почувствовал резкий запах травяной настойки, аромат первобытных суеверий.

Четки на зеркале заднего вида

Человек сидел у края стойки и сейчас, когда их не разделял столик для влюбленных, держался холодно и настороженно. Знакомым жестом он согнул палец в сторону бармена, и перед Абелардо появился стакан виски.

— Я представляю других людей, — тихо сказал человек. Рядом на стойке лежала газета с фотографией Муссолини на фестивале аккордеонистов. Человек выпустил дым из обеих ноздрей, словно бык на морозном плоскогорье. — У меня к вам предложение. — Повисло долгое молчание. Наконец Абелардо спросил, что за предложение? Слово «предложение» он произнес легко и даже презрительно, он уже не был слугой, убиравшим за этим человеком грязную посуду.

— Очень серьезное предложение. Весьма достойное предложение для достойного человека. Я думаю, вы из таких. — Снова долгое молчание. Абелардо допил виски, палец шевельнулся вновь, и тут же появился второй стакан. Человек закурил новую сигарету и дрожащими колечками выпустил дым из вытянутых губ.

— Предложение, — сказал он, — подразумевает

одно или два простых действия. Время от времени я стану приносить в «Сизокрылый Голубь» пакет и класть его на пустой стул под скатерть. Когда вы будете убирать посуду, я скажу вам несколько слов, например «белый «бьюик» с четками на зеркале заднего вида». Вы возьмете пакет, положите его на дно своего таза и пойдете на кухню. Я видел, там есть боковая дверь, которая выходит во двор к мусорным бакам, у этой двери обычно курят официанты. Сразу за углом находится автостоянка. — При слове «курят» пальцы человека потянулись к карману рубашки. — Пока вы будете идти по проходу, вы достанете из таза пакет и выйдете с ним через боковую дверь. Если кто-то заметит, скажете, что хотите покурить. Но все можно сделать очень быстро, никто даже не посмотрит в вашу сторону. На стоянке вы положите пакет на заднее сиденье «бьюика» с четками. Или любой другой машины, которую я вам опишу. Вместо «бьюика» может быть «шевроле» или «де-сото». Там может не быть никаких четок. Пакетов будет десять за год, или сто. Первого числа каждого месяца, я буду оставлять под своей тарелкой для вас вот это.

Человек приоткрыл левую ладонь, и в полутьме Абелардо разглядел сложенную банкноту.

Сначала он подумал, что десятка, потом — сотня, но в конце концов ясно увидел, что это тысяча. Тысяча долларов. Влажный жар прокатился по его боку — тому, что был ближе к деньгам.

Первый пакет появился через четыре дня. Все получилось, как и говорил человек, очень просто. Трудности начались с деньгами. Такие большие банкноты не могли быть настоящими. Абстракция, непредставимая сумма, ее нельзя ни показывать, ни тратить. Он достал банку шеллака и маленькую кисточку, сложил банкноту несколько раз в длину, чуть-чуть смазал с одной стороны, снял басовуху зеленого аккордеона и приклеил тысячу долларов к внутренней складке мехов. Банкнота теперь была абсолютно невидима, даже если поднять крышку и заглянуть внутрь. Свои тайные пакеты и тайные тысячедолларовые банкноты человек приносил в «Сизокрылый голубь» ровно год и два месяца. А потом исчез.

Взрывной костюм

Абелардо заходил в бар на противоположной стороне улицы, но ни разу не встретил там этого человека. Он спросил бармена, не знает ли тот, когда он появится. В ответ бармен шепнул, что лучше не спрашивать. Он сам ничего не знает, но слыхал, что кое-кому доставили новый модный костюм, прекрасный серый костюм из акульей кожи в белой коробке, но когда человек его надел, то от тепла его тела активизировалось спрятанное в швах особое вещество — костюм взорвался, и человек вместе с ним.

В мехах зеленого аккордеона остались лежать четырнадцать банкнот по тысяче долларов.

Старший сын

В 1945 году они получили известие о гибели Кресченсио и письмо от лейтенанта, начинавшееся словами: «Я познакомился с Криско, так все его тут звали, за несколько дней до его гибели…». Так они узнали, что Ченчо погиб не от пули, а от упавшей на него шлакоблоковой стены. Вместе с другим солдатом он танцевал джиттербаг; разошелся, повернулся кругом и слету ударил ногой в стену, а та не выдержала. Адина приклеила на окно золотую звезду.

Улыбайся

Сыновья Крис и Бэйби стали уже почти взрослыми, высокомерными и своенравными — в конце каждой недели они теперь выступали с Абелардо. Отец играл первые фигуры, затем почти всегда отправлялся в клубы или бары, выпить пива «Бульдог» и послушать по *sinfonola* [104] льющиеся голоса сестер Падилла, предоставив остаток вечера сыновьям. (У Адины всегда был наготове *menudo*, острый суп из требухи — лекарство от похмелья.) Чем больше Абелардо доверял сыновьям музыку, тем сильнее менялась их манера; постепенно они стали играть короткое, как удары ножа, стакатто. Люди постарше жаловались, что невозможно танцевать под музыку этих детей — резкие, быстрые толчки и полупьяный ритм сбивают их с толку, но молодым нравилось, они одобрительно кричали и хлопали, особенно Крису:

– *Viva tu música* [105]*!* — когда, облаченный в

---

[104] Примечания: 104
Название радиостанции, ведущей передачи на испанском языке.

[105] Примечания: 105
Мы любим твою музыку *(исп.)*.

красный пиджак, он делал шаг вперед; на Бэйби обычно был черный костюм с белой свирелью на лацкане. Через некоторое время, к великому горю Адины — она обвиняла во всем Абелардо с его легкими субботними деньгами — оба бросили школу.

— Большое дело! Все дороги ведут в никуда. *Ándale* [106]*!*

Лицо Криса покрылось прыщами — и это же лицо стало твердым и непроницаемым после того, как он попытался искать работу, но так ничего и не нашел. Субботней музыки не хватило бы на жизнь даже цыпленку. Крис пристрастился к модным рубашкам, часам, золотым цепочкам. Пределом его тщеславия была собственная *un carro nuevo* [107]. Он отрастил усы — сразу, как только появилось что отращивать — отвлечь внимание от прыщей и выглядеть старше. Черные усы теперь закручивались книзу. Он носил темные очки и завел дружбу с *cholos* [108], особен-

---

[106] Примечания: 106
Вперед *(исп.)*.

[107] Примечания: 107
Новая машина *(исп.)*

[108] Примечания: 108
Так пренебрежительно называют мексиканцев из самых низов.

но с местным хулиганом по кличке *Venas* [109] — на левой ноздре у того была черная родинка, деньги он швырял прямо на драную бархатную обивку белого «бьюика», а его отца, Пако Робело, да и все робеловское семейство молва прочно связывала с *narcotraficantes* [110].

Через год или два Крис завел себе машину, подержанный «шевроле», и перекрасил его в серебристый цвет — нарисованное пламя облизывало капот и багажник, а посередине огненного круга красовался на портрете сам Крис и растягивал аккордеон — старухам виделось в этой эмблеме путешествие в ад. Бэйби страдал. Все выводило его из себя: запах подгоревшей пищи, гром или град, девчоночье перешептывание, зайчик от чьего-то стилета, падавший ему на лоб. Старухи говорили, что в голове у него стальная пластинка.

Абелардо кричал:

— Немедленно прекрати — нам сегодня играть на танцах. Ты сидишь с такой миной, как будто похоронил лучшего друга. Посмотри на Криса — он всегда улыбается. Зрители должны видеть,

---

[109] Примечания: 109
Вены *(исп.)*.

[110] Примечания: 110
Торговцы наркотиками *(исп.)*.

как вы радуетесь вместе с ними.

Адина прикладывала руку ко лбу сына, словно волнуясь, вдруг слишком горячая кровь каким-то образом перегрела ему мозги. Но на самом деле он сочинял свою первую песню, мужественно продираясь сквозь слова и музыку. Песня получилась на американском языке.

Заботливый учитель Фелиды

Голос мистера Мора, преподавателя математики в классе для отстающих, все бубнил и бубнил о топологических вершинах, но Фелида не поднимала глаз, чувствуя, что учитель смотрит прямо на нее. Он ходил туда-сюда по проходам и говорил о них же.

— Назовем переднюю стену класса отрезком AB, заднюю — отрезком CD. Если я пройду вдоль отрезка BD, при условии, что смогу пересечь класс наискосок и остановиться в точке A, получим мы четное или нечетное количество вершин? Руки? — Ответа не было. И вот он опять движется вдоль ряда, замедляет шаг, останавливается у ее парты. Она чувствует запах шерсти, запах мела и видит уголком глаза пыль на коричневых туфлях.

— Фелида.

Она не знала.

— Четное?

— Разумеется, четное, но я думаю, ты просто угадала. Может, ты пройдешь к доске и нарисуешь чертеж?

И звонок не зазвенит! Она вышла к доске, взяла

мел. Что он там говорил, где он там ходил? Сначала у доски. Она провела горизонтальную линию. Потом по проходу. Потом по ее проходу.

Он засмеялся.

— Я же сказал: *при условии, что* смогу пройти наискосок к точке А. На самом же деле я не смогу пройти к точке А, поскольку мешают парты. Смотри. — Снова рядом, забирает у нее мел, холодные перепачканные пальцы касаются ее руки. Он заговорил очень тихо, но не шепотом, просто понизив голос:

— Зайди ко мне после уроков на пару минут. Мне нужно с тобой поговорить. — Повысил голос, поднял тряпку, стер ее линии и нарисовал на их месте свои. Фелида вернулась за парту, ничего не чувствуя. Вообще ничего.

Когда в три часа она опять пришла в этот класс, мистер Мор стоял у окна и наблюдал, как отъезжают школьные автобусы.

— Знаешь, сколько лет я этим занимаюсь? Девятнадцать — из них четырнадцать в Хорнете. Я приехал из Массачусетса. Я когда-то мечтал о юго-западе. Только думал, все будет по-другому. Но нужно же на что-то жить. Учитель, здесь, в Техасе, ради Христа. Проходит несколько лет, и уже не выбраться. И вот я здесь. И вот ты. Иди

сюда. — Отодвигаясь от окна. И опять все то же: перепачканные мелом холодные пальцы движутся по шее, забираются в волосы, тянут вверх, это очень неприятно, он прижимает ее к себе, костлявые руки лезут к груди, ощупывают, потом по ребрам к талии, бедрам, затем под юбку и опять вверх, холодные, перепачканные мелом пальцы лезут под резинку трусов, внутрь, он прижимается к ее ляжке. И ловко отскакивает назад, когда в коридоре вдруг раздается громкий смех и стук каблуков — кто-то из учительниц, каблуки цокают мимо. Фелида подумала, что, наверное, это его жена, миссис Мор, которая преподавала у них в школе машинопись и делопроизводство.

— Послушай, — пробормотал он. — Она уезжает в Остин на конференцию. Приходи ко мне домой. Завтра, примерно в пять. Смотри, что у меня есть. — Он вытащил из кармана — бумажку — развернул, показал. Пять долларов. — Для тебя. Поиграешь на аккордеоне. — Он слабо улыбнулся.

С аккордеона все и началось. Год назад она пришла к нему в кабинет, потому что по средам именно он был дежурным школьным администратором, и сказала, что хочет стать музыкантом, но проблема в ее отце, хорошем, знаменитом

аккордеонисте, и в ее братьях, которые тоже играют на аккордеоне, их любят, зовут выступать по всей долине, ее же не замечает никто даже в собственном доме. Отец не признает, сказала она тогда, женщин в музыке, если только они не певицы; петь можно сколько угодно. Она поет всю жизнь, но он не замечает. Она сама научилась играть на аккордеоне, но ей не доверяют инструмент. Она выучила тридцать *rancheras*. Что же ей делать?

— Такой красивой молодой девушке, как ты, нет нужды беспокоиться о карьере, — сказал мистер Мор. — Но я бы хотел послушать твою игру. Может, дам совет. Я сам когда-то мечтал играть на классической тубе. — Он погладил ее по руке, два легких касания, кончики его пальцев скользнули по тыльной стороне ладони, и Фелида вдруг задрожала.

Побег преступной дочери

За несколько недель до фелидиного *quinceañera*, Абелардо проснулся багряным субботним вечером после короткой послеобеденной дремы — в трейлере никого не было. Побрызгал в лицо водой, вытерся, припудрил тальком пах, похлопал «Морским бризом» по лицу, шее, плечам и животу. Теперь аккуратно уложить и зафиксировать волосы. Тесные брюки, новые черные носки из гладкого, как шелк, материала, белая рубашка, бледно-голубой галстук, в тон бледно-голубому пиджаку из полиэфира. И, наконец, начищенные туфли. Из зеркала на него смотрел мужчина приятной наружности, крепкого здоровья и ума. Он вернулся в спальню за зеленым аккордеоном — сегодня вечером он должен играть для Бруно, а этому человеку нравился печальный голос и хрипловатый плач старого инструмента. Аккордеона не было ни в шкафу, ни под кроватью, ни в гостиной, ни в кухне. Сердце забилось от страха. Он в гневе бросился в комнату сыновей, и на мгновение ему показалось, что аккордеон там, но это был всего-навсего старый итальянский «Луна Нуова», который он отдал в прошлом году Бэйби.

Кто-то из ублюдков стащил зеленый аккордеон, но у Абелардо не было времени бегать по всему городу и ловить гнусных воришек. В конце концов, он взял «Маджестик», но тон не подходил для такой музыки, поэтому, играя, он так сильно и зло давил пальцами, что сломал язычок, и кнопки стали западать.

Он вернулся после полуночи, пьяный и по-прежнему вне себя от злости — однако зеленый аккордеон стоял на полке шкафа. Абелардо достал инструмент и ощупал складки мехов. Деньги были на месте. Остатки страха превратились в ярость. Он ворвался в комнату сыновей, намереваясь вывести их на чистую воду и разорвать на куски. Кровати были пусты. Невероятно конечно, но его могла взять и Адина.

— Вставай!

— Что случилось? — Она вскочила, широко раскрытые глаза силятся разглядеть, откуда пришла опасность.

— Зачем ты брала мой аккордеон? Где ты была?

— Я? Аккордеон? Я ничего не трогала. Ты сошел с ума. — Он замахнулся, словно собрался ударить ее по лицу и выскочил за дверь — оставив ее рыдать в подушку. Ах, теперь все ясно! — думала

Адина. Грубый мужлан! Он открыл холодильник, налил воды со льдом. Подумал: Фелида! И стукнул кулаком в дверь ее спальни. К его ужасу, ответом стало открытое неповиновение.

— ДА, ЭТО Я. Меня пригласил поиграть учитель! — Поздно было сообщать всю правду. На самом деле не успела она открыть футляр, как учитель оказался на ней, а сама она на пыльном ковре, откуда были хорошо видны болтающиеся пружины прогнутого дивана.

— Даже самый преступный сын не позволит себе так разговаривать со своим отцом! Этими словами ты плюешь мне в лицо! — Ярость проглатывала все. Внутри тряслось, будто какой-то сумасшедший бил в литавры прямо у него в кишках. Он орал:

— Женщина не может играть на аккордеоне. Это мужской инструмент. Ни один музыкант никогда не станет играть с женщиной, никто не возьмет тебя на работу, у тебя слабый голос. У тебя плохой характер, ты упряма, у тебя никогда ничего не получится в музыке. — Он почти рыдал. — И это после того, как мы выбросили столько денег на твою *quinceañera*. — Он орал до двух ночи, пока не пришел Бэйби, и не уговорил его успокоиться — тогда, наконец все стихло.

Криса, как всегда где-то носило до самого утра, он водил такси и часто задерживался на всю ночь, отвозя на базу пьяных солдат.

Рано утром Адина услыхала, как хлопнула дверь. На улице послышались шаги. В окне висел тусклый месяц цвета темного серебра. Глубокая и зловещая тишина. Рядом тяжело дышал Абелардо. Она легонько дотронулась пальцами до щеки. Там, куда он легко мог ее ударить, там, куда он почти ее ударил. Через несколько минут она встала и направилась в кухню, чувствуя босыми ногами песок — хотя нет, это был сахар. Сахар и соль по всему полу. Она услышала, как что-то шипит, и сразу почувствовала запах газа. *Dios*, они же чуть не задохнулись! Она повернула ручки конфорок, распространявших по всему дому гибельную отраву, потом, давясь от кашля и едкой вони газа, распахнула дверь. В одной ночной рубашке вышла на крыльцо и всмотрелась в дальний конец пыльной улицы. Где-то орал петух — маньяк какой-то, а не петух. Улица была абсолютно пуста. Бетти-Фелида ушла.

Адина, дрожа, вернулась в кухню и только теперь заметила на столе зеленый аккордеон. Из мехов торчал нож. Этим посланием дочь ранила отца в самое сердце.

— Никогда не упоминайте в этом доме ее имени, — бормотал сквозь слезы Абелардо. — У меня нет дочери. — Но перед тем, как это сказать, он вытащил из инструмента нож и медленно, внимательно осмотрел меха в поисках других ран и трещин, которые могли бы потом разойтись дальше; весь вечер он просидел за запертой дверью, приклеивая изнутри на место разрыва мехов тонкий кусочек свиной кожи, а снаружи — специальный консервант, чтобы материал остался мягким и податливым.

Остались сыновья

После войны проходили минуты, часы, недели и года, а от дочери по-прежнему не было ни слова. Адина ушла в религию («Господи, не вынести мне эту ношу одной»), вместе с Ликами она ходила по домам, стучалась в двери, убеждала людей стать Свидетелями Иеговы. Крис и Бэйби продолжали играть с Абелардо, но между ними росла вражда, им не нравилась музыка друг друга. Да и денег за субботние танцы явно не хватало на жизнь. Традиционная музыка теряла популярность, пришло время свингов и биг-бэндов.

В 1950-х, в двадцать три — двадцать четыре года Бэйби вдруг решил выращивать чили: ему хотелось видеть результаты своего труда, это как-то связалось с земледелием, на мысль навели страстные речи профсоюзных активистов, появившихся в их краях после войны, и размышления о никогда не виденном дедушке, которого ему очень хотелось считать героем. Идея была смутной. Требовалось брать в аренду землю и учиться у агента экспериментальной сельскохозяйственной станции — этот англо уговаривал Бэйби выращивать не старый местный

чили, прозванный за свою скрюченную форму *la bisagra,* «дверной петлей», а новый мясистый сорт, именуемый «С-394» и выведенный недавно в университете Техаса. Ключевым в процедуре было своевременное удобрение и полив. Выращивание чили — как представлял Бэйби, в основном, по рассказам стариков — включало в себя многое: перекрестное опыление для защиты от засухи, виртуозное предсказывание погоды, измерение температуры почвы, молитвы и везение. Он надеялся выучиться всем этим премудростям, верил, что они станут частью его жизни, но очень быстро понял, что агрономического таланта у него нет.

Албелардо тянуло к Бэйби все то время, пока сын возился с землей; при первой же возможности он сбегал из дома посмотреть, как поживают ростки и поговорить — все больше о собственной жизни и о своем прошлом.

Его утонувший отец играл на гитаре: *винги, винги, винги.*

— Так что в семье была кое-какая музыка, — рассуждал Абелардо, присев на красноватую землю у края грядки, закуривая сигарету и наблюдая, как стекает тонкой струйкой в канаву вода для полива. То была печальная и тяжелая музыка,

говорил он — пока Абелардо не научился сам и не ошеломил всех своей потрясающей игрой.

— Я учился в полях, у Нарциско. Нарциско Мартинеса, *el Huracán del Valle* [111], он все это начал, музыку *conjunto*. Знаешь до Второй Мировой ведь не было считай ничего, просто собирались ребята и играли старый мексиканский мусор, *mariachi* [112]... Потом Нарциско, потом появился я, и очень скоро, сразу после войны было уже четверо или пятеро хороших *conjuntos* — я, Нарциско, Педро Аяла, Хосе Родригес, Сантьяго Хименес, Хесус Казиано. Я полюбил эту музыку. Сначала у нас был только маленький однорядный аккордеон, может еще какой-нибудь, если подворачивался под руку, потом мы раздобыли двухрядник и *bajo sexto*, и на этих двух инструментах получалась отличная танцевальная музыка. Был у меня знакомый парень, мы звали его Чарро, потому что он никогда не снимал с головы свой «стетсон», он играл вместе со мной на *bajo sexto* еще до того, как родился Кресченсио, бедный Ченчо. Чарро был уже старик, очень строгий на свой

---

[111] Примечания: 111

Ураган в долине *(исп.)*.

[112] Примечания: 112

Стиль латиноамериканской музыки и название оркестров мексиканских уличных музыкантов.

лад. Ну вот, он не чувствовал мою музыку, и мы разошлись, я ведь в то время сильно пил. Потом я достал *tololoche* — *ay Dios*, как красиво звучит этот инструмент вместе с аккордеоном… Даже электрический контрабас добыл. То-то они танцевали. И барабаны, да, для ритма… Да, вы, молодые, теперь смеетесь над нашей игрой, но не забывайте, для кого была та музыка, и откуда она пришла. Ее придумали бедняки, у них не было денег на модные ударники и электрические инструменты — даже если их к тому времени уже изобрели, нужно было, по крайней мере, электричество. У кого в тридцатые годы было электричество? Так что мы играли левой рукой, на басах играли. Нарциско как-то сказал: *«conjunto era pa' la gente pobre»* [113], — и он знал, что говорит. Он знал, каково это — быть бедняком; он водил грузовик, горбатился в полях почти всю свою жизнь. Там и начиналась эта музыка, в полях. И конечно, ты знаешь, очень многие смотрят на *conjunto* свысока, твоя мать, например.

Нет, отвечал он на вопрос Бэйби, ему никогда не хотелось играть на клавишном аккордеоне, эти уродские клавиши, как зубы — зубастый ин-

---

[113] Примечания: 113
Конхунто — это эпоха бедных людей *(исп.)*.

струмент, который умеет дышать, человеческая рука на нем выглядит маленьким топочущим зверьком.

Бэйби переводил взгляд на грядки с чили, на первые кривые стручки, что закручивались под листьями, на белые соцветия, приманивавшие пчел. Почему его старый папаша всегда так много говорит?

— Сейчас она входит в моду, эта музыка, наша музыка, и ты знаешь почему? Ее разнесли по хлопковым полям *tejanos*, и не только по хлопковым, а по всей стране, даже на свекольные плантации, в Орегон и дальше — *si*, они танцевали каждую субботу, может потому, что это для них единственная возможность расправить плечи. Я очень хорошо помню эти танцы. Мы все играли в «кругах для тако». Большинство всю неделю тоже работало в полях. Заматывали лицо платком, такую пыль поднимали эти танцоры, так они там прыгали в этой пыли. Нарциско сочинил польку *«La Polvareda»* [114], там как раз про это облако пыли. У меня есть старая запись, ты должен помнить. Аккордеон тогда был очень кстати, такой маленький друг.

---

[114] Примечания: 114
Облачко *(исп.)*.

Легко носить, легко играть, довольно громкий, ритм на басах, мелодия. Бери аккордеон, и что еще надо, отправляйся на танцы. Для танцев лучший инструмент в мире, для человеческого голоса тоже. И эту музыку, этот инструмент твоя мать… — он сплюнул, — твоя мать хочет сделать из тебя что-то вроде *bolillo* [115], дырку от бублика, которая только и знает, что лизать жопу англо. Ты никогда не станешь таким, как они. Выучи хоть миллион американских слов, что с того? Они все равно будут лупить тебя в морду своими просоленными лапами. — Вытянув вперед потную руку с натянувшейся на мышцах кожей, он схватился за Бэйби. Кожа на руке темная, будто ее натерли крепким чаем. — Только не надейся прокормиться одним аккордеоном. Не получится, даже если будешь играть американскую музыку. Это трагедия всей моей жизни. — Сцепив пальцы, он вытянул вперед руки.

Бэйби плыл по течению — днем он потихоньку растил чили, а по вечерам доставал аккордеон. В конце недели они играли с Крисом на танцах, в основном *rancheras* и польки; пели классическим

---

[115] Примечания: 115
Пончик *(исп.)*.

двухголосьем, *primera y segunda* [116], резкий тенор Бэйби вздымался до дрожащего пламенного фальцета, Крис пел низко и немного в нос, придавая звуку твердость и густоту. Самые напряженные дни наступали в октябре, особенно *«El Dia de la Raza»* [117]. Они тогда разделялись с Абелардо, поскольку танцев устраивалось слишком много, и не было смысла держать в одном месте все три аккордеона. Танцы выматывали: напряжение от игры и света, пот, жара и жажда, постоянный, как ливень, шум, непременная компания крутых ребят поджидает Криса — юнцы, поднимавшие *el grito* [118], «ай-йая-ЙАА!» всякий раз, когда Крис делал шаг вперед и начинал петь.

Несмотря на то, что большинство предпочитало теперь биг-бэнды и странный сплав джаза, румбы и свинга, несмотря на то, что публика скорее стала бы слушать «Марихуана-Буги» или «Латинские звуки Лос-Анджелеса», чем *«La Barca*

---

[116] Примечания: 116
Первым и вторым голосом *(исп.)*.

[117] Примечания: 117
Праздник — день открытия Америки Колумбом.

[118] Примечания: 118
Крик, вопли *(исп.)*.

de Oro» [119], у их стиля еще оставалось немало поклонников — тех, кто признавал в нем искусство. Это были новые люди: ветераны корейской войны, студенты университетов, они понимали *conjunto*, эту музыку нужно слушать, а не просто танцевать. Она что-то значила сама по себе.

— Они слушают, — говорил Крис, — не потому что мы хорошо играем, хотя мы действительно хорошо играем, а потому что считают нас своими. Им неинтересно скакать в пыли до упаду. — Но появлялись стиляги и свистом сгоняли их со сцены — эти были помешаны на латино-мексиканцах, *músicatropical* [120], на жарких, вырубающих свингах.

Крис попадал в истории, его вечно кто-то искал, во время игры он прятался у Бэйби за спиной, прямо на стоянке для машин путался с чьими-то женщинами, после перерывов опаздывал, и Бэйби столько раз приходилось выступать без него, что он уже привык играть в одиночку и обычно начинал со своих собственных песен. «Твой старый грузовик и моя новая машина» была всем хорошо известна, так же как и «Я ничего не знаю

---

[119] Примечания: 119
Золотая лодка *(исп.)*.

[120] Примечания: 120
Тропическая музыка *(исп.)*.

о дверях».

Крис пил. Ввязывался в драки. Попадал в полицию, три, пять раз. По пути в камеру его избивали. О нем ходили сплетни. В кармане он носил пистолет. Крутился среди Робело. Его друга Винса избили до смерти дубинкой, завернув перед тем в грязный ковер.

Два таких сына — какие тропки могли они найти в этом мире? Крис работал водителем такси и уходил по ночам из дома — ночь за ночью, на работу или нет. Очень часто он не показывался и в те вечера, когда они должны были играть.

Обращение

Перемены пришли неожиданно. В 1952 году Крис принял странную веру Свидетелей Иеговы и женился на Лорейн Лик, дочери той самой миссионерской пары, которая много лет назад приезжала к Релампаго крутить свои бесконечные «как сказал Господь» и «Иисус нас учит». Крису исполнилось двадцать четыре года. Миссионерская дочка Лорейн превратилась в благочестивую бесцветную блондинку с пухленьким личиком и тихим невнятным голоском. Взволнованные и очень несчастные родители, попав в ловушку своих же собственных проповедей о всеобщем братстве (им и не снилось, что их речи вернутся к ним таким бумерангом), выстояли всю церемонию, но не пришли на фиесту, которую устроили Абелардо с Адиной. И хорошо, что не пришли, поскольку пьяный Абелардо произнес, обращаясь к жене, следующую речь:

— Вот видишь, сколько лет назад ты перешла в их веру? А теперь еще и Крис, так что вы с сеньором Ликом одной религии, что, не так? Но он все равно думает, что он выше — и он, и его жена, и их рыбоглазые дочки. Что изменилось от

этой женитьбы?

Крис сбрил усы, постригся покороче, разогнал прежних друзей. Он бросил пить, курить, и теперь часто можно было видеть, как он складывает руки, склоняет голову и что-то бормочет одними губами.

Не изменился только его знаменитый пустой смех. Воскресными вечерами Крис с Лорейн приходили в гости, Лорейн, словно глухонемая, сидела на диване, смотрела кроличьими глазами в телевизор «Сирс-Роубак» и кормила грудью ребенка. Ну и бревно, думала Адина.

Крис усаживался на перилах крыльца, ставил одну ногу на ступеньку, а другой болтал в воздухе. И хитровато поглядывал на Бэйби, который по-прежнему жил дома — такой взгляд появлялся у Криса всякий раз, когда ему требовалось из чего-нибудь выкрутиться.

Бэйби сказал:

— Ну? Что у тебя на уме? Ты завел на стороне подружку, и теперь я должен сообщить Лорейн, что ты сваливаешь из города?

За последнее время Крис растолстел, бритое лицо раздулось — это потому, что все время хочется курить, объяснял он, да еще жуешь всякую дрянь — буррито, тако, гамбургеры, пепси. Когда

водишь такси, все время хочется есть, но при этом почти не двигаешься. На переднем сиденье его машины вечно шуршали бумажные пакеты и конфетные обертки.

— Ты совсем не изменился, все те же гадости. Нет никакой подружки. Просто я не могу больше играть в клубах и на танцах. Это противоречит моей религии, и родственники очень переживают. Так что я, наверное, переключусь на орган, буду играть на службах, ну, ты знаешь, гимны? Религиозную музыку. Понимаешь, я теперь познал Иисуса, и у моей музыки появилась цель. Я был дикарем, теперь стараюсь исправиться. Так что придется вам с отцом одним продолжать дело Релампаго.

В доме заплакал ребенок.

— Значит, записываться с нами ты тоже не будешь? Договорились ведь за несколько месяцев вперед. Он расстроится. Можем потерять контракт — две песни Бернала нужно делать из трех частей.

— Он должен понять, моя жизнь изменилась.

— Ну что ж, делай, как знаешь. Ты еще водишь это ебаное такси?

Да, отвечал Крис, он все еще водит такси.

— Должно быть, хорошая работа, раз у тебя

новый фургон. — Бэйби кивнул в сторону улицы, где переливалась бежевой краской новая машина Криса.

— Что ты хочешь этим сказать? Говори прямо. — Лицо по-черепашьи сжалось.

— Нет, старик, ничего. Надо же, бля, что-то говорить.

— Ничего так ничего. Отъебись от меня.

Теперь Бэйби знал точно, что Крис *лжет* насчет Иисуса, и в этой мутной воде что-то шевелится.

Блудный сын

Фиаско с чили осталось позади. У Бэйби не было ни малейшего понятия о том, чем теперь заняться в жизни, кроме грязных работ — кое-какие деньги он собирал в выходные дни, играя все подряд: мамбо, ча-ча-ча, текс-мекс, польки, кубинские *danzones* [121] и, эх, свинг. Он подумывал устроиться водителем автобуса. С виду работа неплохая: большая машина, красивая форма, свежий воздух, когда захочется, много красивых девушек всегда перед глазами. За водителями автобусов закрепилась слава главных ловеласов. Но шансов не было. Компания нанимала только англо. Он так и не окончил школу, и терпеть не мог тех своих приятелей, кто, приезжая домой из колледжа, смотрел по сторонам так, словно вокруг неприятно пахло, торопился вернуться в мир, куда с таким трудом вырвался, и отпускал в спину шуточки. Бэйби вспоминал, как в детстве мечтал стать архитектором, недоумевал, откуда это взялось, и как это вообще бывает — идеи превращаются в дома. Он не жалел, что бросил

---

[121] Примечания: 121
Дансон — национальный кубинский танец.

школу. На передней стенке трейлера он изобразил что-то вроде фрески, срисовав с отцовских фотографий всех великих аккордеонистов, — Абелардо был в центре, а из-за его плеча улыбался Нарциско Мартинес. Разобщенные головы с твердыми ртами и сияющими глазами висели в воздухе, одни вверху, словно воздушные шары, другие у самой земли.

Любовные чары его, казалось, не брали — он предпочитал мимолетные увлечения: день, два, затем терял интерес. После кратких взрывов он играл, как демон, разжигая свою музыку так, словно хотел переиграть всех других музыкантов. В то время его привлекали жесткие диссонансы. Женщины крутились вокруг, перешептываясь о его особенной силе, о том, что его тело — горячий утюг, который только что сняли с углей.

– *Ay, Dios,* мой рот в огне, у меня шрамы по всему телу, на груди, руках, на ногах и на животе! — приглушенный смех и вопросы о более интимных местах. Он мог получить любую, стоило только протянуть руку, но ему не хотелось выбирать. Он никогда не терял самообладания, но его боялись. Все помнили, что в детстве у него всегда были горячие руки, а прикосновение вызывало дрожь. Говорили, что если он ударит человека по щеке,

то кожа несчастного прилипнет к его пальцам.

Все хорошо

Но через некоторое время, словно путешественник, вдруг заметивший, что солнце клонится к закату, и угасающего света осталось всего на несколько часов, он решил жениться и быстро выбрал первую женщину из тех, что оказались рядом, Риту Санчес. Выпускница университета в Остине, учительница, она всерьез увлекалась общественной работой и новой политикой, была известна как женщина строгих нравов, и боролась за то, чтобы провели, наконец, канализацию на юг Хорнета в *colonia*, кошмарное место, где жили в основном *mojados*, от безысходности перебравшиеся за реку, и до сих пор страдавшие от экзотических болезней — проказы, бубонной чумы, туберкулеза. Говорили, что они грабят людей, хватают на автотрассах женщин и бросают их под машины, чтобы полюбоваться на раздавленное мясо.

В первую брачную ночь он сделал ей ребенка, и жизнь покатилась по привычной человеческой колее: роды и кормления, работа, готовка, детские болезни, их маленькие таланты и способности. Впервые в жизни он не видел разницы между

собой и другими. Дочка родилась с родимыми пятнами — маленькими красными метками в паху, подмышкой и на шее. Год спустя, через день после смерти Сталина, появился мальчик (газеты в тот день вышли с заголовком *«Jose Stalin ha muerto»* [122]), они назвали его Нарциско, в честь друга юности Абелардо. Рита забросила общественную работу, отказывалась от одного комитета за другим. Дети поглощали ее целиком. Странно — музыкальные способности Бэйби вдруг выросли до небывалой высоты.

— А все потому, что больше не надо тратить силы и искать, где бы да кого, — объяснил Абелардо. Он часто приходил к Бэйби домой — в любое время; утром, под облаками цвета лососевой икры, он с удовольствием выпивал чашку кофе, потом бродил по двору, критиковал ритин базилик, полный мелких жучков, вдыхал вчерашнее тепло застоявшегося воздуха. Во дворе они соорудили небольшую веранду. Рита посадила дерево, долго поливала, теперь оно уже прилично выросло и отбрасывало хоть небольшую, но тень. Корни поднимали над землей саманные плитки, и дети часто падали, когда устраивали под деревом

---

[122] Примечания: 122
Умер Хосе Сталин *(исп.)*.

беготню.

— Ты очень хорошо играешь, правда. Можешь прославиться. У тебя все для этого есть.

— Да? И поменять имя, как Андрес Рабаго на Энди Рассела? А Дэнни Флорис на Чака Рио? Или Ричард Валенсуэла, который стал Ричи Вэленсом? Ни за что.

Только теперь, без зависти и ревности, Бэйби смог оценить все величие своего отца. Видел его открытия, его место в истории музыки. Теперь они пели вместе, он чувствовал, как его голос обнимает отцовский, и между ними возникает что-то вроде бесполого брака, нечто подобное тому, как сливаются вместе потоки воды. Они были близки той близостью, которой не знают даже любовники — так скрещиваются на земле тени птиц, что летят на разной высоте.

И аккордеон, да, он сливался с ним, держа у груди так, что дыхание инструмента подчиняло его собственное, этот резонанс заставлял дрожать все его тело. У него было много аккордеонов, они шли к нему в руки, как приблудные собаки. В чужом городе кто-то непременно приходил за кулисы и предлагал купить старый инструмент, иногда просто отдавал. Возвращаясь в Техас, Бэйби всякий раз привозил с собой чужой аккордеон.

Дома он доставал его, искал маленькие секреты, определял, поднеся меха к особо чувствительной коже у подбородка, не протекает ли воздух, изучал голос и нрав, подстраивал под свой вкус. Абелардо не позволял ему играть на старом зеленом аккордеоне.

«Два глаза на лице» — так называли отца и сына. Зал почтительно замирал при их появлении, вызывал их снова и снова, и взрывная волна аплодисментов шла на спад только тогда, когда со сверкающими инструментами в руках они одновременно выступали вперед, открывали рты и *запевали «Yo soy dueodemicorazón…»* [123]

[123] Примечания: 123
Я хозяин своего сердца *(исп.)*.

Кусай меня, паук

Во сне Абелардо ничего не почувствовал. Паук укусил, пока он спал, и распухшая нога лежала спокойно. Но неглубокий серебристый свет наступающего дня нес с собой обреченность. Рядом мирно дышала жена, но когда он потянулся, привлеченный теплом ее тела, по спине пробежала дрожащая волна. В паху что-то щекотало, и он опустил руку. Паук укусил опять. Абелардо подскочил и скинул одеяло, обнажив тело жены в линялой ночной сорочке, поджатые ноги, согнутые руки. Коричневый отшельник промчался по простыне, по ноге Адины и скрылся в темноте под кроватью.

Колотилось сердце. Чесались шея и пах. Страшно хотелось заснуть опять, прижаться к теплому боку жены, провалиться в это серебристое, чуть подкрашенное голубизной утро.

— Что? — пробурчала Адина.

– *Araña.* Паук. Меня укусил паук. Он под кроватью.

Она вскочила и бросилась к дверям, волосы примялись с одной стороны и беспорядочно топорщились с другой.

— Коричневый паук?

— Кажется, да. — Он отвернулся и стал разглядывать свой пах, нелепые длинные волосы болтались по плечам. Ощупал шею. — Два раза, кажется. Не представляю, как его теперь найти, он убежал под кровать.

Адина ушла в кухню, чтобы достать из-под раковины пульверизатор с ядом.

— Погоди, — скомандовал он. — Свари мне сначала кофе. *Ai, ai!* Когда-нибудь это должно было случиться.

Он натянул одежду, как следует встряхнув ее, на случай если там сидит еще один паук. Зашел в кухню, сел на стул, выпил кофе. Начинало тошнить, и очень сильно.

Весь день его рвало, весь день зеленой обжигающей струей из него лился понос, разъедающая лихорадка мешалась с запахом отравы для насекомых, зубы стучали, он замерзал. Ужасно хотелось лечь в постель и уснуть, но он боялся паука. И потом, лучше лежать на тахте поближе к туалету. Слава богу, в трейлере есть ванная, не то что в старом доме Релампаго или в вонючих *colonias*, где сгнила даже земля. Хорошо, что не надо с раздутой прямой кишкой и больным животом бежать по грязи к нужнику. Автобусы

ревели.

В полдень жена вызвала такси, чтобы отвезти его в больницу.

— Они дадут тебе что-нибудь, — бормотала она. Ему было слишком плохо, возражать он не мог. В приемной они сели на драные пластиковые стулья. Адина заполнила какие-то сложные бумаги. Комната была забита людьми: хнычущие и кашляющие дети, какая-то старуха постоянно водила рукой по брови, словно хотела вытащить спрятанную под ней боль, измученный мальчик. Многие просто стояли, прислонившись к стене, садились на корточки или прямо на пол.

— Нам еще повезло, что достались стулья, — сказала Адина. Абелардо ничего не ответил, он сидел, упершись головой в стену, но дважды пришлось вскакивать и мчаться за фанерную дверь в туалет. Из приемной было слышно, что его рвет. Он вернулся весь растрепанный, но, несмотря на болезнь, попытался уложить волосы.

Они прождали два часа. Появлялись новые люди, но, кажется, никто не уходил. В конце концов, Адина подошла к перегородке и стучала там по крашеному стеклу до тех пор, пока не выглянула дежурная — англо с белыми от злости глазами.

— Скажите, еще долго? Моему мужу очень

плохо.

— Да, еще не скоро. Доктор в больнице, на совещании. Если бы все записывались на прием, а не вваливались просто так вместо того, чтобы по-человечески записаться и прийти вовремя!

Она вернулась к Абелардо. На ее стуле уже сидела лупоглазая женщина с хромым ребенком. Адина наклонилась к мужу и прошептала:

— Доктора нет. Она сказала, что еще долго.

— Отвези меня домой.

Закрыв глаза, он лежал на диване перед бубнящим телевизором. Он не мог проглотить ни капли. Адина поговорила с соседями, и старая Мария, согнутая, морщинистая, но еще крепкая старуха сказала ей:

— Это ужасно. Надо было везти его на тот берег к мексиканцу. Там очень хорошие доктора, такие любезные, легчает от одного голоса. Не надо сидеть и ждать тысячу лет. И главное, за визит берут только двадцать долларов. А в больнице восемьдесят. И таблетки, у них те же самые таблетки, как на этой стороне, только там ты платишь пять или шесть долларов, а здесь — сто. Меня невестка научила. Мы всегда ездим на тот берег, если кто болеет, послушай моего совета, вези его туда.

Еще Мара, работавшая в конторе благотвори-

тельного общества, выпускница университета, в юбке до пят, длинный шарф болтается и застревает в дверях, из сандалий торчат босые ноги с желтыми ногтями — Мара тоже стала ее упрекать:

— Нужно было вызвать *curandera* [124], Дону Очоа — она помогает совсем больным людям, к которым врачи не хотят даже прикасаться, я сама видела. Что-то в этом все-таки есть, вы знаете.

Адина позвонила Крису, но Лорейн сказала, что тот уехал, она не знает куда, возможно, вернется на следующей неделе, она не знает. У нее как будто болело горло, и ей трудно было говорить. Где-то в глубине миссис Лик грубо спросила: кто это, он?

Ночью начались конвульсии. Каждый приступ предвещало зловещее чувство, будто на него надвигается черный и тяжелый паровоз. Абелардо садился, чтобы хоть как-то противостоять этому жуткому давлению, как-то пережить эту ночь в одиночку — жена спала на пропахшей ядом кровати.

В пояснице заныло, ноги сперва сжимались, потом начинали дергаться вверх-вниз, не под-

---

[124] Примечания: 124
Целитель *(исп.)*.

чиняясь его воле. Зубы стучали. Он весь трясся, словно его заставлял дрожать камертон настройщика. Дрожь становилась все сильнее, тряска расходилась от стиснутой спины, будто все его тело играло низкую приглушенную ноту. Челюсть стучала быстрее любой кастаньеты. Вокруг расползалась красная тьма, он падал на пол, поджав ноги. Через минуту приступ проходил, Абелардо, задыхаясь, карабкался обратно на диван, садился и откашливался.

Снова и снова невыразимый ужас сменялся припадком. Грудь давило, было трудно дышать. Внутри жгло, а желудок сжался до размера яблока.

Но наутро стало лучше, хотя лицо и оставалось грязного цвета, словно кофе со снятым молоком. Он кое-как сполз с дивана и согласился съесть приготовленную Адиной тарелку риса. Тяжелый запах вызвал новый приступ тошноты, и все тело скрутило в болезненном, но сухом рвотном позыве.

— Ложись в постель, Абелардо. Я побрызгала там все, что только можно, все перекладины и винты, а потом еще продула. Ни один паук в этом не выживет. Если я проспала в этой постели всю ночь, то ты тоже можешь лечь. Тебе нужно

отдохнуть.

Шатаясь и прихрамывая, он позволил увести себя в спальню. Длинные волосы болтались кое-как, но он этого не замечал. Она стащила с него заляпанный халат, обмыла теплой водой и пахучим мылом. Каким облегчением стал этот кусок влажной материи для его твердого горящего тела. Адина испугалась, увидав, как он похудел за два последних дня. Он стыдливо прикрывал полотенцем воспаленный пах, но она все же разглядела гнойную красную опухоль, и еще одну, такую же, на шее. Сняла с дверного крюка ночную рубашку, приподняла мужа, натянула через голову. Он качнулся вперед и едва не упал на белую простыню. Жена вышла из спальни.

Комната словно наполнилась полыхающим светом, затем сильный ветер вдруг принес холод. Болели глаза. Он пошевелил дрожащими ногами, почти перевернулся на бок, и настырная коричневая тварь, придавленная узким рукавом ночной рубашки, укусила снова.

— Хуан, — позвал он отчетливо. — Хуан Виллареаль! Я сыграю *«Picame Araña»* [125] так, как не играл никто и никогда. Послушай, это не шутка.

---

[125] Примечания: 125
Кусай меня, паук *(исп.)*.

Нужно играть без жалости! — Шатаясь, он поднялся за аккордеоном. Он стоял рядом с кроватью и качался. Из-под ночной рубашки вывалился полупридавленный паук и, прихрамывая, убежал в щель.

На секунду вдруг стало очень хорошо, Абелардо захлестнула радость и энергия молодого мужчины. В голове звучала песня. *«Hoy me siento vivo, me siento importante…»*[126] и он ничуть не удивился, обнаружив, что играть можно и без аккордеона. Восхитительное *huapango* танцующего паука заполнило его душу, но он играл — ноту за нотой, быстро, еще быстрее, злобные, саркастические удары. Дойдя до той части, где аккордеон замолкает и начинается соло гитары, он упал на пол, и это был, в общем и целом, — конец.

---

[126] Примечания: 126
Сегодня я чувствую себя живым, я чувствую себя важным *(исп.)*.

El Diablo

На похороны пришли несколько сот человек. Нужно было обязательно взять в прокате черный траурный аккордеон, и Бэйби нашел его только в Хьюстоне — на серебристом фоне было выгравировано *El Diablo* [127]. На кладбище он играл и играл — все песни, все мелодии своего отца. Наступал вечер, люди волновались, топтались с ноги на ногу, думая про себя, что они, в конце концов, вовсе не обязаны умирать вместе с покойником. Но он все играл: *redovas*, *rancheras*, польки, вальсы, *canciones* [128], раздавая то единственное сокровище, которому поклонялся всю жизнь его отец. Он играл весело, так, словно с его жизни свалилась какая-то тяжесть.

Когда *El Diablo* вернули в музыкальный магазин, клерк (это он потом сочинил слоган «Аккордеон — ящик с музыкальной наукой»), заметил, что кнопки на нем как будто обгорели.

(Поколение спустя, на это самое кладбище упал

---

[127] Примечания: 127
Дьявол *(исп.)*.

[128] Примечания: 128
Песни *(исп.)*.

самолет ВВС США, погибли шесть человек на борту и пожилой служащий, косивший на могилах траву. Катастрофа разрушила больше девятисот надгробий, и среди них — красный гранитный памятник Абелардо Релампаго, *«Un gran artista»* [129], отретушированная фотография выпала из-под круглого стекла.)

[129] Примечания: 129
Великий артист *(исп.)*.

Арест наркопреступника

— Хорошо, что Абелардо умер, — сказала Адина, — он бы этого не вынес. — Газетный заголовок гласил: «Сын музыканта *conjunto* арестован за провоз наркотиков», и на всю первую полосу — Крис в наручниках, похожий на сердитую черепаху.

Арестовали его глупейшим образом, на мосту у пограничного пункта Уивила, в десять часов утра, в собственном фургоне, Лорейн рядом, дети сзади. На пункте было много народу — возможно, на это он и рассчитывал, думал Бэйби, — очередь медленно ползла мимо ярких цветочных островков, латиноамериканка поливала их из зеленого шланга.

Агент пограничной службы США, молодой англо с короткими рыжими волосами, прыщавой физиономией и глазами цвета бутылочного стекла — из-под ворота рубашки у него еще торчала футболка — обошел вокруг машины, взглянул на Лорейн, затем на Криса. Заговорил с Лорейн:

— Кем вы приходитесь водителю?

— Это мой муж.

— Это ваш муж. А сзади ваши дети?

— Да.

— Он отец, а вы мать, верно?

— Да.

Мускулы прыгали на челюсти Криса, но руки спокойно лежали на руле. Агент еще раз обошел вокруг фургона, остановился, заглянул под багажник. Постучал костяшками по баллону с пропаном. Потом еще. Покрутил вентиль. Послышался свист выпускаемого газа. Агент закрутил вентиль и подошел к водительской кабине.

— Ты понимаешь по-английски, дружок?

— Разумеется. — Он старался держаться спокойно. Уже скоро.

— Видишь, вот там смотровая площадка? Подгони туда машину, я хочу заглянуть в багажник.

Крис старался не дышать. Может еще обойдется.

Но вокруг уже были агенты, гуртом повели их от фургона к дверям, и по тому, как двое направились к пропановым баллонам, он понял, что все кончено. Глупо, но он бросился бежать, прыгнул в цветочную клумбу и тут же увяз в мягкой почве. Латиноамериканка скрутила шланг в кольцо и набросила на Криса; он упал в цветы, лицом в грязь, пойманный арканом из огородного шланга.

Отцовское возмездие

Это было только начало. Семь месяцев спустя, в первый день разбирательства, из мужского туалета судебной палаты вышла странная фигура и двинулась по коридору к залу заседаний — измученный и дрожащий Даррен Лик держал в руке пистолет 38-го калибра — тот самый, который Крис возил под сиденьем своего такси. Пули свистели и отскакивали от мраморных стен, умноженный эхом грохот сливался в оглушающий вал.

В дальнем конце коридора кто-то пронзительно завопил из телефонной будки. Адвокат Криса растянулся на затоптанном мраморном полу, его сорокалетняя нога задергалась, как у собаки, очки съехали на макушку, веером из деловых бумаг он прикрывал голову, края листов пропитались кровью. Человек с такой силой толкнул дверь в зал, словно в руках у него был тяжелый таран. Крис сидел на корточках у самой стены, прижав к груди колено и глядя выпученными глазами на своего тестя.

— Грязный мексиканский ниггер! — заорал Даррен Лик. — Мы взяли тебя в нашу церковь и в

нашу семью! Ты вошел к нашей дочери и познал ее! Ты смешал свою грязную кровь с нашей! Ты лгал, ты прикрывал именем Иисуса нечестивые махинации с наркотиками! Каждый твой шаг был ложью, так будь же ты проклят перед лицом Господа! — Он нечленораздельно мычал, словно бык на весенней случке, гортанный рев перешел в визг, он направил пистолет на Криса и выстрелил, пуля разнесла челюсть, язык, позвонки, разбрызгала мозги, перемешав их с острыми осколками дробленых зубов. Лик произнес: — Отец наш, — приставил дуло к груди и выстелил себе в сердце.

Горячая рука

Бэйби Релампаго *y su conjunto* [130]. Больше известен как Бэйби Лайтинг. Голос неистов и многоцветен, фальцет невесом, как полет ястреба в восходящем потоке. Его лицо улыбалось с афиш. Его хорошо знали на юго-западе, он играл в Чикаго, Канаде, Нью-Йорке. Он всегда говорил, что в Нью-Йорке, хотя на самом деле это был Олбани, населенный безответными ирландцами. «Концерт» — извещали афиши. Он играл на съезде Демократической партии, выпустил больше двадцати дисков. *«Los Ilegales»* [131] продавался только в Сан-Диего. Он давал — сколько? — семьдесят концертов в год, всегда для сидячей аудитории (больше никаких танцев), стойко переносил тяготы бродячей жизни, и время от времени возвращался, чтобы перевести дух, домой, в Сан-Антонио, где они теперь жили.

Из-за того давнего сна он никогда не летал самолетами. Ему приснилось, что совершенно голый

---

[130] Примечания: 130
и его группа *(исп.)*.

[131] Примечания: 131
Нелегал *(исп.)*.

он падает с неба на усыпанное камнями поле. Рабочие собирали камни и складывали их в корзины, а потом выпрямились, уставились в небо, слушая его пение. В руках он держал аккордеон, маленький зеленый аккордеон своего отца, кнопки износились и приняли форму стариковских пальцев, ветер с силой продувал рваные меха, и звук получался совершенно невероятный — он видел воочию уходящие в никуда переплетения диссонансов, бьющиеся в судорогах черные и пурпурные канаты, словно склеенные пряди конского волоса. Рабочие побежали к горизонту, и он понял, что они боятся перепачкаться брызгами раздавленной плоти, когда он ударится о землю.

Это было в 1955 году, они выступали в Миннеаполисе, в концертной программе чего-то под названием «Северный Марди-Гра». Ему не нравился зал. Маленькие аудитории хорошо отзываются лишь на *«La Cucaracha»* [132] и «Танец мексиканской шляпы».

(Сорок лет спустя в том же самом зале утрамбованная донельзя толпа раскачивалась, кричала и свистела, приветствуя «Сонора Динамита», беше-

---

[132] Примечания: 132
Таракан *(исп.)*.

ную группу *cumbia* [133] из Колумбии — Гилберто Джил, Фласко и Сантьяго Хименес-мл., Эстебан Джордан и Фред Циммерль — на испанском национальном концерте в поддержку жертв *el SIDA* [134] в Латинской Америке.)

Они переодевались после спектакля в грязной гримерной и слушали как расходятся зрители; затихающий гул, словно тек сквозь воронку пчелиный рой, кто-то фальшиво насвистывал «Три монеты на дне фонтана»; пахло лаком для волос и ночными мотыльками, горячими лампочками и электрическими пробками. Исидро и Мегель, почти не разговаривая, складывали инструменты. Он знал, что им хотелось ночевать здесь, а не тащиться сквозь ослепляющий свет больших грузовиков по тысячемильному перегону до Техаса — корячиться в машине, тереть глаза, зевать и останавливаться, глотать кофе и слушать знакомые слова Исидро:

— Два часа сорок минут, *hombre* [135], и мы на земле.

---

[133] Примечания: 133
Кумбия — направление в латиноамериканской музыке.

[134] Примечания: 134
СПИД *(исп.)*.

[135] Примечания: 135
Человек, мужик *(исп.)*.

Они сидели в гримерной. Импресарио, тучная женщина в голубом платье из ацетатного шелка, должна была принести чек. Бэйби уже собран: оба инструмента — традиционную музыку он исполнял на старом зеленом аккордеоне Абелардо — лежали в футлярах; сам он переоделся в брюки и трикотажную рубашку для гольфа, чтобы удобнее чувствовать себя в пути. *Bajo sexto* допивал кока-колу. В дверном проеме показалось голубое платье, он поднял взгляд и улыбнулся, надеясь, что принесли чек, и можно ехать.

— Привет, Бэйби, — сказала она.

Он растерялся. Голос — он знал этот голос, но где же чек? Это совсем другая женщина.

— Я Бетти. Фелида. Твоя сестра. — Она протянула ему длинную голубую руку.

Он вспомнил: этот голос, нетерпеливая интонация, совсем как у Адины. Сестра. Он смотрел на нее — еще совсем молода, но некрасива: широкие бедра, черные косы закручены короной, очки в пластмассовой оправе телесного цвета, платье с отрезной талией, на груди вульгарная золотая цепь, высокие каблуки и большая нелепая кожаная сумка.

И растолстела.

— Фелида?

— Ты не получил мою записку?

Он покачал головой. Может надо ее обнять? Руки Фелиды медленно опустились, и сложились на груди. Оба неуклюже переминались с ноги на ногу.

— Я оставила на вахте записку, что зайду к тебе сегодня. Хочу пригласить тебя на ужин, познакомить с мужем. Он тоже занимается музыкальным бизнесом. У нас есть о чем поговорить, прошло столько времени. Отказать он не мог. Сказал Исидро, чтобы тот дождался чека и снял в отеле номер. Дал ему денег. Они остаются ночевать.

Его сестра спит с итальянцем

Квартира была небольшой, вязаные цветные салфетки и накидки с бахромой закрывали мебель. На стене гостиной висело распятие и увеличенная фотография Неаполитанского залива. Муж по имени Тони, лет на пятнадцать старше Фелиды, не без труда встал с кушетки и предложил пиво. Бэби предпочел бы разведенный скотч. Тони руководил оркестром и вращался в клубных кругах; они познакомились с Фелидой на польской свадьбе. Он кивал плоской квадратной головой, иссиня-черные волосы зачесаны назад, тяжелые брови топорщатся над глубоко посаженными глазами, а над бровями — белый, как мышьяк, лоб. Глаза спрятаны настолько глубоко, что не выпускали из себя ни единого лучика. Держался он чопорно. Бэйби подумал, что фелидин муж напоминает преступника перед электрическим стулом.

— Ваша сестра — отличный музыкант. Она исполнит вам все, что угодно, особенно этнические штуки. Мы играем много этнической музыки. Свадьбы, юбилеи. Люди не хотят слушать американцев. Итальянские песни, очень трудные

греческие, для хасидов мы тоже играем, поляки, венгры, шведы — всем подавай чего-нибудь этнического. Только попробуйте сыграть им американцев, не получите ни гроша. Какой-то парень кинул в нас булкой, когда мы заиграли «Мои голубые небеса»[136]. Нет, сэр, «Александр-Рэгтайм Банд»[137] они к себе и близко не подпустят.

На ужин был тепловатый мясной рулет, с застывшим на тарелке белым жиром, салат из тертой моркови с изюмом, хлебные палочки, которые крошились на зубах громко, словно винтовочные выстрелы, и бутылка красного вина — после первого же глотка у Бэйби защипало в носу. Они сидели за столом с прозрачной столешницей. Бэйби не мог удержаться, и время от времени поглядывал на свои колени.

— Бери рулет, Бэйби.

Муж разлил вино, роняя на стол капли.

Очень странно было слышать знакомый, лишь чуть погрубевший голос сестры из уст этой женщины. В нем было много материнских интонаций: саркастические ноты, немного без-

---

[136] Примечания: 136

Песня, сочиненная в 1923 г. Джорджем Уайтингом и Уолтером Дональдсоном.

[137] Примечания: 137

Песня, сочиненная в 1911 г. Ирвингом Берлином

надежная манера заканчивать фразы.

Муж Тони перебивал ее на каждом слове.

— Значит, вы играете на аккордеоне. Я знаю аккордеон, как собственную мать. Я тоже играю на аккордеоне. У меня очень хорошая «Страделла». Если хотите иметь хороший аккордеон, берите итальянский. Лучшие в мире.

Бэйби жевал рулет и раздумывал, как бы поскорее уйти. Но муж не унимался. Он отставил тарелку и закурил, стряхивая пепел прямо в грязную посуду. Бэйби не мог рассказать Фелиде о Крисе и об отце, пока этот трепач наконец не заткнется.

— Итак, что же вы играете? Джаз? Я к сожалению не смог выбраться на концерт.

– *Conjunto*. Текс-мекс.

— Фолк-музыка, ага? Этника! Что я вам говорю, вы сами должны знать. Но если вы хотите получить по-настоящему красивую аккордеонную музыку, вы должны слушать итальянцев. Лучшие в мире. Джаз, классика, поп, все, что вам угодно. Лучше всех. Ладно, давайте поставим вот это. — Он ушел в гостиную и поднял крышку дешевого музыкального центра. «Сирс», подумал Бэйби. Муж подкрутил компоненты — тюнер, диск; потом приладил динамики и принялся

ставить пластинку за пластинкой, представляя музыку Пеппино, Белтрани, Марини[138].

Он ушел в туалет, оставив дверь приоткрытой, чтобы не пропустить ни одной ноты; Бэйби посмотрел на Фелиду.

— Макаронник. И старик к тому же. — Его распирало от отвращения; в конце концов, она его сестра.

— Что ты о нем знаешь! Он очень хороший человек. Он поднялся из ничего! Ему есть чем гордиться.

— Полагаю, нам все это тоже знакомо. Ты младшая — когда ты росла, стало легче. Ты не помнишь земляного пола… нет, тебе было легче.

С этого все и началось. Слишком тесно он был связан с ее мучительным детством, этим главным врагом ее истиной сущности. В туалете спустили воду. Ей хотелось доказать, что он зря так снисходительно относится к ее мужу. Ей хотелось, чтобы он ушел. Она жалела, что позвала его. Мясной рулет лежал на его тарелке почти нетронутый, не считая маленького кусочка с одной стороны. Из салата вытекла желтая лужица.

— Ты ни слова не сказал о родителях. Это пло-

---

[138] Примечания: 138

Принцип Пеппино, Уолмер Белтрани, Эугенио Марини — итальяно-американские аккордеонисты.

хой знак. Видимо, кто-то умер. Мать?

— Я не мог тебе ничего сказать, пока твой муж распинался об этнической музыке. Нет. Она жива. Она болеет, у нее что-то непонятное, никто не знает, что. Мы боимся рака, но она жива. А больше никого нет: она, я и ты. Лучше бы ты ей написала. Слишком много бед, слишком много боли на нее свалилось. Ты ведь знаешь о Ченчо? Да, конечно. Это было до того, как ты сбежала.

Всего за минуту он рассказал ей о смерти отца и брата: паук и маньяк с пистолетом.

Для нее это почти ничего не значило. Для нее они умерли, когда ей было четырнадцать лет. Почему же ее так раздражает этот рассевшийся на диване брат, его шевелящиеся губы, желтые пальцы, которые барабанят по коленке, нарочитые гримасы на особенно сильных волнах итальянской музыки. Ею овладело низменное, но сильное желание побольнее его задеть.

— А знаешь, твоя музыка совсем не изменилась. Ты играешь то же, что и отец, вы с Крисом играли это сто лет назад, ту же самую ерунду, старый *conjunto*. Неужели не надоело? Неужели не хочется чего-нибудь поновее? Ну хоть каких-то

перемен? Чак Рио[139] сейчас делает norteño[140] рок — ты наверняка слышал его «Корридо-Рок». Или ритм-энд-блюз. Латинский джаз? Ты когда-нибудь был в Л. А.? Вот где настоящая música. Ты просто застрял на одном и том же.

Он был обижен и зол, но улыбался. Неужели она и раньше была такой отвратительной и бестолковой дурой? От гнева он едва мог говорить, лишь пожал плечами.

— Это моя музыка. Моя музыка, и люди хотят, чтобы я ее играл. Текс-Мекс, *tejano*, только резче, больше кантри, и традиционное *conjunto*, да, то, которое играл отец, — это моя музыка. — От завываний итальянского аккордеона дрожала вся квартира. — Многие музыканты пробуют новое. Но многие возвращаются обратно, идут со своими кувшинами все к тому же старому колодцу.

Кофейная чашка уже опустела, Бэйби ждал, когда Фелида заметит и нальет добавки. У него дрожали руки. Она взглянула в другой конец комнаты — там выходил из туалета муж, на ходу застегивая ширинку. Квартиру словно перепол-

---

[139] Примечания: 139

Чак Рио (Дэниел Флорес, р. 1929) — мексикано-американский певец и сочинитель песен.

[140] Примечания: 140

Северный *(исп.)*.

няла дрожащая горечь итальянской музыки. Бэйби бросил взгляд на оставленный у дверей футляр с аккордеоном: уголки вытерлись, фестивальные наклейки ободрались. Он резко оттолкнул кресло, взял аккордеон, не спеша приблизился к музыкальному центру и выключил итальянцев. Сестра и ее муж не знали, что им делать. Они хмуро следили.

Бэйби остро почувствовал тишину, непрозвучавшие ноты, которые слушатель подсознательно ждет, а не дождавшись, проигрывает в голове сам, прерванные музыкальные фразы, словно задержка дыхания, притихшие отзвуки слабого нотного эха, тонкая линия вступления, бесцветная струйка, что падает с лесной скалы, но вдруг вырастает до стоячей волны, водопада, водоворота, прибойного потока и водяного вала. В эту враждебную тишину он бросил мощную и торопливую аппликатуру вступления, слишком быструю, чтобы искать в ней какой-то смысл, — это был гневный взрыв самого инструмента. Не останавливаясь, он играл почти десять минут — с одной мелодии на другую, двадцать, а то и больше песен, фразы и куплеты, вступления и переходы, ломаные октавы, пальцы скользили по кнопкам в трудных, но прекрасных *glissandi*.

Наконец он поднял голову, посмотрел на сестру и ее мужа, застывшего в другом конце комнаты, и резко оборвал игру.

— А как же ты? — ухмыльнулся он. — Ты же когда-то играла. Отец говорил, что из всей семьи только ты и была настоящим музыкантом, только у тебя истинно мексиканская душа. Но это еще до того, как он тебя проклял, до того, как ты сбежала — ночью, точно преступница, разбила сердце матери и повернулась спиной к своей семье, к своему народу. До того, как ты стала итальянкой. Ты еще умеешь играть музыку своего народа? Или только дерьмовое оливковое масло? — С вежливой яростью он протянул ей аккордеон.

— Какие обвинения! — воскликнула Фелида. — Ну конечно, я должна была остаться дома и играть королеву чили, а потом выйти за сборщика фруктов из Чикано, нарожать пятнадцать детей, по три раза в день крутить руками тортильи, смотреть только в землю, бояться дурного глаза и обдирать коленки на церковных камнях. Ты позволяешь мне касаться твоего аккордеона? Какая неожиданность! Неужто не считаешь, как когда-то отец, что это мужской инструмент? Все правильно, я согласна — это инструмент для мужчин-недотеп, нищих иммигрантов и плохих

музыкантов. Я поняла это много лет назад, еще ребенком. Я все видела еще до того, как ушла из дому: и отца, уборщика посуды, и его драгоценный зеленый аккордеон — да, этот самый — и как он стоял весь в поту, и эти идиотские прически, и вечное пьянство — пьяный мексиканец, халдей с аккордеоном, это же пик его славы, когда он вешал аккордеон на себя, растягивал меха, они сами растягивались, драное старье просто на нем висло, и как же я его ненавидела — вот тогда я поняла, что ваш аккордеон действительно мужской инструмент, мужчины на нем не играют, они его трахают. И ты такой же. Тогда я решила, что буду играть настоящую музыку на настоящем инструменте. И это правда: я могу играть все, что угодно. Я не прилипла к *conjunto*. Все, что угодно! И мне не нужен кнопочник — уродская игрушка для пьяных дилетантов. Я играю на клавишном аккордеоне, я профессиональный музыкант, я ответственный музыкант — тебе никогда этого не понять.

Он чувствовал почти ужас.

— Какая же ты сука! — взвыл он.

— Вы говорите это Бетти… — Муж взялся за ручки кресла.

— Заткнись. — Он повернулся к Фелиде. — У

клавишника идиотский звук, он все подавляет — это клоунский инструмент — могу себе представить, как вы с мистером Бэтоном тащите его на еврейские именины, а старые клячи вокруг даже в такт попасть не могут, «С днем поляцкого рожденья поздравляем мы тебя…», — ухмыляясь, проныл он. — Джаз-бэнд кукурузников играет вонючее старье. «Рада ты, и рада я, рада блядская семья».

— Ублюдок! Что ты понимаешь. Я столько лет играла с отличными музыкантами, я пахала, как вол, я была еще совсем ребенком, но я выучила этот инструмент, я играла в группах — всего четверо: ударник, аккордеон, труба и кто-нибудь на кларнете и саксофоне попеременно — наша музыка звучала, как десять инструментов. Посмотрела бы я на тебя, как бы ты смог: и латино, и этнику, и поп, да, и свинг, и джаз, даже деревенские песни и полуклассику, посмотрела бы я, на сколько б тебя хватило. Через пять минут тебя стащили бы со сцены за хвост вместе с твоей писклявой коробкой. — Выкрикивая все это, она вытаскивала из коридорного шкафа громадный ящик — тяжелый черный футляр, а из него — большой хромированный аккордеон. Бэйби пришло в голову, что он похож на радиатор «бьюика».

— Ублюдок. — Она с трудом перевела дыхание. — Ты даже не представляешь себе, что аккордеоном можно заменить целую саксофонную партию, а я это делаю. Ты даже не знаешь, что я играю, несмотря на то, что теперь замужем! — Она продела руки в ремни и подняла тяжелый инструмент. Сверкнула на Бэйби глазами и заиграла. Он думал, это будет позерское попурри, лоскутное одеяло простого лабуха с визгами и присвистами, шлягерок, который начнется с «Маленького темного кувшина», перейдет в «Ах, щекотно, хи-хи-хи» и закончится «Билл Бэйли, ну когда же ты вернешься» или другой такой же ерундой, но Фелида умудрилась его удивить. Глядя в потолок, она проговорила:

– *Por Chencho, Tomás, por Papá Abelardo*, — и вдруг запела разрывающую сердце песню *«Se Me Fue Mi Amor»* [141], которую записали в самом конце войны Кармен и Лаура. Она растягивала меха с поразительной техникой, те расходились и сжимались с невероятным драматизмом, взрывной эффект *sforzati* [142]. Она скребла по клавишам, терла и давила, водила ногтями по складкам

---

[141] Примечания: 141
Это все для меня, моя любовь (исп.)

[142] Примечания: 142
Акцентируя *(ит.)*.

мехов. Создавалась великолепная иллюзия, что аккордеону помогают *bajo sexto*, контрабас, и еще какой-то необыкновенный ударник, звуки сливались с забытым голосом сестры, аккордеон вплетался и сжигал в сладком тлеющем огне печальный голос Фелиды.

— Вот — самая прекрасная музыка на свете, — сказала она и ушла в ванную — кафельные плитки разнесли по квартире эхо ее рыданий.

— Вы бы слышали, как она играет «Полет шмеля». Это вообще фантастика, — сказал муж.

Бэйби положил зеленый аккордеон Абелардо в футляр, бросил взгляд на глупого итальянца и вышел вон, не закрыв за собою дверь, словно Ричард Уидмарк[143]. Нажимая кнопку лифта, он услыхал, как она с грохотом захлопнулась.

На улице, дрожа от вечерней сырости, Бэйби побрел к озеру. Впереди, под фонарями, шли двое мужчин, через несколько минут они свернули и исчезли в подъезде. Где-то далеко звучала гитара, блюзовые аккорды, из открытой двери вырвался «бат-тат-тат» ударника. Бэйби шел к озеру, прислушиваясь к влажным стонам воды. Он подумал, как медленно выползают из доков

---

[143] Примечания: 143

Ричард Уидмарк (р. 1914) — американский киноактер, амплуа — негодяй.

корабли. Через некоторое время он стал зевать. Как же он устал. И замерз. Он зашагал от воды обратно, и увидав, что в его сторону скользит такси с лампочкой на крыше — желтой и теплой на этой северной улице — поднял руку и побежал навстречу машине.

— Отель «Фортуна». — *Ау,* какой прекрасный, прекрасный у нее голос, пропадает с этим итальянским фертом, глушится огромным перегруженным аккордеоном. Глаза заливали слезы.

В вестибюле отеля он вдруг сообразил, что оставил зеленый аккордеон в такси. Бросился на улицу, но машина уехала. Звонок за звонком — все было напрасно, нет, он не запомнил ни номер, ни имя водителя; нет, он не знает, какой компании принадлежит такси, он не помнит ничего, кроме желтой лампочки на крыше, а значит, ничего не поделаешь.

Запах паленого

Возбужденный муж ходил взад-вперед по квартире.

— Что за чепуха, — сказал он. Поскреб ногтями руку. — Запах — как будто что-то горит, — добавил он наконец.

— Это он. От него всегда несло старыми сигаретами и палеными деревяшками. — Она заплакала, а когда старый муж бросился утешать, резко его оттолкнула. Итальянец!

АВТОСТОПОМ НА ИНВАЛИДНОЙ КОЛЯСКЕ



Хроматический аккордеон

На улицах Парижа

Шарль Ганьон, плакса и нытик (говорили, именно из-за этого постоянного нытья сумасшедшая мать Софи чуть его не утопила), начал трудовую жизнь в 1912 году в возрасте пяти лет — посасывая губную гармошку, он выпрашивал на улицах *centimes* [144].

Во время Великой войны, когда мальчику исполнилось девять или десять лет, шлюха по имени Иветт, та самая, что вытащила его когда-то из воды, и в чьей комнате он время от времени спал, сунула ему в руки маленький однорядный *accord on diatonique*[145]. Этот жуткий хлам, весь в переливающихся звездочках, на который не позарились бы даже крысы, ей подарил один из клиентов; гостю вконец осточертело слушать нытье губной гармошки, но все же было жаль этого бледного, как макаронина, выковыривателя сигаретных бычков из уличных стоков, которого — подумать только! — сумасшедшая мать скру-

---

[144] Примечания: 144
Сантимы *(фр.)*.

[145] Примечания: 145
Диатонический аккордеон *(фр.)*.

тила проволочной вешалкой и бросила в реку, откуда его и извлекла худенькая Иветт, мечтавшая в детстве переплыть Ла-Манш (десятилетие спустя, когда это сделала Гертруда Эдерле[146], Ивет почувствовала, что ее обманули). Но вместо благодарности мальчишка спросил Иветт — настоящую героиню, дававшую ему кров, — этот сопляк спросил ее всего лишь о том, что неужели он мало зарабатывает на улице с этой чертовой губной гармошкой? Может ему стоит пройтись по кабакам и там продолжить? Ладно, давай, будем считать это говно настоящим инструментом. И если уж говорить о настоящем инструменте, смотри сюда.

На кнопочном ящике — при том, что кнопки на нем отваливались, меха пропускали воздух, а звук получался не громче тявканья охрипшей собаки — Шарль играл в самых грязных *bals musette*[147](модники в норковых брюках и пиджаках на молнии никогда к ним не заглядывали), упрямо, за одни чаевые, не обращая

[146] Примечания: 146

Гертруда Эдерле (р. 1906) — знаменитая американская спортсменка, поставившая несколько мировых рекордов в плавании и первой из женщин переплывшая Ла-Манш.

[147] Примечания: 147

Танцевальные залы *(фр.)*.

внимания на дым, вопли и потасовки, он задавал себе ритм постукиванием ноги, иногда в одиночестве, иногда силясь переиграть конкурентов. Без перерывов. Если он замолкал, чтобы сходить в туалет или выпить воды, танцоры ругались и швыряли в его тощую спину все, что попадалось под руку. Расплачивались с ним довольно часто *un petit vin blanc* [148], причем самым дешевым, но это доставляло ему настоящее удовольствие — с тех пор и навсегда. Так, распустив нюни, он отвоевывал себе место в мире мужчин, полуголодный, вечно пьяный, спал в комнате Иветт, когда у той не было клиентов, а чаще под парой кресел в углу бистро — кусочек припортовой жизни, мальчишка с сопливым носом, драными башмаками и раздраженной надменностью, для которой не было никаких оснований.

К шестнадцати годам аккордеон ему осточертел — эту маломощную коробку невозможно было слушать, почти весь воздух выходил сквозь растрескавшиеся меха, вид у нее был совсем невзрачным и напоминал задеревеневшую тряпку или дохлого индюка. И еще музыка. Его тянуло к джазу, он репетировал, как сумасшедший, разу-

---

[148] Примечания: 148
Белое молодое вино *(фр.)*.

чивал причудливые, замысловатые секвенции, но при первых же попытках — он играл что-то очень близкое к «Розе на жимолости» — посетители недовольно морщились, покрикивали: давай, давай, бросай это говно, играй по-человечески, — в центре зала на негнущихся западных ногах покачивались тусклые парочки, *crêp de Chine* [149] трубы женских платьев колыхались вокруг голеней, топтались и куда-то тыкались стопудовые мужские ноги, а вокруг свечи, белые равнины скатертей, музыка — то веселая, то грустная — пальцы и ладони мужчин, щупающие сквозь нагретую материю женские ребра. Мальчик играл, посмеиваясь про себя над цветочными узорами на бедрах и задницах дам, над бриолиновыми волосами и робкими руками кавалеров.

Его героем был Жо Прива[150], который играл все, что ему нравилось, мешая *le jazz hot*[151] с цыганскими песнями, садился вместе с бра-

---

[149] Примечания: 149
Крепдешиновые *(фр.)*.

[150] Примечания: 150
Жо Прива (1919—1998) — французский аккордеонист.

[151] Примечания: 151
Горячий джаз *(фр.)*.

тьями-цыганами Ферре и Джанго [152], легко подхватывал старые *bourées* [153] и польки вслед за самыми отчаянными *chansons mussette* [154]. У него были связи, у этого Прива, он знал сильных парней, гангстеров, он везде был звездой, *le clou de la soirée* [155]. Ублюдку везло, ему позволялось делать перерывы, Шарлю Ганьону — никогда. Удачи не было, и пиковый туз упорно лез в другие руки. Джаз в припортовых пивнушках? Никогда — ничего, кроме сентиментальной требухи с идиотскими припевами, песен пьянства и безнадежности, музыки для слезливых алкоголиков и женщин, которых регулярно колотят мужчины, поток болезненных воспоминаний и песни ничейной дерзости. Как-то ему пришло в голову, что космический узор его больной фортуны уравновешивается везением Жо Прива: если в этом мире ставки Прива вдруг пойдут вниз, у Ганьона они начнут подниматься. Иногда ему

---

[152] Примечания: 152
Лео Ферре (р. 1916) и Рейнхардт Джанго (1910—1953) — известные джазовые гитаристы.

[153] Примечания: 153
Бурре *(фр.)* — старинный французский танец.

[154] Примечания: 154
Певцы *(фр.)*.

[155] Примечания: 155
Гвоздь программы *(фр.)*.

снилось, как он убивает Прива — с улыбкой выскакивал прямо у того перед носом, благодарил за музыку, молниеносно ударял ножом и исчезал в толпе. Несколько недель спустя он забредал в прикормленное Жо место и начинал играть. К концу вечера Прива забыт, и все приветствуют новую звезду. Но с этим дохлым индюком вместо аккордеона, такое невозможно.

Он заключил договор с Гаэтаном-Галстуком, и в один прекрасный день стал обладателем *accordéone chromatique* [156], большого черного ящика с шестью рядами кнопок и растягивающимися на всю ширину рук мехами — звук напоминал рев паровоза на эстакаде; всего несколько франков в неделю, пока не выплатишь определенную сумму; лучше не забывать, ага? — и Галстук ткнул его в плечо тяжелым кулаком.

Он бы вполне удовлетворился двухрядником, но в этом мире нужно брать, что дают. Нелегко оказалось выучить весь этот миллиард кнопок, выкинуть из головы старые простые схемы и заставить пальцы танцевать, как над клавишами пишущей машинки, но он быстро все это освоил — наградой стал звучный голос инструмента и

---

[156] Примечания: 156
Хроматический аккордеон *(фр.)*.

богатые возможности хроматической шкалы. Сколько же в нем нот! Никогда больше он не вернется к *diatonique*. Большой хроматик играл громко, обладал неимоверным диапазоном и внушительным весом. После ночи игры у Шарля подгибались ноги. Теперь, однако, он пускался на хитрости. Когда очередной алкаш требовал свой слюнявый *valse musette* [157], Шарль Ганьон кричал:

– *Ta gueule!* Заткнись! — и продолжал играть, заглушая вопли. Большой хроматик легко подстраивался под «мюзетт»: три язычка для каждой ноты, один задавал тон, другой брал чуть выше, а третий — немного ниже нужного звучания, так что каждая нота как бы болезненно дрожала. Серебристый инструмент играл громче и лучше любого *diatonique*. И вес: Шарлю удалось с успехом применить его в паре потасовок, опустив на голову какому-то *mec* [158] — парень упал на колени, а глаза закатились так, словно он решил изучить внутренность своего черепа.

С этим сильным аккордеоном Ганьон входил во взрослую жизнь; на смену сопливому и вечно

---

[157] Примечания: 157
Вальс-мюзетт *(фр.)*.

[158] Примечания: 158
Парень *(фр.)*.

ревущему ребенку пришел мужчина с грозной наружностью — тяжелыми плечами, руками, толстой шеей и мясистыми ушами. Глаза темные и настороженные, черные волосы разделяет пробор. Еще у него имелись крепкие нервы, а также тонкий и плотно сжатый рот с торчащим из угла окурком. Он так часто попадал в передряги, что это уже не имело значения.

Пожар в кафе

Рано или поздно он должен был попасть в настоящую беду. Ему пришлось быть шафером на свадьбе у Жюли — заставили братья и Старый Дени, развратник-папаша, чьим девизом было *«buvez et pissez»* [159], в этом ходячем трупе болталась печень размером с портмоне, и потому мероприятие превратилось в череду стопарей на дорожку, стопарей перед свадьбой, ссать только по команде старика, и вот уже в кафе, посреди жуткой смеси злобы и триумфа Шарль подымал очередной стопарь, поглядывая краем глаза на тугой атлас, обтягивавший живот девушки и то гаснувший, то вспыхивавший вновь, когда сквозь жалюзи пробивались солнечные лучи — в животе был скрюченный младенец. Несколько рюмок спустя толпа гостей ввалилась в кафе «Жирандоль», названное так в честь пыльной люстры, большинство хрустальных подвесок которой давно отвалились, но сегодня, по случаю торжества, ее украшал двойной серпантин из креповой бумаги; через пару часов, когда все

---

[159] Примечания: 159
Пить и писать *(фр.)*.

были уже пьяны, а низкорослая расплывшаяся Жюли танцевала, как корова с электрическим приводом *au cul* [160], в дверях появилась сенегалка — и завопила.

Олив, изящная черная девушка, которая ему всегда нравилась, бросилась прямо на Жюли: пальцы скрючены, как садовые грабли, изо рта гранатового цвета бьет фонтан ругательств, а плотный живот рвется в бой впереди остального тела. В дверях собралась команда ее родственников — громадных черных мужиков с буграми мускулов, лоснящимися бритыми головами и сальными ушами, за которые никому еще не удавалось ухватиться. Глаза с красной сеткой вен, уставились на невидимые полутораметровые фантомы, расположившиеся прямо перед ними.

Отец и братья Жюли повскакивали с табуретов и побросали на пол окурки, выпуская изо ртов клубы дыма и проклятий. Две беременных бабы, визжа, бросились друг на дружку; Жюли изо всей силы стукнула Олив по лицу, так что из носа у той хлынула кровь, Олив ответила тычком в атласный живот, старый Дени метнулся к дверям, засверкали бутылки и ножи, полетели обломки

---

[160] Примечания: 160
Ко дну *(фр.)*.

стульев, женщины покатились по полу, черный мужик вцепился зубами в небритую щеку Шарля и принялся ее жевать. Полилась какая-то жидкость, затем вспышка, по полу пробежала огненная дорожка и тут же, с мягким пшиканьем, превратилась в огненный шар. Затрещала креповая бумага. Шарль в горящей рубашке и в обнимку с черным мужиком, вывалился за дверь, на мокрую улицу и тут же удрал, смылся, оставив в зубах противника кусок щеки, оставив гореть заживо и женщин, и бастардов, уже шевелившихся в своих темных камерах. Весь в страшных ожогах, Старый Дени тоже мчался прочь, призывая на голову Шарля смерть от залитого в глаза, уши и рот расплавленного свинца, загнанных под ногти стальных обрезков и отрезанных плотницкой пилой филейных частей.

Монреаль

Стоял 1931 год, Шарль перебрался через Атлантику в Квебек, почти сразу нашел там женщину и меньше чем через год, в разгар Депрессии, уже женатым отцом семейства жил на восточной окраине монреальских трущоб. Несколько месяцев у него была работа: он развозил белые мусорные корзины по шикарным отелям и многоквартирным домам, но потом один из владельцев компании взял на это место своего племянника, а другую работу Ганьон найти не смог. Большой *accordéon* сдавался в ломбард и выкупался снова. Больше всего Шарля раздражал тягучий исковерканный язык и то, как квебекцы играли мюзетты — торопливо и без всякого вкуса, хуже чем все, что ему доводилось слушать. Джаза там не было вообще, и он лишь презрительно отворачивался от идиотских рилов и *gigues* [161] — любимой музыки морковных фермеров и *bûcherons* [162], невнятного выборматывания нечеловеческих

---

[161] Примечания: 161
Жиги *(фр.)*.

[162] Примечания: 162
Лесоруб *(фр.)*.

звуков и дурацкой привычки музыкантов пританцовывать во время игры. Он стащил пару пластинок Жо Прива, и, хотя у него не было «Виктролы», почувствовал во рту воображаемый вкус Парижа, аромат уличной жизни.

Жену звали Дельфин — она быстро растолстела, превратившись из вполне симпатичной девушки, с радостью доставлявшей ему небольшие удовольствия, в женщину, прибитую гвоздями к невидимому кресту. Она происходила из обедневшей фермерской семьи, ничем не отличившийся с семнадцатого века, когда в Квебеке высадился человек на редкость вздорного характера и через шесть недель предстал перед судом за то, что назвал своего соседа «*une sauterelled'enfer*»[163], адской саранчой, «*unbougredechien*» [164]и ударил по лицу курицей — за этот ущерб он был приговорен к штрафу и публичному *amende honorable* [165] — раскаянию и просьбе о прощении. Он быстро покинул поселок, превратился в *voyageur*

---

[163] Примечания: 163
Чертов кузнечик *(фр.)*.

[164] Примечания: 164
Сукин сын *(фр.)*.

[165] Примечания: 165
Благородное исправление *(фр.)*.

и *coureur de bois* [166], наплодил по всему континенту несчетное количество детей смешанной крови, потом осел на небольшом участке земли у западного берега *riviére* [167] Сагенай и сделал еще семь детей полуабенакской женщине. (Отец Дельфин, родившийся от одного из этих семерых, погиб в 1907 году, когда недостроенный консольный мост через реку Святого Лаврентия вдруг обрушился и сбросил в черную воду семьдесят три человека, множество тачек, лопат, шестов, лебедок, инструментов и судков с обедами).

Дельфин укладывала волосы в высокую прическу, валик из закрученных прядей изгибался на висках, а непослушные кудри удерживала сзади пластмассовая заколка в форме морского конька. Ох как много она говорила и как любила жаловаться. Если бы хоть немного денег, повторяла она, если бы она не вышла за него замуж, если бы опять вернулось детство. Терпения не хватало. Легче всего было залепить ей оплеуху, рявкнуть, чтобы она, наконец, заткнулась, и хлопнуть дверью, оставив ее рыдать за столом — в ситцевом платье с торчащим из-под подола потрепанной

---

[166] Примечания: 166
Лесной путешественник *(фр.)*.

[167] Примечания: 167
Река *(фр.)*.

комбинацией телесного цвета. Она нервно кашляла и, несмотря на постоянные напоминания о том, что жена должна знать свое место, теребила его день и ночь, умоляя согласиться и пересечь границу: это их последний шанс, может быть, ох, я знаю, там Депрессия, но брат говорит, лесопилки пока работают, пусть не все, там есть хоть что-то, здесь — ничего! Она тянула к нему тонкие руки — им нечего есть, неужели он не понимает. И, как это делают все женщины, касалась руками живота — животный аргумент, которому мужчинам нечего противопоставить. Ее брат, чей дух постоянно витал над их разговорами, работал в Мэне на фабрике ящиков. Она писала ему, спрашивала, есть ли шанс найти работу для Шарля. Небольшой, пришел ответ, возможно на неполный день. Возможно. Если Шарль не будет чересчур разборчив. Он должен соглашаться на то, что есть, это всегда лотерея, должен учить американский язык. Неделю-другую они поживут у брата.

Наугад

Они пересекли зимнюю границу поздно ночью, по глухой тропе. Ее брат, храня на индейском лице хмурую мину, иногда сменявшуюся резкими улыбками, встретил их на другой стороне и провел к небольшому домику, где они полчаса отогревались перед последним отрезком пути; то была настоящая лачуга, крошечная, затерянная в снегу хибарка какого-то незнакомца, труба над крышей выпускала в ночь искры. Замурзанные дети выглядывали из рваных одеял, взрослые выпили по чашке горького кофе и вместе с братом двинулись дальше на подбитых гвоздями санях, которые тянули две лошади.

Они ехали сквозь поросшее темными кедрами болото, и Дельфин, и Шарлю оно казалось громадным и страшным. Тяжелый древесный аромат напоминал Дельфин о болезнях, испарине и припарках, а ветер шуршал в иголках зловещим голосом безграничного леса. Шарль видел, что шурин не особенно радуется их появлению, и весь пылал от унизительной мысли, что, сам того не зная, связался с женщиной из второсортной семьи. Он злобно перешептывался с Дельфин.

Та отказывалась признавать индейскую кровь, брат просто смуглый, только и всего. И, не считая прерывистых всхрапов лошадей, глухого стука копыт об утоптанный снег и посвистывания сосен, вокруг стояла обиженная тишина.

Фабрика ящиков

Они привыкали к новому месту — тесному дому брата, грубым окрикам на американском языке и обрубкам французского. Едва скопив денег, они сняли халупу с низким потолком и керосиновыми лампами. Перебирались в пронизывающе-холодный день. Шарль толкнул ногой дверь, вошел внутрь, остановился, воскликнул:

– *Mais non* [168]*!* — и опустил на пол вязанку дров. Дельфин стояла у него за спиной с ребенком на руках и не сводила глаз с разложившегося скелета повешенной на стене кошки — в тех местах, где животное отчаянно царапало стену, штукатурка была содрана до деревянных реек.

Каждое утро Дельфин рубила в ручье лед, набирала воды и скользила к дому по обледенелой тропинке, затем мокрая от брызг и слез вваливалась в кухню и клялась, что будет держать своих детей в чистоте, даже если за это придется заплатить жизнью. Она с отвращением вспоминала ирландское семейство, что поселилось около помойки, в хижине из канистр от машинного

---

[168] Примечания: 168
Только не это *(фр.)*.

масла «Тритон»: осенью эти невежественные иммигранты зашивали на своих детях одежду, а в июне, словно кожуру, сдирали с них прилипшие тряпки. Прошел год, другой, потом еще два, и вместе с близнецами у них теперь было шестеро детей. Они так и жили в Рандоме, побоявшись двинуться вслед за братом Дельфин, которого Шарль называл Вождь Уорбоннет[169], — тот перебрался на Род-Айленд работать на фабрике шерсти — дети подросли и могли тоже приносить домой деньги. Так Ганьоны остались одни в чужом лесу. Чарльз проклинал эту грязную, холодную, засиженную мухами страну, с тоской вспоминал об утраченной жизни, улицах, музыке и вине. Он клял Жо Прива, которому достались все счастливые билеты.

Если ад похож на раскаленный мюзик-холл, думал он, где дьявольской какофонией скребутся и вопят расстроенные инструменты, а среди хаоса и грохота скачут изувеченные черти, то всякий раз, являясь на фабрику ящиков, он входил через заднюю дверь в *l'inferne* [170]. Стучали и гремели механизмы, металл сталкивался с визжащим

---

[169] Примечания: 169
Индейский головной убор из перьев птиц.

[170] Примечания: 170
Преисподняя *(фр.)*.

металлом, над головой рычали приводные ремни, в воздухе стояла мелкая пыль. Нужно было или привыкать, или уходить. Он стоял у пресса для досок, через которые с визгом проползали деревяшки, и бригадир-янки не спускал с него глаз. Полтора доллара в день за пятнадцать часов работы, и будь доволен, что есть хотя бы это. Вечерами его хватало лишь на то, чтобы затолкать в рот неважно какую еду и уснуть. По субботам он напивался, бранился, размахивал кулаками, а ночью карабкался на Дельфин. Только чтобы расслабиться — безжалостно объяснял он ей. Желать ее может только слепой — слепой с затычками в носу и перчатками на руках, поскольку от нее воняет, а кожа грубая, как у крокодила. Нужно было любой ценой заставить ее с ним считаться. В воскресенье он просыпался после полудня, заливал похмелье новой порцией виски — вина в этой несчастной стране не водилось, — и тут наступала пора аккордеона, его можно было достать из футляра и негнущимися после досок пальцами сыграть «Розу на жимолости», помечтать о клубах и о блестящих в свете уличных фонарей булыжных мостовых.

Рандом стал новым доказательством его черной звезды. Ганьона дурачили и надували с того

самого дня, когда проклятая мать туго скрутила проволочной вешалкой его руки, и толкнула — сначала на набережную, а потом в мутную Сену; ему пришлось бежать в Квебек, где люди пережевывают язык в размазанную кашу, и где его обманом — да, обманом — женили на отвратительной краснокожей бабе и, опять обманом, заманили в Мэн, эту грубую провинциальную дыру. Очередное доказательство он получил весной 1937 года, когда строгальный станок отрубил ему на правой руке три пальца, а сильно порезанный указательный через несколько дней распух и позеленел от инфекции.

В два часа ночи приехал доктор и, бросив косой взгляд на руку, сказал, что керосиновая лампа бесполезна, и под ней ничего не видно. Он вышел во двор, подогнал свой «бьюик» к кухонным окнам и в свете фар осмотрел оставшийся палец.

— Нужно резать.

Шарль не понимал, как это произошло; все случилось само собой в одну из минут, отличимых от миллиона лишь тем, что все остальные закончились вполне благополучно.

Он поправлялся медленно, на руке остались розовые болезненные обрубки. Семья получала пособие — раз в неделю ящик с продуктами:

мука с долгоносиком, банка топленого сала и мешочек фасоли. Ящичная фабрика неожиданно закрылась, и всех, кто там работал, выбросили на улицу, украв недельную зарплату, поскольку хозяин задерживал чеки. Люди исчезали в ночи, перебираясь в Вунсакет, Потукет, Манчестер, на шерстяные, хлопковые, шелковые или обувные фабрики, где у них были родственники и могли хоть чем-то помочь.

Шарль проклинал свою жизнь, угрюмую природу, что насылала на них беду за бедой, вскрывая тем самым свою злобную сущность. Лишь раз после того несчастного случая, он достал аккордеон и попытался играть, повернув инструмент вверх ногами, чтобы левой рукой нажимать на кнопки, но собственная неуклюжесть быстро довела его до белого каления, и он в наказание стал пихать *le maudit instrument* [171] в печь — тот застрял, треснул, пришлось проталкивать кочергой, но так и не пролез. Дельфин вытащила аккордеон из печи и выбросила во двор. Догорая, он сильно дымил. Утром она принесла инструмент обратно, завернула в коричневую бумагу и поставила на полку.

---

[171] Примечания: 171
Проклятый инструмент *(фр.)*.

Этой зимой Дельфин стала ходить во сне — босиком по снегу. Когда она возвращалась, ступни напоминали красную ваксу, а подол ночной рубашки покрывали кристаллики льда. Однажды ночью, когда снег покраснел в лучах северного сияния, Шарль объявил, что поедет в Бангор искать работу — специальную работу для одноруких. Рано утром он вышел из лачуги. К концу недели жена узнала, что он уехал навсегда, обратно во Францию — забыть эту жизнь, семью и наполовину выученный язык. Самому младшему, Долору, исполнилось два года.

(Когда во Франции разразилась Вторая Мировая война, Шарль вступил в Сопротивление и стал курьером; в безлунную ночь его серьезно ранили, он упал с велосипеда, прополз десять миль на руках и коленях, но все-таки доставил сообщение, которое, как потом выяснилось, было не таким уж важным. Внезапно он переметнулся к коллаборационистам и несколько раз участвовал в рейдах против *zazou* [172]: с парой садовых ножниц наизготовку прятался в тени у свинговых ночных клубов, чтобы состричь догола «помпадуры», эти высокие сальные прически, с голов

[172] Примечания: 172
Стиляги *(фр.)*.

самовлюбленных юнцов, как только те появятся на улице, возбужденные танцами *«J'ai un clou dans ma chussure»* [173]. И это называется музыка? Не джаз, а свинг, ничего кроме шума, идиоты-танцоры с выпученными глазами, щелкают пальцами, дергаются и скачут, словно мухи на сковородке. После войны он несколько лет болтался по ночным клубам, бегая по поручениям и подметая в предрассветные часы туалеты — заработанного хватало на шесть бутылок *vin blanc* [174], которые он выпивал ежедневно. В 1963 году он все еще работал в клубах, все еще подметал, пока однажды, полируя краны в гольф-клубе Дрюо, не упал с сердечным приступом под раковину и не умер в окружении синтетических носков и лодыжек юных *«yé-yés».)*

Что ей оставалось делать? Дельфин написала брату в Провиденс, хотя прекрасно знала, что он уехал на юг не столько из-за работы, сколько подальше от повисшего на нем семейства Ганьонов. Ну, приезжай, кисло ответил брат. Я пришлю тебе денег на автобус. Но всех детей брать нельзя. Жизнь слишком трудна. Только двоих старших.

---

[173] Примечания: 173
У меня гвоздь в ботинке *(фр.)*.

[174] Примечания: 174
Белое вино *(фр.)*.

Они смогут работать. И ты тогда тоже найдешь себе место.

Гнездо

Самым красивым зданием в Олд-Раттл-Фоллз считалось Гнездо — витиеватый особняк, выстроенный в девятнадцатом веке для железнодорожного барона: фасад украшали зубцы и эркеры, сверху восьмиугольная «вдовья площадка», впереди «порте-коше» и две громадные китайские урны, а по всему периметру галерея в двадцать футов шириной. В 1926 году город забрал Гнездо за неуплату налогов и отдал его округу под приют. Высокие комнаты, оклеенные импортными обоями с орнаментами Уильяма Морриса[175], высокие потолки с воздушной, словно свадебный торт, лепниной, резные панели платяных шкафов, матовое стекло, ореховые перила, танцевальный зал — все было перегорожено и приспособлено для нужд приюта: спальни обставили железными кроватями, танцзал превратился в пропахшую картошкой столовую, паркет замазали серой краской. Комнату для завтраков загромоздили металлические ящики

[175] Примечания: 175

Уильям Моррис (1834 — 1896) — английский художник, дизайнер и поэт.

для бумаг. Платяные шкафы превратились в карцеры. Сад, разбитый по проекту Кельверта Вокса[176], заро сорняками, вирджинские вьюны оплели узорно подстриженные деревья, на мраморных ступенях гротов слежались кучи веток, на клумбах взошли побеги ясеня, а многолетние луковицы сожрали скунсы.

Мальчику было всего два года; сначала он плакал и просился обратно в лачугу к знакомому запаху дровяной печки, к худым твердым рукам матери, и ее нервному кашлю. Уже тогда, во младенчестве, на него наваливалась депрессия, и час за часом он мог только спать или лежать неподвижно с закрытыми глазами, набирая в легкие воздух и выпуская его, вдох, выдох, вдох, выдох, тише, тише, тише.

Сестры-близнецы Люсетт и Люсиль, а также старший брат Люсьен жили в том же приюте, хотя он об этом не знал. Он проводил свои дни среди младенцев и ползунков — долгие, долгие часы в деревянной кроватке, одной из целого ряда, в каждой, как в клетке, заперт ребенок, все они качаются, бормочут, хнычут, бьются головами о прутья. По утрам приходили две женщины,

---

[176] Примечания: 176
Кельверт Вокс (1824 — 1895) — известный американский архитектор.

меняли подгузники и простыни, совали им в рот бутылки голубоватого молока, мало разговаривали и перекладывали детей, как поленья дров. Долора уже год как отняли от груди, но он находил утешение в липкой резиновой соске. Детей на час выносили в большую комнату — утреннюю комнату, где во времена Гражданской войны супруга железнодорожного барона писала свои тупые письма, — и опускали на грязный квадрат ковра поиграть с деревянными кубиками, такими старыми, что углы их стесались, а от краски остались лишь редкие следы. Бегать запрещалось. Звуки французского языка забывались, новые слова были американскими. Больных детей оставляли в тюрьмах-кроватках. В Гнезде жили только сироты и взрослые женщины. Из мужчин там появлялись лишь врач, окружной инспектор, да еще раз в месяц приходил поп-пятидесятник и выкрикивал «Иисус, Иисус» до тех пор, пока самые маленькие не начинали плакать. Дети постарше ездили в воскресную школу на церковном автобусе — обрубленной машине с парусиновыми боками, летом их закатывали наверх — удивительные получались прогулки. Автобус, скрипя, скатывался по длинному холму, полз сперва через весь город мимо знаков

«МЕДЛЕННО», сменившихся, когда началась война, надписями «ПОБЕДА. СКОРОСТЬ 35 МИЛЬ В ЧАС», потом дальше по усыпанной гравием речной дороге. Весной дети таращились на разбросанные по берегу огромные ледяные пироги.

Население приюта менялось: кого-то забирали матери, кого-то материнская родня. Отцы не появлялись никогда. Кто-то из детей попадал в больницу, кто-то в морг. Некоторых брали в семьи; в шесть лет Долор тоже попал на полгода в семью, но мужчина получил работу на военном заводе, несостоявшиеся родители переехали на юг и вернули мальчика в приют. Они сказали, что он очень тихий ребенок. Из того времени он запомнил лишь куриц-пеструшек — как они сбегались, когда он бросал на землю горсть дробленой кукурузы, — и еще запах их горячих вшивых перьев, и кудахтающие голоса, что спрашивали его о чем-то на птичьем языке. Он отвечал им похожими словами. Еще он вспоминал, как глава семейства, усевшись, перед автоматическим пианино, пел тонким голосом, а клавиши падали и поднимались так, словно у него на коленях устроился невидимый музыкант:

— Ох, не жги меня…

В школе Долор был маленьким и всегда послед-

ним — слишком робкий, он стеснялся не только разговаривать, но даже открыто смотреть на то, чем занимались другие дети. Он уходил поглубже в себя, иногда чуть заметно улыбался и кивал, словно участвуя в воображаемой беседе. Больше всего он любил «Уикли Ридер», настоящую маленькую газету, и чувствовал себя поразительно взрослым, когда брал ее в руки и принимался за чтение. На школьных торжествах он сидел, повернувшись лицом к картонной табличке «ОТДАЙ ВСЕ ЛУЧШЕЕ». Иногда ему доверяли сворачивать флаг — поскольку он всегда молчал.

От школы до Гнезда автобус добирался за десять минут, и, поскольку не было причин с кем-то о чем-то говорить, Долор просто выскакивал из дверей, выволакивая за собой серый мешок, который округ выдал каждому из них для книг и завтраков; концы светлых кос девочки с переднего сиденья были странного зеленоватого оттенка из-за того, что их постоянно макали в чернильницы — потом, правда, школьное управление отменило чернила и велело всем принести из дома шариковые ручки. В Гнезде им раздали ручки с выведенным на боку Похоронная контора «Ле Бланк». В пятом классе Долор подружился с Толстым Уильямом — тот вечно задыхался от

астмы и часто мучился из-за больных ушей. Дети из Гнезда обычно держались вместе. В автобусе с ними ездил мальчик постарше в коротких не по росту штанах; другие дети называли его Прилив или Француз. У него постоянно текло из носа, и он все время лез драться.

— Этот парень твой брат, но он сволочь, — сказал Толстый Уильям Долору, и тот стал ждать какого-нибудь знака, но Француз смотрел мимо, и ни разу не сказал ему ни слова, а между тем, по словам Толстого Уильяма, трепался по-французски со скоростью миля в секунду и умел по-всякому ругаться; некоторое время спустя Француз перестал ездить с ними в автобусе, куда-то делся, и никто не знал куда.

(Сестер-близняшек Люсетт и Люсиль, в первый же год после того, как они попали в Гнездо удочерила пара, переехавшая потом в Рочестер, Нью-Йорк. В 1947 году Люсетт, которая очень чистым голосом пела «Белое Рождество»[177] и страдала от непонятного хронического кожного заболевания, легла в больницу, где в соответствии с программой секретного медицинского эксперимента ей сделали укол плутония. В 1951

---

[177] Примечания: 177

«Белое Рождество» — песня, написанная в 1942 г. Ирвингом Берлином.

году она умерла от лейкемии. Ей было семнадцать лет, и она весила всего шестьдесят три фунта.)

После того, как на Толстого Уильяма напал самый тяжелый приступ астмы, в приюте объявилась кривобокая тетка и сказала, что она его бабушка; с тех пор Долор обращал внимание только на Моргало, школьного клоуна, мальчика с воспаленными глазами и кудрями грязноватого цвета, на два или три года старше Долора. Тот вечно гримасничал, притворялся пьяным, визжал на весь класс, задирал девчонок, елозил ботинками по полу, во время контрольных нервно стучал карандашами, ногами, пальцами, и все это одновременно — на задней парте никогда не замолкала настоящая ударная установка.

— Моргало! — рявкали учителя; на минуту он успокаивался, потом все начиналось снова.

Однажды Долор стоял за ним в столовской очереди — Моргало тогда обернулся и посмотрел на бурлящий зал, выискивая свободное место. В его глазах Долор увидел хаос; словно заглянув сквозь тонкий голубой диск в широкий зрачок, он разглядел страх, неприкрытый и отталкивающий. Долор отвернулся, притворившись, что его очень интересует железный блестящий черпак повара и апельсиновая каша с ячеистыми кубиками

турнепса, но сквозь ресницы наблюдал, как Моргало с важным видом пробирается по проходу, раздавая тумаки попадавшимся по пути головам и плечам, расплескивая молоко и выталкивая изо рта «пах-пах-пах-пах».

Молчание и прятки на задних рядах не спасли Долора. В четвертом классе старшие ребята уцепились за его имя.

— Эй, Доллар! Ты, наверное, богач! Дай мне денег!

— Доля! А ну поделись!

Миссис Брит, директор Гнезда, постучала чернильной ручкой по школьной записке.

— Знаешь, что я думаю, тебе же будет лучше, если записать тебя под обычным американским именем. Что тебе больше нравится, Фрэнк или Дональд?

— Фрэнк, — шепнул он. Так он получил новое имя, и еще один фрагмент его сущности отлетел, словно чешуйка ржавчины.

Нелепое наследство

В восемнадцать лет он окончил среднюю школу Олд-Рэттл-Фолз, но на вручение аттестатов не пошел. От одной только мысли, что придется взбираться по деревянным ступенькам, плестись через всю сцену, жать руку директору и забирать у него аттестат, у Долора болела голова, темнело в глазах и непереносимо ломило суставы.

В зеркале теперь отражалось овальное лицо, темные, зачесанные налево волосы, карие глаза под черными кустистыми бровями и длинный нос с небольшим утолщением на конце. Небольшие уши прижаты к голове, горизонтальная линия рта — словно чем-то набитого, неулыбчивого. Он все же заставил себя усмехнуться, показав кривые зубы, кожа на высоких скулах казалась слишком бледной под темной шевелюрой. По груди спускалась темная стрелка волос. У него не было ни фотографий, ни воспоминаний, с которыми можно сравнить нынешний образ, и он не ожидал ничего подобного от других. Он был свободен, и покидал Гнездо.

В кабинете директора шипел паровой радиатор, хотя, на деревьях еще было полно листьев.

Миссис Брит пожелала ему удачи и вручила большой неудобный пакет из коричневой бумаги, перетянутый темно-красной веревкой. Тяжелый.

— Твое, — сказала она. — Личные вещи, ждали с того дня, когда ты поступил в приют. Лежали на складе. — Он вспыхнул, не желая разворачивать пакет при ней — вдруг там семейные письма и фотографии, которых он никогда не видел. Директор протянула конверт. — Удачи, Фрэнк.

В портлендском автобусе он пробрался на заднее сиденье и открыл конверт, хотя знал заранее, что там будет — двадцатидолларовая бумажка и листок с изображением птицы, сжимающей в клюве червяка — стандартное письмо из Гнезда о его хорошем характере. И деньги, и письмо он спрятал в новый клеенчатый кошелек. Аккуратный седоватый человек на переднем сиденье вдруг встал и, водя пальцами по шершавому рябому лицу, двинулся между рядов в поисках нового места. Он устроился через проход от Долора и подтянул рукава коричневого пиджака.

— Там солнце в глаза лезет, — сказал он окну, после чего завел любезный, богатый интонациями разговор с самим собой. В голосе чувствовался легкий южный акцент. — Я все вам выложу, — говорил он. — Спасибо, инспектор. — На руке

блестел дорогой браслет с золотыми часами. — Предлагаю вам триста долларов. Я согласился на эту поездку, очень важную для меня поездку, и я не знаю, что из нее выйдет. Гм-м-м, возьмут — может, возьмут?

Стараясь не привлекать взглядов, Долор снял с багажной полки коричневый пакет, осторожно развязал закрученный узел и медленно развернул — складки потемнели от пыли, он аккуратно отогнул их, бумага зашуршала, и южанин обернулся.

Долор ничего не понимал. Всего-навсего искореженный аккордеон, края деревянного футляра обуглились, меха зияют дырами. Ряды и ряды кнопочек с одной стороны, с другой — белые и черные клавиши. Имя «ГАНЬОН» на боковой панели, судя по виду, выцарапано складным ножом. Инструмент пах сыростью и дымом еловых поленьев. Жалкий горелый аккордеон. Долор вдруг услыхал кашель матери, хотя не знал до этой минуты, что она кашляла. Теперь он был уверен. Может, она болела и потому сдала его в приют. Он осмотрел со всех сторон инструмент, бумагу, в которую тот был завернут, но не нашел ни письма, ни фотографии — прошлое осталось загадкой.

— Я больше не курю, — сказал человек в коричневом пиджаке. — Совсем. И не пью.

В Портленде Долор вышел из автобуса и отправился на армейский призывной пункт. На задних страницах обложек «Двойного Детектива», «Предопределения» и «Сокровищницы» красовалось одно и то же объявление: ПОМОГИ СЕБЕ САМ. ПОЛУЧИ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ В АРМИИ. Завернутый в ту же коричневую бумагу инструмент он нес под левой рукой. Он назвался Долором Ганьоном и подписал контракт на четыре года. Стоял 1954 год, очень хотелось выучиться на телемастера, но самой близкой оказалась профессия электрика, и там все было занято. Его направили в интендантский корпус.

В некотором смысле, армия мало отличалась от Гнезда: он делал, что скажут, и старался не высовываться. Когда доставалось, не жаловался. Он прошел подготовительный курс расторопным невидимкой, почти не глядя на больших парней, шустрых горластых умников, притягивавших к себе сержантское внимание подобно тому, как неуверенная хромота животных притягивает хищников. Он получил назначение в Германию.

— Радуйся, блядь, что плывешь к фройляйнам,

а не на Фрозен-Чозен[178], — гнусавил стоявший за ним сержант. — Радуйся, черт подери, что тебе не в Корею. Хуже Кореи нет ничего. Мужики там замерзают на ходу.

Все вокруг болтали, что, как только вернутся домой, сразу женятся. У каждого в бумажнике хранилась фотография — девушки, девушки, все на одно лицо, с закрученными наверх блестящими волосами, накрашенными губами, в пастельного цвета свитерах и с задумчивыми ласковыми взглядами. Одну такую фотографию он нашел в библиотечной книге и спрятал в бумажник. Девушка была похожа на шведку с желтыми, словно нарисованными фломастером, волосами и выпуклыми голубыми глазами. Он придумал ей имя.

— Франсин, — говорил теперь он, — Это Франсин; когда я отслужу, мы поженимся, она учительница младших классов.

В Германии он отнес изувеченный аккордеон мастеру, в темную холодную дыру ремонтной мастерской. Старик был тощ, как лист картона, рядом сидела сутулая девочка с лицом маленького грызуна и накрашенными губами — лет

---

[178] Примечания: 178

Фрозен-Чозен — название американской базы во время войны в Корее.

десять-одиннадцать, не больше. Девочка внимательно наблюдала за тем, как старик изучает аккордеон Долора.

— *Französisch. SehenSiehier?* [179] — Показал на металлический гребешок. — *MaugeinFrères — lesaccordondeFrance* [180]. — Старик гнусавил так, словно вот-вот расплачется.

— Сколько стоит его починить? — буркнул Долор. — *Wie viele?* [181] Старик ничего не ответил, покачал головой, указал на обгоревшее дерево, сожженные кнопки, осторожно провел пальцами по трещинам и рваным мехам. Коснулся крошащихся складок.

— *Diese Plisseefalten* [182]... — Он наклонился и очень грустно сказал что-то девочке.

Та взглянула на Долора.

— Он говорит, что не может это ремонтировать, все главные части должны быть новые, он не может достать правильного дерева, клавиши

---

[179] Примечания: 179
Французский. Вот это видите? *(нем.)*.

[180] Примечания: 180
Братья Моге — сделано во Франции. *(фр.)* «Братья Моге» — фирма, выпускающая аккордеоны.

[181] Примечания: 181
Так сколько? *(нем.)*.

[182] Примечания: 182
Эти складки *(нем.)*.

сломаны, он сгорел, понимаете, и даже если бы он был новый, он все равно нехороший. Французские аккордеоны нехорошие. Вам нужно купить немецкий аккордеон, они самые лучшие. Он вам продаст.

— Не, — ответил Долор. — Не надо. Я все равно не умею играть, просто хотел узнать, можно ли починить. — Единственная его вещь. Старик не стал заворачивать аккордеон, и когда Долор вышел из мастерской, за ним тащились обрывки бумаги и горелый запах. Вернувшись в казарму, от отпилил от инструмента кусок панели с надписью «ГАНЬОН», а остальное выбросил. У него тоже была страсть вырезать имя или инициалы на всем, что ему принадлежало. Прошло несколько недель, и мокрой немецкой весной он подхватил простуду, которая потом перешла в пневмонию. Позже болезнь отступила от легких, но каким-то образом перекинулась на ноги. Два месяца он пролежал в госпитале, полупарализованный, с палками в каждой руке, еле передвигаясь и с трудом втягивая сквозь зубы воздух.

— Если честно, это может быть паралитический полиомиелит, — сказал доктор с родинкой на правой ноздре. Здесь написано, что, когда вы только поступили, вам дали эту новую вакцину

Солко, но кто знает, насколько она действенна. — Постепенно Долор поправился, но тот же доктор признал его негодным для строевой службы, и после полутора лет в армии летом 1955 года его демобилизовали по состоянию здоровья.

Такси

Он должен был лететь в Бостон, затем на поезде до Портленда, и уже там оформлять документы, но самолет приземлился в Нью-Йорке; через семь часов, когда ему выдали новый билет, он угодил в гущу парада детей в красно-бело-синих костюмах и повернул не в ту сторону, уворачиваясь сперва от мальчика в высокой звездно-синей шляпе и с бумажной бородой дяди Сэма, а потом от прыщавой девочки с девизом «АМЕРИКА ПРЕЖДЕ ВСЕГО» поперек груди — в результате, он попал на гражданский самолет, направлявшийся не в Бостон, а в Миннеаполис. Рядом с Долором сидела женщина блузке с горошинами, от нее несло краской для волос и подмышками.

— Мудак, — объявил сержант в призывной будке Миннеаполиса, куда Долор заглянул, нервно теребя бумагу с назначением и умоляя о помощи. — Ты не видел, что на табло написано Миннеаполис? Ты не знаешь, как пишется Миннеаполис? Тебе не прочитать такое длинное слово? А может ты решил, то это Мармелад или Минное Поле? — Оставив Долора переминаться с ноги на ногу, сержант взялся за телефон.

— Я думал, Бостон по дороге. Я думал, у них посадка в Бостоне. Девушка взяла билет и ничего не сказала.

— Ты думал. Очень мудро — в Миннеаполис через Бостон. А в Лос-Анджелес через Сингапур. Ну что за кретин. Значит, мы сделаем так. Переночуешь в отеле, вот записка, отель называется «Пэйдж» на Спайви, а завтра я лично отправлю тебя в Бостон. И не рассчитывай на гражданку, солдат, легкие полеты кончились. В девять утра полетишь на дерьмовозе, mañana[183]. Чтобы ровно в восемь стоял вот на этом самом месте. А то вдруг вместо Бостона тебе померещится Бинго.

Некоторое время Долор побродил по городу. На Прейри-авеню какой-то чернокожий выдувал на саксофоне «Я оставил свое сердце в Сан-Франциско»[184], рядом лежал открытый чехол для инструмента, на потертом синем бархате валялись четвертаки и полтинники. Играл он хорошо. Долор бросил ему две десятицентовые монеты и один пятак. Парень даже не посмотрел в его сторону.

Потом он пообедал в «Кафе Счастливчика Джо»,

---

[183] Примечания: 183
Завтра же *(исп.)*.

[184] Примечания: 184
Песня Дугласа Кросса и Джоржа Кори.

соблазнившись надписью в витрине: «Работает КОНДИЦИОНЕР», — заказал дежурное блюдо и получил странную смесь: немного мяса, печеную и тушеную капусту с белым соусом, кучу хлеба и заварной пирог на десерт, все за шестьдесят центов. Не было смысла раньше времени отправляться в отель, так что он заглянул в бар выпить пива, — все там разговаривали на чужом языке, кажется, на польском, но место было хорошим, пиво дешевым — затем нашел кинотеатр, внутри отделанный позолотой и мрамором, и стал смотреть «Семь самураев»[185]. Сидел в темноте и жевал лакричные конфеты. Половину происходившего на экране он не понимал, потому что не успевал читать субтитры, но было ужасно смешно слушать, как актеры разглагольствуют по-японски. В середине сеанса он вышел, перебрался в другой зал и посмотрел там «Стерв-убийц»[186]. Он решил, что хуже фильма еще не видел, и обругал Миннеаполис.

Он вышел из зала в ночь, неоновые вывески

---

[185] Примечания: 185

«Семь самураев» (1954) — фильм японского режиссера Акиры Куросавы (1910 — 1998).

[186] Примечания: 186

«Стервы-убийцы» (1959) — фильм американского режиссера Рэя Келлогга (1918 — 1981).

кафе переливались желтым и синим светом, женщина в легком болоньевом плаще несла в руке листья папоротника, у самого тротуара сверкали ее белые туфли; Долора слепили блики троллейбусных искр и вспышки светофоров. Над улицей сливались звуки музыки: медленное бренчание пианино, словно протекающий водопроводный кран, военный барабанчик. До отеля было двадцать восемь кварталов. За два дня сплошных перелетов, путаницы и таскания за собой вещмешка он устал, как собака, но все же двинулся пешком. Улица роилась людьми: полночные дети на раздолбанных велосипедах, слепая женщина с собакой-поводырем, мужчина с оттягивающим плечо тяжелым чемоданом, чернокожие. Через два квартала Долор заметил все того же уличного саксофониста, и почему-то ему не захотелось второй раз проходить мимо него. Болели ноги. Парень по-прежнему играл «Я оставил свое сердце в Сан-Франциско». Наверное, не знал других песен. Долор поднял руку, подзывая такси, и после довольно долгого ожидания поймал машину, отъезжавшую от спрятанного в глубине квартала отеля.

На полу такси стояло что-то вроде чемоданчика с ночными пожитками. Долор незаметно

нащупал ручку. В отель «Пэйдж» — притон, а не отель — он вошел с вещмешком и чемоданчиком в руках, уговаривая себя, что если найдет на нем имя владельца, обязательно позвонит этому парню и скажет: я нашел в такси твой сундук — и тогда парень, вполне возможно, предложит ему кое-какие деньги. А вдруг чемодан принадлежит женщине, тогда он она ответит: вам не трудно привезти его по такому-то адресу, мы что-нибудь выпьем, это так мило с вашей стороны, она будет жить в красивой квартире с белыми коврами, и он опоздает на поезд.

Долор не поверил своим глазам. Еще один проклятый аккордеон. Послание от Господа Бога, не иначе. Чтобы хоть чем-то заняться, он битый час отдирал сложенные буквами АР стеклянные рубины и выцарапывал на деревяшке слово «ГАНЬОН», попутно глядя «Стальной час США» — армейское шоу про сержантов, которое показывали по дрянному железному гостиничному телевизору с круглым семидюймовым экраном, похожим на штормовой иллюминатор. Слышно было плохо, Долор не понимал, что там происходит, и в конце концов стал смотреть лишь рекламу тунца «Куриные грудки» и сигарет «Уинстон».

Мэн

В Мэне он несколько дней проторчал в Августе, чтобы получить копию метрики, купил старый грузовой «шевроле» и подержанный «Ар-Си-Эй» с двенадцатидюймовым экраном, хотя на самом деле ему хотелось новый и переносной, затем направился в Рандом. Свидетельство о рождении сообщило немного. Дата. Оба родителя канадцы. Отцу, Шарлю Ганьону было двадцать девять лет, матери, Дельфин Лашанс — двадцать восемь. Перед ним — пятеро детей. Вес при рождении — шесть фунтов, одна унция. И это все.

Сквозь залитое дождем ветровое стекло Мэн представлялся чередой хвойных плоскогорий, целые гектары засохших тополей и вишен, на голых ветвях скрученные листья, словно куски горелой бумаги — темно, слишком темно и сыро; по краям дороги бродили лоси, будто тени цвета ореховой скорлупы; темнота не расступалась даже тогда, когда в небе появлялись чистые полоски; рваный горизонт окаймлял изуродованные речки и цепочки озер. Долор ехал по лабиринту дорог, они поворачивали, закручивались, сливались и пересекались.

У края хребта маячили домики под толевыми крышами и церкви с рукописными табличками на ободранных столбах — Церковь Второго Пришествия Христа, Церковь Искупленной Благодати, Церковь Новой Веры, Собор Христианских Учений и Обычаев, Церковь Больших Лесов, Храм Конца Времен — среди бледного песка и гравия, среди расколотых деревьев, и пунктира облаков, словно тифозная сыпь на телесном горизонте. Он думал, что надо бы ему поосторожнее.

Чужак у себя на родине

Он и не надеялся узнать эти места. Только слышал, что Рандом расположен среди лесов и картофельных полей, и что здесь его родина. В этом городке он впервые после слепоты утробы увидел свет. На глаза накатывались слезы. Он словно сползал в доисторическое время, когда по здешним лесам бродили племена, и казалось, он бежит за ними следом, знает, что он такой же, как они, но не может догнать. Он впитывал этот тусклый свет, темную хвою и журчание рек, что, выбравшись из сердцевины земли, бежали теперь по камням. Мимо проплыла утыканная пнями вырубка, на ней стояли три или четыре грузовика с самодельными, прибитыми к задним рамам крышами; женщина в цыганской юбке совала в красный огонь поленья.

Рандом оказался маленьким: два магазина, почта, кафе, автомастерская, школа. Долора никто не знал, но постепенно он сам стал запоминать имена и лица. Ему нравилось своеобразное убожество построек, словно пришедших из прошлого века, бодрый запах хвои и картофельной земли, размытые дороги, что обрывались на

вырубках.

От северной части городка уходила сквозь топь другая дорога. На перекрестке он обнаружил автозаправку «Эссо» и обшитую вагонкой ферму Пелки, одно крыло которой было сейчас разделено на четыре квартиры: две наверху, и две внизу; в отдалении, у стены из черных елей, стоял сарай.

— Мистер Пелки выращивал картофель — у нас была чуть ли не самая большая ферма в Рэндомском округе — но вы знаете, как это бывает, дети вырастают и разъезжаются, а родители стареют. Два года назад он упал с трактора, и трактор проехал прямо у него над головой, бедняга полгода был не в себе, — к счастью, поправился, сейчас чувствует себя не хуже других, но доктора запретили ему заниматься фермерством, потому мы и устроили здесь квартиры. — Говоря все это, миссис Пелки протерла клетчатую клеенку на обеденном столе, и подвинула на середину солонку и перечницу. За очками в пестрой пластмассовой оправе часто мигали аквамариновые глаза. На ней было зеленое платье с узором из желтых шляп. — К жилью прилагается домашний завтрак. Надеюсь, что в душе вы любите неожиданности. Я всегда говорила мистеру Пелки, что

просто не могу готовить каждый день одно и то же. Мистер Родди тоже снимает у нас квартиру, но он не берет завтрак, уходит в город, и там кушает на обед их жирные смеси. — Пол покрыт линолеумом с сумасшедшим многоцветным узором, на стенах обои с переплетением маков и слоновьих ушей. Миссис Пелки напевала песенку: — *… desbottlenoirespourletravailatdes rouges pour la danse* [187]… да, если вам нужна мебель, и вы не возражаете против бывшей в употреблении, то в сарае у дороги комиссионная лавка, когда-то это был наш сарай, но мы продали его Стоматологу. Если только вы сможете вынести этого Стоматолога — грязный старикашка. Как все старые люди, вы понимаете, что я имею в виду. — С помощью кусочка сыра она уговорила маленькую собачку сесть и послужить, потом рассказала Долору про то, как другая собачка, даже симпатичнее этой, год назад стояла лунной ночью, подняв лапки, у забора, и тут арктическая сова — как налетит — схватила бедняжку и унесла прочь.

Жилье располагалось на первом этаже: две длинных комнаты со скрипучим деревянным полом, покрытые мушиными пятнышками ок-

---

[187] Примечания: 187
Черные сапожки для работы, а красные — для танцев *(фр.)*.

на смотрели на редкие разбросанные ели. Он заглянул на кухню: газовая плита, крохотный холодильник не выше колена, белый эмалевый стол и разрозненные стулья на хромированных ножках. В одной комнате стояла железная кровать, а иногда вечерами из-за стенки доносилось пение Либерачи[188].

Каждое утро миссис Пелки, преодолевая боль в суставах, добиралась до его двери с тарелкой замысловатых яств: «Апельсиновые почки», «Фруктовый пирог со свининой», «Моллюски с пряностями», а еще «Фасолевое пюре», «Чечевичный рулет» или «Омлет бедняка» — хлеб, пропитанный молоком. Эксперименты были ее страстью. Она вырезала рецепты из газет, вклеивала их в свою «поваренную книгу» — столетней давности коммивояжерский каталог аппаратов для газировки; сквозь рецепты проглядывали мистические машины из оникса, «Брешия Сангвиния» с красными венами, мрамор «Альпийской зелени» поблескивал изысканной резьбой по дереву и табличками из немецкого серебра для выбора сиропов. На обратной стороне сквозь желто-оранжевые вырезки «Закуски» и «Египетское

[188] Примечания: 188

Владзио Валентино Либерачи (1919 — 1987) — американский пианист и певец польского происхождения, «король китча».

рагу» просвечивал газовый «Амбассадор-Автократ» с двенадцатью втулками и двухструйными направляющими рукоятками для газа. Долор съедал все, что бы ни принесла миссис Пелки, всяко лучше его собственных причудливых комбинаций — бутербродов с персиками и кормовой капустой, макарон с уксусом, консервированным лососем и дешевым сыром.

Ему нужны были полки, книжный шкаф, кресло, буфет для посуды. Он сел в машину и подъехал к комиссионному сараю. Во дворе стояли неуклюжие деревянные фигуры — громадные голые женщины двенадцати футов высотой с грудями, как арбузы, треугольными лобками размером со школьный вымпел, вытаращенными глазами и блестящей эмалью причесок. Их окружали деревянные кактусы с гвоздями вместо колючек и фанерные елки. В самом сарае Долор разглядел кучу мисок и двухгаллонный кофейник, ржавые штангенциркули, топоры с обломками топорищ, лучковые пилы, поперечные пилы, клинья, шила, ухваты и молотки для отбивания снега — остатки стародавних лагерей лесорубов.

Стоматолог оказался кривоногим сквернословом, слова из его рта тянулись вслед за коричневой табачной слюной.

— Видел, каких цыпочек я расставил перед домом? Хобби у меня — вырезать теток. Ты еще не знаешь, кто я такой, а?

— Вас зовут Стоматологом.

— Меня зовут Стоматологом? Меня можно звать как угодно: двуруким дьяволом, трехногим ублюдком, четырехглазым мудаком. Иногда меня зовут Косым, сокращенно от Косоглазый. Какого черта они зовут меня Стоматологом, когда я, блядь, пильщик, пилил зубчатой пилой. Или эти ебаные сукины дети не понимают, чем отличаются зубы на пиле от зубов в пасти, чертовы молокососы не знают, откуда растут их собственные зенки. — В давние времена он работал на лесоповале, двигался до Тихого океана и обратно, и с тех пор все и все перестало для него что-либо значить, кроме мертвецов — разве можно сравнить те подвиги и те шрамы с дохлой рубкой нынешних козявок.

Долор купил у него два стула, небольшой стол, комод с выдвижными ящиками и катушками вместо ручек. Стулья были прямыми, трещины в деревянных сиденьях щипали задницу, но если захочется комфорта, всегда можно лечь на кровать. По ночам он мечтал, чтобы рядом была Франсин, он уже забыл, что сам ее выдумал

— фотографию он выкинул в Миннеаполисе. Он слушал радио — поздней ночи оно подходило лучше, чем телевизор, — далекую музыку хиллбилли, проповеди и обещания исцелений из нелегальной приграничной мексиканской станции — странно, что сигнал так легко добирался до Мэна — ему предлагали тоник для похудания, таблетки, чтобы добавить пару фунтов, пластмассовых мустангов, лунные перья, цирконовые кольца, приманки для рыб «желтый мальчик», шаблоны для вышивания на передниках, двенадцать штук всего за доллар, крысоловки и пластмассовые надгробья, не нужно слать деньги, просто напишите свое имя и адрес, станция позаботится сама, за все меньше пенни, к каждому заказу, посланному до 15 декабря, прилагается подарок, совершенно бесплатно до тех пор, пока действует эта программа, настоятельно рекомендуем, процветание, гладкая коричневая запечатанная обертка, пакет содержит тщательно проверенный фармацевтический препарат для тех, кто нервничает и плохо спит по ночам. Никогда Долору не приходило в голову, что эти голоса имеют какое-то отношение к нему, а не к миллионам других людей, лежащих без сна в своих кроватях — это им нужен «рестал» и ножи

с пружинками, чтобы положить конец страданиям. Он не такой, он просто подслушивает — но однажды ночью из приемника раздался низкий, умиротворяющий, почти отеческий голос доктора Бидлаттера:

— …тщетно пытаетесь бороться с физическими и эмоциональными проблемами? Вы несчастны? Вас мучает депрессия, тревога, страх? Вы одиноки? Вам доводилось когда-либо слышать, что «все это у вас в голове», или «с вами все в порядке, забудьте, возьмите отпуск, увольтесь с работы, переезжайте на юг, разведитесь»? Если да, вам поможет мой новый метод гипноза и коррекции поведения. Сегодня же позвоните 462—6666 и проконсультируйтесь с доктором Бидлаттером. — Долор записал номер, но звонить не стал.

В армии он раздался — несильно, просто окреп, накачал мускулатуру и неплохо натренировал вестибулярный аппарат. Он подумывал устроиться по Солдатскому биллю о правах в службу лесничества, но, в конце концов, стал рубщиком веток в небольшой лесозаготовительной компании «Парфе: рубка и доставка» Всю осень и зиму он работал: склонив цепную пилу над поваленными деревьями, срезал ветку за веткой, сваливал их в щетинистые кучи, монотонный тяжелый

физический труд, одежда покрывалась смолой и темной пылью — и все же, если не считать бензинового выхлопа пилы, его окружал смолистый аромат. Он откладывал деньги, обедал в кафе, постепенно его стали там узнавать, сначала в лицо, потом по имени и наконец выяснили, что он родился в Рандоме, но совсем маленьким его отсюда увезли, и он не знает ничего о том, жив ли кто-нибудь из его родных.

— Значит вы, можно сказать, чужой в родном городе, — заметил Морис, повар, официант, вахтер, но не хозяин кафе. Хозяйкой была его супруга Жанет, а он — просто наемный работник, скромный пролетарий швабры и лопаты, пока не наступал олений сезон, и он не превращался в охотника, чей согнутый на курке палец бьет наповал. Но ни Морис, ни кто-либо еще не помнил родителей Долора. Семья жила в поселке, в нем же Долор появился на свет, но эти люди не оставили после себя следов.

В декабре после легкого снега вдруг подул южный ветер, температура поднялась до плюс пяти, и воздух вдруг наполнила невыразимая сладость, словно аромат невидимых цветов. Донес ли его тропический ветер, или затаенное дыхание лета вместе со внезапной оттепелью вдруг вышло из

укрытия, кто знает? Аромат продержался три дня и исчез, когда из Арктики приполз холодный ветер и выпал новый снег, выстудив из воздуха все запахи и покрыв собою гниющие листья, сырую землю, одинокие стрелки розовой орхидеи и жимолость, растянутую среди камней темно-фиолетовой проволокой; белая тяжесть навалилась на эбеновый асплениум, пригнула к земле перья увядшего золотарика.

По выходным Долор, не зная, куда пойти, оставался в собственном обществе: читал «Приключения», «Детективные рассказы», вырезал из сосновой доски обнаженную девушку — конечно, получалось лучше, чем эти громадины Стоматолога — или смотрел телевизор. Чем еще было заняться в Рандоме — разве что напиться в баре или проехаться по округе, натыкаясь на бобровые плотины?

Как-то вечером ввалился старый Стоматолог — его мотало от стены к стене, он топал, скребся, потом завис в дверном проеме и, слегка грассируя, прокричал:

— Мистер Ганьон, какого лешего вы не открываете, когда я звоню в ваш чертов ебаный звонок. — Долор распахнул дверь и уставился на гостя. — Стоматолог желает выпить, — объявил

старик; в высохших руках он держал коричневый бумажный пакет с пивными бутылками, из кармана штанов торчала непочатая пинта дешевого виски, а из свободной руки еще одна, наполовину пустая. Долор усадил гостя на стул.

— Думаешь, набрался, а? Не, если б я набрался, ты бы это видел.

Стоматолог посмотрел на потолок, потом на стенные полки, наполовину вырезанную оленью голову и кивнул в сторону стоявшего в ногах кровати инструмента:

— Твой кордин, а? — и приложился к бутылке. — Помню, в какую-то зиму землемер тут болтался. Через две недели его и след простыл, но какую он играл музыку, сукин сын, ублюдок, он знал сотни песен, из головы выдумывал. Играл на такой же пищалке и выл, как пес, которому башку запихали в выжималку. Хочешь послушать эту херню?

— Давайте, — сказал Долор.

Старик сложил на груди руки и, отбивая такт ногой, запел сильным и поразительно громким голосом, при этом едва раскрывая рот.

– Ох, братья-лесорубы, садитесь в круг
Сыграет на кордине вам лучший друг.

Спою я вам балладу о славном Дэнни

Как он нашел конец свой в холодном Мэне

Ох, страшный Пенобскот, холодный Пенобскот.

Чем дольше он пел, тем громче и сильнее становился голос, строчки втыкались в комнату, как заточенные пики. Пение становилось рассказом, чем-то вроде властной и ритмичной декламации, она втаскивала слушателя в саму песню, прямо в старый лес, под стук топоров, храп лошадей, скрип нагруженных саней.

– Ему всего лишь было двадцать два

Сынка ему родила красавица-жена

Он все свои уловки так крепко знал,

Ловчее того парня свет белый не видал

Ох, страшный Пенобскот, холодный Пенобскот.

Стоматолог замолчал и приложился к виски, не допев песню. Долор попросил продолжить, но Стоматолог заявил, что за всю свою жизнь не спел ни одной ноты, что там сегодня по телевизору, будут показывать «Облаву»? Вместо «Облавы» они нашли Майрона Флорена, игравшего «Ти-

ко-тико» в шоу Лоренса Уэлка[189], и Стоматолог забулькал:

— В жизни не куплю себе «додж», — сказал он, — разве что «пауэр-вагон».

[189] Примечания: 189

Майрон Флорен (р. 1919) — знаменитый аккордеонист и руководитель оркестра. Лоренс Уэлк (1903—1992) — тоже аккордеонист и музыкант, но также автор телевизионного шоу, тридцать лет не сходившего с телевизионных экранов.

Солнышко мое

Один бульдозерист некоторое время приглядывался к Долору, а в пятницу, когда все получали зарплату, подошел поближе. Высокий сутуловатый парень со светлыми глазами и прической «утиный зад», блестящей от бриолина.

— Знаешь что, я тебя помню. Точно помню. На пару лет младше. В Гнезде жил? Точно, там я тебя и видел. Ты Фрэнк. Ты еще всегда сваливал, если начиналась какая-нибудь заварушка. Я попал, когда мои долбаные предки слетели с моста, в город их понесло, через этот чертов мост. Папаша нализался, наверное. Говорят, он закладывал будь здоров. Легавые сели на хвост, вот они и свалились. Через ограду прямо в реку. Наверно, до сих пор там плавают. Так и не вытащили. Не нашли. Течение слишком сильное. Я все думаю, наверно, жутко вот так утопнуть. Может от них что и осталось — часы там или бумажник, под камнем. Я там рыбачил, думал, вдруг подцеплю папашин кошелек. Да пока не везет.

Долор смотрел на костлявое лицо, уши, словно ручки от кастрюли, нос втиснут между линялыми голубыми глазами, изогнутая резкой дугой

верхняя губа делала рот похожим на крокетный обруч. Жесткие и густые, как трава, волосы. На правой щеке серповидный шрам — стукнуло обломком топора, когда однажды утром он колол дрова для кухонной плиты.

— Это с прошлой зимы; бригадир знаешь что сказал? «Есть две веши, которые ты не должен делать, и одну — наоборот. Острие никогда не стачивай слишком сильно, и никогда не оставляй без чехла на всю ночь, а то будет ломаться. А эту твою царапину лучше всего дать полизать собаке». Разогнался — чтобы какая-то псина пускала на меня слюни.

Долор его не помнил. Он лишь качал головой, пожимал плечами и улыбался.

— Да знаешь ты меня. Уилфред Баллу. Смотри. — Он быстро скрестил и снова развел руки и ноги, скорчил сумасшедшую гримасу, притопнул каблуками, согнул колени, подскочил, поболтал языком, тягуче и гортанно провыл, подвигал вверх-вниз ушами.

Долор засмеялся.

— Моргало. Моргульчик. Господи, конечно, помню. Тебе вечно влетало от миссис Брит. Мы ходили мимо кабинета — ты там сидел, как на электрическом стуле.

— Уилф, а не Моргало. Терпеть не могу это дурацкое прозвище. И, между прочим, я знал парня, которого потом посадили на настоящий электрический стул. После этого проклятого Гнезда я попал в историю, мне сказали выбирай: или в морфлот, или в тюрьму; 52-й год, выбора особо не было, потому что если морфлот, то наверняка Корея. Но как бы то ни было, сказали, чтобы я подумал до утра, и посадили в окружную тюрягу. Там парень был — зарезал из-за бабы родного брата. Приспичило же обоим одну и ту же бабу. Потом он его и получил — стул.

— И что ты выбрал?

— А, морфлот, конечно. Корею. Смотри. — Он расстегнул ремень и спустил штаны, выставив напоказ левую ягодицу с довольно приличным углублением, испещренным сетчатыми шрамами. — Сувенир на память. Старик, это ж билет до дома. Когда я оклемался и стал ходить, то приехал в Олд-Рэттл-Фоллз, нанялся строителем, познакомился с Эммой, это моя жена. Она из этих краев, из Хонк-Лэйка. У нее тут куча родственников, так что мы решили перебраться. А ты как сюда попал?

— Я тут родился. Меня оставили совсем давно. Тоже был в армии. В Германии. — Долор не знал,

что еще сказать.

— Говорят, ты играешь на кордеоне.

— Брось. Кто тебе сказал?

— Тетка и дядька жены. Пелки. Ты у них снимаешь. Им слышно. Говорят, тебе еще учиться и учиться. Им пока не нравится.

Долор сердито покраснел.

— Я же вообще ничего в этом не понимаю. Просто забавлялся. Нашел в такси, когда вернулся из армии. Отец играл на аккордеоне — но не на этом, на другом, у того были клавиши, как у пианино. Сгорел, когда я был совсем мал. Отец вытащил детей, но аккордеон обгорел, а сам он погиб. Потому я и попал в Гнездо. Я просто, ну… забавлялся с этим аккордеоном. Я совсем не умею на нем играть.

— Херня! Если бы за каждую такую историю мне давали доллар, я б катался на «кадиллаке». Все пацаны из Гнезда парят одно и то же — папа геройски погиб, спасая их из воды, пожара, а то из-под колес. Папа сбежал, только и всего. Что, не так?

— Не знаю. Я был слишком маленький. Но аккордеон был точно обгорелый и совсем плохой, значит, пожар был.

— Делов-то, мой папаша откинул копыта по-

тому, что нализался и слетел с дороги, да еще прихватил с собой мать — если бы он выплыл, я убил бы его собственными руками за такие номера. Жалко, что ты не умеешь играть на кордеоне. Учись давай быстрее — у меня есть скрипка. Не веришь? Там еще особо нечего слушать, зато ни одной мыши в доме не осталось. Эммин папаня тоже скрипач. Вполне прилично, если кому-то катят ковбойские песенки из «Великой Старой Оперы»[190]. Я тебе вот что скажу: учись скорее на своем кордеоне. И вообще, приходи выпить пива. Знаешь, что они тут обожают больше всего — две штуки: музыку и надраться. Но, господи, как же они от этого тащатся. И танцы. Тут каждую пятницу танцы в центре Иветт Спарк.

Приглашение откладывалось целый месяц. Когда Долор, наконец, приехал, аккордеон остался дома. У них была маленькая чистая кухонька: на окне занавески, на стене в круглой рамке свадебная фотография Эммы и Уилфа; солонка и перечница в форме ветряных мельниц. Зеленая кнопка держит настенный календарь, а над холодильником — черно-белый портрет Иисуса с раскрытым сердцем, похожим на кусок мяса.

[190] Примечания: 190

«Великая Старая Опера» — радиостанция и концертный зал в Нэшвилле, Теннесси, центр коммерческой кантри-музыки.

Долор изучал Эммину стряпню и слушал, как Уилфред пилит на скрипке.

— Господи, Уилф, я вообще никогда не играл, но, ей-богу, у меня она не будет так ныть, — сказал он. — В жизни не слыхал такой гадости.

В следующий раз, когда ему что-то понадобилось в Миллинокете, он купил в «Йип-Ай-О Музыке» самоучитель игры на кнопочном аккордеоне и после десяти дней неловких выворачиваний рук, пота и проклятий разучил «Солнышко мое»[191] и даже смог подпевать самому себе — все равно, что одновременно стучать по голове и тереть живот. Он наскреб денег и купил проигрыватель, на котором можно было крутить эти новые, тоньше монеты, долгоиграющие пластинки из непроизносимого пластика — поливинилхлорида. Уилф и Эмма внимательно смотрели, как он открывает футляр.

— Ну вот, — сказал он. — Вам этого хотелось, теперь слушайте. — Когда он добрался до припева, Уилфред взял свой наканифоленный смычок и запилил над самым долоровским ухом. Их совместное неумение перекрывалось удивительно гармоничным сочетанием инструментов — бога-

[191] Примечания: 191

«Солнышко мое» — песня, сочиненная в 1940 г. Джимми Дэвисом и Чарльзом Митчелом.

тым и красивым звуком.

— Гребаные жирные медведи! — воскликнул Уилф — Как бы оно звучало, если бы мы только умели играть на этих проклятых штуках. У тебя отличный кордеон.

Грузовик

Всю ту зиму субботними вечерами он ездил к ним в гости; бедный грузовик ломался так часто, что половину дороги Долор ковырялся в двигателе, стирая с лица воду или снег, а иногда раздирая слипшиеся от мороза ноздри, пока не находил поломку — зубы стыли, руки немели, и к тому времени, когда он добирался до места, шесть кварт пива, ехавшие вместе с ним в кабине, успевали наполовину замерзнуть. Аккордеон ставился на кухонный стул и отогревался не меньше часа, прежде чем на нем можно было играть. Эмма встречала Долора в нарядном платье, с завитыми волосами и нарумяненными щеками — так, словно собиралась на свидание. Платья с широкими пышными юбками и театральные лодочки на высоких каблуках придавали их встречам праздничную атмосферу. Долор с Уилфом пили пиво и добрым словом вспоминали Гнездо, Эмма в это время возилась с каким-нибудь особенным ужином и тоже потягивала пиво из старого бокала янтарного цвета с матовыми кружочками, который достался ей после смерти бабушки. Долор оставлял под тарелкой пятидолларовую

бумажку — свой взнос за кастрюльку свинины с ананасами или карри из тунца, рецепты для которых Эмма вычитывала в поваренной книге Бетти Крокер[192].

— Я не готовлю по старым французским рецептам, как моя мать — *ployes*[193], тушеная фасоль, на эти старые *tourtières*[194] нужно потратить три дня.

Если он перебирал с выпивкой, то оставался ночевать на их старенькой тахте под французским стеганым одеялом.

Как-то раз, когда Эмма вышла взять дрова из ящика у входа, Долор сказал: везет тебе, Уилф, такая хорошая жена, ребенок.

— Это легко, Долор. Сперва знакомишься с девушкой, потом женишься, потом надо найти коробку детских хлопьев с тремя призовыми фантиками и регулярно совать их своей старухе в… — И резко захлопнул рот, потому что вернулась Эмма, закрыла ногой дверь и стала

---

[192] Примечания: 192

Бетти Крокер — автор и торговая марка знаменитой поваренной книги и коллекции кулинарных рецептов.

[193] Примечания: 193

Французское блюдо — гречневые блинчики.

[194] Примечания: 194

Формы для круглого пирога *(фр.)*.

проталкивать поленья в топку, подпирая самое большое кочергой, пока оно не провалилось внутрь. Она слышала все, что он говорил.

— Попридержи язык, — скомандовала она, — а не то ничего регулярного не получишь. — Долор не знал, смеяться ему или помалкивать. Эмма села за стол. — Знаешь, что означает твое имя? — спросила она.

— Нет, а что?

— Нерегулярность, — влез Уилф.

— Вот теперь точно не получишь вообще, — ответила Эмма, но Долору объяснила. — *Douleur* — боль. *J'aiunedouleurdanslesjambes* — у меня болят ноги.

— Так и есть, — сказал он. — Болят.

— Лучше *j'ar une douleur* в жопе, — опять влез Уилфред.

Часов в девять засыпал ребенок и начиналась музыка; Эмма убирала последнюю посуду, доставала из шкафа тамбурин с почерневшей от пальцев головкой. Уилф настраивал скрипку, подтягивал струны, чтобы они четко звучали в ми и до, ре и соль; аккордеон, вобрав в себя теплый воздух, испускал такой звучный аккорд, что дрожала кухня, а пиво плескалось в стаканах. Они разогревались «Улыбками», «Моими голубыми

небесами», «Маленьким темным кувшином» и неизменной долоровской «Солнышко мое», затем начинались песни, которые Уилфред подбирал, наслушавшись радио: «Уходи», «Канзас-сити» и «Потанцуй со мной, Генри» — получалось похоже, но не совсем: Уилф сбивался на трудных местах, Долор подхватывал, иногда ошибаясь, но звучало все это вполне прилично, и с каждым разом все лучше.

Ближе к лету, когда долгими вечерами можно стало играть на крыльце, отбиваясь от комаров и потягивая пиво, они уже знали две дюжины песен — хиллбилли, поп и даже воскресные гимны. Иногда вместо игры они отправлялись на танцы в мотельный зал Рандома, где местная музыкальная группа «Банда пильщиков» пять или шесть раз подряд пилила «Пурпурного людоеда» — громко и быстро, танцоры толпились в кругу, а между сиденьями стояли бочонки с пивом и льдом.

— Черт, у нас получается нисколько не хуже, — сказал Уилф. — Что за мусор они играют.

— У нас лучше. — Но Долор видел, что нужно танцорам — жесткий разгоняющий ритм заставлял их топать и упрыгиваться до полусмерти.

В 1957 году Уилфрид ушел из «Парфе» и устро-

ился в «Сент-Клод» водить грузовики — из Мэна в штат Нью-Йорк, иногда в Массачусетс. Если получалось, в каждом новом городке он заваливался в музыкальную лавку и скупал пластинки. Как-то привез десятидюймовник в конверте, на котором трое мужчин боролись с аллигатором — «Каджун Билл и его игрушечные медвежата на Марди-Гра». Они слушали ее несколько раз. Уилф достал смычок и попробовал подыграть, но у него мало что получалось, а Эмма, в брюках капри и балетных тапочках, прижав руки к застеленному клеенкой столу, выхватывала обрывки французских фраз и подпевала:

– *…acheterducotonjaune…*
á balchezJoe…'coutetoimême[195]… — Она замолчала, когда из-под иголки раздался плач и печальные вздохи. Когда пластинка доиграла до конца, Долор попытался повторить услышанное, но это заняло в два раза больше времени и получилось совсем плохо. Гораздо легче шли эстрадные песенки, а временами — кантри-вестерн.

Невысокая коренастая Эмма с вечными кругами под глазами как-то заметила полушутя: ты француз, а говорить по-французски не умеешь.

---

[195] Примечания: 195
…купить желтый хлопок… на бал к Джо… ты сам… *(фр.).*

— Ага. — Он знал, что это нелепо: у него отобрали имя, он потерял язык, поменял религию, прошлое неизвестно, а люди, с которыми он провел первые два года своей жизни, исчезли с лица земли. Семья удерживает в себе людей, словно чашка воду. Ребенок, которым он когда-то был, франкоговорящий мальчик с матерью, отцом, братьями и сестрами, растворился в кислоте несчастий и обстоятельств. Но он все тот же. Настанет день, и он вернется — как пробуждается после зимней спячки насекомое, он проснется человеком, который говорит и думает по-французски, веселым парнем с кучей друзей, а потерянная семья опять будет с ним. Превращение сбудется в теплой комнате с огромной дровяной печкой. Там синяя дверь и кто-то кашляет. По-французски.

Где найти французскую музыку

— Знаешь, Уилф, эти песни, что мы играем… Я не знаю, как объяснить, но это не то. Хочется другой музыки, только не знаю какой. С чем мы возимся? С ерундой из радиоприемника. «Майкл Роу и лодка у берега», «Том Дули». Фолк-музыка. Она как будто ненастоящая. Должно быть что-то еще, ты понимаешь, о чем я?

— Я думал, тебе нравится трио «Кингстон»[196]. Зачем мы тогда три месяца разучиваем «Скотч и Соду»? Что ты хочешь играть, «Серфинг»? Как насчет рок-н-ролла, «Синие замшевые туфли»? Тебе катит Пердис Прэстли? «Ах-ха, вах-ха-хант, йе-хуу!». Смотрел «Голубые Гавайи»[197]? Страшное ж дерьмо. Или блюзы? Что там бубнит Лоуренс Уэлк? «Бла-бла, бла-бла». Ради бога, только не это. Я не буду играть этот мусор.

— Нет, нет, нет. Послушай, а бывает француз-

---

[196] Примечания: 196

Трио «Кингстон» образовалось в 1957 г., и эта дата считается началом возрождения фолк-музыки. В несколько измененном составе существует до сих пор. «Скотч и сода» — одна из их баллад.

[197] Примечания: 197

Авторский анахронизм: фильм Нормана Таурога с участием Элвиса Пресли был снят в 1961 г.

ская музыка? Я хочу сказать, есть такой стиль — французский? Вокруг ведь полно французов.

— Откуда мне знать. Эмма! Бывает французская музыка?

— Да. *Ouai*. — отозвалась она из детской. — Есть куча старых *gigues* и танцевальных рилов. Но их здесь никто не играет. Может только в Квебеке. Если там не забыли. Скрипка, пианино, аккордеон. Спросите папу. Он раньше играл такую музыку. У него все это было на семьдесят восьмых пластинках — «Старр» — я помню что-то вроде *«Reel du pendu»* [198] про висельника. Пятьдесят или шестьдесят штук. Иногда он под настроение сам играет. Но в последнее время редко.

— Или возьми каджунов, — сказал Уилфрид. — Тоже французы. Но, господи, как можно так петь, будто тянут кишки щипцами. Хочешь, давай попробуем? Может *«Jole Blon»?* Говорят, вышел новый альбом Джимми Ньюмана[199] — «Песни старицы», я как-то слышал по радио отрывки, какая-то нью-гемпширская станция, но я не сыграю это на скрипке, хоть паяльником меня жги. Ужасно тоскливо, но сделано интересно, ничего

---

[198] Примечания: 198
Рил повешенного *(фр.)*.

[199] Примечания: 199
Джимми Ньюмар (р. 1927) — американский фолк-певец.

не скажешь. Знаешь что — хватит сидеть на жопе, надо выбираться из кухни и слушать, что играют люди, ну, ты понимаешь, вокруг Рандома, Миллинокета, в кабаках по Тридцатому тракту. Завалиться в бар с живой музыкой. Надо выбираться из кухни. — Он листал новый «Плейбой» и прислушивался, как шагает по коридору Эмма — Эмма, которая сейчас скажет: выбираться? Тебя не видно неделями. Может, побудешь для разнообразия дома?

— Можно и так.

На двери спальни скрипнули петли, и Уилф затолкал журнал в футляр долоровского аккордеона.

Выбрались

Отец Эммы работал по воскресеньям в тире и скрипку прижимал к плечу, как винтовку. Приглушив звук «Маверика», он сказал, что четыре или пять лет назад выкинул все «старрсы» на помойку. Стрелки подбрасывали их в воздух и палили из ружей.

— То-то было весело. Старье совсем истерлось. Но музыка великая. Когда-то я все это знал. Ла Мадлин, его пластинки были у всех — бог ты мой, он просто гипнотизировал людей. Мальчишка из леса, родной отец научил его играть на скрипке — старомодные звуки. Традиция, *hein*[200]*?* Но Суси[201], он же гений. Может кто с ним сравняться, даже этот парень, который играет до сих пор, Жан Кариньян [202]? Потому я и взялся за хилл-билли. Там слишком много хороших музыкантов. Позже усилился аккордеон, мне было интересно,

---

[200] Примечания: 200
Каково *(фр.)*.

[201] Примечания: 201
Исидор Суси (1899—1963) — франко-канадский скрипач и композитор.

[202] Примечания: 202
Жан Кариньян — франко-канадский скрипач и фолк-музыкант.

немного поучился на нем тоже. В старые добрые времена мы собирались прямо на кухне, все приходили, танцевали, но в этих новых домах, в этих одноэтажках? Слишком тесно. Нужно снимать зал, куда-то идти, а то никому не хватит места.

Долор пытался представить себе эту старую музыку.

В ближайший субботний вечер они приоделись в свободные пиджаки, Уилф надел, не застегнув до конца, розовую рубашку, Долор — черную, и они отправились по барам Бетрэндвилля. Эмма не нашла с кем оставить ребенка, поэтому осталась дома. В «Полярной звезде» гитарист нудел что-то вроде «Вальса в Теннесси». Они заказали «Бад».

— Как насчет кантри? Помнишь, мы разучивали «Абилин»? Вполне ничего.

— Может быть. — Гитарист теперь терзал «Кого винить».

— Господи, какая хуйня эта гитара.

Они прошлись по улице до неоновой вывески «КОКТЕЙЛИ», мигавшей стаканом с зеленой и красной оливками. Зайдя в бар, заказали виски с лимоном, оказалось вполне прилично, и отдались музыке: саксофонному тенору, органу и черному лысому человеку из каких-то чужих

краев, который стучал по барабану и тряс головой так, словно не мог поверить, что он действительно в Мэне. Когда они вышли, улица была пуста, если не считать мерцающих вывесок, и они двинулись искать следующий бар. Долор порвал рукав своего модного плаща о торчащий гвоздь.

Вдруг мимо их голов пролетели обрывки французских фраз.

— *Je m'en crisse!*

— *Mange de la marde!* [203]

Некоторое время спустя он вдруг решил, что сможет говорить по-французски и произнес похожие слова, но это было все равно, что говорить по-куриному — просто звуки, без всякого смысла. Уилф всеми бортами медленно погружался в море виски и убийственное настроение. Долор вспомнил сумасшедший взгляд Моргалы с обеденным подносом в руках.

— Мне осточертел этот проклятый грузовик, — орал Уилф, рвался лупить по щекам, вцеплялся в одежду и тянулся ребром ладони к затылкам посторонних людей, явно ввязываясь в драку. Долор привез его в Рандом — по пути грузовик вилял, полз в сторону деревьев и встречных фар

---

[203] Примечания: 203
Я ухожу… Говно жри *(фр.)*.

— и впихнул в дом; бросив на него холодный взгляд, Эмма сказала: надеюсь, ты доволен.

— Пожалуй, это была не слишком хорошая идея. — Он готов был на нее наброситься.

Глупее всего они провели ту снежную мартовскую ночь, когда радиостанция «Пенобнокет» объявила, что спрятала где-то в городе бутылку от пепси-колы с засунутой в нее тысячедолларовой банкнотой. Приехавшие за сто миль мужчины, женщины и дети два дня рылись в снегу, обыскивали комнаты мотелей, ломаные будки во дворах кабаков, лезли в судебную палату, на почту, в автомастерские, в контору службы распространения, вваливались на саму радиостанцию — пока не вмешалась полиция и не отправила всех по домам. Позже Уилф узнал, что бутылка была спрятана в запертой машине самого хозяина станции. Кто мог ее там найти? Уилф отказался слушать их передачи — не смягчило его даже то, что деньги они пожертвовали на строительство новой детской площадки.

Дурные мысли

В сгущавшихся лесных сумерках, под летящей из-под пилы древесной пылью он вдруг почувствовал, что опять заболели ноги, — винил во всем плохой день, плохие недели, катившиеся назад холодные месяцы, неудобно прижимал к себе пилу так, что схватывало спину. И брался за ствол, и перекатывал его, чтобы дотянуться до прижатых к снегу веток, воздух вырывался из расцарапанного потрескавшегося рта, на подбородке нарастали жесткие подушки инея, его мутило от запаха масла двухтактного мотора, смолы, сырого дерева и сломанных иголок, снега, собственного пота, сигаретного дыма и мыслей о том, что ему делать с остатком своей жизни. Неужели он влюбился в Эмму? Неужели он хочет такую жизнь, как у Уилфа? Он хотел Эмму — еще сильнее из-за того, что она француженка, родила Уилфу ребенка, у нее куча родственников, кланы Комеа и Пелки, сложная кровная цепочка, что тянется через все границы, с южного берега реки Святого Лаврентия через Новую Англию на юг в Луизиану: дядюшки, двоюродные, троюродные братья и сестры, тетушкины свояки, родные

братья, родные сестры, их мужья, жены и дети. Богатство крови. Сквозь мелодии он грезил наяву о чем-то семейно-сентиментальном, обтесывал стволы, старался рубить ветки в определенном ритме, но неуклюжие сучья постоянно его сбивали; он думал об исчезнувших пластинках: синие и золотистые наклейки валятся на груды мусора, музыка мертвых скрипачей похожа на ирландские песни, но более свинговая, скользящая, музыкальные фразы раскачиваются, расплываются дикими узорами, но ломаются, исчезают среди мокрых матрасов и древесной коры. Даже зеленый аккордеон чем-то тоже вызывал неприязнь. Долор чувствовал, как истерлись его кнопки, приладившись к пальцам прежнего хозяина, ремень перекрутился, привыкнув к чьей-то ладони. В складках и трещинах слежалась древняя пыль — пыль деревянных полов танцзалов, человеческий жир, частицы разложившихся материалов, ворсинки, крошки. Призрачный музыкант оказывался в кругу его рук всякий раз, когда Долор доставал аккордеон. Он хотел Эмму, да, но не меньше хотел он, чтоб она осталась с Уилфом. Что же делать? Брак с двумя мужьями с его жуткой близостью? А может Уилф умрет, и тогда Эмма достанется ему. На

желание наслаивались перекошенные мысли, и он безо всякой на то причины стал вдруг проверять, нет ли в моче крови, переживал, когда след струи на снегу казался ему розовато-коричневым — хотя для страха не было никаких оснований. Потом появилась привычка, от которой он не мог избавиться несколько недель: засекать, сколько времени уходит на опустошение мочевого пузыря. Однажды утром получилось сорок две секунды, и он решил, что в самом ближайшем будущем умрет от разрыва внутренних органов.

Первое выступление

Он зашивал дыру от колючей проволоки на рабочих штанах, когда услыхал визг тормозов, рев двигателя, а затем топот — такой, словно по плитняку неслась лошадь Пелки. Хлопнула входная дверь, и Уилф, проскакав по коридору, ввалился к Долору в квартиру. Распахнул холодильник, достал две бутылки пива, открыл и, шлепая пеной на губах, протянул одну Долору.

— В чем дело? — удивился тот. — Тебя назначили лучшим шофером года?

— Нас зовут работать. Играть. Знакомый парень, тоже дальнобойщик, устраивает для жены вечеринку, сюрприз, день рождения. Мы играем. Мы с тобой. Он заплатит. Двадцать баксов. В субботу. Слушай, давай репетировать. Надо сыграть отлично. Если пройдет хорошо, мы будем играть часто. Вставай, начинаем. Такого шанса еще не было. Мы на верном пути. Посмотри, в грузовике — я привез усилитель и два списанных армейских динамика. Вставай, чего расселся, черт возьми, нашел время тыкать иголкой. Черт подери, прям как глупый француз.

Он успокоился лишь к назначенному дню. Он

знал наизусть каждую ноту; они вырывались из-под быстрых пальцев напористо, сильно — то, что нужно для танцев. Но в первый час все шло наперекосяк — на Уилфа напал страх сцены. Он трясся так сильно, что не мог настроить скрипку, перетянул смычок, сорвал резьбу, пришлось достать старый, с перетертым волосом, а когда начал играть, руки его страшно дрожали, ноты соскакивали, визжали, он забывал мелодию.

Долор проклинал себя, что не заметил этого раньше. Круглые динамики были сделаны из железа и покрашены в цвет хаки. Усилитель «Боджен» щетинился под слоем пыли стеклянными трубками. Они долго не могли пристроить в тесной кухне свое добро, и наконец поставили один динамик на холодильник, второй — на стул у задней двери, а усилитель — на крышку электроплиты. Он сильно нагревался и гудел. Уилф с трудом переводил дух.

— Господи, ну и тяжелое это дерьмо.

— Зачем оно вообще? — спросил Долор. — Это же кухня, и так будет нормально слышно.

— Не будет! Они начнут танцевать, топать, ржать, хлопать дверьми и ничего не услышат вообще. Без усилителя нельзя, если ты хочешь быть профи. — Он тряс руками, как будто они

были мокрыми, пять или шесть раз переставлял динамики, пока, успевший набраться Большой Бабби не заорал: хватит, давайте музыку. Белая от ярости жена получила настоящий сюрприз, но не особенно приятный, поскольку ее день рождения прошел незамеченным две недели назад, сейчас же у нее скручивало живот от менструальной боли, оба ребенка кашляли, она ходила по дому в рваном халате, повсюду валялись носки, грязные тарелки и катыши пыли, и тут вдруг съехались машины, незнакомые люди поздравляют ее с днем рождения, курят и пьют.

Долор и Уилф в одинаковых красных рубашках «Аэртекс» и туфлях на креповой подошве забились в дальний угол кухни. Люди, входили и выходили через заднюю дверь, постоянно спотыкались о тянувшийся от динамика провод, Большой Бабби орал:

— Атлична! — Дверь холодильника хлопала каждые десять секунд, динамик трясся. Звук хрипит, думал Долор, все басы спрямлены, и скрипичные ноты Уилфа вырываются будто прямиком из преисподней.

— Перерыв, — крикнул Долор Большому Бабби, когда пальцы Уилфа заскользили по деке, словно хоккейная шайба по свежему льду. Он вытолкнул

Уилфа во двор, протащил через пьяную толпу и в тишине гаража сунул в руку бутылку пива. Глаза у приятеля побелели от паники.

— Боже, выпей и успокойся. Чего ты психуешь?

— Не знаю. Все эти морды — смотрят прямо на нас. Пара начинает танцевать, а я сразу думаю: «нет, только не это, я сейчас собьюсь нахуй, и они будут смотреть на меня, как на идиота» — а потом так и получается, и мне охота провалиться на месте. Послушай, я что, сошел с ума? Баббина жена действительно показала мне палец? Меня сейчас вырвет.

— Все в порядке, — сказал Долор. — Она просто не въехала. Ни на кого не смотри. Только на меня, считай, что мы у тебя дома вместе с Эммой, пьем пиво и играем всякую ерунду. Все довольны, кроме его жены, даже если все разваливается. Им нравится, когда инструменты в кухне, все просто тащатся. Я тоже. Твой кореш Большой Бабби тоже. Кто-то говорил, что это лучшая из всех вечеринок, я сам слышал. Все довольны, кроме миссис Бабби, но она оттает, надо только сыграть «С днем рождения». Спокойно. У нас неплохо получается. Все, кроме проклятых динамиков — у этих штук звук, как на вокзале.

Бросив на Долора суровый взгляд, Уилф успокоился. Теперь он твердо и четко играл все ноты, правильно прижимал струны, но в игре появились козлиные подскоки, которых никогда не было раньше, мелодия из-за этого получалась грубой и вульгарной. Из своего ящика Долор извлекал вполне приличный тон, богатый и чистый, несмотря на плохие динамики, для него это был шаг вперед на целый ярд. Музыка заводила танцоров. Они натыкались на плиту, стол, оступались на неровном кухонном полу, миссис Бабби мыла посуду и складывала тарелки в сушилку, танцующие пары выскакивали во двор, затем кто-то хлопнул дверцей холодильника, динамик свалился, отскочил от плеча миссис Бабби, упал в раковину, где взорвался и поднял такую волну, что волосы именинницы встали дыбом, и ее отбросило в толпу танцоров.

После минутного хаоса, Долор сообразил вытащить провода из динамика, а усилитель из розетки. Белая трясущаяся миссис Бабби рухнула в кресло, Большой Бабби рыдал у нее на коленях и молил о прощении, кто-то принес стакан виски, еще одну банку пива, еще одно полотенце, чтобы вытереть ее мокрые руки, еще одно покрытое собачьей шерстью одеяло и полчаса спустя после

трех стаканов виски и униженных покаяний мужа она пришла в себя настолько, что скомандовала музыкантам — только никаких усилителей — начать сначала.

— Что я тебе говорил, — воскликнул Долор, решив, что настал подходящий момент сыграть «С днем рождения» в ритме вальса, а затем перекинуться на что-нибудь быстрое и танцевальное. Чуть позже ребенок, протиснувшись между танцорами, спросил: мама, а почему у нас из стенки идет дым?

В два часа ночи, когда уехали пожарные машины, они тоже двинулись домой; в кузове дребезжали обломки усилительной системы, от горячего дыхания запотевало лобовое стекло, Долор тер его рукой, а Уилф протягивал ему пинту бурбона. Они то всхлипывали, то смеялись от возбуждения, в ушах не смолкала музыка, а перед глазами стояла полная комната людей, скачущих, топающих, качающихся и прижимающихся друг к другу, они сыграли им все двадцать песен, которые знали, они почти воочию видели искрящийся в раковине провод, и облегченно вздыхали, когда вполне живая миссис Бабби говорила мужу белыми жесткими губами: безмозглый кретин.

— Ну и ночка, — восклицал Долор. — Если бы не чертовы динамики, все было бы хорошо.

— Ага, не считая того, что вначале я никак не мог собрать себя в кучу. И что это на меня нашло. Просто трясучка.

— Не считая этого, а еще того, что мы чуть не спалили его жену, а потом весь дом — да, все прошло хорошо.

— Это Бабби сунул в топку фольгу.

— И еще. Перед тем, как все это началось, ко мне подошла женщина и попросила сыграть песню, что-то французское, *la danse du* [204] как-то там, а может другое, не знаю. Я ответил, что мы не умеем, а она говорит: стыдно не знать музыку своего народа.

— Да пошла она, — сказал Уилф.

— Ага. Ладно. Но я, к сожалению, считаю, что она права. Мне бы только понять, куда подевалась чертова французская музыка. В округе ее нет, это точно.

---

[204] Примечания: 204
Танец *(фр.)*.

Виртуозы

Ближе всего удалось подобраться к цели один или два раза, когда, возвращаясь с вырубки, он поймал передачу *Le Réveil Rural*[205] на Радио Канады — послушал скрипипичный рил с вихляющим пумканьем фортепьянного аккомпанемента, звонкое жужжание *la guimbarde* — еврейской арфы, потом понеслось что-то необузданно мрачное, демонический побег-полет — грубая экзальтированная музыка, водопад, грохот локомотива, ленточная пила, аккордеон дразнится, стук ледяшек о дно оловянной кастрюли, хрипы, бормотание, визг — этот бешеный музыкальный каскад заставил его свернуть на обочину и остановиться.

– *Wah!*

— сказал диктор. — *Soucy l'incomparable!*[206] — В другой раз программа подарила ему *les accord on*

---

[205] Примечания: 205
Сельское утро *(фр.)*.

[206] Примечания: 206
Ах, бесподобный Суси! *(фр.)*

diatoniques, musiciens du Québec [207] — роскошная неистовая игра прорывалась сквозь неподвижность, заставляя забыть о шрамах и царапинах старых граммофонных пластинок: Йозеф-Мария Трембла, Анри Биссон, Долор Лафлюр, Теодор Дюга, бормотал диктор. Наконец-то Долор узнал, как это называется — традиционная музыка, *la musique traditionnelle*. Должно быть, именно это играл его отец на старом горелом аккордеоне. Он не мог отказаться от мысли, что отец погиб, спасая детей из пламени.

— А что, если нам съездить в Квебек, накупить пластинок и послушать музыку? Мне нужны записи — надо понять, что это такое. Эмма будет переводить. Доедем до этого города, говорят, там много аккордеонистов.

— Ага, ага. Монмани. Я там бывал, забирал специальный нож для пилы. — Но Уилф отнюдь не сходил с ума от этой идеи, как он не сходил с ума от этой музыки вообще, и все время откладывал поездку. Долор задумывался: вдруг Уилф догадался, что он сохнет по Эмме и принялся ревновать. Эмма отозвалась из кухни:

— Так вас там и ждут, — и на этом все кончи-

---

[207] Примечания: 207
Диатонический аккордеон, музыканты Квебека *(фр.)*.

лось.

Но дождливым субботним утром он проснулся с твердым намерением ехать в Монмани самостоятельно, несмотря на то, что он не знает языка. Если с ним будет зеленый аккордеон, то к чему слова?

Дорога, брыкаясь и крутясь под колесами грузовика, вела его к пограничному посту мимо лесозаготовок и заваленных щепками вырубок. На другой стороне, в Квебеке, Долор ожидал увидеть все тот же пейзаж, но вместо этого обнаружил ровную местность с пучками деревень и растянутыми за ними длинными узкими полями. Кругом были фермы, стада и урожаи, и это казалось Долору странным. Он ехал по ровной дороге, и ему казалось, что в домах и сараях прячется, свернувшись в клубок, некая демоническая энергия. Во дворах топорщились деревянные фигуры и механизмы, роботы, собранные из тракторных частей, причудливые растения из выцветших пластиковых бутылок, ветряные мельницы, летающие утки, миниатюрные домики среди камней и рвущиеся из них клубы пчел, шутихи, ослики из бутылочных пробок, на пнях каноэ с деревянными гребцами, букеты из консервных банок, реечные огородные пугала в драной одежде и с

хэллоуинскими масками вместо лиц. Дождь перестал, и Долор ехал теперь к чистому горизонту и солнечному свету.

Простая поездка превратилась в настоящее паломничество: Сен-Жорж, Сен-Жозеф-де-Бюссе, Сен-Одилон, Сен-Люс, Сен-Филемон, Сен-Пол-де-Монмани, Нотр-Дам-де-Розари. В Долоре росла безрассудная уверенность в том, что он возвращается домой. Где-то здесь были его истоки. Он заплакал, увидав великую реку: глубокую стрелу воды, что бьет в самое сердце континента.

Ранним вечером он добрался до Монмани. Солнце садилось. Вдоль реки вспыхивали желтым светом старые камни домов с изящными, как у беседок, крышами, а сама вода казалась порванной золотой простыней. Он катался по округе, пока не стало темнеть. Движения на улицах не было, только какая-то женщина выгуливала маленькую черную собачку. Он, словно попал в другое столетие. Хотелось есть, было страшно и радостно. Он припарковал машину в нескольких кварталах от здания, с виду напоминавшего гостиницу; на соседних улицах стояло не меньше дюжины автомобилей. Шаткая вывеска с фигурками музыкантов гласила: LES JOYEUX

TROUBADOURS[208]. Он взял с собой аккордеон. Едва открыв дверь, он услыхал музыку.

За столом сидела молодая женщина с ярко-красными губами и черными, завитыми на концах волосами, за ее спиной на зеленой панели дверей были нарисованы танцующие зайцы; она подняла взгляд от кучи бумаг, заметила футляр с аккордеоном и улыбнулась.

– *Bon! Un autre accordéoniste pour la veilée* [209]. — Она сверилась с бумагами. — *Quel est ton nom?...*[210] — Голос звучал хрипловато и неуверенно, словно у нее недавно болело горло, и слова давались с трудом.

— Простите, — медленно произнес Долор. — Я не говорю по-французски. Я приехал потому, что ищу аккордеонную музыку. — Она серьезно смотрела на него. Он улыбнулся и приподнял аккордеон. — Я не говорю по-французски. Простите, — добавил он, жалея, что не существует языка мыслей.

Она сморщила губы, подняла указательный

---

[208] Примечания: 208
Веселые трубадуры *(фр.)*.

[209] Примечания: 209
О! Еще один аккордеонист собирается всю ночь не спать. *(фр.)*.

[210] Примечания: 210
Как вас зовут? *(фр.)*

палец на правой руке и чуть-чуть покачала им, словно говоря: подождите, одну минуточку, и исчезла за зеленой дверью, оставив ее приоткрытой. Рядом на стуле стоял аккордеон. Долор рассмотрел выгравированное на нем имя *«Ludwig Sapin»* и маленькую елочку. Ее инструмент? Он представил, что эта молодая женщина — его жена, они любят друг друга, он берет в ладонь ее черные волосы, а по утрам его будит шершавый голос. Теперь он ясно слышал музыку — скрипку, аккордеон и ложки — нет, два аккордеона и каблуки музыкантов. Женщина вернулась с рыжеволосым человеком в слишком тесном для его мощной фигуры костюме и с полоской пластыря на переносице.

— Чем могу быть полезен? — спросил он по-американски.

— Я приехал из Мэна, — ответил Долор. — Это, наверное, глупо, но я ищу аккордеонистов, то есть, тех, кто играет традиционную музыку, понимаете? Я сам француз, но не говорю по-французски. Меня зовут Долор Ганьон. Я хочу узнать побольше о старой музыке. Я сам немного играю, но не традиционные песни. Не могу найти ни одной записи. Кажется, эти песни уже никто не умеет играть. По крайней мере, в Мэне.

Человек рассмеялся.

— Милый мальчик, — сказал он. — да вы же просто сорвали банк! В этом доме собрались лучшие из лучших. Ото всюду. Со всего мира! Если я скажу вам, что здесь находятся Филипп Брюно и сынок Жо Мессервира Марсель, а еще юноша по имени Рейналь Олле, Марсель Лемэ и это еще не все — вполне возможно, их имена ничего вам не скажут, но поверьте мне на слово, это лучшие из лучших. Сегодня вечер *Veillée du bon vieux temps* [211] в честь последнего месье Дегю, *accord oniste extraordinaire* [212]. Я с удовольствием приглашу вас за стол, если мы только найдем для вас стул. — По-американски он говорил без намека на акцент, легко переходил на французский и обратно, и представился как Финтан О'Брайен, контролер на шахте «Тетфорд», скрипач и исполнитель кельтских мелодий, родился в Ирландии, рос в Филадельфии и Халфмуне, Айдахо, теперь вот занесло в Квебек, сказал он, человек без родины, ха-ха.

Темная, отливающая золотом комната была забита людьми, все сидели за круглым столом

---

[211] Примечания: 211
Старая добрая вечеринка *(фр.)*.

[212] Примечания: 212
Неподражаемый аккордеонист *(фр.)*.

с зажженными свечами. Вдоль стены тянулась буфетная стойка с закусками и бутылками вина. Рыжеволосый подвел Долора к столу, нашел для него стул, познакомил с женой Марией в ярко-красном платье и объявил, что привел любителя старой музыки, путешественника из Мэна, который не смог найти в Штатах того, о чем страстно мечтал.

Долору он сказал:

— Сегодня особенный вечер. В Квебеке традиционная музыка тоже умирает — биг-бэнды, фолк, поп из Штатов — вот, что нужно сейчас людям. Но не здесь — здесь, возможно, последнее место в мире, где эта музыка жива и хорошо себя чувствует.

Пожилой мужчина, поднявшись на возвышение, пропел одну строчку, и все повернулись в его сторону. Аккордеоны и ложки вспыхивали в глубоком свете, колени музыкантов вздымались и опадали с точностью и силой метрономов. Все в комнате дружно кивали головами, стучали пальцами по столу, качались и прищелкивали зубами в едином ритме: *cuilléres, os, pieds accordéoniste* [213], пока, наконец, стол не отодвинули в сторону,

---

[213] Примечания: 213

Ложки, кости, ноги аккордеонистов *(фр.)*.

и не начались танцы.

Долора окружали французы. Было что-то общее в очертаниях фигур, в крупных руках, темных волосах и глазах. Он говорил себе, что именно из таких людей вышел сам, он генетически связан с каждым из них. Его била дрожь. Наступала главная ночь в его жизни, та, что будет возникать постоянно из глубины снов и мыслей, даже если воспоминания о ней покроются трещинами фантазий и выдумок. Он почти верил, что в этот вечер сможет говорить и понимать по-французски.

Музыка была ошеломляюще прекрасной, полной радости, неистовства и жизни. Танцоры растянулись по всему залу, но время от времени отступали, пропуская в середину чечеточника; твердая спина, поднятая голова и вытянутые руки акцентировали стук, притоптывания, прищелкивания, удары, резкие выпады, шаги и движения, входившие внутрь музыки и исходившие из нее. Долор жалел, что Уилф не слышит этой скрипки — словно стая птиц, полет стрел, пронзающих пространство, — рычащее зубное бормотание ре и соль сменялось пронзительными, но гармоничными вскриками, и следом — быстрые, словно скатывающиеся со ступенек, переборы — скрипача звали Джин-какой-то-там,

таксист из Монреаля. Долор смотрел и слушал с такой страстью, что все увиденное и услышанное оставалось в нем навсегда. Он запоминал. Сильнее всего его привлекал молодой смуглый аккордеонист с квадратной челюстью и помпадуром из блестящих волос. Играя, он впадал в транс, с лица исчезало всякое выражение, глаза видели что-то свое далеко за стенами комнаты, нога поднималась и опускалась, словно деталь механизма, прекрасные *accord de pieds* [214]. Музыка была мускулистой, мелодия ясной и звонкой, он играл очень быстро и технически безукоризненно. Он брался за инструмент снова и снова, музыка неслась волной, кругами, закручивалась в воронки, выползая из самой себя, словно змеиное гнездо. Она окутывала музыканта голубым озоновым туманом. Никто не мог с ним сравниться, и стоило ему перестать играть, как зал принимался орать во все горло. Долор хлопал до тех пор, пока не почувствовал, что еще немного, и у него отвалятся пальцы.

— Кто это? — Прокричал он Финтану О'Брайену сквозь шум аплодисментов. Тот ответил, но Долор не расслышал.

---

[214] Примечания: 214
Аккорды ног *(фр.)*.

Человек с черными усами, опущенными вниз, как стрелки часов на восемь-двадцать, высоким голосом объявил кадриль и заиграл на удивительном «французском» аккордеоне — очень маленьком, со всего лишь семью складками на мехах. Специальный велосипедный звонок оповещал о каждой смене фигур этого замысловатого танца. Играл усач слишком тихо для такого зала. Посередине мелодии танцоры вдруг остановились и неодобрительно уставились на аккордеониста, который в ответ виновато потряс головой и заиграл с начала.

(Будущей весной этот тонкоголосый человек отправился со своим инструментом в Лондон, выступать в программе, включавшей пьесу Малькольма Арнольда[215] «Великий, великий переворот» для трех пылесосов и соло на циклевателе.)

Ближе к концу вечера вперед выступила черноволосая молодая женщина из приемной — она держала в руках свой маленький аккордеон с елочкой. Запела она *complainte* [216]: глубокое, медленное гудение аккордеона и голос, выходив-

---

[215] Примечания: 215
Малькольм Арнольд (р. 1921) — британский композитор.

[216] Примечания: 216
Грустная народная песня *(фр.)*.

ший словно из закрытого рта, сливаясь вместе, превращались во что-то неземное, становились голосом существа, обладающего мощной, но невидимой властью.

В одиннадцать музыканты отложили инструменты, а Долор ушел, сунув в карман рубашки клочок бумаги с адресом Финтана О'Брайена, и пообещав не теряться. Голова кружилась от вина. Выехав из темного городка, он подогнал грузовик к обочине и заснул, скрючившись на сиденье; снилось что-то невыразимо грустное, а когда в лиловом речном тумане его разбудило хлопанье вороньих крыльев, он так и не вспомнил, что это был за сон, но вдруг подумал, что в кузове грузовика так и лежит мешок с мусором, который он забыл выбросить на помойку.

Что толку?

На обратном пути знакомые симптомы депрессии вновь опустились на него, точно преждевременная темнота или признак надвигающейся грозы — хроническая, рвущая тоска, что никогда не уходила далеко. Он, зевал, крутил руль, грузовик вилял, наезжал на полосы и время от времени сползал на обочину. Никогда у него не будет ни Эммы, ни черноволосой молодой женщины у зеленой двери. Он мечтал играть эту музыку, его музыку по праву крови, но знал, что этого не будет никогда, потому что там, где он живет, такую музыку не любят и не играют, потому что он не умеет говорить по-французски, потому что никогда он не сможет играть так, как этот человек в трансе с ногой-поршнем. Рандом не скрывал ничего и ничего не значил — ни сам по себе, ни для Долора. Путешествие в Квебек лишь соединило вместе два чувства — чужеродности и отторжения. Никогда ему не быть одним из этих аккордеонистов. И о себе самом он знал не больше, чем в два года — ничто, *rien*, ничто. Он выбросил в окно клочок бумаги с выцарапанным именем Финтана О'Брайена и поехал дальше.

Une douleur

В июне, через два месяца после смерти Уилфа, у Долора что-то случилось с ногами. Сначала он не обратил внимания: проснулся утром, взглянул сквозь запотевшее окно на белый туман, белые рубашки и носки на провисающей бельевой веревке миссис Пелки, и подумал, что часам к десяти, наверное, высохнут. Вчера было ужасно много мошек; от укусов у него онемела кожа на голове и затылке. Он подумал, что надо увольняться, лесоповал и грязная работа надоели до смерти, но о чем бы он ни думал, мысли поворачивали все туда же — к Уилфу.

Дни стояли теплые, но на дорогах еще попадался лед, особенно на возвышенностях, куда направлялся Уилф с грузом древесной массы, через горы Нью-Гемпшира на бумажный комбинат в Берлине. Как потом вычислили, на развороте он, должно быть, слишком сильно разогнал грузовик и слишком быстро въехал на участок, где сбегавший по отвесной скале ручей не поместился в русле, выплеснулся на дорогу и там замерз: веер голубого льда в два дюйма толщиной клонился к обрыва. Грузовик на полной скорости

слетел с дороги, не перевернувшись, проехал по льду и воткнулся в деревья — старые черные ели, густые и ломкие. Кузов отвалился и покатился в овраг, усеянный четырехфутовыми бревнами, а длинный острый обломок сука пропорол кабину и воткнулся Уилфу в спину, окровавленный зубец пропорол нижнюю часть грудины и, разорвав мечевидный отросток, уперся в крышу. Пронзенный Уилф был еще жив. Скорая помощь с воплями продралась сквозь деревья — для спасателей стоны Уилфа звучали не громче ветра, хотя забыть их потом было невозможно.

Эту новость сообщила Долору миссис Пелки — понизив голос, качая головой, не скупясь на кровавые подробности и часто замолкая от волнения.

— Пришлось распиливать сук, представляете, сверху и снизу, цепной пилой, и так и везти его в больницу, на суке. Они не могли его положить, представляете, из-за этой штуки, так что пришлось привязать к бокам доски, представляете, и так везти — вертикально. Это ужасно. Он умер по дороге. Долор не мог заставить себя приблизиться к Эмме и не пошел на похороны. На третий после похорон день он доехал до своего далекого склона; грузовик был заляпан грязью, расцара-

панный «стихель», коробка с инструментами и бензиновая канистра с зазубринами, ободранная красная краска, железки покрылись коркой из смешавшихся с маслом трухлявых листьев, опилок, дорожной пыли. Слабый дождь оставлял на ветровом стекле пятна, унылое небо, на востоке ободок гор, дома, мимо которых он проезжал, погруженные в спячку обитатели, свет его фар пробивал дорогу в деревьях. Он зевал, еще чувствуя тепло постели, на приборной доске ряд черствых пончиков переложен конфетной бумагой, чашка, кофе расплескался по самодельной деревянной подставке, прикрученной проволокой; один за другим Долор глотал посыпанные белым сахаром и липкие от повидла кексы, пока рот не свело от отвращения к этим полусырым булкам, и он не почувствовал, что больше не может. Болели ноги.

К полудню он едва не валился от слабости, а из-за боли в ногах не мог выпрямиться в полный рост. Он сказал бригадиру, что заболел, и побрел к грузовику.

К концу дня у него потемнело в глазах, он тяжело дышал, почти задыхался. На следующее утро ноги болели не так сильно, но почти не двигались. Пелки постучали в дверь только в конце

недели, но к этому времени ему стало немного лучше, мог по крайней мере передвигаться по квартире и думал, что это скорее всего артрит, рано или поздно настигавший всех, кто работал в сыром холодном лесу. Миссис Пелки пришла сказать, что Эмма с ребенком сейчас у родителей в Хонк-Лэйк, возможно переедет к ним насовсем, и что она передавала Долору привет.

— Через пару недель я поправлюсь и навещу ее, — сказал он, но так этого и не сделал.

Спустя несколько месяцев после катастрофы он не мог думать ни о чем, кроме собственного тела. Странные ощущения не давали ему передышки. Обострилась чувствительность ко всему: кричащие краски, яркий свет, гудки разворачивающихся мусоровозов, хлопанье дверей, просто разговоры — все это скребло по его голым нервам. Вдруг появилась аллергия на пыль, плесень, яблоки и помидоры. Замучили запоры, в аптеке Миллинокета он купил упаковку слабительного, но оно не помогало. Прослышав об открывшемся в Портленде магазине здоровой пищи, он проделал на своем грузовике длинный путь, потом долго ходил среди банок с тростниковой мелассой и медом, грубыми отрубями и темными ушками абрикосов. Он купил там несколько пакетов

женьшеневого чая и успокоительного отвара, но получил желудочные спазмы, першение в горле и стреляющую боль в суставах. Как-то ночью боль пронзила лицо, невыносимое, тяжелое ощущение не отпускало до самого утра. Хуже всего было прижатой к подушке щеке, но когда он переворачивался на спину, боль плескалась волнами от уха до уха. Во рту горело, а язык распух так, что он едва мог говорить. В два часа ночи он проснулся опять от стреляющей боли в паху и ноге, еще одна боль ходила кругами по другой ноге и брюшине. Больно было мочиться, больно испражняться. Трясущейся полупарализованной рукой он составил список своих несчастий и понес его врачу в больницу для ветеранов армии. Дивертикулит, сказал доктор, или спазм толстой кишки, проблемы с позвоночником или с почками. Камни или нефрит.

Боли скручивались в клубок и раскручивались обратно. Его знобило, но где-то в глубине тела полыхала жуткая топка. В довершение всего, однажды утром он попытался подняться с кровати, с трудом сделал несколько шагов и упал на пол, где и пролежал до тех пор, пока не пришли Пелки, услыхав, как он колотит кулаками в пол.

Они усадили его на заднее сиденье своего ста-

ренького седана, миссис Пелки взбила у него за спиной полушку, все еще пахнущую ее ночными волосами. Мистер Пелки, волнуясь и виляя, выбрался на шоссе и помчался в больницу. Набухшие почки усыпали деревья; клены, под которыми шла дорога, покрывали маленькие раскрывшиеся бутоны, темно-красные, словно лужицы свернувшейся крови. Машина, рыча, проехала мимо склоненного дерева, светло-желтого с темным пятном, как кожа на гениталиях, и под этой мрачно-фиолетовой дугой сверкал на солнце прямой тополь; они миновали жилы берез, показалась зубчатая линия хребта и исчерченное ветками небо; они проехали шумные руки сосен и утыканное стеблями болото, первые поля, грубоватые штрихи красной ивы и ежевичные кольца, во все это туго вплетались птичьи крики и дурные предчувствия.

Все в порядке

Врачи не понимали, что с ним происходит. Они спорили, диагностировали скрытые травмы, инфекционное заражение, симуляцию, детский полиомиелит, психосоматический паралич, смещение диска, хроническую усталость, разбалансировку центральной нервной системы, психогенную боль, потерю энергии, мышечные спазмы, неизвестный вирус, бактериальную инфекцию, наследственное заболевание, постгипнотическое внушение, инфекционный мононуклеоз, депрессивную истерию, ипохондрические иллюзии, болезнь Паркинсона, множественный склероз, бруцеллез и энцефалит. Но когда через три недели улучшений не появилось, его отправили обратно в Рандом на инвалидной коляске. Он умудрялся вставать и даже делать несколько нетвердых шагов, но и только — боль в ногах и спине была неумолима.

Социальный работник из Совета Ветеранов помог ему получить маленькую государственную пенсию для инвалидов, но ее не хватало на жизнь, поскольку нужно было платить миссис Пелки за то, что она готовила еду, помогала хо-

дить в туалет, ложиться в кровать и вставать из нее. Мистер Пелки построил из фанеры съезд на входной лестнице.

Если нужно было выбраться из осточертевших комнат и как-то попасть в город — за пивом, продуктами или в парикмахерскую — он подкатывался на инвалидной коляске к шоссе и поднимал большой палец. Малые грузовики — единственный вид транспорта, который ему подходил, при этом водитель должен был выйти из машины, посадить Долора в кабину, погрузить тяжелую каталку в кузов, сесть сам, доехать до города и там повторить процедуру в обратном порядке. Останавливались немногие, иногда Долор часами торчал на обочине, дрожа и проклиная все на свете, прежде чем кто-то соглашался посадить его в машину. Его сильный мускулистый торс заплыл жиром от неподвижности, жареной свинины, сэндвичей с арахисовым маслом и пива, к которому он за это время пристрастился. Он стал известной фигурой на рандомских дорогах — сутулый человек в инвалидной коляске со всколоченными длинными волосами и рукой в перчатке, просительно поднимающейся всякий раз, когда в поле зрения появлялся грузовик; если машина проезжала мимо, вслед ей тянулся разо-

гнутый палец и неслись слова, уже неслышные, но вполне понятные.

Лишь раз с миссией милосердия явился Стоматолог — шатаясь и выкрикивая обрывки песен, с упаковками по шесть бутылок пива в каждой руке; он рассказал несколько похоронных историй из тех, что приключались на лесоповале еще во времена лошадей.

— Держи, мелкий ублюдок, — прокричал он, — вот тебе. — Он достал из футляра аккордеон и впихнул его Долору на колени. С руками у него было все в порядке, если не обращать внимания на легкую стреляющую боль, но даже после трех или четырех бутылок пива играть он не смог. И не только из-за смерти Уилфа — он все еще слышал неповторимых виртуозов Монмани, все еще думал о неизвестном музыканте, игравшем раньше на этом зеленым аккордеоне.

— Да, не очень-то с тобой весело, — вздохнул Стоматолог.

Пропущенный аккорд

Однажды ранним вечером отворилась дверь, но это оказалась не миссис Пелки с новым рагу из квашеной капусты, а Эмма.

— Миссис Пелки говорит, тебе не слишком хорошо, — сказала она, оглядывая провонявшую комнату. Она никогда раньше здесь не была, и Долору стало стыдно за грязь, пустые пивные банки, сваленную в углу одежду и груду посуды в раковине, которая иногда ждала несколько дней, прежде чем миссис Пелки до нее добиралась. Эмма направилась прямо туда, и на жирные тарелки полилась струя горячей воды. Вдруг почувствовав себя неимоверно счастливым, Долор подкатил кресло поближе к раковине, чтобы лучше видеть, как она взбивает мыльную пену. Она отлично выглядела, и он сразу догадался, зачем она пришла. Он залился краской, он готов был кричать от радости. Эмма!

— Как ты сюда добралась?

— Приехала с родителями. Тут свадьба, моя кузина, Мари-Роз выходит замуж, и они попросили папу поиграть на танцах. Он будет играть эту старую музыку. Я подумала, что тебе тоже нужно

послушать. Я же помню, как ты сходил с ума.

— Посмотри на меня! Как ты думаешь, я могу танцевать? Чтобы раз в месяц дотащить меня до ветеранской больницы, нужна целая армия.

— Папа с Эмилем приедут на грузовике. Они положат кресло в кузов, а тебя посадят в кабину. Там будут очень хорошие аккордеонисты. Она лукаво засмеялась. — У тебя есть приличная одежда?

— Ага, ага. Ты-то как? Как мальчик? И кто такой Эмиль?

— Я очень хорошо. Работаю — на конвейере игрушечной фабрики. Мальчик совсем большой, ты его не узнаешь — я приношу ему бесплатные игрушки, фирма разрешает. Эмиль — ну, это не просто мой кузен, он, как бы это сказать, через месяц мы поженимся — мы с Эмилем. Он хороший человек и любит мальчика. Ребенку нужен отец, понимаешь. Он работает на той же игрушечной фабрике, фактически, он бригадир. Он тебе понравится. Тоже играет на аккордеоне. Я не хотела тебе говорить, думала, будет сюрприз, но, кажется, сказала.

— Да, кажется, сказала. — За те несколько минут, которые она провела в этой комнате, Долор успел воспарить ввысь и низвергнуться в бездну. Ему хотелось заорать на нее, рявкнуть, что с гибе-

ли Уилфа прошло всего восемь месяцев, и как же я, я так давно схожу по тебе с ума. Тарелки сияли на сушильной полке, Эмма протирала краны и что-то говорила. Он хорошо помнил и это платье, и интонацию, с которой она выстраивала фразы. Он не мог произнести ни слова.

Свадебный ужин проходил в зале Общества ветеранов иностранных войн, народ топтался у буфета, бумажные тарелки прогибались от ветчины и индюшатины, картофельного салата, оборочек кексов с мятными опилками и формочек желе. Дети бегали по залу, забирались под столы из «формайки» с хромированными ножками, орали по углам, толкались и ревели. Длинный стол, за которым сидел Долор, покрывала скатерть с серебряными свадебными колокольчиками. На салфетках было написано имя невесты и жениха: Мари-Роз и Дэррил. Долор сидел между Эмминым отцом и Эмилем, а больше почти никого не знал. Эмма в светло-желтом платье подружки невесты казалась бледной и уставшей. Во главе стола расположился толстяк с синяком под глазом — он не переставая травил французские анекдоты на ломаном диалекте, подмигивал и говорил, что подбил себе глаз, стукнувшись о дверь.

Перед началом танцев отец Эммы объявил:

— Мы сейчас немножко поиграем старую музыку, в основном для старшего поколения, недолго, я знаю, что молодежь любит другие мелодии. Но видите ли, это хорошая музыка, ее нельзя просто слушать, ноги сами пускаются в пляс. Я часто жалею, что она теперь так редка.

Музыка разочаровала Долора. Он слишком живо помнил ту другую, на севере, у великой реки. Возможно, так получилось из-за того, что первой мелодией, которую заиграли Эммин отец и Эмиль после возвышенного заявления «Специально для приверженцев старины!», оказалась та, что исполнял в Монмани человек с застывшим лицом — *«Quadrille du loupgarou»,* «Кадриль Оборотня». Даже на двух аккордеонах отец и Эмиль пропускали рулады, брали неверные ноты, тянули темп и очень скоро, сильно укоротив сложную пьесу, перекинулись на «Черничные холмы»; гости танцевали, мужчины потели в темных костюмах, напомаженные волосы сбивались и хлопали по лбам, колокола женских юбок качались над нейлоновыми ногами.

Они заиграли быстрый *gigue*, и на площадку вышел старик; он стучал и притоптывал негнущимися ногами — жалкое эхо того молодого танцора, которым наверняка был когда-то, ста-

рик продолжал танцевать, несмотря даже на то, что отец Эммы, забыв мелодию, перестал играть. Эмиль, однако, бросился на выручку, и в его сольном исполнении пьеса оказалась куда короче той замысловатой игры, которую Долор слышал в долине Святого Лаврентия, но этого вдохновения старику показалось достаточно, и он все танцевал, словно анимированный скелет. Наконец отец произнес, наклонившись к микрофону:

— Что ж, мы аплодируем замечательному танцу Чарли Хамма, и завершаем концерт для старшего поколения. Знаете, человеческая жизнь подходит к определенной черте, и мелодии, которые все так хорошо знали раньше, забываются, я прошу меня извинить за это. А теперь немного музыки косцов, «Плачущий ковбой» — песня Мэнского артиста Хэл Лон Пайна. Говорят, когда Хэл и Бетти Коди[217] год назад в Мэчиасе записывали эту песню, началась гроза и погас свет, их акустическая система сломалась, но они пели и играли в полной темноте, под вспышки молний. Вот что значит настоящие артисты. Вперед, любители кантри! — Аплодисменты и крики «йа-хуу» заполнили зал. Теперь отец Эммы был на своей

[217] Примечания: 217

Хэл Лон Пайн и Бетти Коди — семейный дуэт, исполнявший музыку в стиле кантри.

территории. Из скрипки он выжимал душераздирающие йодли и заунывные созвучия так, что Долору пришлось признать — получалось хорошо. Что до Эмиля, тот играл прилично, но это был третий сорт, как и все в Рандоме. Неожиданно у него за спиной возникла тетушка невесты, уселась на пустой стул Эмиля, улыбнулась, отпила из своего заляпанного стакана, кашлянула прямо Долору в лицо и закурила сигарету — одна из тех француженок, что умудряются похоронить двух, а то и трех мужей.

— Говорят, ваша фамилия Ганьон.

Эмма наклонилась вперед.

— Долор, это Дельфин Барбю из Провиденса, тетя Мари-Роз, сестра ее отца. Дельфин и Тути подарили Мари-Роз складной столик, чтобы можно было есть перед телевизором. Дельфин, ты знаешь, мы с Эмилем следующие. Оставайся здесь, не придется через две недели ехать опять.

Женщина затянулась сигаретой и закашлялась.

— Мне вообще нельзя было приезжать. У меня пневмония. Мы с Тути добирались одни, машина сломалась, столько миль пешком, подумать только. Ох, я вся промокла, ветер пробрал до костей. Вот и заболела. В клинике сказали: никаких

путешествий, никаких волнений, на работу не ходить. Я уже три недели на больничном. Я работаю на «Гребешках Ферри», они делают такие щетки для волос и гребни, такие, что в темноте светятся. Если пробудешь там слишком долго, сам начнешь светиться, как тот гребешок. Но вот я здесь. Да, очень миленький столик. Не знаю, едят ли они эти у телевизора. Если вы следующие, я подарю вам набор: тостер и подносы для закусок. — Она засмеялась. Голос был ровным и громким, словно она говорила в цеху, полном работающих механизмов. Долор решил, что тетушка, наверное, пьяна.

Она наклонилась к нему, загородив Эмму.

— Вы родом отсюда?

— Ну, я здесь родился, но рос в другом месте. Олд-Рэттл-Фолз.

— Ах-ха. А почему вы в коляске? Давно так?

— Никто не знает. У меня что-то с ногами. Началось в этом году.

— Дельфин! Вставай, мы уезжаем! Вставай, нам еще ехать девять часов. Я жду. — Это был Тути, толстяк с треугольным пятном пота на рубашке и болтающимися над бровями лохмами.

— Хорошо, сейчас. — Долору она сказала: — Приятно было познакомиться, — встала и про-

бираясь сквозь танцоров, двинулась к толстяку. Потом вернулся Эмиль, утащил Эмму танцевать, и Долор остался изучать раскиданные по столу обрывки салфеток и кольца ветчинного жира на перемазанных горчицей тарелках.

— Привет, Фрэнк. Я тебя искала. — Это была сестра Эммы, Анна-Мари, называвшая себя Митци: легкое очаровательное заикание, запах ландыша, серебряный крестик на груди поверх платья подружки невесты, мягкая тюлевая юбка, желтые сатиновые туфельки на кубинских каблучках. Не красавица, ей явно не хватало здоровой бодрости Эммы, но тонкость и нежность всегда привлекали Долора, как и внутренняя сдержанность ее интонаций. При каждой встрече девушка серьезно интересовалась, как он себя чувствует и о чем думает. Уилф как-то сказал ей, что в Гнезде Долора звали Фрэнком, и с тех пор она называла его только так.

— Нравится здесь?

Она посмотрела на него.

— Сейчас умру. Туфли такие симпатичные, но ужасно жмут. В магазине не было моего размера, пять с половиной, пришлось брать пятый. — Она вздохнула, сделала несколько глотков из стакана с вином. — Франк, можно я тебя о чем-то

спрошу?

Он знал, о чем она собирается спрашивать.

— Конечно.

— Что случилось с твоими ногами?

Господи, знал бы — напечатал листовки.

— Ничего. Просто что-то испортилось. Никто не понимает, что. Все было в порядке, пока через два месяца после того, как Уилф — Эммин — после того, как это случилось, я встал однажды утром и бум! Вот и все. Никто понятия не имеет, что и почему.

Она кивнула, словно он объяснил ей все причины и следствия.

— У меня для тебя что-то есть. — И протянула ему крошечную металлическую фигурку.

— Что это? — Он повертел фигурку. Это была серебряная нога, меньше дюйма длиной, с дырочкой в пятке.

— Это ex-voto — приношение по обету. Ты приносишь это Христу или святому и молишься, чтобы твои ноги излечились. Видишь, через эту дырочку втыкают булавку. И прикалывают к святому. Знаешь что, тебе обязательно надо поехать в храм у озера Пиклкейк, там храм святого Иуды. Это главный американский святой, он разбирается со всеми безнадежными больными,

когда врачи не могут ничего сделать. Мы один раз ездили в Сент-Анне-де-Бюпре в Квебеке, но там сплошные цыгане, сотни, наверное. У моей подруги были жуткие головные боли, как будто в голове молотком забивали гвозди, никто не знал отчего, тогда она поехала в храм святого Иуды, стала молиться об избавлении от страданий и дала святому Иуде маленькую серебряную головку, с тех пор у нее никогда не болела голова. Это было два года назад. Мы ездили вместе.

— Это католический храм? — спросил он, понизив голос.

Она смотрела на него с жалостью.

— Помнишь в прошлом году, когда мама с папой, — Эмма всегда говорила *«Mamam et Pére»*. — ...продавали дом, и никто не приходил даже смотреть?

— Кажется, — соврал он.

— Ну и вот, они держали его на продаже целый год, и ничего, тогда поехали в этот храм, помолились и попросили святого Иуду помочь, папа сделал такой маленький домик из бутылочной пробки, обтесал ее, и обрезал стамеской края, совсем простой, и они оставили домик там. Не успели они приехать домой, как зазвонил телефон. Это была женщина из Нью-Йорка, прошлым

летом проезжала мимо, увидела объявление и записала номер. Она сказала что сегодня искала что-то в сумочке, нашла адрес, вспомнила этот дом и хочет узнать, не продается ли он еще, папа конечно сказал да, остальное ты знаешь. Святой Иуда вступился, поэтому все так и вышло.

Долор смутно вспоминал, как Эмма говорила, что ее родители продали свой старый бревенчатый дом на озере Хонк какой-то женщине из другого штата и построили себе новый, одноэтажный, рядом со школьным бейсбольным полем.

Святой Иуда

До храма было двести миль через весь штат, затем по мосту на остров. Они ехали в маленьком «фольксвагене» Митци — хороший водитель, она вела машину уверенно и не слишком быстро, чтобы они могли рассмотреть окрестности. Пейзаж был ровным и болотистым, потом дорога пошла чуть в гору. Вдоль озера выстроились пустые летние домики, раскрашенные в вишневый, шоколадный, лимонный и ванильный цвета. Ветер перелистывал волны и захлопывал белые барашки на воде; Долор косился на тяжелые облака, похожие на скрученные мокрые простыни.

— Будет дождь.

— Какая разница? Это тебя проверяют.

По фисташково-зеленому мосту они въехали на остров и повернули на грунтовую дорогу. В сторону воды указывал знак с неразборчивой надписью: «Святой Иуда». Пошел дождь, крупные капли тыкались в ветровое стекло. «Фольксваген» въехал на засыпанную гравием площадку. Других машин не было. Дождь налетал порывами, ветер трепал волосы и хлопал нейлоном розовой куртки Митци. Она достала с заднего сиденья

коляску, помогла Долору сесть и покатила ее к озеру, к маленькому навесу из гофрированного железа. Колеса утопали в гравии.

Навес был повернут к воде, а передняя его часть открыта западному ветру. В глубине, на деревянной подставке стояла фигура — грубо вырезанный из дерева святой Иуда с лицом, как у гончей собаки, черный от дождя. Когда-то его покрасили яркими красками, но за много лет озерные шквалы, иней и снег, отраженный солнечный свет, летняя жара и зимние морозы уничтожили все цвета, а плесень покрыла фигуру разводами. Митци показала на стену за спиной святого: там на гвоздиках и булавках висело несколько десятков *ex-voto* — миниатюрный домик, который ее отец вырезал из крышки от «Невесты Святого Павла»[218], руки, ноги, легкие, почки, тележки, крошечные цепные пилы из обрезков фанеры, глаз, обрывок школьного табеля, рыболовный крючок. Вторая статуя святого, из пластмассы, высотой всего в один фут стояла в коробке от телевизора. Ручек на ящике не было, марки тоже, но Долор решил, что это шестнадцатидюймовый «Филко». Фанера из красного дерева

---

[218] Примечания: 218
Марка немецкого пива.

прогнулась.

Косой дождь попадал под навес, и сквозь мокрые ресницы Долор видел, как от ручек каталки отскакивают капли. Куртка и брюки промокли. Вода лилась на голову, текла по лицу, капала за ворот, замутняла и без того нечеткую фигуру святого Иуды. Он не видел стоявшую за спиной Митци, но слышал ее голос — серьезный, глубокий, истовый. Озеро взбилось белой пеной. Весь мир словно сжался в голую ветку сумаха. Долор подался вперед и воткнул булавку в мокрое дерево. Блеснула крошечная серебряная нога. Неведомое прежде чувство — была ли это вера? — заполнило его, и показалось, нет, он был уверен, что услыхал голос неба.

Все время, пока под порывистым дождем они ехали до мотеля, и окна машины запотевали от сырости волос и одежды, он чувствовал, как в ногах просыпается сила. Их комнаты располагались рядом, и Митци остановила машину перед его дверью.

— Не доставай каталку, — сказал он еле слышно. — Просто подойди с этой стороны. — Она обогнула машину, Долор открыл дверцу, повернулся, поставил ноги на землю, схватился за дверцу, встал. Она смотрела на него во все глаза,

лицо напряжено. На дрожащих ногах он сделал шаг вперед, а когда пришлось выпустить дверцу машины, Митци положила его руку себе на плечо. Так они прошли восемь шагов до дверей мотеля. Он поцеловал ее, соленые слезы, полились в распухшие рты, а трясущиеся ноги понесли их прямо к жесткой белой кровати.

— Нет, — сказала Митци. — Только после свадьбы. Я так пообещала Богу.

Свадебный гость

Он поправился очень быстро — такова сила чуда. Месяц спустя они поженились, новобрачный страстно мечтал о супружеском блаженстве, но медовый месяц им пришлось провести в Провиденсе из-за похорон тетушки новобрачной, Дельфин Барбю — на свадьбе она, как мертвая голова, задыхалась и хватала воздух изъеденным раком горлом, но по-прежнему требовала сигарет, по-прежнему заглатывала виски и вопрошала окружающих, видели они по телевизору этого жуткого шимпанзе или нет. Свои претензии она каркала толстому Тути, который принес ее на свадьбу и усадил, завернув в одеяло. Он же подошел к Долору и закурил, покачивая одиноким жирным локоном на лбу.

— Она хочет с тобой поговорить, — потянул его за рукав Тути. Долор склонился над восковым лицом, стараясь не вдыхать жуткую вонь, исходившую из дыры рта. Женщина согнула палец.

— Слушай. Ты сегодня женился на своей кузине. Ты дурак.

— Что вы такое говорите? У меня нет никаких кузин.

— Жена, — произнесла она прокурорским голосом. — Ты женился на своей жене. — Потом стала кашлять и кашлять, заходиться в кашле, пока толстяк не укатил ее прочь.

Ex-voto

— Фрэнк, — шепнула Митци, переворачиваясь в его руках и глядя с расстояния в несколько дюймов на его мягкие загнутые ресницы, темный колючий подбородок, красный рот и влажные зубы, блеснувшие, когда Долор улыбнулся звуку ее голоса. — Мне приснилось, что мы в лодке, потом она перевернулась, и все кроме нас утонули, а мы поплыли, и вода была, как мыло, но мы не тонули, потому что читали «Аве Мария», и это нас спасло. Фрэнк, мне приснилось, что ты обещал Богу и святому Иуде за то, что он оживил твои ноги, никогда больше не играть на аккордеоне; мне приснилось, что мы уехали отсюда в Портленд или в Бостон, и живем теперь совсем по-другому, счастливо и радостно.

Она объяснила, *что* ей здесь так не нравится. Рандом — сумрачное место, люди становятся угрюмыми, их все время тянет плакать, они чувствуют себя потерянно, будто ничто хорошее им не доступно. Мужчин захлестывает безнадежность. Женщины мечтают куда-нибудь вырваться, но попадают к грубым мужланам, которые их бьют и заставляют страдать, уроды с

черными оспенными лицами, как алюминиевые кастрюли, — они могут только унижать женщин и говорить, что те ничего не стоят. Эта глушь вгоняет человека в депрессию так, что ему потом никогда не выбраться, он застревает на полпути, и эту ловушку никто не видит, кроме него самого. Все потому, что в Рандоме все считают себя французами, хотя на самом деле никто не француз — они просто застряли между французами и американцами. Шанс есть только у тех, кто отсюда уезжает, они становятся настоящими американцами, берут другие имена и уходят из этого леса. Она спрашивала, что если ему поменять фамилию: вместо Ганьона пусть будет Гейнз.

— Фрэнк Гейнз, — сказала она. — Хорошо звучит. Хорошая фамилия для ребенка, легче выговорить, более американская, чем Ганьон. Зачем тебе эта французская фамилия? Мальчишки в школе, наверное, дразнились.

— Ага. Но французские мальчишки тоже дразнились, так что я думаю, дело во мне, а не в фамилии. — Его мало волновали эти материи. Он размяк от счастья и не способен был думать ни о прошлом, ни о будущем, просто жил одним мгновением.

— Фрэнк. — Прошло несколько недель. Они

лежали в кровати, а из соседней комнаты доносились звуки нового цветного «Зенита», который подарили им на свадьбу ее родители. Митци включила его по пути в ванную, а потом пошла в кухню, ставить на плиту чайник. Долор слабел от удовольствия — здесь, в теплой постели, слушая, как бубнит телевизор, словно котелок с овсянкой на плите, слушая ее — не столько слова, сколько милое жужжание голоса.

— Знаешь, Эмма с Эмилем собираются в свадебное путешествие, когда станет теплее. Они едут в Луизиану — у нас там родственники, и Эмма, ей хочется туда съездить, самой, посмотреть, что это такое, просто ради интереса. Она сказала, что если ты захочешь, Эмиль может взять твой аккордеон с собой, за него можно получить хорошие деньги. Больше, чем здесь. Она сказала, что Эмиль сказал, что можно продать долларов за сто, потому что это очень необычный инструмент. Ты ведь уже не играешь. Я думаю, ты должен пожертвовать чем-то ради Бога, Фрэнк, ради святого Иуды, который излечил твои ноги. И ты знаешь, это ведь такой инструмент, над которым все смеются, французская штука, ну, ты понимаешь. — Наступила долгая тихая минута, когда слышался только голос телевизора

и их дыхание. Ему хотелось, чтобы она прочла его мысли о том, как он счастлив сейчас, и как мало его заботит аккордеон, да забирайте все, что угодно, если можно лежать вот так и медленно плыть в жужжании ее голоса.

— Фрэнк, — не выдержала она. — Мне тоже нужен шанс. Мне нужен шанс что-то сделать, что-то сделать вместе с тобой. Я хочу, чтобы у наших детей были в этом мире возможности, чтобы они не застряли в этой глуши. Фрэнк, мне хочется плакать, когда кто-то, кто-нибудь из янки приветливо заговаривает со мной — просто в магазине. Все остальные ведут себя так, мол, посмотрите, еще одна французская дурочка. Ты не говоришь по-французски, ты не знаешь, кто твои родители и откуда они взялись, никто их здесь не помнит, они просто прошли мимо, вот и все.

— Ладно, — сказал он. — Почему бы и нет. Почему бы не продать аккордеон. Как-то я перестал сходить по нему с ума. Мне все равно. Сколько дадут, столько и ладно. Хорошо, — сказал он. — Пусть будет все, как ты хочешь. Неплохая вообще-то мысль — куда-нибудь уехать. Я когда-то хотел стать телемастером.

— Фрэнк, — воскликнула она. — Ты можешь поступить в колледж, ты можешь стать кем угодно.

— Только знаешь, я не буду менять фамилию на Гейнз. Фрэнк — ладно, но Ганьон пусть останется. Это все, что связывает меня с родителями.

Она выскользнула из-под одеяла и ушла в кухню готовить для него вымоченные в молоке тосты с кленовым сиропом, которые он съел прямо в постели, под серебряным распятием, а Митци в это время чистила его брюки и мазала гуталином рабочие ботинки. Но красными пузырями уже вскипала мысль, что это пьянящее счастье не может продолжаться долго. Он думал о том, что человек из Монмани называл *douceur de vivre* [219]. Да, сейчас его кости промаринованы в чаше с вином, но надолго ли его хватит, через сколько дней его вновь насадят на вертел и сунут в пламя?

Митци была в ванной, а Долор совал себе под ноготь булавку до тех пор, пока не показалась кровь, как напоминание о боли и одиночестве, от которых его избавил Бог и святой Иуда. Не отпускала предательская мысль, что он лишь чуть-чуть приподнялся над глубокой ямой — боль и слабость ждут своего часа, чтобы наброситься на него опять; он не излечился.

---

[219] Примечания: 219
Сладость жизни *(фр.)*.

Эмиль рассказывает анекдот

Эмиль осмотрел аккордеон. Нужен ремонт — одна кнопка немного западает, — хотя кожа на мехах хорошая и вполне еще крепкая, звучит неплохо; он нагнал внутрь дым — проверить, не пропускают ли меха воздух, но дым наружу не вышел. У этого инструмента особенный тон, грустный и эмоциональный. В Луизиане понравится.

— Купят, наверняка найдутся желающие. Знаешь, я ничего не имею против французов, но эти негрожопые[220], они, как бы это сказать, заводные, но не слишком умные. Знаешь анекдот: Тибоду приходит в бар выпить с приятелями, а оба уха у него в ожогах. «Что у тебя с ушами?» — спрашивает его друг Будру. «Ох, не говори», — отвечает Тибоду, — «Сижу я в кухне, а рядом гладильная доска; Мари ушла проведать маленький домик, — и тут телефон. «Алло, алло, *cher*

[220] Примечания: 220
Имеются в виду жители Луизианы французского происхождения. Они селились в тесном соседстве с чернокожими и потому получили такое уничижительное прозвище.

[221]», — говорю, но, боже, вместо трубки я схватил утюг». «Но что со вторым ухом, Тибоду?». «Со вторым? Этот идиот через секунду позвонил опять».

Он громко захохотал и высморкался в салфетку с серебряными колокольчиками, оставшуюся после свадьбы. Если не дадут хорошие деньги, сказал он Долору, он купит его сам, и аккордеон останется в семье. Так что Долор всегда сможет опять начать играть.

— Нет, я никогда больше не игра… не буду играть. — Митци теперь следила, чтобы он говорил правильно.

---

[221] Примечания: 221
Дорогой *(фр.)*.

В Луизиану

— Господи, скоростные трассы — это что-то, — сказал Эмиль Эмме, — через всю страну и в два раза быстрее.

— «Едем в «ше-вро-ле» через Сэ-Ша-А, Америка великая ля-ля-ля», — смешным детским голоском пропела Эмма. — Они сидели в новой машине — сером, как чертополох, восьмицилиндровом «шевроле-седане», хотя Эмилю больше нравились с высоким багажником. В Канзас-Сити на танцах они всю ночь слушали польки, их там играют в таком сумасшедшем темпе, что почти невозможно танцевать, хотя одна пара плясала все самые быстрые, да еще крутила один на двоих хула-хуп, за что сорвала бурные аплодисменты.

— Хоть огонь добывай, — сказал Эмиль.

В Де-Плэйне, не выходя из машины, они съели за пятнадцать центов гамбургер в специальном кафе под названием «Мак-Дональдс», которое им посоветовал рабочий на автозаправке, и покатили по 66-му шоссе, останавливаясь каждый вечер посмотреть кино, тоже не выходя из машины, — Понтиак, Окойя, во Фэнкс-Грове Эмма купила банку кленового сиропа, мимо элеваторов

с зерном, стоянок для грузовиков и любителей хот-догов, «Шоферских домиков Юга», тысяч бензоколонок — «Тексако», «Шелл», «Мобил», «Филипс-66», Эмма сняла для ночлега туристскую будку только из-за того, что ей приглянулась надпись «ТЕПЛО — ПОКОЙ — ХРИСТИАНСКАЯ АТМОСФЕРА», колеса стучали по замазанных гудроном трещинам на четырехрядной автотрассе. Около Сэнд-Оула они видели страшную аварию, по всей дороге было разлито масло, вода и бензин, в придорожной канаве три машины, одна вверх колесами, на траве распростертый человек в окровавленной белой рубашке, мигающие красные огни полицейских машин.

— Я не смотрю, — сказала Эмма, и они покатили в Сент-Луис и Роллу, где уже было по-настоящему жарко, потом повернули на юг в Литтл-Рок, и прочли на придорожном знаке:

Какое
Последнее Чудо
Совершил Иисус
Перед Тем, Как
Его Распяли? –

но ответа не было, и дальше — к Кубе, мимо уворачивающихся опоссумов, в Альтон, посреди

кукурузного поля развевается американский флаг, Сирси, Лонок, Фордайс, Начитохес, Банки, мимо придорожных домиков, кафе с гигантской молочной бутылкой на фасаде, по поводу которой Эмиль вспомнил собаку на крыше фабрики патефонных пластинок, а Эмма ответила, что ничего общего, в Кеннебанкпорте они заглянули в сувенирную лавку, построенную в виде кита, но все затмило кафе-мороженое — огромный черный медведь, нужно было заехать между лап, сказать в микрофон, чего хочешь, а потом в хвосте получить заказ — и, в конце концов, выехали на плоскую жаркую равнину почти у Мексиканского залива.

В последний дорожный вечер Эмма позвонила матери — сказать, что они уже почти на месте, как мальчик, он уже спит? привет малыш, это мама… уже скоро… через неделю поедем назад, я тебе кое-что привезу… спокойной ночи… привет, *Maman*, у него веселый голосок, и — что? Что? ЧТО? С каменным лицом она вернулась в машину и, крутя ремешок от сумочки, с трудом втиснулась на сиденье.

— Что случилось? — спросил Эмиль. Она долго не произносила ни слова, наверное, час. Он вел машину медленно и осторожно, все время

посматривал на Эмму, гладил по колену и повторял: скажи, скажи мне, мальчик, тогда что, она покачала головой, мать, отец, тогда что? А? Что случилось? Наконец он съехал с дороги. То была гравиевая площадка у заболоченного ручья, под зарослями деревьев, обвитых гирляндами испанского мха. Пахло гнилью.

— Говори.

— Долор. Самоубийство. Эмиль, у него было все, чтобы жить, никто ничего не понимает. Оставил ей записку. «Я счастлив» — и все. Моя бедная сестра, ее держат на таблетках.

— Господи боже. Когда?

— В субботу. Позавчера. Мы ехали, и смеялись, и радовались, и этот маленький зеленый аккордеон в багажнике, а он в это время… — Пожалуйста, пожалуйста, Эмиль, думала она, только не спрашивай, как.

НЕ ПОДАВАЙТЕ РУКИ МЕРТВЕЦУ



Клавишный аккордеон

Новый хозяин

На газоне стоял грузовик с корявой надписью на ветровом стекле: ПРОДАЕТСЯ — $400. Перед гаражом пыхтел седан, в нем — силуэты пассажиров, на заднем сиденье скрючились дети, а по крыше стучала длинная железная коровья кормушка. По фигуре жены на соседнем с шоферским месте было заметно, что она беременна. Распахнутой водительской дверью с удовольствием воспользовался черный комариный поток, в то время как сам водитель, Бадди Мэйлфут, мускулистый, в белых джинсах, белых резиновых башмаках, на шее цепочка с найденной в устричном садке енотовой лапкой, склонился над болтающимися проводами открытого капота грузовика, проверил скрюченным пальцем прочность приводного ремня, изучил абсолютно сухую палочку для проверки уровня масла, после чего выпрямился и пнул крепкой ногой дряблую покрышку. У него было костистое и квадратное, как ящик, лицо: челюсть одной ширины со лбом, макушка словно приплюснута, а уши так и остались оттопыренными, несмотря на все липкие ленты младенчества. Высоко на черных кудрях сидела

засаленная кепка. Он был правосторонним человеком — во всем, начиная с мочки правого уха, более широкого, чем левый собрат, глаза, дальше пять длинных волос вокруг правого соска, ногти на правой руке росли быстрее, чем на левой, потом длинная правая нога и ступня, на целый размер больше другой. За решетчатой дверью дома показалась чья-то фигура, щелкнула ручка, но Бадди лишь взмахнул рукой, помотал головой, залез в седан и стал сдавать назад.

— Ну и как, что скажешь хорошего? — Голос принадлежал его отцу Онесифору, курившему на заднем сиденье сигарету. У этого человека была такая же квадратная челюсть, как и у сына, только заросшая седой щетиной, рыжеватые волосы торчали гребнем, а линзы очков отражали сейчас рисовые поля и водянистое небо.

— Да что там хорошего? Можно подумать, эту чертову машину отколошматили дубинкой. — На лбу у Бадди красовалось пятно, похожее на знак касты.

— Ай-яй, ты же получил за нее деньги, и на что ж ты их тратишь. Посмотри: и телевизор, и аккордин. Надо быть поэкономнее. — Он выбросил сигарету в окно.

— Я тоже так думаю, — сказала с переднего

сиденья невестка, слегка поворачиваясь, чтобы Онесифор увидел на ее лице согласие. Она была в свободной складчатая блузе, ноги искусаны комарами.

— Кажется, я теперь буду во всем виноват. Кажется, все забыли, что я сам знаю, что я должен делать. *Va brasser dans tes chaudières* [222].

Припадая на все колеса, седан неуклюжими толчками влез на дорогу.

— Сейчас я тебе скажу, что ты должен делать, — послышалось с заднего сиденья. — Ты должен ехать по-человечески, если не хочешь получить от меня по голове ножкой от стула. Не думай, что ты такой большой — ты у меня еще попляшешь. Я намерен добраться до дома живым и проверить, хорош ли аккордин.

— Правильно, *Papa,* заставьте плясать своего несчастного хромоногого сына.

— Ты такой же хромоногий, как и я. Хорошо будет, если он настроен на ре. — Онесифор Мэйлфут наклонился к переднему сиденью, чтобы еще раз бросить взгляд на расположившийся у ног невестки аккордеон.

— Да? Посмотрел бы я, как бы вы сами ходили

---

[222] Примечания: 222
Собрались сварить меня в котле *(фр.).*

на таких ногах. Я же вам уже сказал, что это ми.

— Я? Ох-хо, лучше бы ре. Помнишь, какой красавец «Амброс» был у Тибоду — или старый «Майор»?

— Мечтать не запрещается.

— В мое время сын никогда в жизни не позволил бы себе так разговаривать с отцом; мы жили у себя дома, сами растили для себя хорошую пищу, ох-хо, никаких супермаркетов, только *sacamit* [223], добрую охряную бамбию, *boudin* [224], разве сейчас такую где найдешь, ох-хо, какими вы тогда были хорошими ребятами — все наши беды начались, так и есть, когда детей заставили ходить в школы, говорить только на *américain*. И ты, и Белль, вы говорили на французском. На таком прекрасном французском, когда были маленькие, а теперь что — теперь я не слышу от тебя ни слова; а что мои внуки, они не знают, что такое чизбургер из *tortue ventre jaune* [225]. — Он закурил новую сигарету.

— Да? Посмотрел бы я, что бы вы стали делать

---

[223] Примечания: 223
Полента *(фр.)* — кукурузная каша.

[224] Примечания: 224
Кровяная колбаса *(фр.)*.

[225] Примечания: 225
Желтобрюхая черепаха *(фр.)*.

со своим французским на буровой? Вы забыли о нефтяных парнях из Техаса или Оклахомы, у них деньги, они держат в руках все работы, вообще все — им требуется чистый американский язык, для них надо писать отчеты, везде одно и то же. Что толку для меня во французском языке? Этот секретный язык, для чего он? Как дети сочиняют себе свою латынь, *ятя бятяте блюбялю.* Хорошо дома, поговорить с родней или попеть песенки. — Дернулся правый глаз, от напряженных разговоров с отцом у Бадди всегда начинался тик. У заднего стекла лежал ребенок, другой, по имени Биссель, присев на корточки, раскладывал камешки на дедовском ботинке. (Через шестнадцать лет Биссель, поселившийся к тому времени в Батон-Руже и ставший барабанщиком диско-группы, приехал в родной город и попал на концерт «Дань музыке каджунов», где тысячная толпа криками и овацией приветствовала старого Мэйлфута.

— Ой, бля, то ж мой дед, — обалдело прокричал он своей подружке, словно это родство хранилось от него в строжайшем секрете. Когда старик умер от трихинеллеза, Биссель переключился на аккордеон, примерно год с жутковатой точностью воспроизводил дедовский стиль, но позже

соскользнул в «болотный поп».)

— Дедушка, ты видел черепаху, когда был маленький?

— Видел? Мы их ели. Летом, когда пересыхали болота, мы выкапывали их из земли. Если после грозы они не выползали сами. Держишь в загоне, а потом съедаешь. Но лучше всего, если попадется самка с яйцами. Мы умели их щупать, брали и щупали пальцами черепах, как там насчет яиц. *Maman* готовила мясное фрикассе, а самое вкусное знаете что — желток прямо на тарелку, ну точно цыпленок. Вы никогда не ели черепах? Это хорошо! Подумать только, яйца варились весь день и всю ночь и еще целый день, а белок все равно жидкий. Его высасывали через скорлупу, а скорлупа — можно подумать, что из кожи. Сколько лет я не видал черепах, наверное, лет пять. Изумительно пахнет это *cafe!* На дорогах *cafe* всегда так дивно пахнут, ох-хо. Я бы, пожалуй, не отказался. Скорее поехали домой. *Á la maison, mon fils!* [226]Этот *petit noir* [227] сейчас сам запрыгнет мне в рот. *«Lecafnoirdansunpaquetbleu, leplusjebois,*

---

[226] Примечания: 226
Домой, сын мой *(фр.)*.

[227] Примечания: 227
Маленький черный *(фр.)*.

leplusjeveux» [228], — радостно пропел он дрожащим причитающим голосом — эти завывания уходили корнями в исчезнувшую музыку читимака и хума. — А знаете, что я вам скажу, сейчас опять будет дождь. Вы только посмотрите. — Со стороны залива надвигалась сине-черная туча. Невестка повернула голову к юго-западу и кивнула, как бы лишний раз напоминая об их со свекром тайном альянсе против Бадди и мадам Мэйлфут. Онесифор потрепал ее по плечу, затянулся сигаретой и запел опять; седан катился по горячей равнине.

Семейство Мэйлфутов — недоброжелатели утверждали, что их фамилия происходит от слова malfrat, гангстер — представляло собой прочный и сплоченный клан, сетку, растянувшуюся по всему континенту, словно колоссальная грибница. В семнадцатом веке их французские предки, переплыв Северную Атлантику, высадились в *Acadie* и зажили в Новом Мире, игнорируя английский язык даже тогда, когда Франция уступила права на эту территорию англичанам, которые тут же переименовали ее в Новую Шотландию и потребовали от жителей клятвы

---

[228] Примечания: 228

Черный кофе в голубом стакане — чем больше пьешь, тем больше хочется еще *(фр.)*.

верности. Мэйлфуты вместе с тысячами других прибрежных поселенцев *Baie Fransaise* [229] не удостоили вниманием столь нелепое условие, и этот недостаток энтузиазма британцы посчитали признаком нелояльности. Тысячи акадийцев были посажены на корабли и отправлены в американские колонии, некоторые уехали сами. Мэйлфуты оказались сперва в Сен-Пьере, затем на обломке каменистого Ньюфаундленда под названием Майквелон, потом на корабле, плывущем во Францию, потом — в самой Франции, откуда, прокантовавшись несколько месяцев, они вновь отправились через океан на этот раз в Галифакс, а уже из Галифакса в Новый Орлеан, французскую Луизиану. Решение оказалось несвоевременным, поскольку несколько лет спустя эта территория была передана Испании. Беженцы двинулись на север и на запад по сырой дождливой земле, населенной индейцами опелуза, аттакапа, читимака и хума — к акадийским берегам, болотистым речкам Техе и Куртаблю; они учились выдалбливать из дерева утлые плоскодонки и жить среди вечной сырости. Они перемешивались, роднились, вбирали чужую и

---

[229] Примечания: 229
Французский залив *(фр.)*.

отдавали свою кровь всем племенам в округе: гаитянцам, вестиндцам, рабам, немцам, испанцам, свободным цветным (многие из них носили имя Сенегал в честь реки их родины), *nègre libres* [230], англо-поселенцам и даже *américains*, формируя по пути свою пропитанную Францией культуру *méli-mélo* [231]: позаимствованный у германцев аккордеон вдохнул жизнь в кухонную музыку сухих равнинных провинций, а скрипка нашла себе место в провинциях дождливых.

Вдоль рукавов великой реки тянулись наносы невероятно плодородного суглинка. В стране аттакапа Мэйлфуты сажали тростник и кукурузу, работали на плантациях бок о бок с вывезенными из Китая батраками, погоняли больших сахарных мулов — при этом ни одному из Мэйлфутов так и не удалось поселиться в шикарном особняке; в Опелузас им достались маленькие хлопковые и кукурузные фермы, иногда на паях с кем-нибудь еще. Бататовые грядки, ряды ирландского картофеля.

На островах и в долинах речных рукавов вырастали дома в креольском стиле: над поверхностью

---

[230] Примечания: 230
Вольные негры *(фр.)*.

[231] Примечания: 231
Эклектичная, соединенная из разнородных элементов *(фр.)*.

земли их удерживали кипарисовые *piliers* [232], крыши изломанной формы, класть которые их научили западные индейцы, прикрывали веранды и лестницы, а продолжения крыш — *fausse galerie* [233] — не пропускали внутрь косой дождь. Мэйлфуты обмазывали стены известняком и мхом, выращивали рис «Голубая роза», а в огромном пресноводном болоте, называвшемся бассейном Атчафалайя, собирали все тот же мох, стреляли аллигаторов, плавали, отталкиваясь шестами, сквозь топь, мимо белых, как снег, цапель, вылетавших, словно хлопающие скатерти, прямо из-под носов их лодок, и частенько выпутывались из горько-соленых лабиринтов трясины, сердечника и мятлика, что тянулась по болоту до самого залива. На этом заливе Мэйлфуты, прежде искусные тресколовы и китобои северной Атлантики, таскали креветок, собирали щипцами устриц, забрасывали сети, а с 1953 года, когда правительство учредило здесь оффшорную зону для бурения, переключились на нефть, но никогда уже не могли забыть медленного скольжения пироги по черным каналам,

---

[232] Примечания: 232
Опоры *(фр.)*.

[233] Примечания: 233
Фальшивые галереи *(фр.)*.

шелеста болотной травы, нутрий в ловушках, *la belle cocodrie* [234] с блестящими от влажной ряски мордочками. Окутанные зудящими комариными облаками, убивая хлопками жадных до крови оводов, Мэйлфуты упорно вгоняли свои шесты в мерцающую воду, небо и болотную траву — правда, все чаще и чаще жаловались они на то, что все меняется, чужие водные гиацинты засоряют протоки, а креветочные питомники вымирают после того, как армейский инженерный корпус перегородил своими дамбами естественное течение дельты Миссисипи, отрезав таким образом залежи ила, которые, приплывая из самого сердца континента, прежде питали болота, а теперь бессмысленно уносятся в океан. Топи и трясины разжижались, опускались и проваливались вглубь. (Поколение спустя пятьсот квадратных миль земли оказались под водой. Уничтожив соляные топи, половину освободившейся площади люди затопили пресной жижей для рисовых полей, а другую высушили под пастбища и быстрые деньги, которые техасские скотопромышленники платили за выскобленных телят.)

Мэйлфутовских родственников с квадратны-

---

[234] Примечания: 234
Прекрасный крокодил *(фр.)*.

ми челюстями легко можно было встретить в Нью-Брансвике и в Мэне; они разбрелись по всему Техасу, у залива в Бьюмонте, добрались и до Биг-Тикета — через Бэзила Мэйлфута, который, женившись, перебрался к грубым крестьянам Племон-Барко с их дворняжками и громогласными куньими охотами за грязными дворами фронтиров — ходили легенды про то, как лихо этот Бэзил, усевшись на спину лошади, заставлял собак брать в кольцо немеченных свиней, набрасывал веревку на молодого визжащего поросенка, подтаскивал его к седлу, отстригал концы ушей и отпускал. Свист лассо, визг, следующий.

Старший брат Бэзила, Элмор Мэйлфут разводил скот, выращивал свиней и боролся с техасской жарой, клещами и мухами на северной границе прерий Салкасю, неподалеку от поросшей соснами равнины, где подобно тому, как мысы и песчаные косы врезаются в море, острые выступы леса вонзались в степные травы, а заросли пекана, дубовые рощи и небольшие выемки прерий будили ностальгию своей схожестью с почти забытой береговой линией — там были в ходу имена бухт, заливов и островов. В лесах к северу от прерии жили осколки шотландских ирландцев и вперемешку с ними — американцы,

лишенные на своих уединенных квадратах земли радостей хорошей компании и доброго соседства; со среднего запада тянулись германцы — растить рис вместо надоевшей пшеницы; французский язык забывался вместе со вкусом болотной воды.

Третий брат Онесифор осел в поселке Гужон. Как и в давние времена Святого Лаврентия за домами там тянулись длинные узкие полосы распаханной земли. Онесифор растил свиней и тростник, выгонял на *gazon* [235] нескольких мелковатых коров, трава там росла сочная и крепкая, но на корм шла плохо, чахла и гнила, когда после зимних заморозков начинались никому не нужные дожди. В тридцатые годы штат покрыл асфальтом старые гумбовые дороги, а позже, в 1959-м, люди сами построили макадам — так ушли в прошлое непролазная топь и пыль грунтовки, которую они когда-то проложили вдоль реки, нарисовав на земле еще один узор.

Онесифор Мэйлфут смутно помнил своего отца, человека по имени Андрэ, который умудрялся, даже стоя на ногах, выглядеть так, словно сидел, развалившись в кресле; он сам с помощью упряжки волов и онесифоровских братьев Элмора и

---

[235] Примечания: 235
Зд. — пастбище, лужок *(фр.)*.

Бэзила притащил в чистую прерию новенький дом (строили его в Мермантау, неподалеку от лесопилки).

— Его тянули до Гужона целых три дня. Ох-хо, больше чем десять миль в день не выходило ну никак. Бедный малый, удачи в его жизни было, как у тощего теленка. Едва успел сдвинуть дом с места, и что за беда, забыл, что подпер его на ночь домкратом — подумать только, упал со стены и сломал себе ногу. — Дом вкопали между четырьмя огромными кустами жасмина, пьянящий, усыпляющий аромат стал родным запахом для любого из Мэйлфутов, когда-либо живших в его стенах; без этой цветочной сладости мучился Бадди, когда уходил на четырнадцать дней на буровую — зарабатывать хорошие деньги и умирать от тоски по дому.

— Расскажи-ка мне толком про этот аккордин — где ты его достал, и что же в нем такого особенного. Не понимаю, зачем нужно было покупать? Сколько у нас аккординов — «Наполеон Ганье», потом этот синий, что еще — испанский трехрядник, да, и твой, твой прелестный маленький «Сопрани», и потом этот, помнишь, мы недавно починили, старый «Монарх», черный с золотом.

Ох-хо. Теперь у нас появился *un mystère* [236] аккордин, а?

Второй раз за всю дорогу невестка открыла рот.

— К Мари Пита Люсьена приехала погостить племянница Эмма, из Мэна, ее муж Эмиль там занимается музыкой, а этот аккордеон…

— Кантри, он играет кантри и вестерн. Ну, вы сами знаете, «Оседлай-ка, парнишка, мустанга и скачи сквозь костры через ночь…» — прохрипел Бадди, передразнивая йодль. — На кой черт им в Мэне такая музыка? Папа, у вас есть сигареты?

— А здесь что, не так? «Хэппи Фэтс», они что, совсем не зацепили этот кантри-вестерн? «Рэйни-Бо Рэмблерс», «Хакберри»? *Diable*, они играли все то же самое, еще когда я был еще *bébé*. А как насчет послевоенного Фрэнка Дедлайна? Я тоже этим балуюсь, ох-хо, вестерн-свинг, можно подумать, ты сам тут ни при чем — то, что ты играешь, сплошь и рядом получается как чистое кантри. Черт, а по радио что — не сплошное кантри? Ты же сам говорил, что на твоей буровой только кантри и гоняют. Так значит этот несчастный Эмиль, который играет на аккордине кантри-вестерн,

---

[236] Примечания: 236
Таинственный *(фр.)*.

приехал к нам, послушал луизианскую музыку и решил, что, ох-хо, продам-ка я свой аккордин, никогда мне не сыграть так, как каджуны, а?

Окутанная сизым дымом невестка отрубила:

— Ничего подобного.

Бадди подтвердил:

— Ничего подобного. Не уважает он нашу музыку, слишком, говорит, грустная и неровная. Нет, у него отдельный аккордин, здоровый белый клавишник, весит три тонны, а звук что у маленького десятикнопочника. Этот аккордин, который здесь, другого парня, мужа сестры его невесты. Невеста — это Эмма, а ее сестру Мари зовут Митци. На Мари женился парень из Мэна, забыл, как его зовут, этот аккордин его. — Бадди указал на футляр в ногах жены. — Но все обернулось плохо, не знаю, это как-то повязано с Эмминым первым мужем, который погиб в аварии. Помните, нам рассказывали?

— Я только знаю про бедолагу, что убился на грузовике, ох-хо.

— Он и есть. Эммин муж, первый муж, который был до Эмиля, который продает аккордеон друга Эмминого мужа, который разбился на грузовике, этот самый друг женился на Эмминой сестре Мари, которую зовут Митци, у него еще было

что-то с ногами, не знаю, как его зовут. И почему им там у себя не играть французские песни про цепные пилы и грузовики с бревнами? Нет, им подавай ковбойские шляпы. Так вот, этот друг Эмминого мужа с больными ногами, который разбился на грузовике — он и друг Эмиля тоже — это его аккордин, а пока он ездил на каталке, он пообещал богу, что если поднимется на ноги, то никогда больше не возьмется за аккордин. Так оно и вышло. Он поправился. И тогда! Он убивает сам себя. Самоубийство через три месяца после свадьбы! Так вот, Эмиль и Эмма уже едут сюда продавать аккордин, тут уже кто-то собирается его покупать. Теперь Мари, которую зовут Митци, которая сестра Эммы и жена друга Эмиля, у которого были больные ноги, и который на каталке, он еще друг Эмминого мужа, который разбился на грузовике, ей теперь пригодится каждый доллар. Ну вот, а кому тут у нас надо кнопочный аккордин? Никому. Они говорят, это все французское, а нам подавай гитару, рок-н-ролл и все такое. Я на нем немножко попищал, должен вам сказать, папа, это что-то особенное, вам понравится инструмент — длинные меха, легко сжимаются, голос, как будто плачет. Ох, бедная маленькая гармошка, ей было так одиноко на

севере среди этих сосен, этот бедный самоубийца, она всю ночь проплакала в подушку.

— *Vite! la maison!* [237] Не терпится послушать, как играет этот аккордин.

— Он выцарапал на боку свое имя, но я думаю, можно потереть наждаком, и все будет в порядке. Меха из кожи, *trés bon* [238] козленок, очень податливая. Он ее смазывал, чтобы не пересыхало, чем там у них на лесоповале мажут лошадиную упряжь.

— Он не жеский, легко идет, когда играешь? Меха из кожи обычно жесковаты, ох-хо, точно тебе говорю. Помнишь аккордин, на котором играл Айри Лежу, до того, как уехать — как будто трупак сжимаешь. — Онесифор выдул сквозь сморщенные губы струйку дыма.

— Не, он легкий. И, похоже, очень хорошая форма. Вы скоро сами убедитесь, папа.

---

[237] Примечания: 237
Быстро! Домой! *(фр.)*

[238] Примечания: 238
Очень хороший *(фр.)*.

Trois jours apr s ma mort[239]

Миновав перекресток с бензоколонкой, они подъехали к поселку.

— Погодите, погодите. Это еще что такое? — Онесифор указал на строившееся здание — братья Мараис прибивали гвоздями наружную обшивку, оставляя пустые прямоугольники для зеркальных окон.

— Ресторан. За ним кто-то из Хьюстона. Будет называться «Каджун-кафе Буду»: джамбалайя[240], вареные раки и всю ночь живая музыка. Для туристов.

— Что еще за Буду?

— Нет никакого Буду. Они придумали фамилию, чтобы звучало по-каджунски, француз и все такое. Туристская индустрия, работа для местных, вот хотя бы братья Мараис.

— Знаешь, что я тебе скажу, — произнес Онесифор, зло кося глазом, — вот наше поколение,

---

[239] Примечания: 239

Три дня после моей смерти *(фр.)*.

[240] Примечания: 240

Густая похлебка или рагу с рисом, мясом и креветками, традиционное блюдо луизианской кухни.

мы просто живем. Мы не думаем, кто мы и что, мы родились, живем, ловим рыбу, возимся на фермах, едим домашнюю еду, пляшем, играем музыку, стареем и умираем, и никто не приходит нам надоедать. А ваше все ломается. Вы говорите только по-американски, ни тебе французского, видали. А то еще бывает так: О, я выучу французский язык, о, я буду каджуном, быстро скажи мне, как это будет по-французски, и давай сюда *'tit fer* [241], я вам счас сыграю каджунскую музыку. А посмотри на своих *bébés*, что они будут видеть — приходят чужие люди, строят рестораны, никто не хочет есть домашнюю еду, никто не ходит на танцы, все вместо этого отправляются в ресторан какого-то техасца, все для туристов, чтобы смотрели на каджунов, как на мартышек. КАДЖУНИЯ! Еще вывеску повесьте.

Бадди закатил глаза. Они миновали лавку Дюмона, затем волнистую линию забора с двумя рядами колючей проволоки, огораживавшего новый фермерский дом Бо Арбу: наличники на окнах покрашены синей, как море, краской, на свежескошенном газоне расселись гипсовые утки, а на крыше — первая из длинного ряда

[241] Примечания: 241

Металлический треугольник *(фр.)*, музыкальный инструмент, с помощью которого обычно задается ритм.

телевизионных антенн рисует в воздухе петли и завитки, напоминающие своим узором старое клеймо для скота — «сковородку с гадюками».

— Вы только посмотрите на этот симпатичный домик, и ведь никогда не скажешь, что старик Арбу умер от проказы. О, я помню, тогда все только и говорили, что ноги у него, как сыр, а большой палец отвалился прямо в спальне, потом его увезли в Карвилль, в лепрозорий. Специально ведь скрывали, чтобы он мог пожить дома.

— Как же, был бы у него такой дом, если бы не буровые, — промычал Бадди правой стороной рта. Они обогнули онесифоровскую поилку для коров и свернули к гаражу. Бадди с невесткой жили на другом конце поселка у рисового поля в щитовом доме, за который еще нужно было выплачивать кредит. Пикап остановился рядом со старым грузовиком Онесифора; краска с машины полностью облезла, а изъеденный мокрой солью темно-красный кузов покрывали вмятины — следы аварии, в которую как-то попал старик, и гульбы распаленных водителей на парковке перед танцзалом. По всей кабине, словно брызги, дыры от пуль — память о той ночи, когда убили Белль.

— Давай сперва снимем кормушку, — сказал

Онесифор. — Хочу выставить ее за ограду на место этой старой деревяшки. — Одинаково зажав сигареты углами ртов, чтобы дым не лез в глаза, они оттащили кормушку к забору и выволокли наружу старое ломаное деревянное корыто, которое стояло тут всегда, по крайней мере столько, сколько Бадди себя помнил; Онесифор прикрутил обновку проволокой. Гальванизированный металл ярко сверкал на солнце.

— Пока пустое, коровы не будут его бодать, охохо, — сказал он. — Надо бы дать им немного сена, пусть привыкают к новой штуке. — И вывалил в корыто тюк. Послышались раскаты грома.

Белль

Невестка заставила детей снять на крыльце обувь; мадам Мэйлфут была помешана на чистоте — еще и поэтому Бадди с семьей так редко сюда заходили. Белая газовая плита уравновешивалась сверкающим холодильником у противоположной стены. Чистый голубой свет, падая из окна, отражался сначала от белой эмалевой поверхности обеденного стола, а потом от урны из полированного стекла. Пол был покрыт белым линолеумом и натерт до гладкости воды. Мадам Мэйлфут перестелила этот линолеум несколько лет назад после того, как на парковке в Эмпайре застрелили Белль. В ту ночь еще три человека получили пули или удары ножом, двоих ранил взбесившийся пьяный бандит по имени Эрл, которого вышвырнули из бара за то, что ему захотелось помочиться на чужие ноги (он потом умер в тюрьме от приступа кашля). В темноте и суматохе люди бросались от одной стены к другой, на улицу и обратно, словно муравьи от лошадиных копыт. Эрл принял Белль за одного из барменов — оба были стройны и невысоки ростом, у обоих лохматые курчавые волосы: она

получила в грудь заряд картечи и на следующее утро умерла в больнице. В приемной тогда пахло морскими свинками.

И прежде опрятная и собранная мадам Мэйлфут после похорон Белль помешалась на чистоте, мало говорила и надолго погружалась в молчание. Она оставила постель Онесифора, и спала теперь в комнате погибшей дочери. В потоке света восходящей луны ей часто казалось, что девочка всего лишь уехала в Техас навестить кузин. Плавная возвышенная музыка и чистые голоса лились, огибая рваные облака, вместе с лунным светом прямо в комнату. Лучи рисовали на стене тонкую закругленную сетку, похожую на натянутый лук с волокнистой бахромой и тесьмой на одном конце, а над стоявшим у окна электрическим обогревателем колебались вместе с воздухом длинные нити луны. Она не могла найти источник этого странного и прекрасного узора — он висел над кроватью несколько минут, потом исчезал, оставляя после себя обычную скучно-белую стену. Женщина видела в нем знак того, что ее дочь на небесах. По секрету от всех она купила набор красок и, когда Онесифор уходил из дома, восстанавливала образ умершей дочери, сначала на листах бумаги, потом на квадратах

холста — без мольберта, просто расстелив его на столе, она копировала старые фотографии. Сперва нарисовала ее совсем маленькой, потом появилась девочка с поднятой над головой черепахой, следом — она же на коленях во время молитвы, и вот молодая женщина сидит рядом с отцом и бьет в *'tit fer*, который и стал причиной ее смерти, ибо если бы она не лезла за Онесифором и Бадди в эти буйные притоны, не бы носила эти американские джинсы, имела бы грудь пополнее — бедная девочка, плоская, как доска, — никто бы в этом кошмарном месте не перепутал ее с мужчиной, и она была бы жива. Будь она чуть более норовистой, невинная девочка из тех, кто совсем не боится зла. За год до того Онесифор сам заработал шрам от глаза до челюсти, когда играл в деревенском танцзале («каблуки в пол, начинаем танцы!»), ужасном месте, где нет даже проволочной сетки, чтобы защищать музыкантов от летающих бутылок; там жуткий дым и так жарко, что на следующий день глаза краснеют, как Рождество; Бадди там вечно ввязывался в драки и все из-за своего воинственного характера: разозлившись, он невероятно свирепел, но до сих пор ему удавалось сразить нападавших хуком справа или пинком колена в пах. Лучше

всего получилась та картина, где Белль, еще девочка, держит на руках тряпичного кота — мадам Мэйлфут повесила ее в спальне, приделав вместо рамки черное туалетное сиденье с золотой каемкой. Чтобы увидеть портрет, нужно было поднять крышку.

Онесифор изучает зеленый аккордеон

Белые муслиновые занавески окаймляли надвигавшуюся грозу. Картина с радугой и тремя ангелами в полупрозрачных одеждах, тоже принадлежавшая кисти мадам — при том, что один из ангелов был очень похож на Белль, — висела над календарем с рекламой страховой компании. Белые фарфоровые тарелки и чашки цвета крутого яйца опирались на бордюр в буфете, рядом — белая раковина и белая фаянсовая доска для сушки посуды. Невестка чувствовала себя примерно так же уютно, как сгоревший мотылек, на эмалированной поверхности. Среди этой холодной белизны разве что сама мадам Мэйлфут в лавсановом брючном костюме кремового цвета, запах свежемолотого кофе, да еще стулья оставались живыми и теплыми. Стулья были самодельными, с толстыми ножками и перекладинами на спинках, дерево гладко выскоблено обломком стекла, а сиденья обиты бело-красной воловьей кожей с кое-где сохранившимися щетинками. У окна стояло кошачье кресло, а за окном на траве изучал новую кормушку его хозяин — огромный квадратный рыжий кот,

похожий на чемодан с хвостом вместо ручки. Грозовая туча надвинулась на траву, и кот зашагал к задней двери дома.

Мадам держалась строго и горделиво, седые волосы скручены на макушке в тугой двойной пучок. Над кружевным воротничком плыло крупное лицо, похожее на фарфоровую тарелку. Она безо всякого чувства обняла невестку, холодно поцеловала детей, высыпала ореховое печенье в жестяную форму для пирога — а не в фарфоровое блюдо, что было расценено невесткой, как оскорбление, — и принялась молоть кофейные зерна, прервав это занятие лишь на минуту, чтобы впустить кота, когда тот стал царапался в дверь. Кот прошагал к своему креслу, запрыгнул в него и стал короткими неприятными мазками вылизывать шерсть.

Бадди открыл футляр, достал зеленый аккордеон и протянул отцу. Онесифор, усевшись с широко расставленными ногами на стул, с минуту его разглядывал, потом отстегнул ремешок. Прошелся по кнопкам, кивая самому себе, затем поднял руки, опустил локти и начал тянуть из инструмента музыку; по кухне понесся бодрый ускоренный марш, прыжки через октавы разгоняли ритм. Через минуту он остановился,

взглянул на Бадди, подмигнул, опустил глаза, заиграл вновь и запел, то возвышая голос так, что не слышен становился гром, а фарфоровые тарелки стукались о буфетный бордюр, то понижая его а в конце каждой строки до резкого всхлипа, точно после удара кулаком.

– Yie, chére `tite fille,
Ah, viens me rejoindre l – bas la maison.
Trois jours, trois jours apr s ma mort, yie,
Tu vas venir la maison te lamenter moi.
Yie, garde-donc `tit monde…[242]

— Ох-хо, видно мастер, что делал этот аккордин, знал пару-тройку сектретов. Ми немного гудит, должно быть, оторвался язычок. Быстрая штучка, и двигается хорошо, но шумновата. Слышишь, как щелкает? — Он закурил сигарету, печально скосив глаз в почти пустую пачку.

— Что до меня, я люблю этот звук. Это часть музыки. Каджун должен щелкать.

— Говорю тебе, если тут и есть что некаджун-

[242] Примечания: 242
Й-и, дорогая девчоночка,
ах, приходи ко мне вон туда, домой
через три дня, три дня, когда я умру, й-и,
ты придешь в дом меня оплакивать
йи, поберегись, малютка… *(искаж. фр.)*

ское, так это клапаны — слышишь, как булькает, такой горловой звук. Послушай. — Он заиграл опять:

– Fais pas a ou ta maman va pleurer.

Viens aves moi, yie, lá-bas,

Non, non, ta maman fait pas rien.

Yie, toi, `tite fille,

Moi je connas tu ferais mieux pas faire ça, tie, yie, yie [243]

Они поймали этот жесткий звук, а еще первый стук дождя, что появился в тот же миг, словно на зов музыки.

— Помоет мою машину не хуже, чем на мексиканской мойке, — сказал Бадди.

— Это все твои кожаные клапаны. Они все время закручиваются. — Он раскрыл инструмент и осмотрел язычковую пластину. — Старая гармошка, смотри, как сделано, ох-хо, все руками, все хорошо. Смотри сюда. Меняем клапаны. Просто одна большая язычковая пластина. Видишь,

---

[243] Примечания: 243
Ой, не надо, не то мама заплачет.
Пойдем со мной, й-и, туда,
нет, нет, мамы не бойся
Эй, девчоночка,
Я-то знаю, лучше бы не надо, ти-йи-йи *(искаж. фр.)*.

какие он поставил загибы на концах язычков? Значит больше железа, глубже тон, полнее. Знаешь что, мы пожалуй поставим сюда новые язычки, перенастроим, понизим терции на полтона, чтобы было порезче. «Чужжжаая жженаааа».

— Он хорошо звучит.

— Ладно. Тогда меняем прокладку в дисканте. Совсем ведь плохая. Решетку убираем. Красиво, но ведь тон смазывает. К субботе будет готово. Говорят, сюда едет дама-фотограф, хочется ей посмотреть на каджунов, устричные щипцы, *fais dodo* [244], *la boucherie* [245]. Сколько ты отдал за эту коробочку?

В комнате наступила тревожная тишина. Бадди прислонился к раковине, скрестил щиколотки. Оглушительный гром, и почти сразу вспышка молнии окрасила кухню в голубой цвет.

— Не надо сидеть у окошка, *cher*, — попросила мадам Мэйлфут рыжего кота.

— Сто пятнадцать долларов. — Он не обращал внимания ни на грозу, ни на мать.

---

[244] Примечания: 244

Традиционные у луизианских французов вечеринки с танцами, на которые собирался весь поселок.

[245] Примечания: 245

Мясные лавки *(фр.)*.

– *Mon dieu!*[246] Ты что, Джин Сот[247]? Такие деньги.

Целое состояние. Как ты можешь так разбрасываться деньгами. Ты что, не мог показать, что в нем не так? Сбросил бы пятьдесят, а то и все шестьдесят. Конечно, он кой-чего стоит, хо-хо, я же не говорю, что нет, ручная работа, особый стиль, но тут нужен ремонт, и был бы ты поумнее, мог бы и поторговаться, *non*? — Он смял в пепельнице окурок.

— Нет. Послушайте, папа, вы становитесь бесчувственным, как шкура старого козла. У меня были на то причины. Эта несчастная женщина из Мэна — после всего, что случилось, ей нужно каждое пенни. Она никогда, никогда, никогда не оправится, так сказала Эмма.

— Она сама его нашла?

— Нет, слава всем святым. Какой-то человек рубил рядом лес, он его нашел и понесся прочь, как сумасшедший. — Бадди понизил голос, чтобы не слышали дети, хотя те все равно услышали. — Он отрезал себе голову. Прямо в лесу, привязал пилу между деревьями, включил, а потом… потом

---

[246] Примечания: 246
Мой бог! *(фр.)*

[247] Примечания: 247
Герой луизианского фольклора, деревенский дурачок.

подошел ближе и… раз. — Бадди провел рукой поперек шеи.

– *Non!*

— Да. Но знаете что? Он спервa выполнил всю дневную норму.

— Вот что значит француз!

— Дедушка, а почему коровы спят прямо под дождем? — спросил мальчик.

— А? Ох, ох, святый боже! — Выскочив через заднюю дверь во двор, Онесифор уставился на трех коров — несмотря на проливной дождь, от их неподвижных тел валил пар; старик перевел взгляд на опрокинутый столб: от места, где он раньше стоял, тянулся к забору провод, задевая по пути искрящую железную кормушку с мокрым сеном. Однако они были живы. Через двадцать минут коровы поднялись на широко расставленные ноги, и с тех пор ничто не могло заставить их приблизиться к корыту. Онесифору пришлось вывалить сено прямо на землю, но даже после этого они относились к пище с большим подозрением.

Женщина на fais dodo

Фотограф Ольга Бакли, высокая белокурая женщина с курчавыми, как у африканки, волосами и в красных брюках-клеш, славилась своим умением вовремя оказаться в нужном месте и пробраться в центр любых событий; сейчас она поставила машину на пыльном неровном дворе перед танцзалом — дощатым строением, обитым понизу гофрированным железом и с такой же гофрированной крышей. Женщина приехала на новом «де-сото» с плавниками-стабилизаторами и автоматическим управлением. В прошлом году ее лучший снимок появился на обложке журнала «Лайф» — агонизирующее лицо крупным планом, голова с выпученными глазами на куче матов — двадцатилетний прыгун с шестом умирал под щелчок фотоаппарата.

Свое задание она получила от вашингтонского Института изучения внутренних районов Америки, финансируемого правительством архива, в котором трудились аккуратные мужчины с седыми козлиными бородками. Она никогда не расслаблялась, не пила — даже несмотря на чьи-то слова о том, что выпивка у каджунов вместо

рукопожатия, — не танцевала, не понимала, что хорошего все находят в *bourrée*, зевала на ипподромах, ежилась на бойнях, ни разу не пробовала мясо коровьих хвостов и *cocodrie*, не умела балансировать на ялике, не спала на подушке из сухого мха, не принадлежала к католической церкви, никогда раньше не видела стиральных досок или наперсточных ритм-секций, рисовых или тростниковых полей, не погоняла мула, не скакала на лошади, не ловила свиней, не понимала французского языка и не любила женщин. Она курила одну сигарету за другой. Почти на всех ее снимках были запечатлены мужчины, хотя для одного или двух ей позировали ткачиха бабушка Реню (похожая на мужчину) и мадам Фортье — пятикратная вдова: склонившись с иголкой над стеганым одеялом, она таращилась прямо в объектив глазами редкого фиолетового цвета.

Уже в зале к ней боком протиснулась литераторша по имени Уинни Уолл.

— Все уже думали, что вы потерялись.

— Я никогда не теряюсь.

Уинни Уолл, молодящаяся и не признававшая бюстгальтеров дама, сейчас была одета в ситцевое платье «Матушка Хаббард» с узором из веточек и тащила за собой магнитофон. Эта

женщина была способна задать человеку сотню безжалостных вопросов на таком деревянном и нелепом французском языке, что люди обычно не выдерживали и умоляли ее говорить по-английски. При взгляде на нее казалось, будто ей вот-вот станет дурно: подмышки ее вечно промокали, грубая кожа на лице без намека на косметику или губную помаду лоснилась от пота, а спутанные сальные волосы свисали до плеч.

— Она очень больна, у нее болезнь в особом месте, — шепнула в бледное невесткино ухо миссис Блаш Лелёр, *traîteuse* [248]. Они стояли в специально отделенной от танцевального зала детской комнате с огромной кроватью, на которой хватило бы место для дюжины детей. В главном зале играли «Невезучий вальс». Невестка попросила *traîteuse* подержать тарелку с «зефирной радостью Криспи», пока она уложит Дебби. После вальса к микрофону вышел конферансье по имени Аршан.

— Хозяин бело-бордового пикапа. У вас не выключены фары.

Traîteuse, высокая женщина с большими сильными руками была в розовых слаксах и пур-

---

[248] Примечания: 248
Знахарка, целительница *(фр.)*.

пурной ацетатной блузке с обшитыми материей пуговицами и китайским воротником. На шее у нее болталось двенадцать нитей искусственного жемчуга, самая длинная свешивалась ниже пояса. В шестьдесят пять лет ее волосы оставались черными, как сажа, и курчавыми, как сухие стебли одуванчиков. Она носила позолоченные очки «арлекин» с затемненными стеклами. В высохших мочках ушей болтались перламутровые шарики. На морщинистом лице застыло туповатое, но милое черепашье выражение, губы накрашены помадой цвета «барбекю». Невестка накрыла не желавшего засыпать ребенка красной шалью и запела наполовину по-американски, наполовину по-французски:

— …засыпай, малыш *bébé*, утром дам тебе вишневый пирожок… — Белая кожа ее рук блестела, как лакированная. Музыка опять прекратилась, микрофон взвизгнул и запищал.

— Хозяин двухтонного пикапа, если вы сейчас не выключите фары, вы пойдете домой пешком. Вы уже почти посадили аккумулятор.

— Я чувствую эту болезнь по запаху. Она у нее в особом месте, бедняжка не может даже надеть трусы, так ей больно. И никому ведь не скажешь. Фотографша, она ее не любит, не хоте-

ла, чтобы она приезжала. Они вдвоем изучают каджунов. — Она рассмеялась с добродушной злостью. В дверной проем было видно, как молодая женщина берет из чьей-то протянутой руки бутылку пива.

— От пива ей будет только хуже, — сказала миссис Блаш Лелёр, — пиво очень вредно в таком состоянии. Лет десять назад была у нас в приходе женщина, ее раздуло так, что особое место стало похоже на куски арбуза, ужасно чесалось и горело огнем. Ее муж — он был альбинос, и я сперва подумала, что это все из-за того, что кое-что от него в нее попадает, ты понимаешь, о чем я, что все из-за этого — но он не мог даже находиться с ней в одной комнате. Она молила о смерти и плакала день и ночь, такая сильная была боль.

— Так из-за чего же?

— От пива. И еще продукты и приправы, совершенно обычные для других людей, простые вещи: окра, сладкий картофель, фасоль и орехи, пекан и даже овсянка. Ко мне это пришло во сне. Мне снилось, как она пьет пиво и страдает. Для начала я заставила ее пять дней поститься и пить только дождевую воду, чтобы очистить ее тело от ядов. Затем я дала ей немного кукурузного хлеба и салата, рис и другую легкую еду, это ее на-

сыщало, но не воспаляло особо восприимчивые места. Она прожила много счастливых лет, пока какой-то злодей не поставил кость в банке на верхнюю ступеньку лестницы; с испугу бедняжка впала в каталепсию и умерла. Как поживает мадам Мэйлфут?

— Она хорошо себя чувствует, если не считать артрита, но стала совсем бессердечной. Почти не прикасается к внукам. Просто не обращает на них внимания, так получается. Онесифор спит один в своей постели. Почти все время она сидит в комнате Белль. Что мы можем сделать? Есть от этого какое-нибудь лечение?

Музыка опять смолкла, и высокий голос Аршана произнес: — Вы бы лучше позвонили своей мамаше, хозяин пикапа — никак вам теперь не добраться до дома.

— Хотите ли вы, чтобы я этим занялась?

Невестка на минуту задумалась. Это было не ее дело, и лучше бы ей в него не лезть. Онесифор и Бадди, вот кто должен разговаривать с *traîteuse.* Но почему-то она была уверена, что они не станут этого делать. Она подумала о детях, бабушка так холодна, даже когда их обнимает, отворачивается, словно от червяков.

— Да.

— Очень хорошо. Эту женщину заморозило горе. Она сама запечатала свое сердце. Она ничего теперь не боится — ни смерти, ни Господа; ад для нее наступил на земле. Она ничего не чувствует к своему мужу, раз покинула его постель. Она ничего не чувствует к своим внукам, раз холодна с ними и не замечает их. Она не замечает и тебя. Но как же ее сын Бадди, она так же холодна и к нему?

— Ко всем. Кроме рыжего кота. В ту грозу, когда свалило молнией коров — она смеялась, что коровы валяются в грязи, — кот тогда сидел под окном, и она умоляла его подвинуться. Она называла его *cher*.

— Может это и добрый знак. Она хотя бы что-то чувствует. Плохо, что именно кот завладел ее вниманием. Но через эту узкую трещину можно влить в ее сердце лекарство, которое вернет ее к семье. Позволь мне положить это дело к себе под подушку. Приходи, если сможешь, через пару дней, у меня будет план.

В гостях у traîteuse

Входя в дом миссис Блаш Лелёр, человек попадал не в кухню, а в тесный коридор с вешалкой на стене, креслом, обтянутым воловьей кожей, и висящим на крючках цветастым ковриком. Свой страшноватый дар эта женщина обнаружила еще в детстве. Дело было поздней осенью: отец, сильно пьющий торговец коровьими рогами, прислонясь к стене сарая, ревниво наблюдал, как открывается калитка и в дверь стучится незнакомый мужчина. Цыган. В воображении отца тут же нарисовалась жена — она улыбалась и подмигивала этому торговцу размалеванными деревянными фруктами. Когда цыган ушел, отец собрал во дворе кучу сухих листьев, выволок из дома жену (девочка видела все через окно), швырнул ее в самую середину этой гнили и зажег спичку. Несчастная женщина, охваченная пламенем, с криками бросилась к ручью и спаслась — в грязи и рыданиях; на руках и ногах у нее остались ожоги, а на щеке — белое пятно мертвой кожи. Всю свою ярость девочка направила на отца, страстно пожелав, чтобы он стал маленьким и слабым. С этого дня отец начал чахнуть. Процесс

шел мучительно медленно, но через десять лет он был ростом с ребенка, высох и исхудал, руки стали похожи на полые стебли, а перед смертью он был не больше буханки хлеба. Перепуганная и поверженная, жена выбросила тело во двор, где его склевали куры. (Она вышла замуж второй раз за слепого хозяина птицефабрики, десять лет наслаждалась его страстной любовью, пока их машина не столкнулась с поездом «Амтрак» — непонятного происхождения вспышки на телеграфных столбах вывели из строя регулятор двигателя.)

Коридор упирался в тесно заставленную гостиную; стены там были увешаны фотографиями Лелёров и Прюдоммов — поющих, получающих дипломы, женящихся — вперемешку с картинами, на которых похожий на усатую девушку Христос благословлял толпы народу; еще там красовались распятия, большие и маленькие, чеканки с изречениями, связки сухих цветов, безмолвные часы, календари, рецепты масляного печенья на раскрашенной хлеборезке; все горизонтальные поверхности покрывали салфетки, каждую салфетку украшало кружево. На краю стола лежала Библия, блокнот со спиралью, куда посетителям предлагалось записывать свои

имена, керамическая шариковая ручка в форме хвоста гончей собаки, три вазы с пластмассовыми цветами, семнадцать святых и христосов, одиннадцать фотографий внуков, пять свечей, сложенная газета, стопка почтовых реклам и купонов для супермаркета, зажигалка «Зиппо», бутылочка микстуры от кашля «Траутман», керамическая сова и синяя коробка с конфетами. В углу комнаты мигал новенький светлый телевизор на единственной скошенной ноге. На стене висела газетная вырезка с фотографией миссис Блаш Лелёр в ацетатной блузе и бусах.

Невестка вручила хозяйке подношение — тарелку маленьких кексов; миссис Блаш Лелёр провела гостью в комнату, усадила на стул, принесла чашечку *petit nour* и сказала:

— Если умрет кот, ее любовь поднимется в воздух и обратится на того, кто первым произнесет слова утешения. Ты должна проследить, чтобы рядом оказалась ты сама, ее внуки, муж или сын. Она полюбит вас всех. А именно это нам и требуется — если женщина кого-то любит, если вокруг только ее друзья, она никогда ничего плохого не сделает внукам. Просто будет их любить. — Блаш Лелюр укусила кекс. — О, *chére*, какая вкусная глазурь.

— Но ведь кот вполне здоров.
— Пока, — ответила *traîteuse*.

Смерть пришла за рыжим котом

Рыжему коту было девять лет отроду, и он не прожил даже первую из своих жизней. Но, как это иногда случается, в несколько коротких минут ему пришлось расплатиться за все.

Как многие удачливые существа, он был эгоистичен, ел раков, только если мадам Мэйлфут снимала с них панцирь, презрительно отворачивался от обезжиренного молока, маслу предпочитал *sauce roulée*[249], однако не раз бывал пойман за вылизыванием этого самого масла со дна тарелки; ему достаточно было лениво поскрестись в заднюю дверь, как мадам мчалась навстречу с обещаниями угостить сыром, ибо он любил квадратик доброго крепкого сыра больше всего на свете, не считая свежепойманой молодой мыши — молодой настолько, что она не успела еще отрастить застревающую в горле шерсть, и ее можно глотать живьем вместе с костями, ощущая приятную *frisson* [250] от извиваний во рту.

---

[249] Примечания: 249
Соус для рулета *(фр.)*.

[250] Примечания: 250
Дрожь *(фр.)*.

Он редко покидал ферму Мэйлфутов, поскольку был слишком тяжел для приключений, но хорошо знал межи и заборы, и точно рассчитывал время, за которое нужно проскочить соседский выпас так, чтобы старый козел успел переполошиться и воткнуть рога в плетень, а сам рыжий кот — благополучно унести лапы. Иногда он перебирался через дорогу и опустошал миску с объедками, которую соседский мальчик выставлял для тощей собаки, но всегда внимательно смотрел по сторонам и близко не подпускал прохожих, особенно если в руках у тех имелись пистолеты, палки, веревки, плетки, сетки, камни и другие опасные предметы. Никто не имел права к нему прикасаться, кроме мадам Мэйлфут, но иногда он отталкивал и ее, а то и расцарапывал заботливые руки. Когда он еще не был так тяжел, он неплохо карабкался по персидской сирени и хватал лапами птиц. В расцвете своих сил он цапал ласточек прямо в воздухе, но и до сих пор оставался первоклассным ловцом крыс и мышей: мог бесконечно долго сидеть в траве, пока не обнаруживал там еле заметное шевеление, затем — зад перемещается в одну позицию, потом в другую, хвост дугой, глаза горят, прыжок — и гарантированное часовое развлечение: он

позволяет мыши уйти, снова прыгает, отпускает, подбрасывает в воздух, ловит за задние лапы, крутит, как клубок ниток, катает, притворяется, что упустил совсем, засмотревшись на движение в траве, вздрагивает, когда изумленная мышь бросается наутек, накидывается на нее опять и так до бесконечности, пока истощенная жертва наконец не умирает, но даже после этого он еще долго пробует ее на вкус, почти надеясь оживить своими грубыми прикосновениями.

Спустя две недели после *fais dodo* Ольга Бакли все так же болталась по округе, хотя Уинни с магнитофоном давно уехала на север. Фотографиня успела взять измором все прирученные аспекты каджунской жизни, и теперь ее интересовали запрещенные законом петушиные бои, охота на аллигаторов с включенными фарами, лошади, которых с помощью трав и наговоров заставляют проигрывать или выигрывать забеги, межрасовые браки, соревнования по армрестлингу с громкими щелчками локтевой кости побежденного, состязания в гляделки, кровавые западни, жертвы перестрелок, истории об изнасилованиях и надругательствах, штурмы винокурен, болотные поселения с пристанищами для беглых преступников и, как ей было обещано на суббот-

ний вечер, смертельные собачьи бои. Ввязываясь в эти темные дела, она не считала, что занимается чем-то предосудительным, словно щит, выставляла вперед фотоаппарат и была уверена, что находится в привилегированном и безопасном положении, поскольку имеет репутацию важной персоны, прибыла с севера, да и вообще ей лучше знать, что и как.

Рыжий кот вдруг оказался в ловушке. Когда он выковыривал остатки пищи из миски соседской собаки, сверху на него упал мешок, да с такой стремительностью, что вместе с котом были похищены собачья миска, кольцо спинного хрящика и холодный камень. Сначала он попытался выбраться на свободу, острые, как бритва, когти просунулись сквозь ячейки материи, но похититель связал мешок двойным узлом и закинул в кузов поджидавшего неподалеку грузовика, который тут же выскочил на шоссе и помчался прочь сквозь золото вечернего света. В мешке царапался и извивался кот — бился, впадал в отчаяние, орал и взывал к отмщению, лупил по миске с такой яростью, что она почти сразу раскололась, разлетелась на мелкие куски, но куда им было деться из завязанного мешка — наконец грузовик подъехал к портовому складу, где уже

ждали мужчины, собаки и фотографиня.

Собаки были натасканы на драку, уши обрезаны, хвосты обрублены. Они не знали покоя. Сегодняшний победитель через несколько дней должен был драться вновь, и каждый бой заканчивался смертью. Пес жил до тех пор, пока побеждал. Из рук в руки переходили очень большие деньги. Хороший собачник мог жить на выигрыш и не работать. Рыжий кот открывал представление — закуска, призванная разогреть собакам кровь, настроить их на убийство.

Рыжего кота бросили на песчаный круг, примерно двадцати футов диаметром, обнесенный мелким сетчатым забором с рейками поверху. Мужчины курили, жевали, разминали сигареты, вгрызались в жареные куриные крылышки и собственные ногти, сосали пальцы, ороговевшими ногтями выковыривали из зубов остатки мяса, опирались на ограду, свешивая с нее руки. Рыжий кот свалился в середину круга, и все закричали. В шерсти его застряли камешки. Он был огромен, шерсть встала дыбом от страха и ярости. Он метнулся к сетке, еще надеясь выбраться. На ринг выпустили трех собак, и они набросились на него все сразу, рыча, кусаясь, тормозя лапами, и крутясь волчком так, что кот тоже вертелся, и летал

между ними, описывая зигзаги. Передышки не было. После каждого финта спереди следовал ответ сзади. Он расцарапал нос одному псу, другой схватил его за загривок и как следует тряхнул, его задняя часть уже не двигалась, но глаза еще сверкали, и он отбивался. Все кончилось через несколько минут, когда кошачья голова попала в пасть черного приземистого пса. Хрустнули кости. Рыжий кот погиб.

Но когда собак отозвали, тело — вместо того, чтобы сгрести через заднюю дверь и бросить в ручей, — опять положили в мешок, и тот же самый грузовик покатил на восток. Чьи-то руки перебросил труп через мэйлфутовский забор, и он упал почти рядом с задней дверью. Через несколько минут грузовик, проезжая мимо дома Бадди и невестки, четыре раза прогудел клаксоном. Бадди был на буровой, а невестка так и не очнулась от глубокого подлунного сна — ей ничего не снилось.

Странная встреча

Фотографиня вела машину, с трудом удерживаясь на полосе из-за разгоравшегося точно впереди рассвета; глаза жгло от дыма, мышцы после целой ночи на ногах стали почти резиновыми, изо рта несло всеми выкуренными сигаретами и газировкой. Она часто зевала, раскрывая во всю ширь пещеру рта, глаза слезились, челюсть щелкала, а из брюха доносился настоящий грохот — в таком состоянии она ползла по жидкой грязи (всю ночь лил дождь), и, поравнявшись с домом Мэйлфутов, увидела, как из-за угла бредет средних лет женщина в длинной ночной рубахе, заляпанных грязью шлепанцах и с распухшим от слез лицом; по земле она волочила остроконечную лопату.

Фотографиня притормозила, затем остановилась, нацелила камеру на грязное стекло, подумала, что так ничего не получится, вышла из машины, облокотилась на капот, сквозь чистый воздух навела объектив на несчастную женщину, пронзенную зеленым рассветным лучом, и принялась щелкать затвором. Женщина не поднимала головы. Фотографиня подошла поближе, оперлась на забор и сделала еще несколько сним-

ков. Женщина подняла взгляд от земли. Сквозь затянутые слезами зрачки застывшая в воротах девичья фигура, патетично величественная в лучах восходящего солнца, показалась ей объятым неземным светом ангельским воплощением ее дочери Белль, что явилась специально успокоить свою бедную мать.

— O, chére, — зарыдала мадам. — Слава всевышнему, ты пришла ко мне.

— Она выпрямилась, вытянула руки и, шатаясь, побрела вперед. Гостья, закрываясь камерой, как щитом, снова и снова фотографировала надвигавшуюся на нее женщину. Она чувствовала горько-соленый запах ее тела.

— Белль, — простонала женщина. — Bébé. Ma chére, ma fille[251]. — Она обняла ее, прижавшись к камере, вгляделась в лицо — как же девочка изменилась, — но мать понимала, зачем этот уродский карнавал: никто не должен знать, что она вернулась из царства мертвых. Она схватила ее за руку и потащила к дверям.

В кухне фотографиня села за стол; ей было не по себе. Больше по привычке она взяла камеру и принялась снимать интерьер: стул у окна,

---

[251] Примечания: 251
Моя дорогая, моя доченька *(фр.)*.

стеклянную банку с рисом. Мадам Мэйлфут все прекрасно понимала. Если дочь вновь позовут в рай, домашние фотографии, по крайней мере, скрасят ей одиночество. Она провела ее по лестнице в прежнюю спальню, показала портрет, томившийся в темноте за крышкой туалетного сиденья, разгладила подушку. Она завела ее в каждую комнату, в гостиную, кладовую и в кухню, хотела накормить красной фасолью с рисом, уговорила выйти на крыльцо, подняться по внешней лестнице и заглянуть в комнату, где, разметав спутанные седые волосы, спал отец, затем они прошли по двору к дереву, где дочь играла еще ребенком и к дальней стороне сарая — посмотреть на свежую могилу рыжего кота. С болотистого ручья на противоположной стороне дороги поднялась стая цапель.

— Мне надо идти, — сказала фотографиня, когда женщина с несчастным лицом вновь крепко прижалась к ней. Ощущение было отвратным. Что стряслось с этой старой грымзой? Можно подумать, она в нее влюбилась — плоскорожая пожилая тетка с мокрыми ласками и слезливым голосом. Мадам Мэйлфут все понимала. Ангелы зовут ее девочку обратно к себе. У нее теперь есть фотографии дома, в раю ей напечатают карточ-

ки. Она обхватила девушку влажными руками, поцеловала в плечо (как же она там выросла) — и так стояла, вцепляясь и рыдая, пока та наконец не ушла.

— Ты еще вернешься? — окликнула женщина. — Я тебя еще увижу? Приходи ночью. Я сплю в твоей комнате! — Ответа она не расслышала, но фотографиня помахала ей рукой. Девочка не забывает свою бедную мать! Уехала на машине, как самый обычный человек, но, конечно, это часть маскировки.

(Два десятилетия спустя фотографиня ослепла на левый глаз; причиной стал девятимиллиметровый полуавтоматический пистолет в руке девятилетнего мальчика, который стрелял из окна своей квартиры по остановившимся перед светофором машинам. Ранение имело свои плюсы: жертва стала знаменитой, несколько месяцев подряд ее работы выставлялись и получали премии, а сама она появлялась в телепередачах и давала интервью на радио.)

На буровой

— Что за блядское место эта ваша буровая, — сказал Кудермонс, бросив подтирать и исправлять буквы в очередном чеке. Этот человек был составной частью общей неразберихи, поскольку на буровой работали Каддермаш, Каттермаш, Кудермош, Кордеминш, Гаттермаш — и все это были варианты одной и той же фамилии Куртеманш. Бадди любил работу на буровой за то, что мошенники хорошо платили, но ненавидел янки-начальников, да еще необходимость по две недели томиться в заливе, не имея возможности попасть домой — две занудных недели слушать проклятую пластинку на неизвестно чьем проигрывателе, какое-то дерьмо вроде Цыгана Шандора[252] или «Голосов Уолтера Шуманна», одни и те же заезженные россказни крутых буровиков, такелажников, крановщиков и просто краснорожих деревенских мужиков, которые то и дело вспоминали барабашек в трубах, нефтяных ведьм, бандитов и экстрасенсов, отыскивавших

[252] Примечания: 252

Шандор Лакатос, или Цыган Шандор (1924 — 1994) — цыганский скрипач.

нефть с помощью виноградных прутьев; у этих ветеранов вечно двоилось в глазах, они черт-те сколько лет болтались между Оклахомой и Техасом, ужираясь термоядерным виски и отсыпаясь в тараканьих ночлежках, а теперь вот добрались до Луизианы, чтобы вдоволь потравить байки французским соплякам, никогда не нюхавшим настоящей нефти. Карвер Стрингбеллоу — с красной от загара кожей, единственной белесой бровью, песочно-золотыми волосами над узкими, как амбразуры, залысинами и в неизменных белых перчатках — рассказывал сейчас о цветочном человеке, который бурил в тех местах, где обычные луговые цветы чем-то притягивали его внимание, и всегда находил нефть, еще он однажды видел, как трубы просто вышибло из скважины, а стрелков разнесло на куски мяса размером не больше десятицентовой монеты, это было еще во времена жидкого азота, тогда вечно что-нибудь да взрывалось, а как-то налетело торнадо, разнесло на фиг всю буровую и закинуло в болото новенький седан одного из бурильщиков, в другой раз техасский ураган поднял в воздух железную табличку «Нехи»[253], прилепил ее к

[253] Примечания: 253
Рекламная табличка прохладительного напитка.

карверовской спине и вместе с этой железякой погнал его вперед с такой скоростью, что тот едва успевал переставлять ноги и молиться, чтобы его не подняло в клубящийся пыльный воздух. Здоровенный мужик родом из Одессы, рост шесть футов, пять дюймов, широченные плечи — его призванием были пьянки и драки. На буровой он всегда появлялся волоча ногу и с зеленовато-желтыми синяками; семь раз он женился, столько же разводился и утверждал, что от Корсиканы, Техас, до Каира, Миссури, наплодил не меньше пятидесяти детей. По двадцать раз в день он доставал из заднего кармана расческу и приглаживал волосы, хвастался, что побывал на Ближнем Востоке, в тридцатые годы, работая на «Сокале» в Бахрейне, успел пристраститься к овечьим глазам, во время войны, когда «Сокал» и «Тексако», слившись вместе, стали «Арамко», он трудился в Саудовской Аравии, водил знакомство с рехнувшемся на нефти, чилийском перце и «Субботнем литературным обозрении» Эвереттом Ли Дегольером, как-то обедал вместе с директорами лиссабонского отеля «Авиз» — в тот самый день и час, когда Калусто Гульбенкян [254] сидел за

[254] Примечания: 254

Калусто Гульбенкян (1869 — 1955) — турецко-британский финансист, промышленник и филантроп.

столиком на какой-то там высоте на специально установленной для него платформе; еще он видел полусумасшедшего Гетти как раз после того, как этому главному американскому богачу сделали пластическую операцию, поедал устриц — по тридцать штук за раз, и смеялся, когда Джек Зон, пригласивший его в ресторан, рассуждал о том, надевает или нет старый крокодил те модные трусы, которые Джек собственноручно стирает каждый вечер в маленьком золотом бассейне. Он за три дня вперед предсказывал погоду, выпивал за сутки тридцать чашек черного кофе, пережил все бумы и банкротства — иногда с полными карманами, но чаще без работы и на подножном корму, — читал книжки про корриду и утверждал, что когда-нибудь непременно отправится в Испанию, посмотрит на Ордоньеса [255], найдет в каком-нибудь баре Хемингуэя и заведет с ним разговор о жизни.

— Знаешь, что он год назад отколол, этот Хемингуэй? На какой-то пьянке достал пистолет и отстрелил Ордоньесу пепел с сигареты. С тех пор они часто так забавляются, играют друг у друга на нервах — докуривают сигареты почти

---

[255] Примечания: 255
Антонио Ордоньес — знаменитый испанский матадор.

до фильтра, вот, как я, — он затянулся дюймовым окурком от «Кэмела», — а потом стреляют, чтобы свалился пепел. Из двадцать второго калибра. Этот парень тогда сказал: «Эрнесто, хватит. А то я обожгу себе рот». Что-то вроде. — Он годами копил деньги на Испанию, но как только собиралась нужная сумма, что-то непременно случалось — женщина, покер — человек, однажды его обыгравший, потом долго лежал в больнице со сломанными коленями.

— Хочешь заработать, помоги мне найти картину, — сказал Охламон, уроженец Бьюмонта, известного в прибрежных районах Техаса, как луизианская Лапландия. — Знаешь этих вискачей, «Санни-Кроу Виски»? Они пообещали бабки, если кто найдет картину. Двадцать пять штук — хватит на сколько хочешь коррид. Я, кажется, знаю, где эта картина — холст-масло Фредерика Ремингтона[256] — крестный ход. Человек пятьдесят прут прямо на тебя, как ненормальные. Теперь смотри: я точно видел эту картину, не помню где — но знаю не хуже жопы своей старухи. Точно видел. Потом, года два назад она мне попалась в журнале — «Санни Кроу» напечатала

---

[256] Примечания: 256
Фредерик Ремингтон (1861—1909) — американский художник.

фотографию. Когда Ремингтон помер, они нашли в его бумажках, но только фотографию, а где сама картина? Неизвестно. Он ее писал, все это знают, вот, пожалуйста — фотография, но где — неизвестно. А я точно видел. Каждый раз перед сном говорю себе: вот сейчас тебе приснится, где ты видел эту картину, а наутро ты станешь богатым человеком. Когда-нибудь это точно сработает, я же знаю, что видел. Надо только вспомнить, где.

На этот раз они хотя бы гоняли другую пластинку — может, его и не затошнит до конца смены. Однажды Бадди принес на буровую аккордеон, но толку от него оказалось не больше, чем от свинцового воздушного шарика.

— Чтоб я этот ебаный негрожопый чанки-чанк больше не слышал, понял, малец? — Заявил Карвер, приглаживая расческой волосы. — Когда режут свинью, она и то визжит лучше, чем твоя ебанутая музыка.

— А? Чтоб я больше не слышал никаких мальцов, я тебе не ниггер, понял, схлопочешь по ебальнику.

— А? На твоем месте я бы прикрыл немного пасть. А то, знаешь, всякое бывает, особенно с негрожопыми недоебками, которые не фильтруют базар. — Он ухмылялся, словно череп.

— А? На твоем месте я бы завел себе пару лишних моргал на затылке. Моя музыка всяко лучше, чем твои ебаные кастаньеты.

— А? Правильно говорят: что у негрожопых в койке? Клопы, говно и рачьи бошки.

— Ладно, приятель, — сказал Бадди, — поговорим на берегу. — Драка на буровой означала немедленное увольнение; в течение часа компания отправляла виновников восвояси, а имена гарантированно попадали в черный список.

(К тому времени, когда его волосы совсем поседели, а нефтяной бум в Луизиане закончился, Бадди уже работал бригадиром на оффшорной буровой Северного моря в компании картавых шотландцев.)

На третий день смены кто-то увидал, как в их сторону ползет лодка, подскакивая на гребнях волн и заставляя пассажиров прыгать на скамейках.

— Эй, на палубе!

Бадди узнал рыбачью лодку Октава — этот черный гибкий парень был незаменим для *'tit fer*, если только упросить его не лезть в «зайдеко» — черномазое дерьмо; Октав нанимался на случайные работы, продавал на сторону рыбу и, если позволяла погода, дважды в неделю, по

вторникам и четвергам, появлялся на буровой — с сомами и двумя мешками рачков для варки, а иногда еще и с куском крокодильего хвоста. На буровой он получал за это двойную цену. Сегодня его не ждали.

— Он не один! — Все вытянули шеи и, прикрывая глаза от солнца, стали разглядывать второго человека. Второй человек означал дурные вести.

Это была невестка. Скрючившись на носу лодки и пристально всматриваясь в буровую, она выискивала глазами Бадди. Взгляд не предвещал ничего хорошего. Он узнал ее, когда кричать было еще рано. Октав вычерпывал сплюснутым кофейником воду, глаза его прятались под голубоватыми очками, а старая ковбойская шляпа отбрасывала на лицо густую тень. Небо над ними, словно мятой марлей, затягивали облака.

— Это еще что? — пробормотал он. Точно так же она примчалась год назад — тогда пришлось везти в больницу мать после того, как, смешав в кучу масляные краски, ламповую сажу и гуммигут, она разрисовала полосами себе лицо, руки, одежду, а также всю свою белоснежную кухню. Сейчас, похоже, опять что-то стряслось.

— В чем дело? — прокричал он.

— Твой отец, папа Онесифор — его нет.

— Что?! Он умер? Папа умер?

— Нет, нет. Уехал в Техас. Остановился возле нас, грузовик нагружен, говорит: прости, я уезжаю. Он бросил твою мать. Говорит, больше не может жить с сумасшедшей бабой. — Собравшийся на палубе народ внимательно слушал.

— Ты видела *Maman*?

— Ага. Она ничего не знает, думает, он поехал в Техас навестить брата Бэзила. Говорит, что твоя сестра вернулась с того света, и теперь ждет его там. В Техасе. У каких-то кузин, которых она очень любила.

– *Non*. Те, которых она любила — это дети Элмера: Джин, Клара и Грэйс. Не мог он поехать к дяде Бэзилу. Они виделись в последний раз, когда обоим было по двадцать лет.

— Что мне делать? Может, ты вернешься домой?

— Возьми детей и поживи у нее. Я буду дома через десять дней, черт бы вас всех побрал.

Невестка заплакала. Она была одета в бледно-голубое ситцевое платье и черные резиновые башмаки. Плакала молча, просто слезы катились по лицу. И смотрела на него. Лодка Октава поднималась и опускалась на волнах.

— Иди домой! Поживи у нее. Дня через два он

вернется. — Бадди бросил взгляд на загадочно улыбавшегося с кормы Октава. — Эй, Октав, какого лешего ты ее сюда привез? Вези обратно. — Вне себя от ярости он бросился прочь, но все же успел услыхать слова жены:

— Чтоб я тебе еще когда-нибудь что сказала. — Пару раз чихнув, затарахтел мотор, и Октав повез невестку к берегу.

Несколько минут спустя Адам Культермарш сказал:

— Мой папаша сбежал, когда мне было четыре года. Я совсем его не помню. Ни разу с тех пор не видел этого ублюдка.

Кварт Каттермаш сказал:

— Тебе еще повезло. Я отдал бы все на свете, если бы мой старик свалил куда подальше. Он напивался и лупил нас до полусмерти. Хочешь посмотреть? Во, видал? — Он отогнул рукав и продемонстрировал круглые шрамы по всему предплечью. — Сигареты. Тушил об нас бычки, чтоб полюбоваться, как мы орем. Надеюсь, в аду его хорошо поджарили. Говорят, в Мобиле кто-то пырнул его ножом.

— Мой папаня был клевый мужик, пока мы были маленькие, то есть он вообще не смотрел в нашу сторону, только спал или работал, но стои-

ло нам подрасти, всего пятнадцать-шестнадцать лет, господи, что тут началось, — добавил Т. К. Кудемоше. — Я как-то ехал с другом, машина была его отца, и друг спешил на станцию, чтобы там этого своего отца и встретить; нам было тогда лет шестнадцать-семнадцать, едем себе по дороге, спокойно, никого не трогаем, и тут сзади машина. Папаша — и собирается нас обгонять. Ну вот, мой друг не придумал ничего лучшего, как поиграться, выперся на середину дороги и не пускает. Я ему говорю — это мой папаня, с ним лучше не надо. Тот еще характер. Но друг говорит: а, ерунда — и опять не пускает. Ну, значит, старик попробовал раз, другой, потом пятый и шестой, мигает фарами, гудит, я уже весь трясусь, потому что, вижу, как он повернул за нами на станцию. Я тогда решил, что, как только мы остановимся, выскочу и побегу, чтобы он вообще не узнал, что я был в машине. Но куда там! Мой друг на минуту расслабился, старик влез в наш ряд и спихнул нас на обочину, прямо в грязь — просто примазался к двери и вытолкал с дороги. Мой друг останавливается в кювете, выходит, и тут несется старик, машет монтировкой, матерится на чем свет, потом лупит этой железякой моего друга по носу, только кости затрещали, а меня по руке,

так и сломал, потом взялся за машину. Расколотил вчистую, все стекла, отодрал радиатор, смял капот, вырвал двери, а под конец вытащил свой громадный хер и нассал на переднее сиденье. Я решил, что домой лучше не ходить. Свалил на нефть, с тех пор тут и болтаюсь.

Айри Гаттерматш громко прокашлялся.

— Мой отец был нормальный мужик, пока ему не стукнуло семьдесят два года — женился на восемнадцатилетней девке, простой такой, потом она родила троих детей, а в восемьдесят лет он помер, и нам не осталось ничего, кроме напастей.

Они хотели его утешить. Куда, черт подери, денется семидесятипятилетний старик? Так оно и вышло.

Зеленый аккордеон приносит неплохие деньги

Когда через десять дней он ехал по дороге к дому, старик уже сидел на крыльце, держал на коленях зеленый аккордеон и играл «Chère Alice» — сигарета в углу рта, в глубине двора мадам Мэйлфут складывает простыни и скатерти, мирный солнечный свет — жизнь катится, как ей и положено, с семи до одиннадцати.

Бадди подъехал к дому и уставился на отца.

— Говорят, вы путешествовали.

– *Oui, да, mon fils* [257], небольшое путешествие, что до меня, то *«… надень свой тонкий сарафан…»,* хочется иногда посмотреть, что же там делается на свете. Маленькое развлечение для моих бедных глаз. Рад был вернуться к нашему ручью. Мы с тобой завтра играем, у Гейню шашлыки с танцами, *«она не знает, что я женаааат».* Фотограф приехал из субботней «Вечерушки». Теперь так будет каждую неделю — щелчки и вспышки. А не прийти ли тебе сегодня вечерком и не захватить с собой аккордеон, поиграем немножко на кухне.

---

[257] Примечания: 257
Да, мой сын *(фр.).*

Этот черный парень Октав говорил, заглянет. Ты знаешь — ему так понравился наш зеленый аккордеон! Дает за него две с половиной сотни.

— Черт возьми, откуда у черномазого двести пятьдесят долларов? А?

— Продал семена Джину Отри[258], ограбил банк, починил кой-кому телевизор. Рыба для буровой.

— Вы серьезно?

— Ох-хо.

— Пусть тогда забирает. Мистер Пельсье за сто долларов построит нам не хуже. Дают — бери.

— Я тоже так думаю. Жалко только — смотри, как мы его покрасили. — Он недавно приказал жене нарисовать под кнопками волнистые линии с головами дьявола на каждом конце и надписью *«flammes d'enfer»* [259], чтобы ни у кого не оставалось сомнений.

---

[258] Примечания: 258

Джин Отри (1907—1998) — известный актер и музыкант, амплуа — «поющий ковбой».

[259] Примечания: 259

Пламя ада *(фр.)*.

Эй, посмотри на себя

Октав не любил играть со стариком и Бадди — старый вонючий каджун всякий раз кидал его на бабки — но он все же бренчал на *`tit fer,* дул в звонкие бутылки и чайники, стучал то по лошадиным подковам, а то в ручной барабан из воловьей кожи, вечно лез в объектив фотографа из субботней «Вечерки» и никому не сообщал своих тайных мыслей, а именно: музыка, которую они играли, представлялась ему унылым похоронным воем.

Нужен аккордеон. Он играл на аккордеоне лучше, чем любой из когда-либо обитавших на этом свете Мэйлфутов, но никогда в жизни они не позволят ему сесть рядом и переиграть их, так что он довольствовался стиральными досками или треугольниками, а еще подпевал, как последний дурак. Нужен зеленый аккордеон — во-первых, потому что этот инструмент звучал красиво и громко, но больше из-за того, что он смотрел ему в глаза. Последние недели Октав сидел слева от старого Мэйлфута — старик изгибал и растягивал аккордеон, фальшивил и путал ноты, что-то пел, потом опять играл, дергаясь по-стариков-

ски, но как бы он ни вертелся, аккордеонные зеркала выстраивались в ряд так, что стоило Октаву взглянуть на инструмент, чертова штука всегда смотрела точно на него. Естественно, он узнавал собственные глаза, но шансы на то, что зеркала оказались в этом положении случайно, были один против миллиона. Инструмент словно оживал, смотрел на него, наблюдал за ним и говорил:

— Ну чо? Берешь? Бери меня, ниггер, а не то я сам тебя достану. — Октаву становилось страшно.

Продано в Америке

— Сто, сто десять, сто двадцать, сто тридцать, сто сорок, сто пятьдесят, сто шестьдесят, сто семьдесят, сто восемьдесят, сто восемьдесят пять, сто девяносто, сто девяносто пять, двести, двести десять, двести двадцать, двести тридцать, двести тридцать пять, двести сорок, сорок пять, сорок шесть, сорок семь, восемь, сорок девять, двести пятьдесят ровно. — Но старик решил пересчитать, несколько раз сбивался, пока, наконец, Бадди не отобрал у него деньги и не перебрал их молча, лишь шевеля губами, потом сказал, что все правильно, и подбросил аккордеон в воздух, так что Октаву пришлось пятиться, чтобы его поймать. Он знал, что переплачивает, и что по-хорошему, ему нужен трехрядник. Одно время он подумывал о клавишном аккордеоне, но сомневался, сможет ли выучить как следует басовые аккорды и привыкнуть, что тон не зависит от того, как растягиваются или сжимаются меха. Ему нравилось это чувствовать — как ноты согласуются со складками мехов. Это казалось более естественным.

— А как же футляр, мистер Мэйлфут? — спро-

сил он.

— А, не было никакого футляра.

— Мистер Мэйлфут, я ж видал, как вы все время носили его в футляре, ясно, о чем я? Я думал, футляр идет вместе с кордеоном. — Бадди на минуту замялся; деньги приятно грели ладонь, они были теплыми и сухими, сто процентов чистого дохода. Можно конечно зажать футляр и заставить Октава помучиться, но он всегда на них отыграется, когда нужно будет побренчать на стиральной доске, а то еще перестанет носить на буровую рыбу. Октав был сообразительным малым.

— Вон там, за папиной ногой.

(Тридцать лет спустя, в Шотландии, вывалившись поздно ночью из паба, пьяный и помятый Бадди засек припаркованный в пятне уличного фонаря микроавтобус. На сиденье лежал аккордеон. Бадди украдкой подергал дверцу. Машина легко открылась, и, схватив инструмент, он потащил его подмышкой в отель. В номере он раскрыл футляр. Инструмент был прекрасен: пятнистое, как кожа леопарда, дерево и хромированные кнопки. Имя мастера ничего ему не говорило, но красота его была каджунской — гость с его далекой родины. Бадди играл, пел и плакал об исчезнувшем месте и времени, пока окно не по-

серело мертвенно-бледным светом шотландского утра, и тогда он задумался, что, черт возьми, он станет делать с этим краденым аккордеоном. Он бросил его в номере.)

Не подавайте руки мертвецу

Октав был весьма хорош собой, если не считать полуприкрытого века, из-за которого казалось, будто он все время подмигивает; кожа у него отливала бурым, а собранные для побега деньги он прятал в пустой табачной коробке под корнем специально выбранного дерева. Костюм и белая рубашка на плечиках, укрытые пакетом из химчистки, висели на гвозде в материнском доме. Через месяц он будет далеко: в Канзас-Сити, Чикаго или Детройте, он еще не решил окончательно, но оставалось несколько дурацких дел, и прежде всего — нужно поставить в эту штуку новую язычковую пластинку и как следует ее подогнать. Он отнесет инструмент мистеру Лайму, тот делает хорошие язычки из часовой стали. Он пропустил уже несколько субботних танцев на «рачьем круге», но это ничего, оттянется в Хьюстоне, на окраине Фрэнчтауна, где они будут играть по очереди с Клифтоном[260] — вполне приличное сочетание, поскольку у Клифтона

[260] Примечания: 260

Имеется в виду Клифтон Шенье (1925—1987) — знаменитый аккордеонист, король зайдеко

имелся большой клавишный аккордеон, и он тащился от ритм-энд-блюза; у парня выработался собственный стиль, немного похоже на Бузу[261], но наглее и отвязнее. Всем известно, что танцоры лучше расходятся под кнопки, чем под клавиши, да не в бардаке, правда, а в танцзале «Небо с голубой луной», который в сороковые годы был продуктовой лавкой с собственным ледником. Подумав о леднике, Октав вдруг вспомнил — и это воспоминание остро и резко отбросило его в детство — магазинчик в Феросе, огромная глыба льда, завернутая в мешковину, лежит на крыльце, а дядя Фа время от времени откалывает от нее острые прозрачные обломки; Октав стоит рядом и, затаив дыхание, смотрит, как острие выводит на глыбе зазубренную линию, и кусок льда отваливается, обнажая прозрачную поверхность, переливающуюся замерзшими пузырями. Таким обломком можно убить человека, однажды это случилось — Винни Зак стукнула своего дружка в шею, и оружие растаяло в его горячей крови.

[261] Примечания: 261

Чавис Бузу (1930—2001) — американский музыкант, один из пионеров стиля зайдеко.

Так играл Амеди Ардуан [262], этот *`tit négre* [263] колотил по клавишам своими острыми и крепкими, как пешни, пальцами. Сейчас таких глыб уже не бывает. И давно нет в Хьюстоне ледника «Голубая луна», и никогда не скажешь, что он там был, глядя на танцплощадку размером в две простыни, крошечную эстраду, вокруг которой расположился целый акр столиков, а рядом стойка длиной пятьдесят футов, и никто не будет знать, что это на них свалилось, когда он заявится туда в черных брюках и рубашке, в красном сатиновом жилете, белых туфлях из кожи ящериц, и с зеленым аккордеоном, вместе с его блуждающими глазами. Он зажжет эту толкучку чистейшим зайдеко, он заставит звенеть все колокола. Он намерен посягнуть на основы.

С ним пришла Вилма — в платье-трубе с красно-белыми полосами и красными клиньями. Она выглядела, как надо, знойная женщина, села за маленький столик рядом с эстрадой, закурила «Спадс» и покосилась на танцоров. Зал был набит до отказа, но люди все шли, приветствуя и окликая друг друга, женщины бросали сумочки

---

[262] Примечания: 262
Амиди Ардуан (1896—1941) — луизианский музыкант.

[263] Примечания: 263
Негритенок *(фр.)*.

на клеенчатые столы, отражения зажигалок плясали на обернутых алюминиевой фольгой распорках, державших жестяной потолок, над головами болтались гирлянды пыльного красного серпантина, и каждый столик украшала пластиковая роза в пивной бутылке без горлышка — у кого-то остался с Рождества специальный резак, — черные портьеры на окнах нагоняли внутрь вечер. Ступив на пол перед оцинкованной стойкой, можно было подумать, что много лет подряд на него намерзали капли воды. Прямо под вывеской «Несовершеннолетним вход воспрещен» к ободранной доске был прибит гвоздями большой красно-черный плакат:

Клифтон и Октав

Короли Зайдеко

Вся ночь $1

Рядом хлопала в воздухе другая афиша:

Пятница!

Король Зордико Сампи и его Дурные Привычки

Очередь стояла на улице, а солнце — над горизонтом, покрытым тяжелыми грозовыми тучами, плывущими со стороны красного, как кровь, залива; Като Комб собирал у входа деньги, в коридоре на стене зазвонил телефон, и трубку сняла Этерина, женщина шести футов десяти дюймов ростом, с рыжими волосами, обработанными специальным выпрямителем — «сжигаем, красим и зачесываем на бок» — она сказала, да, да, хорошо, у нас дома говорят тож самое, Клифтон и Октав, да, два кордиона, *frottoir* [264] и барабан, и засмеялась в ответ на чужие слова, ха-ха, хааа, ха-ха. Она протянула Октаву бутылку холодного пива и покачала головой, когда тот спросил: Клифтона еще нет? Столики уже полны, человеческое дерево устремилось к стойке, ацетатные платья с виноградными лозами и гибискусами, розовыми складками и жгучим перцем.

Было жарко, теплые тела покрывались потом, звенели бокалы и бутылки, а резкий голос из угла перекрывал собою шум разговоров. Звенел

---

[264] Примечания: 264
Металлическая ребристая доска, которую надевали на грудь.

и звенел телефон.

— Ага, ага, ха-ха, хааа, ха-ха, нет, нет. Ага, тут он. А, в чем дело? Чего ему сказать? Привет, привет, ладно, пока. — Этерина повесила трубку и посмотрела на Октава. Слышны были отдаленные раскаты грома, длинное раздраженное бормотание, она вздрогнула — гром напомнил ей о торнадо, которое в мае прошлого года разнесло заднюю стену здания и убило человека.

Облокотившись о стойку, Октав вопросительно смотрел на Этерину, и она тоже разглядывала это спокойное шоколадно-коричневое лицо, сильную шею, усы над толстыми губами, тонкие пальцы, трогательно косой передний зуб.

— Убрать бы на фиг эти синие шторы, пусть дамы видят твои *beaux yeux* [265]. Значит, Клифтон. Похоже, его не будет. Они попали в аварию аж в Луизиане, в Димпле, что ли. Все целы, кроме машины. Говорит, они все твои, заведи их как следует. Повезет, так он еще появится, но лучше не рассчитывать. — Она смотрела, как он направляется к Вилме, тяжело вбивая в пол каблуки белых туфель — острые, как стрелки, носы указывали ему дорогу; он наклонился над

---

[265] Примечания: 265
Красивые глаза *(фр.)*.

девушкой, что-то сказал, отпил немного из ее бокала и направился к эстраде. В этом была его беда. Он слишком сильно давил на каблуки.

Октав встал у микрофона между Бо-Джеком с барабанами и Стаддером с камертоном и с блестящей металлической манишкой; лица повернулись в его сторону, послышались выкрики:

— Где Клифтон, где мистер Си? — Стаддер дурачился с *frottoir*; в этой смешной штуке с парой серебряных грудей он был похож на чернолицую женщину-робота, и то и дело поскребывал тупой палкой камертона сиськи, якобы спрятанные под железом.

— Привет, ребята, Клифтон тут звонил из Димпла, Луизиана, у него там авария, все целы, он велел вам скакать и орать так, чтобы ему там было слышно. Мы вам поиграем зайдеко, всем громко топать и радоваться, упрыгаемся до смерти, и вот тогда-то он придет нас откачивать, танцуют ВСЕ!

Он начал тяжело и страстно, поднимал аккордеон над головой, чтобы дрожали меха на триолях, чертил краями дуги, аккордеон летал, точно с пилотажный самолет в диатонических группах — в дело шел каждый дюйм длинных мехов, руки умело направляли их движения, инструмент

вздымался и нырял обратно в раскрытые ладони — тесная площадка в три минуты заполнилась танцорами. Октав знал, что делает. Он заорал:

— Ах-ха-ха! Вы еще не горите? Сейчас загоритесь! — Это была *«J'ai trois femmes»* [266], на танцоров сыпались пучки хлопающего стакатто, барабаны стучали в их сердца, резиновая доска шипела и трещала по-змеиному, хича-кеч-а-кеча-хич. Во все стороны летели яркие капли пота. Этерина прокричала:

— Крепче топай — громче хлопай! — Сквозь полуоткрытую дверь прорывался сине-белый свет, грохотал гром и сверкали молнии, выл ветер. Этерина опрокинула рюмку неразбавленного джина и пробормотала молитву. Она боялась взглянуть, что творится на улице, и махнула рукой Като, чтоб тот закрыл дверь.

Октав стоял теперь на полусогнутых ногах, словно пытаясь вложить в руки все напряжение нервов. Пальцы носились и лупили по кнопкам, извлекая трели и бешеную дрожь, ноты вибрировали со всех силой его раздувшихся легких, левая рука снова и снова выбивала дробь, а правая тяжело и быстро стучала по кнопочной массе,

---

[266] Примечания: 266
У меня три женщины *(фр.)*.

помехи коротких нот, диссонансные аккорды выталкивали из глоток танцоров восторженные вопли — и вдруг музыка умолкла, все засмеялись на полувздохе, но — фокус, ребята, — тут же зазвенела опять, закручивая и выворачивая созвучия ладов, танцоры вновь завиляли змеиными бедрами, задвигали локтями, в стороне какая-то пара синхронно подергивала задами в такт «Зеленому Буди». Но сквозь этот бешеный танец, он видел, что они выкладываются не до конца; прячут от него свое жгучее желание дождаться Клифтона и его блестящего клавишника.

— Вы еще не замерзли, а? — проревел Октав. — Вперед, ребята, как это говорят? Мы слишком французы для черных, и слишком черны для французов. — Он заиграл аккордеонную шутку, старый каджунский тустеп, разогретый синкопами и двойными тактами. — Давай, давай, давай, — прокричал он одной паре, пожилой и мускулистой, гладкой, как влажный шелк, которая тут же вклинилась в музыку. Другие танцоры, освободив место, смотрели, как они выписывают старые па и коленца зайдеко, быстрые и прекрасные. Из-под дождя появился Като Комб в облепившей все его длинное тело мокрой одежде. На улице завывал ветер, по крыше стучал град.

Октав наклонился к микрофону, смочил губами, его дыхание наполняло зал.

— Все помнят, откуда это пошло? Знаете, о чем я? Оттуда пошло, туда и вернется. Ла-ла, вспомним старое доброе ла-ла, которое мы играли раньше. Вы вернулись домой. Теперь никто не устоит на месте. — Они действительно разошлись, и все же он чувствовал холод.

По столам расставили тарелки с ужином, гамбо и курятину, над залом нависла дымная пелена, в полутьме вспыхивали яркие огоньки сигарет. Жара стояла неимоверная, одежда танцоров пропиталась потом, ладони прилипали, пары выскальзывали из рук друг друга, рикошетом отскакивали от соседних пар, но все равно танцевали, лишь время от времени вытирая о ляжки мокрые ладони. Огромный вентилятор под потолком разгонял дым. Гроза кончилась. Кто-то закричал, требуя клифтоновского *«Eh, `tite fille»* [267], и он бросил им ее, импровизируя на ходу, жонглируя триолями, как настоящий силач, заставляя танцоров дрожать в одном ритме с тремоло.

— Черт, как классно он играет! — прокри-

---

[267] Примечания: 267
Эх, девчушка *(фр.)*.

чал, какой-то белый, плоско ступая на широко расставленных ногах, один из любителей прогуляться по трущобам Френчтауна. Ему ответила черная женщина:

— Точно. Чистая Луизиана. — Но тут из центра танцевального круга раздался другой женский голос — недовольный:

— Когда же будет Мистер Си? Эй, вы, давайте сюда Клифтона! Он играет, что хочет — хоть кнопки, хоть клавиши. Ты хороший парень, но ты не Мистер Си.

Пожилой мужчина танцевал с молодой женщиной. На нем были кожаные ковбойские башмаки с хромированными носами, желтый, тоже кожаный пиджак с запонками на обшлагах, как у старого забияки с пистолетами, голубая рубашка, а галстук «боло» удерживался золотым черепом с рубиновыми глазами. Никто на площадке не мог с ним сравниться: мягкие скользящие движения, трапециевидная спина извивалась, словно переливчатая змеиная кожа, гибкие руки скребли воздух, желтые башмаки точно подмигивали, перед тем как очередной раз топнуть по натертому полу, длинные мускулистые ноги сгибались и выпрямлялись, бедра ходили, как на шарнирах, сотни танцевальных па: скачок канюка, техас-

ский томми, гринд, лихой кнут, рыбий хвост, твист, сундук из Джорджии, чарльстон, шимми, шаут, бешеный индюк.

— Принесите стакан! — крикнул кто-то. Этот человек был еще и искусным жонглером, мог крутиться и подпрыгивать, прочно удерживая на лбу стакан с водой.

— Даааавай! Покажи им! — Ему было семьдесят три года, этому старику с гибким, как у ребенка телом.

Через час у Октава покраснели от дыма глаза, а в рот словно насыпали золы, он крикнул:

— Перерыв, — подсел к Вилме, вытер пот с шеи и лица, махнул Этерине, чтобы принесла пива и сигарет, потом виски и еще пива, потом еще, потом во втором отделении он играл «Не подавайте руки мертвецу», кнопки щелкали, меха

всасывали воздух и с пыхтением выпускали обратно, он намеренно искажал мелодию, размахивая аккордеоном над головой, влетал в крещендо и сбрасывал звук вниз, скреб и стучал ногтями по складкам. Като Комб распахнул дверь, и в зал потек сладкий промытый дождем воздух, на севере еще полыхали молнии. Но Этерина нахмурилась — она знала, что людям нравится духота и жара, когда пот льет ручьями, сердца

колотятся, а легкие требуют воздуха.

Октав был недоволен. Он сделал что мог, и все же проиграл битву за их сердца — они не забыли Клифтона. Он отдал зеленому аккордеону все, что у него было, а тот лишь выбрасывал из себя рыдающие вздохи, исходившие словно из груди тяжелоатлета; это инструмент хорош для выжимания пота, его сильный плачущий голос обращался к людям, но даже с убранным рашпером, даже с новыми язычками все получилось не так. Не хватало диапазона. Октаву уже не нравилась эта нарисованная дьявольская голова и пламя. Он слишком много за него отдал, увлекшись отражением собственных глаз. Что-то случилось с его головой. Он отвезет его в Чикаго и продаст первому же замученному ностальгией гармонисту, а себе добудет такой, как у Клифтона — с большими клавишами и крепкой твердой основой, в нем больше нот, чем Октав способен запомнить, но что делать, если ради такого инструмента женщины срывают с себя белье — извиваясь, вылезают из трусиков прямо посреди танцзала, швыряют в большой аккордеон, а он ловит их складками, пищит и перемалывает в воздушную нейлоновую требуху — Бузу Чавис в антрактах продавал трусы специально большого

размера с надписями «СТАЩИ!» «КИДАЙ В УГОЛ!» Глупый аккордеон, пьяный и дикий, швырнуть с табурета на пол, поднять и играть снова. Никто никогда не бросал в него лифчики, но дайте только добраться до Чикаго, уж там-то он им даст прикурить. Стоял 1960 год, и да, старый поезд «Иллинойс Сентрал» уже ждал у перрона, не надо блюзов — мы здесь для зайдеко.

(Тридцать пять лет спустя, Рокин Дупси[268], прислонившись к высокой спинке стула на чьем-то крыльце в Опелузасе, вспоминал тот вечер, когда от зеленого двухрядника Октава у всех сносило крышу.

— Он никогда больше так не играл. — Но откуда он узнал это? Та единственная жаркая ночь вознесла Октава на вершину жизни, а все остальные события, какими бы они не были, остались внизу.)

---

[268] Примечания: 268
Рокин Дупси (1932—1993) — аккордеонист, игравший в стиле зайдеко.

Город Холодного Джо

Тяжелая, тяжелая несчастная зима, пронизывающий ветер с озера, мокрый снег с дождем, денег не было, спать приходилось в грязной комнате, играть не звали, никому не нужен его зайдеко, все слушали заумное новомодное дерьмо, никаких танцев, только блюзы, блюзы, блюзы, но не старые блюзы Дельты, и не рок, ничего кроме городских блюзов под электрогитару, громких, быстрых, скрипучих, и он знал, почему. Послевоенные времена, о которых столько доводилось слышать, кончились — тогда тысячи и тысячи людей валили с юга в набитых до отказа поездах, и через час после прибытия каждый имел работу. Голодный город Чикаго с воем набрасывался на хорошие, крепкие руки рабочих, готовых начать все с нуля, как в старые добрые иммигрантские времена; вот что сделало Чикаго богатым — не свинина и не пшеница, а дешевый труд рубщиков свинины и грузчиков пшеницы. Они по-прежнему тысячами волоклись сюда, но работы больше не было: с глубоким вывертом экономика пошла вниз, и оставалось лишь сидеть, выть свои злобные песни, пить, курить, драться, трахаться и

слушать, как кто-то выводит «Крепкие времена» Дж. Брима[269] — что угодно, лишь бы отвлечься от тяжелых мыслей. Гитарам иногда везло, братья-поляки выпускали им пластинки, но никто и не думал записывать зайдеко. Они не хотели его слушать. Дошло до того, что он сам больше не хотел себя слушать, особенно после междугороднего разговора с Вилмой — он написал ей тогда песню, которую она так никогда и не услыхала.

— Идет ли дождь у тебя, малышка, такой, как здесь? — Спрашивал он, голос извивался вместе с проводами, голос капал, медленно и печально. В ответ — живая тишина, проволочное дыхание и щелчки за много-много миль. Тишина, чеканная тишина. Слишком много нужно сказать.

— Если бы я мог быть с тобой, — выдыхал он, — говорить с тобой, любить тебя, войти в тебя. Я так скучаю по тебе, малышка. — Слова пробивались в провода обрывками. — Скучаю. Скучаю без тебя. Все ради тебя, малышка.

Она повесила трубку, но ему казалось, что она все еще там, все еще на линии, все еще связана с ним, хочет что-то сказать, но не может, да и не нужно это, ведь он и так уже все понял. Он ушел.

---

[269] Примечания: 269
Джон Брим (р. 1922) — чикагский блюзовый певец.

Зеленый аккордеон был еще с ним, хотя рашпер потерялся, а футляр он выбросил — никак не продать этого ебаного ублюдка. Инструмент стоял на буфете, смотрел на противоположную стену, глаза его ловили только безжизненный свет и потому казались слепыми. Ремень на футляре порвался через несколько минут после того, как Октав ступил на платформу; это произошло прямо на вокзале, когда он старался не изумляться слишком явно арочным окнам и овальному залу, в котором гуляло эхо — беспокойная масса людей с узлами, чемоданами, кучи детей, футляр упал на мраморный пол, аккордеон выпал и с мерзким звуком покатился по лестнице. Кто-то крикнул:

— Эй, мужик, ты что-то потерял. — Октав подхватил инструмент, запихал его в футляр, вне себя от смущения — все стали оглядываться на эту южную деревенщину — он рванул на Двенадцатую улицу, не зная толком, куда податься, лишь помнил, что ему надо на Индиана-авеню. Дискантовый край треснул. Еще на вокзале, горько выругавшись, он выбросил футляр и теперь тащил по улице голый инструмент. Бадди Мэйлфут мог специально надорвать ручку.

Октав инстинктивно повернул на юг, с инструментом в одной руке и чемоданом в другой

пробрался сквозь кучку музыкантов Армии Спасения: труба, барабан, английская концертина и наконец тамбурин не оставляли сомнений в том, что они ничего не понимают в музыке. Октав ловил ноздрями запах Чикаго: вонь животных с юго-восточных боен, аромат истощения и неприятный привкус жирного, горячего жареного мяса. Он прошел мимо кинотеатра и обувного магазина, мимо вывески хироманта с указательным пальцем над лестницей, богобоязненного растафары с барабаном, мимо фронтонов церквей.

— *… ежели толковать о Христе из Библии, правильно говорю? Об храме Соломона, об колесе в колесе, правильно говорю? Знаю, что правильно, об том, как жених дожидается брачной ночи, люди, вы молитесь со мной? Правильно, сам знаю, что правильно, надо выбирать: или свет или пламя…* — слышались запертые в домах блюзовые нити, болтовня клаксонов, шипение покрышек, двойное хриплое шарканье задниц о стены, и со всех сторон сдержанный стук высоких женских каблуков, щелкающая путаница пикающих ритмов, пересекающихся и расходящихся вновь. Похоже на музыку. Он постарался не наступить на картину, которую рисовал цветными мелками на асфальте безногий человек на механической

тележке — там был изображен Иисус, и на отдельных панелях все его приключения, вроде комикса, слова выписаны желтым мелом, буквы загнуты, словно бананы.

Ему досталась полуподвальная комната-кухня, темная дыра с плиткой, все здесь пропахло чем-то странным, зато дешево.

(Это здание вместе с несколькими сотнями других уцелело после пожара; зеленые зигзаги спускались по пятнистым стенам; проблески кружевных мостов, фабрики с дырами незастекленных окон, распухшие монограммы граффити, одни буквы поверх других, слой за слоем, беспорядочно, бессмысленно — и четкая надпись «ЗАБУДЬ» на виадуке.) В шкафу он нашел грязную белую расческу, пожелтевшую газетную рекламу «познакомьтесь с бессвязными звуками, такими популярными среди подростков…» и письмо, адресованное человеку по имени Иуда Брэнк, в котором говорилось: «Флито нада сакс, типа как ты, пазвани 721—8881». На конверте стоял штамп: Канзас-Сити, 1949 год. Октав задумался, кем мог быть этот Флито, наверное, уже сдох — потом выбросил письмо в картонную коробку, которая служила ему мусорной корзиной и вызывала в памяти другую картонную коробку — его самое

первое воспоминание: он лежит в полутемной комнате и смотрит на края коробочных стенок, бледно-коричневый цвет, ряд маленьких темных тоннелей, уходящих туда, где страшно и странно, из устья тоннеля вылезло крошечное красное насекомое, посмотрело на него сверкающими глазами и уползло обратно.

— Не может быть, чтобы ты это помнил, — говорила мать. — Все так, ты лежал в коробке, но ты тогда только родился. Этого никто не помнит. Ты так быстро вырос, что через месяц я тебя оттуда вытащила. Коробка была от мыла, «Белый Ринзо». Люди смеялись, что я хочу отмыть тебя добела. — Но до сих пор запах мыльного порошка вызывал в нем угрюмо-печальное чувство, прочно связанное с тонкими картонными тоннелями.

Зеленый аккордеон покрылся пылью — он знал, что это вредно, но не мог заставить себя ее вытереть, он вообще теперь мало что мог, разве что играть, но играть почти не хотелось. В первое время он играл постоянно — есть там трещины или нет, какая разница — но аккордеон издавал взволнованные, похожие на тяжелое дыхание звуки, словно от тяжелой работы, словно визг шурупов, словно он смертельно тосковал по комто, да, такие звуки издавал бы человек, которого

превратили в аккордеон, и очень скоро Октав уже не мог их выносить. Звук, словно кого-то на чем-то заклинило. Работы не было. Дело, похоже, шло к тому, что придется тащить инструмент в ломбард и возвращаться домой.

— Ну почему все так? — зло говорил он, обвиняя себя самого в том, что нет работы, и выискивая в своем нутре какой-то глубокий изъян — в чем-то он был не таким, как все, чего-то ему не хватало — неважно чего.

Думаешь, все уладится

Только через год или два наступил день, когда он окончательно решил отнести аккордеон в ломбард, но не для того, чтобы купить билет на юг, а потому, что приобрел к этому времени не слишком обременительную привычку, а зарплату задерживали, но если человеку что-то надо, значит надо. Он никуда не уехал. Он устроился учеником плотника в строительную компанию, собирался вступать в профсоюз, хотя спешить было некуда, на новых объектах появилась работа, недостроенные здания наполнялись чернокожими сразу, как только привозили окна; огромную площадь поделили между собой город и скоростная дорога Дэна Райана. Грош цена разговорам про интеграцию юга — пусть посмотрят своими глазами: прочная, как скала, сегрегация, окруженная настоящим крепостным рвом. Может, так и задумывалось?

Он связался с двумя женщинами, и хорошо себя при этом чувствовал — Бо-Джек и Стаддер приехали из его родных мест и направились прямиком на музыкальную сцену; он показывал им, что тут и где, а они смотрели на него снизу

вверх, и шутили лишь наполовину, называя «большим ниггером в Чикаго». Октав устроил для них экскурсию по цветным клубам, где тусуются отморозки, и дальше — где жирные, как свиньи, белые драндулеты сутенеров протискиваются сквозь кучки поджарых гангстеров; вылезая из машин, эта публика демонстрировала острые, как лезвия, стрелки брючек, крокодиловые туфли и вихляющую, как положено котам, походку. Бо-Джек сказала, что Вилма вышла замуж и переехала в Атланту. Им хотелось послушать что-то особенное, какие-нибудь новые необычные мелодии. Он отправил их в клуб «Брильянтовая точка» на группу «Негритянское жужу» с диатоническим аккордеоном, *sekere* [270], говорящим барабаном, цимбалами и гонгом. Бобби полюбила их до умопомрачения — бум! теперь она поклонялась только этой музыке, и все предложения Октава о том, что может, неплохо было бы вспомнить их старые песни, отвергались без разговоров. На самом деле, ему и самому не особенно хотелось. Теперь, когда у него завелись деньжата, он пристрастился к ночной жизни, купил в рассрочку большой клавишный аккордеон (два доллара в

[270] Примечания: 270

Негритянский музыкальный инструмент — кувшинообразный барабан.

неделю), завел себе черную шелковую тунику, кашемировый шарф, который обматывал вокруг головы, афганский плащ до щиколоток из какого-то желтого меха и зажил не то чтобы на широкую ногу, но всяко лучше, чем раньше. Его все сильнее привлекали городские блюзы, но он по-прежнему играл зайдеко, немного стыдясь своей южной черномазой музыки. Это началось однажды ночью, когда он слушал в каком-то клубе игру косоглазого дурачка с южных болот: слабенький дрожащий голос, на который никто не обращал внимания, постоянно срывался, оставляя в каждой строке грубые заплаты пауз и выпихивая из себя лишь обрезки слов. Аккордеон этого придурка сбивался с ритма, щелкал, словно пишущая машинка, и Октав понимал, что такая игра никуда не годится. Годилось разве что луизианское дерьмо болотной попсы, белое дерьмо на двух аккордах, ми-бемоль и си-бемоль, да и оно сходило на нет. Он не будет это играть.

Он сам не знал почему так получалось, но у него испортился характер: теперь его раздражала любая мелочь, чего никогда не было в Луизиане — возможно виноват телевизор, который вечно лез, когда надо и не надо, со своими машинами и башмаками. Приходилось держать себя в руках:

на верхних этажах зданий и внизу кварталов — вечеринки в съемных залах, картежные вечеринки, просто вечеринки, субботние ночи и другие ночи тоже, если у вас есть к ним вкус, а еще к траве, коксу и хорошей выпивке, если такие штуки вам нравятся. Ему нравились. Чикаго сходил с ума. Октав полюбил саксофон и электрогитару, это было классно, очень красиво. Он никак не мог насытиться, торопился восполнить то, чего не хватало ему в прежней жизни, не отказывал себе в золотых кольцах и цепочках. На полке у него стояло шесть книг: «Краткая мировая энциклопедия», «Самоучитель школьных дисциплин», «Великие цветные», «Сексуальная анатомия женщины», «Универсальный словарь рифм», «Введение в музыкальные размеры»

Что-то происходило, или казалось, что происходит, он спал с женщинами, попадал в черные списки, работы таяли, они просто не нужны были больше. Экономика закукливалась. Ну что ж, он тоже сожмется и будет ждать, когда она вновь начнет разворачиваться. Никуда не денется: слишком многим нужна работа.

Ты понятия не имеешь, откуда ты взялся

Его пра-прадеда приковали цепью к каравану рабов — в этом была особая горькая ирония, поскольку он был духовно связан с металлом, происходил из древнего рода кузнецов, нагревавших железные прутья на своих наковальнях (это заметно повысило его цену); на работорговом корабле «Нант» его доставили в Новый Орлеан и продали плантатору, который привез свое приобретение в дельту Миссисипи — там он и умер, не дожив до сорока лет, но успев соорудить достаточное количество оконных решеток и ворот, каминных подставок и таганов, кандалов и инструментов — иногда он делал декоративные штучки, которые несли в себе тайное проклятие, и ни о чем не подозревавшие белые умирали потом от непонятных болезней.

Сын кузнеца Кордозар (прадед Октава, Иды и Мэри-Перл) родился рабом и научился у отца обращаться с наковальней; в двадцать семь лет он убежал в Канаду: шел ночами, а днем прятался с индейцами в болотах. Он пообещал своей

женщине, что как только доберется до места, устроит ей побег, и она приедет к нему на север вместе с сыном Зефиром. Но через несколько месяцев после того, как он добрался до Торонто, разразилась Гражданская война; сгорая от нетерпения получить оружие, он добрался до Бостона, записался добровольцем, прошел с боями от Пенсильвании до Вирджинии, дважды был ранен, гонял санитарную повозку и очевидно забыл о женщине с ребенком. Через несколько лет после Аппоматтокса[271], в составе одного из двух черных конных полков десятого кавалерийского отряда он отправился на запад и утонул в речке Прейри-Дог, когда незаметно подкравшийся двенадцатилетний сиу всадил пулю в живот его лошади.

[271] Примечания: 271
Город, в котором в 1865 г. была подписана капитуляция армии Юга.

Девушка осталась позади

Ребенок Зефир рос в Ванилле, Миссисипи: собирал хлопок по испольной системе, бренчал на банджо, жил бедной и трудной речной жизнью от найма до расчета на одной из самых богатых земляных россыпей в мире, вечно недополучал заработанные деньги, учился письму и арифметике, болел и травился цветами фасоли, а еще молился. После нескольких лет такой жизни он бросил все, взял банджо и отправился по территориям с карнавальным шествием, заодно играя африканского плута — просунув голову сквозь дырку в простыне, он подмигивал и гримасничал перед толпой белых мужчин и мальчишек, которые по очереди, широко размахиваясь, швыряли в него мяч — «Виктрола» в это время, скрипя, наигрывала: «Пляши, черномазый». Карнавал кончился в захолустном овечьем городке Невады, Зефир остался без гроша, так что пришлось продавать за два доллара банджо, и этих денег ему хватило на половину дороги до Ваниллы. Вторую половину он прошел пешком, явился домой со стертыми ногами и впрягся теперь уже навсегда в круг исполья, чтобы получать свою жалкую

долю радостей от секса, выпивки и музыки. В 1930 году его сфотографировал белый из Управления охраны ферм — Зефир позировал в своей рабочей одежде, странном костюме из тряпок, пришитых к другим тряпкам сотней болтающихся ниток и в шляпе из проеденного молью фетра. Он сделал детей четырем женщинам и предоставил их самим себе. Завел беспородного пса и назвал его Хлопковый Глаз — пес прославился тем, что зализывал людские раны, и за эту услугу Зефир брал пятак. Как-то в бедный засушливый год у него в огороде вырос невероятных размеров амарант. Зефир прилежно поливал растение, следил, чтобы вокруг не было сорняков, восхищался его размерами — стебель был толщиной в два больших пальца. Он вырос до десяти футов, после чего упал, не выдержав собственного веса, — величайший амарант на свете остался в памяти всех, кто его видел.

Зефир мало говорил — за него пело банджо, — никогда не выдавал своих секретов, никогда не сообщал, о чем думает, лишь о том, чего хочет, о том, что мог бы получить — до тех пор, пока после демонстрации новой хлопкоуборочной машины «Международный жнец» не пришло время расчета, и мистер Пелф не объявил, что

за год Зефир заработал ровно три доллара; он в последний раз положил деньги на похоронный счет, лег на застеленную тряпками кровать и попросил принести ростбиф с шампанским (эти два кулинарных излишества приобрели для него статус иконы после того, как ему довелось их попробовать пятьдесят лет назад на празднике Четвертого июля — распорядитель карнавала устроил тогда пир в модном ресторане Де-Мойна, расплатившись поддельным чеком). Дочь по имени Лэмб, единственная из всех его детей, дожившая до этого дня, принесла на блюдце жареный свиной хрящ и стакан шипучки. Зефиру было восемьдесят три года, он очень устал, а лицо покрывали глубокие морщины, похожие на швы стеганого одеяла.

— Нет, — сказал он, завернулся в серое покрывало, повернулся к стене, закрыл глаза, и так и пролежал два дня, не шевелясь и не говоря не слова, пока не умер, изнуренный великой и вечной борьбой.

Байю-Ферос

Лэмб дотянулась до подоконника, нажала на кнопку будильника, накрыла свитером запотевшее зеркало, сняла с комода фотографии детей и завернула их в бумагу. После похорон старика в мае 1955 года Лэмб с тремя детьми — Октавом, Идой и Мэри-Перл — переехала в Байю-Ферос, Луизиана, вместе со своим дружком, Уорфилдом Данксом (бледно-карие глаза в ободке чистого голубого цвета), Там они купили радио и начали слушать профессора Боба, короля проигрывателей из Шривпорта. Через час после того, как они сняли эту халупу, Мэри-Перл наступила на осиное гнездо и прямо в старом цветастом платьице рванула сквозь заросли колючек, прыгая, как ненормальная, огромными дикими подскоками так, что только мелькали на солнце тонкие и искусанные девчоночьи ноги.

Через год несчастный Уорфилд погиб на шоссе: остановился рассмотреть шестисотфунтового борова, несшегося прямо по середине дороги, и в это время пожилая белая женщина въехала на «шевроле» в зад его машины. Лэмб работала на кухне у белого президента колледжа (разреша-

лось уносить домой кожу, жир, ноги и головы консервированных куриц, картофельные шкурки и черствые горбушки) за пять с половиной долларов в неделю. Надеялась когда-нибудь перебраться наверх — перетряхивать льняные кремовые простыни, стирать пыль с подоконников, расставлять туфли миссис Арстрэддл на косых полках. Дети подрастали. Октав, уже почти мужчина, ловил в заливе рыбу. Ему нужна новая лодка, из которой не надо будет вычерпывать каждые десять минут воду, и с хорошим мотором. Она молилась, чтобы Мэри-Перл не попала в беду, не очень надеясь на результат — девочка была слишком хороша собой и сводила мальчишек с ума. Настоящей бедой была Ида — в восемнадцать лет она выросла до шести футов двух дюймов и весила почти триста фунтов; некрасивая, черная, нос картошкой, щель между зубами; когда девочки прыгали через скакалку, она всегда крутила веревку. Драчливая, с зычным голосом — ей бы родиться мальчишкой. Может она и успокоится после того, как родит первого ребенка, а может и нет — судя по замашкам, она ненавидела мужчин и не собиралась рожать детей, говорила, что на нее не заберется ни один мужик, крушила все на своем пути, а под кроватью у нее была свалена ку-

ча книг и журналов в желтых обложках — такого пыльного беспорядка Лэмб в жизни не видала. В любое время дня и ночи к ним в дверь стучались какие-то тетки с новым бумажным хламом.

— С таким видом — можешь не волноваться, — говорила Лэмб. — Ни один мужик на тебя даже не посмотрит.

— Я знаю, какой у меня вид. Ты повторяешь это с тех пор, как я научилась ходить.

Вырывание волос

В восьмом классе Ида потащила свою подружку Тамонетт в центр города вырывать белым волосы. Они шагали по пыльной дороге, держась за руки и распевая «Иисус в телефонной трубке». Обе обладали весьма опасным чувством юмора — после собственных шуток им приходилось давить в себе смех, чтобы не вляпаться в историю. Тамонетт была худенькой, низкорослой и считала, что обязана стать такой же храброй, как сестра ее бабушки Мэралайн Брюлл, которая в 1920 году уехала в Париж прислуживать в белом семействе, там научилась летать на аэроплане, вернулась на юг и распыляла по полям удобрения, пока в 1931 году белый фермер не подбил ее самолет из ружья прямо в небе; но даже тогда она не утратила присутствия духа, направила горящую машину прямо на этого человека с ружьем и погибла вместе с ним.

— Что это на тебе за джинсы? — критически поинтересовалась Тамонетт.

— Спроси чего полегче. Джинсы и джинсы, — ответила Ида, поворачиваясь, чтобы разглядеть этикетку.

— Дура, за этой фирмой ККК, они делают на нас деньги. И, между прочим, за жареными курями, которые ты так любишь, тоже. Выкинь лучше эту гадость.

— Тамонетт, ты-то откуда знаешь?

— Дура, кто ж этого не знает?

До Фероса было четыре мили, и город пугал их своими машинами, тротуарами и светофорами. Казалось, все белые смотрят им вслед и знают, что у них на уме.

— Теперь слушай, — сказала Ида. — Только один волос, и чтоб не хапала целую жменю, только один волос — а если кто заметит, говори: «ой, звиняйте, мэм, верно зацепилася за браслетку».

— И чтоб ты на меня не смотрела.

— Точно. И сама не смотри. Запомни: только один волос. Так больнее.

Универмаг Крэйна с его вечной толкучкой вполне подходил для операции, но только не пятачок на первом этаже, вокруг эскалатора. Сделав свое дело, девочкам надо как можно быстрее затеряться среди людей, и Тамонетт показала глазами на прилавок возврата, где примерно пятеро белых дожидались своей очереди, чтобы вернуть хлам, на который они зря потратили деньги; эти люди держались кучкой, болтали и тянули шеи,

высматривая, скоро ли закончит тот, кто стоял сейчас у прилавка.

Ида выбрала двух толстых теток: у Номера Один были светлые волосы, мужиковатое лицо и свободное розовое платье; она разговаривала с Номером Два — толстопузой дамой с пучками фиолетовых кудряшек. Айда подобралась достаточно близко и хорошо слышала их разговор.

— Эльза разве не состоит в «Дочерях»?

— Нет, милочка, раньше — да, а теперь вышла.

— Ее семья ведь давно живет в Миссисипи.

— Смотри, какая короткая юбка.

— Ох эти юбки, неужели им не холодно.

— Что за мода, ужас какой-то.

— Я бы купила себе новое платье, но не могу… ну…

— Знаешь Эльзину машину? Я когда сажусь, все время стукаюсь головой.

— И не говори! Хорошо, что не я одна… ОЙ! — Руки метнулись к затылку, она принялась оглядываться по сторонам, потом подняла глаза к потолку, подумав: может, канарейка сбежала из отдела живой природы?

— Правда, милочка, эти шпильки иногда так раздражают.

— Кто-то вырвал у меня волос.

— Только не смотри на меня так, — сказали фиолетовые букли. Ида и Тамонетт были уже за два прохода от них, разглядывали блокнот с крапчатой обложкой и даже не улыбались. (Ида заплатила за блокнот двадцать девять центов: она уже тогда записывала кое-что из услышанного.) Позже им досталась девушка с длинными рыжими волосами, разделенными пробором, затем они перебрались в другой магазин, и там Тамонетт обработала молодого человека с длинными всколоченными патлами; при этом ни разу за все время ни одна из них не улыбнулась, даже по дороге к дому, хотя обеих распирало настолько, что, ввалившись, наконец, к Иде, они тут же покатились со смеху, визжали и хрюкали, повторяя вновь и вновь, как они бочком подбирались к этой, а потом к этому, выбирали волос, резко дергали и отваливали прочь с каменными мордами.

Лэмб была дома и перешивала из старой тряпки миссис Астрэддл нечто такое, что Иде или Мэри-Перл придется потом таскать на себе, всей душой ненавидя эту убогую хламиду. Преподобный Айк, точно полные горсти пневматических пулек, выплескивал из радиоприемника слова:

— Я великий, я замечательнейший, я выше любых измерительных линеек и классификаций,

я некто, я нечто, я надвигаюсь на вас, словно БУЛЬДОЗЕР, я отлично выгляжу, а пахну еще отличнее, и я говорю вам: бросьте то-то и идите туда-то. Делайте деньги, милые мои. И вам, и мне, нам не нужны журавли завтра, нам нужны доллары сегодня. Они нужны нам СЕЙЧАС. В большом мешке, в ящике или вагоне поезда, но нам нужны ДЕНЬГИ. Слушайте меня. Ничего не бывает даром. Мы хотим потрясти денежное дерево. Что-то пропущено в этой старой пословице, вы помните ее — деньги лежат на крыше зла. Я говорю вам: нищета лежит на крыше зла. Самое лучшее, что вы можете сделать для бедных, — это не быть ими. Никогда, ни за что. Не становиться бедняками, бедняки — это просто навоз, можете быть уверены. Знайте же, что…

Лэмб верила каждому слову преподобного Айка, жадно вслушивалась в истории о том, как слепая нищенка купила амулет, а через минуту зазвонил телефон, по которому ей сообщили, что она выиграла «кадиллак»; потом о человеке, которому достался билет на круиз по южным морям, или о другом, нашедшем на сиденье автобуса кошелек с хрустящими банкнотами и без всяких документов. Она заказала себе этот амулет и теперь держала его в носке воскресных туфель из

натуральной кожи, дожидаясь, когда он начнет действовать, а пока повторяла каждое утро:

— Я молюсь и знаю: когда-нибудь Господь сделает меня богатой.

Ида находит дело

В 1960 году Иде исполнилось восемнадцать, а Тамонетт, бросившая школу в девятом классе, была теперь размером с дом — вынашивала второго ребенка.

Получив аттестат, Ида уткнулась в тупик, о котором прекрасно знала заранее. Для черной женщины существовало только два пути: в прислуги или в поле. Какой смысл изучать обществоведение и алгебру, если самое лучшее, чем ты сможешь заняться, — чистить белым женщинам их мраморные унитазы? Лэмб как-то спросила миссис Астрэддл, нет ли у нее работы для Иды, например, в кухне, может на несколько часов в день, но миссис Астрэддл, встретив Идин сердитый взгляд и отметив, как та крутит огромными ручищами, сказала: вряд ли, Лэмб.

Блокноты и бумаги валялись по всему дому: закрученные страницы, вырванные страницы — все это разлеталось по полу, стоило кому-нибудь выйти на крыльцо.

— Неужели трудно убрать свое дерьмо? — говорила Лэмб.

— Дерьмо? Ты даже не знаешь, что это такое.

— Не знаю и знать не хочу. По мне, так бумажная куча. По мне, так ты только и делаешь, что собираешь у всяких бабок бумажки. Зачем они тебе, эти бабские бумажки? Мараешь в тетрадках почем зря, нет бы искать работу.

— Я пишу то, что мне рассказывают.

— Лучше ищи работу, — горько сказала мать.

В первый день февраля Джо Макнэйл, Франклин Маккэйн, Дэвид Ричмонд и Эзел Блэйр-младший уселись за столики в буфете универмага «Вулворт», штат Северной Каролина, — и в считанные месяцы сидячие демонстрации распространились повсеместно. Свалив блокноты и бумаги в коробку, Ида задвинула ее под кровать.

— Я поехала, я поехала. В Северную Каролину, — заявила она.

— Дура, — сказала мать. — Тебя убьют. Белые тебя убьют. Никуда ты не поедешь. Ребята из колледжа, студенты — вот они пусть этим и занимаются, черные и главное белые, у них там организация, а ты что — придешь и скажешь: «Привет, я маленькая Ида из Байю-Ферос»? Эти люди ходят в красивых браслетах и розовых рубашках. Ты ж там никого не знаешь. Ты ни в какой ни организации. Послушай меня, дочка, страшно это, пойми ж ты, наконец. Я тебе серьез-

но говорю, ты с огнем играешь. Они тебя выкинут, как куриные кости с тарелки.

— Я могу ходить маршем. Могу в сидячей демонстрации.

— Маршем? Тебе ж не дойти до магазина, сразу ноешь. Посмотри, сколько на тебе жира, мили не пройдешь, растаешь. Ты ж вопишь от картофельных мошек, лучше б уж царапала эти бабские бумажки. Иди, иди в свою Северную Каролину, тебя там убьют.

— Никто меня не убьет.

— Каждый день убивают, а они посмышленее тебя и получше с виду. Можешь мне поверить, бедный мистер Вилли Эдвардс в своей Алабаме тоже думал, что его не убьют, однако ж в первый день, как сел на грузовик, так Ку-Клусы наставили на него пистолет да и скинули с моста в реку. Ни за что. Я могу рассказывать тебе такое день и ночь, да что толку тратить силы?

(Через несколько недель Реднек Баб по пути на запись своего единственного хита «Каджунский король Ку-Клус-Клана», «только для сегрегационистов», затормозил перед домом Лэмб. Подошел к двери.

— Телефон есть? — спросил он. — Дай позвонить. — Она знала, кто это, и дала телефон. Через

два дня он возвращался домой, и когда снова проезжал мимо дома Лэмб, у него вдруг началась жуткая головная боль — такого он не помнил за всю жизнь; боль держалась целую неделю, и, в конце концов, он вместе с машиной слетел с дороги.)

Жировая ванна преподобного Визи

Тамонетт хрипела и давилась дымом.

— Для этих сидений не надо ехать ни в Монтгомери, Алабама, ни в Северную Каролину. В субботу большая демонстрация — в Стифле, Миссисипи. В буфете «Вулворта».

— Откуда ты знаешь?

— Мы туда едем — я, мама и «Баптистская Молодежь». Преподобный Визи везет нас на церковном автобусе.

— Ты? Детка, с каких пор тебя интересуют демонстрации? — И этот старый червяк-куроед, этот преподобный Визи туда же, собрал полный автобус народа, подумать только, и мамаша Тамонетт — ей-то что демонстрировать? Тамонетт сама теперь, как арбуз на спичках, за всю жизнь слова не сказала о каких-то там гражданских правах.

— Тогда я с вами.

— Тока никому не говори.

Сидячая демонстрация

Она не стала нарядно одеваться, нарядной одежды соответствующего размера просто не выпускали. На ней были обычные мужские джинсы и мужские рабочие башмаки; правда, Лэмб сшила рубаху размером с палатку и перед уходом Ида кое-как ее погладила — по всей материи расползлись складки. Тамонетт не влезала ни во что, кроме старого оранжевого платья для беременных, но парни были в пиджаках, как для похода в церковь, и в брюках со стрелками, другие девушки и женщины тоже расфуфырились, надев на себя красивые ацетатные платья, пояса и чулки, а кое-кто, несмотря на жару, даже шляпы и перчатки. Впереди Ида заметила бывшего дружка Тамонетт Релтона, который и сделал ей ребенка; он сидел рядом с Мойрой Рут, вытянув длинные ноги в рыжих ботинках.

— Так вот зачем тебе понадобилась эта демонстрация, — шепнула Ида.

— Закрой свой рот. Ничего подобного. — Но так оно и было на самом деле. Острый глаз Иды уже видел всю жизнь Тамонетт, как вокруг нее будут вечно крутиться мужчины, она станет рожать

одного ребенка за другим, старое оранжевое платье для беременных будет болтаться на ней до тех пор, пока не развалится на куски, и ничего никогда не устроится.

Преподобный Визи, грустный человек с дряблыми щеками и платочком, торчавшим из нагрудного кармана, словно гора Эверест, сидел на переднем сиденье рядом с матерью Тамонетт. Автобус тронулся, и женщина запела, подлаживая мелодию под гул мотора.

— Теперь так: они не знают, что мы придем, — объявил преподобный Визи. — Запомните: вы просто садитесь за стойку и сидите тихо, а если подойдет официантка, заказываете кока-колу. У всех есть пятьдесят центов на кока-колу, на случай, если вас обслужат? Но этого не будет. Что бы они с вами не делали, помните: вы можете только тихо и спокойно заказывать кока-колу. Сохраняйте спокойствие. Ничего не ломать и ни к чему не прикасаться, кроме кока-колы — если вам ее принесут. Но этого не будет. Если полиция потащит вас к дверям, держитесь за стойку. Никому ничего не говорите, просто держитесь за стойку. Иисус с вами, пусть они вас тащат, не сопротивляйтесь, только держитесь за стойку. Пассивное сопротивление, спокойствие, помните

о преподобном Кинге и о том, что вы делаете очень важное дело, которое требует от вас настоящего мужества, — ради ваших братьев и сестер, ради вашего народа, ради всех, ради торжества справедливости сохраняйте спокойствие.

Это был обычный городок: жара, несколько больших деревьев, на главной улице ряд магазинчиков, в окнах половины из них таблички «СДАЕТСЯ В АРЕНДУ». Они проехали его насквозь, и, миновав свалку автопокрышек, остановились на дальнем конце перед универмагом «Дикси Белл». Плотной взволнованной группой они вошли в «Вулворт»; парни ослабляли крахмальные воротнички и галстуки, напрягая при этом мышцы живота. Все вместе они подошли к буфету. Белый фермер лет сорока в заскорузлом комбинезоне, со слипшимися от грязи волосами, допивал остатки молочного коктейля, на тарелке перед ним валялись крошки хлеба и кусочки тунца. Они расселись перед стойкой на пустые табуреты. Фермер вытаращился на них, положил на прилавок деньги и ушел. Единственная в зале официантка протирала блестящий кран и детали какой-то машины: отвлекшись от своего занятия, она посмотрела в зеркало — не нужно ли кому-нибудь принести меню. Увидав ряд чер-

ных лиц, она застыла, потом рванула в кухню. Там заорала пронзительным голосом: где мистер Сиплэйн, там, в зале черт знает что творится. В узком проеме с крутящейся дверцей появился пожилой седовласый повар и уставился на них, держась одной рукой за другую так, что видны были грязные манжеты; потом исчез, уступив место посудомойкам и другим официанткам.

Ида ерзала задницей на неудобном круглом сиденье, хотелось покрутиться на нем, но она ясно чувствовала, как за спиной собирается толпа, и поглядывала в зеркало, чтобы получше ее рассмотреть; в основном там были добропорядочные белые мужчины, и они наперебой повторяли: что за чертовщина, что это, откуда черномазые, похоже, у нас неприятности, эй, ниггеры, что вам тут надо? Из кухни вышел высокий белый человек в коричневом костюме — начальник или хозяин, никто не знал.

— Вот что, черномазые, или вы убираетесь прямо сейчас, или я зову шерифа. Считаю до трех, и если на счет три хоть один останется, я обещаю большие неприятности. Раз! Два! Три! — Не шевельнулся никто, только дружок Тамонетт, подняв руку, попросил: принесите мне, пожалуйста, кока-колу, а коричневый костюм, не

обращая на него внимания, опять стал считать до трех, потом сказал: хорошо, я зову шерифа и полицию, и ушел в кухню. Не успела за ним закрыться дверь, как полиция была уже здесь, так что всем стало ясно — он вызвал их до всякого счета. Кто-то из толпы спросил дружка Тамонетт: ты хочешь кока-колы? За спиной у парня возник рыжеволосый приземистый человек в футболке с торчащей из кармана пачкой сигарет; он поднял вверх бутылку кока-колы, и потряхивая вылил дружку Тамонетт на голову.

— Вкусно, правда? Жопа слипнется, тогда почувствуешь. — Перед их лицами вдруг возникло множество рук, которые быстро собрали бутылки с кетчупом, солонки и перечницы. Ида почувствовала, как что-то, похожее на песок, сыпется по ее затылку и стала чихать — кто-то открутил крышку и теперь рассыпал перец вокруг. Люди по ту сторону стойки собирали с полок сливки, молоко, масло, пироги, майонез, горчицу, яйца; плюгавый белый человечек схватил трехгаллонный бидон из нержавейки и вылил прогорклое, холодное кухонное масло прямо на преподобного Визи. (Позже преподобный Визи говорил на церемонии:

— Господь не оставил меня, ведь это масло

МОГЛО быть ГОРЯЧИМ.)

Ида чувствовала, как по лицу и шее течет какая-то жидкая субстанция, конвульсивно чихала — вокруг летал перец и капала горчица, кто-то разбивал ей в волосы яйца, ледяное молоко струилось по плечам и груди, она была вся усыпана пшеничными хлопьями, облита сиропом «Каро», закидана джемовыми бомбами.

— Продуктовая война, — крикнул плюгавый и швырнул банан в маму Тамонетт — та вздрогнула от удара и запела:

— НАС НЕЛЬЗЯ ПОБЕДИИИИТЬ, — и все подхватили, чихая и вскрикивая, но не прекращая пение, они так и сидели за стойкой, и тогда двое легавых вместе с людьми из толпы увесистыми тычками дубинок стали спихивать их с табуретов, выкручивать руки, бить под колени и утробным первобытными рыками рассказывать, что они сейчас сделают с этими ниггерами. Ида почувствовала, как крепкие пальцы схватили ее за грудь, затем выплеснули на спину горчицу, и слова: мерзкая черная манда, блядь, жирная черная корова, вали отсюда, а не то запихаю эту штуку тебе прямо в пизду, — он ткнул ей в пах обломком бильярдного кия и так сильно и больно ударил им в лобковую кость, что она вскрик-

нула, колени подогнулись; преподобный Визи все повторял и повторял: спокойно, спокойно, спокойно, но он был весь в масле, и они никак не могли за него ухватиться, лишь скользили и падали на пол.

Ида встала. У нее за спиной человек с кием тоже пытался ухватиться за преподобного Визи. Со всей силы она стукнула его по хребту, и он покатился под ноги толпе с воплями: аааа, аааааа, держите ее, сука, уберите ее отсюда, она сломала мне спину, проклятье, помогите.

Что дальше?

— Ой, доченька моя, — запричитала Лэмб, когда три дня спустя Ида заявилась домой с заплывшими глазами, расцарапанная, босая, пропитанная запахом острых приправ, блевотины и тюрьмы. — Что я тебе говорила? Посмотри на себя, ты ж еле жива, тебя ж чуть не убили. Ну как же ты меня не послушалась, зачем же ты туда пошла? Теперь меня выгонят с работы, миссис Астрэддл про все узнает. Что ты делаешь?

Ида разделась, залезла под холодный душ, который, перед тем, как уехать на север, провел в дом Октав, потом вышла, влезла в старые джинсы, растоптанные черные кроссовки, достала из-под раковины целлофановый магазинный мешок и стала складывать в него одежду.

— Что ты делаешь?

— Уезжаю. Я теперь с ними. Теперь меня никто не остановит, никогда. Я уезжаю вместе с другом Тамонетт. Не трогай мои бумаги, я их потом заберу. Мы будем устраивать демонстрации.

— Да ты ж просто ходячий пример: пусти свой хлеб по водам, получишь плесень.

— Я с ними.

Через год она от них ушла. Сидячие демонстрации она превращала в потасовки, дралась, крушила все вокруг, орала, прыгала и махала кулаками. Ее пассивное сопротивление заключалось в том, чтобы навалиться на мелкорослого представителя белой расы, притвориться, что теряет сознание, затем изо всех сил ущипнуть его за мягкое место и одновременно поинтересоваться:

— Где я?

— Ты не понимаешь, что такое пассивное сопротивление, — говорил ей лидер группы. — Ты вредишь нашему делу. В тебе слишком много гнева, сестра. Мы должны направлять нашу ярость в полезное русло, иначе она сожрет нас самих, уничтожит нас. Возвращайся домой и найди другой способ помочь своим братьям и сестрам.

Она вернулась в Байю-Ферос, вытащила из-под кровати книги и бумаги, распаковала их по восемнадцати ящикам, уехала в Филадельфию и устроилась работать в «Фудэйр» — компанию, которая готовила и паковала завтраки для самолетов. Там она прожила три десятилетия, и каждую субботу отправлялась на своей маленькой машине к югу, где, катаясь по разным местам, заводила разговоры с седовласыми женщинами и задавала им вопросы.

(Много лет спустя в лос-анджелесской больнице, приходя в себя после операции на желчном пузыре, она переваривала новость о том, что анализ на туберкулез у нее положительный, и читала газеты: в Джексоне, Миссисипи, полиция, остановив чернокожего за превышение скорости, отправила в его в тюрьму, где его до смерти избили — следователь написал, что причиной смерти стал сердечный приступ; на другой странице статистика: за шесть лет в тюрьмах Миссисипи покончили собой сорок чернокожих; мистер Уилл Симпсон, вынужденный уехать из Видора, Техас, обратно в Бьюмонт, через неделю был застрелен. И так далее, и так далее, и так далее. Газета соскользнула на пол. Это не прекратится никогда. Чего они добились, тогда, в шестидесятые? Неужели люди умирали за то, чтобы получить право голоса и гражданские права? Ну получили, а дальше что? Кому-то достались власть и деньги, но остальные все теми же креветками корчатся на сковородках городов, где в мусорных баках находят детские трупы, на обеденные тарелки капает с потолка чья-то кровь, младенцы гибнут под перекрестным огнем, и сами названия этих городов становятся синонимами чего-то глубоко отвратительного, неисправимого и неправиль-

ного. Деньги катились огромными волнами, но даже пена не достигла черного берега. Все сотни ее блокнотов не вытащили из горячей сковородки ни одну креветку, истории черных женщин, свидетельства невидимых страданий лежат сейчас на дне мешка. Идину квартиру заполняли тетради, пожелтевшие любительские снимки, студийные фотографии, дневники, что велись на оберточной бумаге, рецепты лечебных настоек — с грамматическими ошибками, цветами и листьями, нарисованными самодельной краской из плодоножек и пестиков — испольный счет, что писался на дранке обгоревшей палочкой, печатными буквами на обрывке фартука — история, в которой фермерша из Канзаса описывала смерть своего мужа, пухлая рукопись каллиграфическим почерком в журнале из цирковых афиш, «Моя так называемая жизнь с О. К., цирковым комедиантом», кулинарные рецепты, нацарапанные на дощечках испачканным в золе ногтем, ночные мысли поденщицы, убиравшей во время Второй мировой войны федеральные конторы, стихи анонимных поэтов, отпечатки жизней тысяч и тысяч черных женщин. Она собирала это все на свою ничтожную зарплату: магазины старой книги, церковные благотворительные базары,

дворовые распродажи, темные пыльные коробки в комиссионных магазинах, мусорные корзины и свалки; она спрашивала всех, кто попадался на пути: у вас есть книги или письма, или что угодно о черных женщинах, о любых черных женщинах, обо всех черных женщинах? Она вспомнила Октава, Чикаго и его зеленый аккордеон: жив ли он еще? Несколько лет назад она послала ему письмо — написала так, как это сделала бы Лэмб: «мне бы послушать, как ты играешь зайдеко на своем старом зеленом аккордеоне». Ни слова в ответ. Не в том ли извечное зло — братья и сестры теряют друг друга? Не в том ли повторение старой-престарой истории про то, как семьи рвутся, словно клочки бумаги, а родной дом исчезает навсегда?)

Старый зеленый

Словно в полусне Октав ждал, когда кончится затянувшаяся безработица — он так и не получил профсоюзный билет, черт бы их побрал, слишком много народу просилось на эту работу; он перепробовал все, сменил пятьдесят мест, работал штукатуром, плотником, укладчиком ковров, мусорщиком, грузчиком, таксистом, водителем катафалков, разносчиком продуктов, помощником повара, слесарем, установщиком навесов, развозчиком телевизоров, его увольняли или он уходил сам через неделю, максимум через десять-одиннадцать дней, пока до него наконец не дошло, что если никого не убивать, то никто и не умрет; все получалось через задницу, да и вообще он уже не годился для стройки — так и не разобрал, что было в том письме. Через неделю нашел его под креслом и на этот раз прочел. Старый зеленый — блядь, старый зеленый уже сто лет как в ломбарде.

— Да, — сказал он, — к сожалению, сестрица, старый зеленый лежит себе в ломбарде вот уже три года, понятно, да?

(Он загремел на несколько лет, в тюрьме умуд-

рился закончить младшее отделение колледжа, подумывал о том, чтобы стать негром-мусульманином, поменять имя, начать новую жизнь, снова все сначала. Он размышлял о деньгах и о том, как они делаются. Сперва ему казалось, что кроме музыки и преступлений других путей нет, что только к этим работам он привязан силами обстоятельств. Что ж, он не собирается опять ловить рыбу и не будет зарабатывать на зайдеко, джазе, роке, всей этой ебанутой музыке.

Он читал, как сумасшедший ублюдок, читал так, что стали косить глаза, но не сказочки и прочий мусор, как все остальные, а «Уолл-Стрит Джорнэл», финансовые издания и аналитиков мелкого бизнеса — выяснив за год или два, что необходимо миру, он занялся мусором. В 1978 году, когда шестнадцать банков отказали ему в кредите, он ограбил супермаркет, с этим начальным капиталом вернулся в Луизиану, купил восемьдесят акров и предложил нескольким крупным городам привозить ему за определенную сумму твердый мусор. В 1990 году он был владельцем современной пятисотакровой свалки и главного трубопровода, по которому переработанный мусор попадал из Нью-Йорка на поля Айовы, обеих Дакот, Небраски, Колорадо, Техаса и

Калифорнии. Он разыскал дважды разведенную Вилму, поиграл с ней немного, завел как следует, и бросил. Он никогда больше не брал в руки аккордеон и не любил слушать.

— Если бы я не бросил играть, был бы сейчас уличным музыкантом, на холоде, в метро, собирал бы в консервную банку четвертаки и десятицентовики. На хуй. — Но он был очень осторожен и никогда не водил по ночам машину.)

СТУКНУЛ ПОСИЛЬНЕЕ И УПАЛ



Бандоньон

За дворами

Старая миссис Юзеф Пжибыш работала до шестидесяти шести лет — «Есть работа, нет заботы, будут гроши, будет суп хороший», — но в 1950-м, в том самом году, когда, поймав своего внука Джо за раскуриванием сигареты из стыренной в магазине пачки, она сломала ему нос привезенным еще с родины яйцом из слоновой кости, миссис Пжибыш вышла на пенсию и сосредоточилась на походах в церковь, стряпне, общественных делах и рассказах о том, какие тяжелые времена им всем пришлось пережить.

— Трагедия. Наша семья — это кошмарная трагедия. Все умерли, кроме меня. Да, ничто не вечно, мой милый мальчик. Погоди, я только накину на себя что-нибудь потеплее — ты ведь не будешь больше таскать в магазине курево, правда?

Двадцать лет спустя, в восемьдесят шесть лет, она похоронила старшего сына Иеронима. Она была тучной женщиной; кожа, вся в морщинах и желтушных пятнах, топорщилась на ней, как обивка на диванных пружинах, но мускулистые руки и крепкие пальцы намекали на то, что ей и теперь не составит труда вскарабкаться по отвес-

ной скале. Впадины глаз и рта на тяжелом лице напоминали следы от ногтей в тесте, а стянутый на макушке желто-белый пучок волос — суфле на сдобной булке. Бифокальные очки без оправы невероятно четко отражали предметы и вспыхивали голубым пламенем газовой горелки.

Поверх вискозного платья с узором из диагоналей, квадратов, цветов, горошков, перьев и летящих на темном фоне птиц она повязывала передники, обшитые голубой или розовой, как у Мэйми Эйзенхауэр[272], тесьмой, но сильно хромала и согнулась настолько, что уже не могла собирать грибы.

Много лет миссис Пжибыш, ее сын Иероним, невестка Дороти (чистая холера, а не баба) и двое внуков, Раймунд и Джо, прожили все вместе в тесном домике на южной стороне Краков-авеню в исключительно польском квартале; этот дом она купила сама на деньги, заработанные на сигарной фабрике, уже после того, как ее бросил муж, ибо, как повторяла она по несколько раз в день, «без земли что без ног: ползать ползай, но уйти не уйдешь». На противоположной стороне улицы

---

[272] Примечания: 272

Мэйми Джинива Дауд Эйзенхауэр (1896—1979) — Первая Леди США (1953 — 1961), супруга 34-го Президента США Дуайта Дэвида Эйзенхауэра (1890 — 1969).

жила семья Чезов из Пинска; позже они поменяли фамилию на Чесс, два их мальчика выросли и занялись делом — автосвалки, бары, ночные клубы, в конце концов они стали выпускать пластинки входивших тогда в моду чернокожих музыкантов, только и умевших, что выть свои блюзы, и в 1960 году добрый польский квартал вдруг почернел со всех сторон. Она понимала, что в этом нет вины братьев Чесс, но в голове каким-то образом все это соединилось вместе — чернокожие, блюзы, братья Чесс, новые соседи.

После войны поляки уезжали, черные приезжали, и все попытки защитить квартал огнем и камнями провалились.

Иероним с самого начала навострился швырять в чернокожих камни и подбивал на это детей.

Он орал на негров:

— Пшел вон, вали отсюда, тут живут честные трудовые поляки, пшел к черту, ниггер, не пачкай наши дома, прочь, пся крев, на каждой груше вырастет по манде раньше, чем вы тут поселитесь. — Мальчишки в ответ тоже швырялись камнями, называли его грязным полячишкой, тупым пшеком, катись к черту — откуда приехал. Ирландцы, немцы, американцы.

У Иеронима было маленькое овальное лицо,

бусинки голубых глаз прятались в глубоких пещерах, впалый рот — точно такой же, как у отца, зато длинные руки и мощные плечи были словно созданы для швыряния камней; несколько лет спустя вместе с соседями он ходил протестовать против грандиозного строительного проекта под названием «Дома Фернвудского парка» — эти идиоты из правительства надумали поселить черных в белом квартале. Тогда собралась огромная толпа, несколько тысяч человек. Позже Иероним высматривал, где еще что строится, и по ночам вместе с другими мужчинами воровал стройматериалы — не столько воровство, сколько вредительство, они рассчитывали таким образом замедлить работу. (Во время одной такой экспедиции он упал в недостроенный лестничный пролет и повредил позвоночник. С тех пор прихрамывал и жаловался на боль в печени.) Специально для «Парк-Майнор»[273] он заливал бензин в бутылки из-под кока-колы. В своем квартале основал перестроечную ассоциацию, но ничего хорошего из этого не вышло. Он нашел применение зуммеру, висевшему на дверях польского клуба: в 1953 году, по ночам, он заводил его

[273] Примечания: 273

Парк-Майнор — название одной из негритянских христианских организаций.

под окнами поселившегося в «Домах Трамбул-парка» семейства — негритянского, несмотря на почти светлую кожу, — пока те не сдались и не убрались обратно в свои трущобы.

Еще через несколько лет к ним в дом постучался торговец недвижимостью.

— Вы бы ехали отсюда, ребята, пока не поздно. Еще немного, и вам не дадут за этот дом ни гроша. А я плачу прямо сейчас. — Но хозяйка отказалась продавать дом, несмотря на постоянные жалобы невестки, что жить тут стало слишком опасно; Иероним тоже ворчал, но реже. К тому времени он смирился — смотрел по телевизору «Вопрос на $64 000», выкрикивал неправильные ответы и выискивал недостатки в игре наряженных в блестящие костюмы аккордеонистов.

Рядом стоял дом Збигнева и Янины Яворски; миссис Юзеф Пжибыш вспоминала, как они поселились там в 1941 году, и оба тогда работали.

— …он на сталелитейном, а она на патронной фабрике. Ох, мы женщины любили войну; если польки когда и могли получить работу, так это во Вторую мировую. — До войны на каждое место просилось по тридцать женщин, но бригадиры никогда их не брали, говорили: бабы вечно чего-то хотят, от них только неприятности. А какими

опрятными были детки Яворских, во дворе ни пятнышка, цветочки, хозяйка ходила к мессе, добрые друзья, да, он был не прочь выпить, но какой мужчина этого не любит, и сколько радостных часов они провели вместе с Яниной, попивая кофе и закусывая нежными имбирными пирогами. А теперь, только посмотрите на эту черную прачку, что поселилась в их доме, — свалявшийся свитер, штаны грязные, подошвы шлепают, полдюжины оборванных детей только и знают, что носиться по округе да безобразничать: то дубасят по мусорным бакам, то лезут в почтовые ящики, толкаются, дерутся — а еще пробки от бутылок, бумажки, деревяшки, продавленные колпаки от колес, мятые консервные банки — не успевают дети проснуться, как все это уже разбросано; дом обветшал, краска ободралась, вместо стекол покореженный картон, и все в таком духе. По ночам в незапертую дверь лезут какие-то мужики, потом орут, распевают песни, а то и дерутся — шум на всю улицу. Кто знает, что будет дальше? Но частенько, когда невестка уходила на работу, миссис Пжибыш носила соседке прикрытые фольгой голубцы, а то раздавала оборванцам печенье или маленькие шарики из ящика старого Юзефа.

Несколько лет подряд, пока старость окончательно ее не согнула, миссис Пжибыш частенько повязывала у подбородка платок, брала в руки корзинку и отправлялась по грибы в Гловацкий парк.

— Столько грибов! — шептала она сама себе, корзинка наполнялась и оттягивала левое плечо. На обратном пути она непременно шла мимо продуктового магазина «Выпрями спину», где прямо на тротуар выставляли яблоки от «Макинтош и Деликатесы», а еще корзинки промышленных грибов с химических грядок Пенсильвании. Она презирала эти гладкие бежевые головки, пресный вкус и брызги ядохимикатов. Пусть их едят тупые американцы! Что за жуткая лавка, бубнила она, никакого сравнения с «Отличной свининой и провизией», как жаль, что его давным-давно снесли, вспомнить только огромные сардельки в полосатых мешках, копченый бекон с квадратами коричневой, словно тетрадные обложки, кожицы, крепкие бледные ножки подвешены на прикрученной к копытам проволоке, ребра на прямоугольных наклонных полках, точно фотографии с воздуха изрытых оврагами равнин, и жуткие свиные головы: брови сдвинуты от последнего мучительного понимания, — мутные

глаза, вытаращенные или наоборот, запавшие, лохмотья ушей, верхняя часть тугих рыл выпячена вперед, словно в предсмертном восклицании. Дома она опрокидывала корзинку на белую скатерть, будто котят, гладила по головам эти превосходные грибы: пятнадцать фунтов трутовиков с крапчатыми коричневатыми веерами в дюйм толщиной пахли арбузами; мешочки сморчков с бороздками на шляпках приковывали к себе взгляд, а их полые внутренности утыканы блестящими пупырышками, словно штукатурка на церковном потолке; к кремовым волнам вешенок прилипли кусочки листьев и мякоть орехов — все это нужно было вычистить, рассортировать и залить уксусом. Ни для чего, просто так, из одного лишь из охотничьего азарта. Как же билось ее сердце, когда летом на опушке она находила двадцать семь отличных зонтиков. Зато теперь парк изуродовали и истоптали до того, что он стал похож на земляную площадку в какой-нибудь африканской деревне.

В лучшие свои годы она любила готовить и вкладывала в это занятие страсть и опыт — умелый мастер, которому не нужны мерные ложки и рецепты, она все держала в голове. Во дворе размером чуть больше носового платка она умуд-

рилась развести огород, привязывала помидоры к старым костылям, раскопанным в больничном мусорном баке, по собственным рецептам делала сосиски или кровяную колбасу, и побольше — для своего женатого сына Иеронима, когда тот был еще жив, и это несмотря на то, что он поменял имя на Ньюкамер — американцы звали его Гэрри Ньюкамер; на закуску полагались *pieroeki*, наваристый суп *złurek* с грибами, картошкой и перебродившей овсянкой, а еще добрый кислый хлеб — она месила тесто до тех пор, пока не слабели руки, а однажды, когда приятель Иеронима, отправившись охотиться в Мичиган, вернулся с целым оленем и разделил его с друзьями, она приготовила настоящий *bigos* (оленью, а не свиную ветчину, или сладкое мясо литовского бизона, которое мало кому доводилось попробовать), проливая слезы радости над кастрюлей, ведь прошло столько лет — а еще *goeabki*, капустные трубочки в кисло-сладком соусе к воскресному обеду и всегда одну или две свежеиспеченных *babka*. Йозеф заявлялся в кухню, когда она готовила *bigos* из американской говядины, копченой колбасы, квашеной капусты и, конечно, своих грибов — он складывал руки на груди и заявлял, что «весь дом провонял». Неудивительно, что

дети, придя домой, набрасывались на еду, как волчата, и говорили, что никто не умеет готовить так, как она. Это было правдой. И не она ли приносила столько вкусных вещей на пикники в честь Дня Монахини? А как же иначе. Она презирала американские супермаркеты с их яркими квадратными коробками и тяжелыми консервными банками, жуткие поваренные книги Бетти Кукер, Мэри Ли Тэйлор, Вирджинии Робертс, Энн Маршалл, Мэри Линн Вудс, Марты Логан, Джейн Эшли — всех этих тонкогубых протестанток, которые ничуть не стесняясь, подают на стол вздувшиеся бисквиты из пекарских полуфабрикатов, безвкусные консервированные овощи и соленый баночный «Спам», худшую еду на свете. Посмотреть только на ее дуру-невестку Дороти, жену Иеронима — подумать только, эта холера, которая даже перекреститься толком не умеет, открывает банки с супом, жарит сосиски, берет в магазине черствые пироги и мажет их какой-то зеленой гадостью, картошка у нее в фанерных ящиках, соки из концентратов, целые коробки жутких крекеров, соусы, подливки, эта Дороти варит борщ из детского питания, свеклы и морковки в баночках, а однажды подала свекрови стакан молока, в котором копошился огромный

паук. И эта балда корчит из себя знатную кухарку, раз на каком-то там «Всеамериканском национальном пекарском конкурсе» выиграла набор алюминиевых кастрюль, сляпав из гамбургера, пшеничных хлопьев и обрезков морковки фальшивый бифштекс с косточкой. *Smacznego* [274].

Но все это в прошлом. Теперь старуха сидела одна-одинешенька в задней комнате, муж ее давно бросил, сын умер, в кухне царствует невестка, а внуки Раймунд и Джо уже взрослые мужчины, у Джо есть жена Соня и двое детей — ее правнуки Флори и Арти. Состроив каменную рожу, Дороти частенько жалуется, что Джо и Соня совсем ее забыли. Говорит, не приходят из-за черномазых, и не петрит дура, что виной тому — ее жуткая стряпня.

Вот-вот, Дороти, моргая своими блестящими голубыми глазками, умоляет их каждую неделю: приходите, говорит, в воскресенье, приходите в субботу, в пятницу приходите, в любой день, у меня вкусный обед (кроме борща из детского питания и фальшивого бифштекса она еще делала рыбу — из творога, баночного тунца, желе и черной оливки вместо глаза), берите с собой

---

[274] Примечания: 274
Приятного аппетита *(польск.)*.

детей, мы посмотрим телевизор, но они никогда не приходили, а телевизор у них был теперь свой, портативный «Филко», и приглашения Дороти им как об стенку горох, разве что на Рождество они являлись к *Opeatec Wigilijny* [275] и к ужину, которым командовала старая, хотя она почти ничего уже не могла делать сама; однако на полуночную мессу в прошлом году они не пошли, и даже не постились, как поняла старуха по тому, что девчонка почти все оставила на тарелке, ныла, чтобы ей дали пиццу, теребила соломку от скатерти и требовала открыть подарки — при том ни Соня, ни Джо не сказали ей ни слова. У девочки такие же пепельные волосы, широкие скулы и курносый нос, как у Дороти. Мальчик — совсем другое дело, тут ничего не попишешь, он еще мал, а за девочкой нужно следить. Ведь взрослая, раз ходит в танцкласс и разучивает прежние танцы. Да, не такая уж маленькая — может держать в руках совок и веник.

---

[275] Примечания: 275
Рождественский обряд разделения облатки *(польск.)*.

Заживо погребенная

Когда Джо был еще ребенком, старая миссис Йозеф Пжибыш рассказывала ему жуткие истории из прежней жизни. Другой ее внук, Раймунд никогда их не слушал — зажав уши руками, он убегал играть на улицу. О да, говорила старая женщина, она видела это собственными глазами, хоть и была тогда совсем молоденькой — эту ужасную мессу, когда в церковь в самый разгар службы ворвалась Мария Рекс, служанка их священника; распахнула двери, вся в крови, земле и огромных красных ссадинах, куски грязи летели с ее изорванного платья прямо на бордовый ковер. Отец Делаханти вздрогнул и сперва застыл с разинутым ртом, а потом развернулся и удрал в боковой приход. Мария еле-еле добрела до алтаря, закачалась и прямо там рухнула, но Людвик Симак и Эмиль Плиска успели ее подхватить; тогда бедняжка застонала и слабеющим голосом рассказала им ужасную историю, вся паства взобралась с ногами на скамьи, чтобы лучше видеть. Несчастная девушка поведала, что вот уже три года отец Делаханти заставлял ее ложиться с ним в постель, — проклятый ирландец!

пронеслось по церкви, — и когда прошлой ночью она сказала ему, что беременна, от него, ублюдка, он бросился на нее с ножом и решил, что зарезал, выкопал в огороде неглубокую могилу прямо под египетским луком, у него еще такие тяжелые головки, как чесночные, но она пришла в себя, уже почти задыхаясь, выбралась наружу и вот пришла, чтобы все знали правду. Что тут началось! Мужчины громогласно требовали крови и оскопления преступного ирландского священника. Вся паства за неделю поседела, так что когда в следующее воскресенье собрались опять, можно было подумать, что это не церковь, а дом престарелых. Бедную девочку вымыли, вычистили и обласкали, но она родила уродца с головой, как морковка, и умерла от инфлюэнцы, когда ребеночку был всего месяц. На поминках играл аккордеон, хотя поговаривали, что это нехорошо, что аккордеон ее и сгубил — отец Делаханти был большой охотник до джиг и рил.

Отца Делаханти — громы небесные на его голову — никто с тех пор не видел, считайте, ему повезло. Утек, как вода. Наверное, устроился поваром или библиотекарем куда подальше, он знал толк и в хорошей кухне, и в книгах. Но скорее всего подрядился торговать корсетами, всегда

можно протянуть руки и пощупать женские груди. Как раз в это время польские американцы восстали против ирландских священников и основали свое собственное польское католичество. Коль девушкам суждено страдать от попов, то пусть будут хоть свои, польские. Это если смотреть со светлой стороны, сказала миссис Пжибыш. А в наше время, и если с темной, то и не только девушкам.

— Ну и кого они теперь выбрали в президенты — ирландца. Мазилу, который думает, что можно рисовать банки с супом. — Она посмотрела мальчику в глаза и сказала, что лучше всего рисовать лошадей.

Иероним Пжибыш, также известный как Гэрри Ньюкамер

Прежде чем сбежать, старый Юзеф Пжибыш успел сводить своего сына Иеронима на игру в мяч. День выдался очень жарким, и продавцы в бумажных колпаках сновали вверх-вниз по трибунам, волоча за собой корзинки со льдом, звякая пивными бутылками и крича на весь стадион:

— Холоооодное, холооодное пиво, налетай, холоооодное. — Иерониму было позволено глотнуть шипучей жидкости из отцовской бутылки, но он не понял, что эти мужчины в ней находят, и очень быстро захотел писать.

— Пап, — позвал он, но отец беседовал с каким-то румяным дядькой о сигарах. Иероним подождал, потом пошмыгал носом, опять прошептал: — Пап, — потом еще раз; у него болел мочевой пузырь, а мозги расплывались, словно мыльная пена в корыте. В конце концов отец обернулся, наставив на него огромную желтую, только что зажженную сигару, сжал ее зубами и спросил:

— Чего?!

— Мне надо выйти.

— Господи Иисусе. Мне что, переть тебя целых полмили? Давай, — и протянул ему бутылку, в которой оставалось еще примерно на дюйм пива. — Дуй сюда, тут одни мужчины, кому какое дело.

Преодолевая стыд, Иероним попытался это сделать, но застывший пузырь не слушался, и, помучившись некоторое время, он застегнул джинсы. Как только голая плоть оказалась в тепле и темноте, пузырь вероломно расслабился, и на солнечный день обрушилась катастрофа. Горящее после затрещины ухо, мокрые джинсы, стук биты о мяч, рев толпы, мужчины скачут, как ненормальные, и, подавшись вперед, орут: ура, ура, так его! — вонь желтых сигар: после всего этого кошмара он всю жизнь предпочитал рыбалку бейсболу. Он вырос, возмужал, женился на Дороти, проработал сколько надо и умер, не увидав больше ни одной игры — но сигары все же курил с умеренным удовольствием.

После Второй мировой войны Иероним решил, что воскресенье создано лично для него, и в этот день, после целой недели в сталелитейном цеху, он имеет право себя порадовать. Его радость состояла из двух частей, иногда и из трех.

Рано утром, еще затемно, он доставал специальный электрический щуп для червяков и выходил с ним во двор, волоча длинный провод от тостерной розетки через подоконник наружу. Ударами электрического тока щуп добывал из-под земли червяков — «НЕВЕРОЯТНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ!» Иероним запихивал червей в банку от растворимого кофе, добавлял немного земли, брал удочку «Зирко» и отправлялся к одному из трех мостов, что пересекали их ленивую речку. Несколько часов подряд леска тянулась к воде, удочка упиралась в перила, а червяки пропадали из виду, теряясь в затянутых илом резиновых покрышках. Иероним курил сигареты и разговаривал с другими мужчинами, тоже собравшимися у перил; они называли его Гэрри, почти всех он знал еще со школы и с ними же встречался каждый день на работе или в польском клубе; мимо проезжали на велосипедах молоденькие девушки, *podlotki* [276], в реке плавали маленькие дикие утки, по мосту, шипя, проезжали грузовики и легковушки, слышалась негромкая музыка.

Изредка кому-то из рыболовов удавалось вытащить серую рыбку с черными узелками на вялых

[276] Примечания: 276

Подлетки *(польск.)* — птенцы, которые становятся на крыло, в переносном смысле — подростки.

плавниках. Хозяин не выпускал ее из рук, пока остальные не рассмотрят, выслушивал насмешки и возгласы, затем бросал в воду, где она, тут же уплывала обратно под мост, или швырял на дорогу под колеса первой же машины.

— Куда? — спрашивал Иероним стоявшего рядом с ним Вика Лемаски. — Куда деваться этой рыбе, а? Под колеса! Будет что рассказать другим рыбам! Если сможет! «Посмотрите налево, посмотрите направо!»

Вик, который был туп, как собачья, а то и слоновья кость, отвечал:

— Чего скачешь, у козлов научился?

— Причем тут рыба на дороге?

Вик пожимал плечами и лез за бутылкой в коробку для рыболовных крючков.

Примерно в три пополудни, полупьяный Иероним сматывал удочки, опрокидывал в реку остатки червей и несколько минут наблюдал, как их ленточные силуэты растворяются среди плывущих по течению призрачных пластиковых пакетов и деревянных обломков.

Наступало время второй радости — польского клуба, где он пил, закусывал, курил, читал, болтал и смотрел телевизор ровно до десяти вечера, затем, шатаясь, добредал до дома и заваливался

спать, чтобы подняться ровно в четыре утра по звонку будильника.

В польский клуб пускали только мужчин — его невезучий отец, старый Юзеф Пжибыш (ну и имена давали в этой их прежней стране), был одним из его основателей; в задымленном вестибюле лежали *«Naród Polski»*, *«Dziennik Chicagovski»*, *«Dziennik Zwiezkowy»*, *«Dziennik Zjednoczenia»*, *«Zgoda»*[277], другие газеты и журналы на пяти или шести языках висели на специальных подвесках, имелась *biblioteka* — стеллажи с польскими книгами (с 1922 года ничего не переиздавалось), на стене — деревянная гравюра Адама Банша[278] и картина 1920 года с изображением разрушенной польской деревни, конных русских солдат, прикладывающихся к бутылкам и дымящих папиросами, куда-то разбегались кобылицы, мертвые окаменевшие поляки растянулись на земле; в подвале клуба располагалось кафе с мраморными, в прожилках, столиками и деревянными скамейками (правда, пиво те-

[277] Примечания: 277

«Польский Народ», «Чикагская газета», «Федеральная газета», «Общая Газета», «Единство» *(польск.)* — названия американских газет и журналов на польском языке.

[278] Примечания: 278

Адам Банш (1986 — 1969) — польский художник.

перь подавали не в стаканах, как полагается, а в новых алюминиевых жбанах, которые жутко громыхали и действовали своим лязгом на нервы), на стенах там болтались пожелтевшие афиши последних польских концертов, портреты певцов, приглашения на выставки, авторские встречи, фестивали, награждения, чествования погибших польских героев, и вперемежку с этим — загадочные кокосовые головы со свирепо вытаращенными осколками скорлупы вместо глаз, а у самого входа — громадная доска объявлений с кучей бумажек, оповещавших о сотнях мелочей — распродаже импортных сосисок, эмбарго на кубинские сигары, продаются два билета на матч Сонни Листон — Флойд Паттерсон [279].

Среди тех, кто еще в тридцатые годы затевал этот клуб, было много социалистов; эти люди получили на родине неплохое образование, в Америке же становились чернорабочими, мясниками, малярами или мусорщиками. Горькая насмешка над человеческим тщеславием. Снова и снова слышал Иероним от матери историю про то, как его отец высадился в Кэстл-Гарден, а месяц спустя был уже в Чикаго и работал на

[279] Примечания: 279

Сонни Листон (1932 — 1970) и Флойд Паттерсон (р. 1935) — известные американские боксеры.

мясоупаковочной фабрике Армора — это он-то, дипломированный фармацевт — вот ведь, не умел ни читать по-английски, ни говорить на американском, так что инспектор иммигрантской службы отметил его в своих бумагах как неграмотного. Постепенно Иероним понимал, что ничего нет хуже, чем быть иностранцем, поляком, неамериканцем, и поэтому самое разумное — сменить имя и научиться болтать о бейсболе.

Старые времена

Младший сын Иеронима Джо часто просил бабку рассказать какую-нибудь душераздирающую историю о дедушке Юзефе, в честь которого его и назвали.

— О нем, да? Его семья в Польше была очень состоятельной, но он повздорил с родителями, с отцом то есть — не знаю, из-за чего, он никогда не говорил. Уж точно, что-то нехорошее. Так вот хлопнул дверью и с пустыми карманами поплыл в Америку, хотел добиться большого успеха. Он был фармацевтом, аптекарем, составлял лекарства для больных, хотя мечтал стать фотографом. Он потому и пил — пригасить свою неутолимую гордость. Однажды сказал, что мать его приходится дальней родственницей Казимиру Пуляски[280], самому великому военачальнику, он сражался за американскую революцию и

[280] Примечания: 280

Казимир Пуляски — американский генерал польского происхождения, герой войны за независимость, погиб в битве за Саванну.

всегда побеждал. Тадеуш Косцюшко[281] также боролся за свободу Америки. И сама Революция, за нее платили поляки, да, богатые польские евреи. В школе тебе этого не расскажут, но без поляков Америки бы вообще не было. Зато для американцев поляки — это деревенские мужики, мужики, которые только и умеют, что плясать. — А еще, сказала она, кто-то из его родственников служил в армии генерала Чарнеки [282], и на пятнистой, как леопард, лошади форсировал Вислу; была ужасно холодная зима, и этот человек отморозил себе ноги до самых колен. — И так везде, неужели мы не соль этой земли? А кто же еще.

— Еще, — просил мальчик. — Расскажи, как они ели собачатину.

— Они говорили, что твой отец неграмотный! Он, кто прочел тысячи книг, кто целый час мог декламировать наизусть куски из *«Pan Tadeusz»* [283], играл на трех инструментах, фармацевт,

---

[281] Примечания: 281

Тадеуш Косцюшко (1746 — 1817) — участник войны за независимость, инженер и военачальник, закончил войну в звании бригадного генерала.

[282] Примечания: 282

Стефан Чарнеки (1599 — 1665) — польский генерал, участник многочисленных военных кампаний.

[283] Примечания: 283

«Пан Тадеуш» — поэма Адама Мицкевича (1798 — 1855), написанная в 1834 г. и неоднократно переводившаяся на все европейские языки.

сам писал стихи, этот человек каждое утро благодарил Бога за наступивший день, если только не пил всю ночь, — и этот же человек не мог доказать им всем, что он вовсе не деревенский мужлан. Не так-то это просто — сохранить в чужой стране себя, свое достоинство и место. Он не умел говорить по-американски, и был слишком горд, чтобы учиться. Так и вышло, что первой его работой оказалась чикагская бойня, семнадцать центов в час, то, что все называют работой для швали. Как же он ее ненавидел! Как он ненавидел других поляков, глупое мужичье, он их называл, галисийцев и литовцев, которые из России, тупы, как подошвы, но он все равно их жалел, такие они были необразованные и наивные, вечно попадали в беду, робкие люди, все говорили, что они грабят и убивают друг друга, а они всего лишь не могли понять, как разговаривают американцы. Они и по-польски почти не говорили — ни по-какому, ни по-русски, ни по-немецки. Несчастные, у них ничего не было — ни страны, ни языка. Американцы звали их всех шваль — литовцев, мадьяр, словаков, рутенцев, русских, поляков, словенов, ховат, герцеговинцев, боснийцев, далматинцев, монтенегрийцев, сербов, болгар, моравийцев, богемцев — какая разница, все одно,

шваль. Американцы говорили — эта шваль ест жареных собак, у женщин по десять мужей, вшивые дети, мужчины только и знают, что пить, кругом грязь, такие идиоты, что даже буквы не могут выучить, не чувствуют боли и не устают, как деревяшки, и не болеют, как животные.

Ты не поверишь, такие тогда были для поляков тяжелые дни — на работе всю неделю, а по дороге домой еще и грабят. Немцы плевались в нашу сторону, «пшеки». Я еще не знала тогда твоего деда, но он так переживал, когда вспоминал те годы, особенно про грязную квартирную хозяйку — она за деньги спала с квартирантами. Точно тебе говорю, поляки, когда только приехали в Америку, жили в Чикаго, как крысы. И настоящих крыс там тоже хватало, они подбирали кусочки гнилого мяса. По ночам на мясных складах крысы: жрут, жрут и жрут, пока не лопнут. Рано по утрам твой отец шел на работу и видел, как они тащат по земле свои набитые брюха, волочат к себе в норы тряпки и рваную бумагу. Однажды нашли такое гнездо, а там — обрывки бумажных денег. И эта ужасная фабрика. Молодые мужчины, мальчики, прямо с кораблей, здоровые и сильные, думали, их в Америке ждет успех, а вместо этого шли сгребать свинцовую пыль, потом выматывались,

заболевали, их выгоняли на улицу, они харкали кровью и умирали.

Окна в этой ночлежке были наглухо заколочены; второй, точно такой же кошмарный дом стоял рядом. Там была большая комната, и хозяин разделил ее пополам, устроил второй этаж с люком и лестницей, получился слоеный пирог каждый слой четыре фута. Жильцы карабкались к своим кроватям, стоять совсем невозможно. На каждой койке спало по три человека, посменно: один уходил, а другой приходил и падал на тот же самый матрас, даже еще теплый.

Наконец он понял, что не может больше выносить эту кровь и вонь. Он ушел из «Армора» и устроился на сигарную фабрику. И ты знаешь, там было не так уж плохо. Иногда даже интересные случаи происходили. Какая-то корова отвязалась и выбежала прямо на улицу, все закричали, бросились врассыпную. А один несчастный как-то шел с работы, и был такой уставший, что зашел в нужник — тогда были только уличные нужники — да так там и уснул — люди стучат, чтобы он освободил им место — дверь там держалась спереди на петлях — потом уборщик обошел нужник и перевернул его вместе с этим бедолагой.

Мои родные, твой дед их терпеть не мог. Из-за

той страны, откуда они приехали. Они жили в польских горах, в Татре. Он называл их гуралы, в Америке говорят — деревенские христовы попрыгунчики. Он их презирал. Когда мать или сестра заглядывали к нам в гости, он сразу уходил, просто уходил, не говоря ни слова, с первого взгляда было ясно, как ему противно.

Почему он ушел с бойни? Потому что он ее ненавидел. Это было ниже его достоинства. Грязная работа. С первого же дня, как туда попал, он стал вегетарианцем, жил на одной капусте, картошке и луке. Мясо для него было слишком грубым, его сдирали с бедных коленопреклоненных животных. Борщ он любил, и я варила настоящий борщ, не то, что твоя мать. Огурцы он любил. И терпеть не мог запах со двора. Такой чистоплотный. Главной его радостью были две вещи — баня и польский клуб, он сам помог его обустроить после того, как в 1932 году в Чикаго приехал Падеревски[284] — играть Шопена в оперном театре — ох, как тогда поляки обожали классическую музыку. Лучший музыкант во всем мире, и ты знаешь, он вышел на сцену, рассказывал твой дедушка (он ходил на концерт с другом по клу-

[284] Примечания: 284

Ян Игнацы Падеревский (1860—1941) — польский пианист, композитор, педагог и общественный деятель.

бу), так мужественно, что весь зал уважительно встал, да так и простоял все три часа, пока шел концерт, а потом еще два, когда вызывали на бис. У всех жутко болели ноги, но они все равно были на седьмом небе. Подумать только. Ведь тысячи людей не достали билеты. На этих гастролях по Америке Падеревски заработал 248 000 долларов.

Твой дед говорил, что американцы — неряхи, что он не может жить так, как они, и каждый день по пути домой он заходил в баню. Стоило пять центов. «Это моя радость», — говорил он. На самом деле, его радостью была не баня, а выпивка. Он пил с вечера пятницы до вечера воскресенья. Сперва становился веселым и беспечным, и вот тогда играл на аккордеоне — испанские мелодии, потом американский рэгтайм, дальше польки и *obereks* [285]. Потом скучнел, грустил и играл на скрипке. Зато когда напивался совсем, это был кошмар — черный тихий гнев плескался из него, как кипяток из чайника. Тогда все от него шарахались, он никого не жалел. А вообще-то он вырезал детям деревянные игрушечки, твоему отцу достался крошечный деревянный аккордеончик — да, твой папа был моим маленьким

---

[285] Примечания: 285
Оберек — польский народный танец.

мальчиком. Этот инструментик помещался на одной монете, но Иероним забавлялся с ним целый час, он держал его двумя пальчиками и мычал: зим, зим. Я не знаю, куда потом подевался этот аккордеон, мой мальчик.

Ох, бедная маленькая Зофья? Опять эту грустную историю? Ну что ж, первые годы были ужасные. Двое маленьких детей — твой отец и тетя Бабя, я ждала третьего, бедную маленькую Софию, мою несчастную девочку. Она едва научилась ходить, как упала в ручей, его еще называли Бульк, ох, ужасное течение, не вода, а какой-то кошмар, пена как взбитые сливки в ядовитом потоке. Ее вытащили, но эта гадость попала ей в легкие, и бедная маленькая Зофья умерла от пневмонии.

Твой дедушка, после того, как ушел с «Армора», устроился скручивать кубинские сигары, но сперва он был такой медлительный, что зарабатывал совсем мало, потом, правда, стало получаться лучше и быстрее, ну и денег побольше. Он подружился с одним кубинским стариком на той фабрике — ну прям как скелет, да еще ноги вывернуты, там вообще много калек работало — так вот, этот друг научил твоего деда, как резать кубинским клинком вместо ножа или лезвия.

Берешь покровный лист и разглаживаешь его по краю, вот так, потом берешь листы для наполнения, табак бывает двух или трех сортов, сладкий или горький, и сжимаешь, пока не почувствуешь, что все как надо — не слишком толсто, но плотно, а если с открытой головкой, то все кончики листьев должны быть в толстом краю, как раз там, где твою сигару будут поджигать. Кончики у листьев очень сладкие. Это самое трудное: лист можно перекрутить, или свернуть слишком туго, или, наоборот, свободно. Тогда она будет плохо тянуться. Потом обрезаешь наполнительные листья — рраз! — только чтобы сигара получилась, такой длины, как нужно, кладешь этот пучок на угол покровного листа и скручиваешь. И вот тут начинается самое трудное: покровный лист, он очень, очень тонкий и нежный, его нужно чуть-чуть загнуть, а потом крутить по спирали, немного внахлест, когда дойдешь до головки, мажешь на флаг немного клея, прикладываешь флаг к головке, и разглаживаешь, должно быть очень ровно. Нет, флаг не такой, это просто маленький кусочек листа. Потом начинаешь новую. Некоторые мастера кларо[286] были в этом

[286] Примечания: 286
Кларо — сорт табачного листа.

деле настоящими артистами, но я научилась только когда сама стала сворачивать сигары. Кларо должны проходить в специальное кольцо. Но поначалу, когда твой дедушка только начал там работать, было ужасно трудно. Мы не могли прожить на его зарплату. А ведь ему нужно было хорошо одеваться: сигарщики ходили в приличных костюмах, понимаешь. Так что мы пускали жильцов, двоих — стол постель и стирка, я брала с них три доллара в неделю. Нет, я с ними не спала. Что за глупости! Но они подолгу не задерживались. Твой дед в первый же вечер выискивал у них какой-нибудь изъян, а потом раздувал до неимоверных размеров — то от них пахнет чесноком, то ноги слишком большие, у этого клепок не хватает, у того вид дурацкий — всегда ведь найдет, к чему придраться. И они съезжали, очень часто не расплатившись, и всегда поминали нас потом злыми словами. В то время он играл на аккордеоне в польском клубе — каждую среду по вечерам они устраивали что-то вроде концертов: там был струнный квартет, пианист, а твой дед знал такие хорошие испанские песни — но потом он перестал туда ходить и начал играть в салонах и за деньги, сперва не польки, а только американскую музыку «Александр Рэг-

тайм-Бэнд». И ты бы послушал, что он говорил. «Могло ли мне присниться в самом страшном сне: то, чем я занимался просто для удовольствия, мне придется делать ради горького куска хлеба — да я и представить себе не мог!»

Но ему нравилось играть, не столько из-за самой игры, и не потому, что он так уж отдавался музыке, как, например, ты, мой милый мальчик, сколько оттого, что он становился начальником, когда играл, главным боссом. Он сам говорил: «Я работаю целую неделю, бригадир говорит мне: делай то, делай это, пошевеливайся; зовет меня глупой швалью, дурным полячишкой, и я соглашаюсь, потому что мне надо кормить шесть ртов, мне хочется вытянуть из него кишки железным крюком, но вместо этого я делаю свою работу. И молчу, потому что если мне что-то не нравится, то на мое место есть еще сто человек, которые только и ждут, чтобы заполучить эту работу. Но когда я беру свой аккордеон, и если этот самый бригадир меня слушает, а еще его приятели, такие же уроды-начальники, и его мерзкая жена, ему только и остается, как танцевать под мою музыку, это я заставляю его скакать и крутиться до седьмого пота». Так и говорил, злыдень. Он играл только ради денег и власти — нет, что-

бы просто так, на кухне для удовольствия, или выйти на крыльцо, порадовать соседей. Все так делали, ты знаешь, в прежние времена, люди просто играли друг для друга, для отдыха, а не за деньги, одна семья, так было хорошо, тогда все на чем-нибудь да играли. По воскресеньям мы устраивали пикники в Гловацком парке, начинали в полдень, можно купить сосисок или чего-нибудь польского; я продавала на этих пикниках *pierozki*, тоже приработок. Там всегда откуда-нибудь приходил полька-бэнд — две скрипки, ну ты знаешь, басовый альт и кларнет, никаких аккордеонов, они играли до самого вечера, а мы танцевали. Нот не было, они играли из головы, настоящие гении. Ты знаешь, танцоры запевали строчки из песен, или даже не запевали, просто кричали, а музыканты подхватывали, они всегда знали что это, и начинали играть с тех же самых нот. Ох, как они играли. Ну вот, твой дедушка, он скоро заметил, что польским оркестрам перепадают кое-какие денежки, и что много где не прочь послушать польки — польские дома, польский клуб, не культурные вечера, а танцы по субботам до ночи, повсюду наоткрывали маленьких танцзалов, профсоюзных залов, баров и польских кабачков, Польская лига ветеранов

войны, куча кафешек, Полониа-холл — ох, так много стало польских танцев, да так весело, и свадьбы, свадьбы, свадьбы, все кругом женились, и всем хотелось плясать польки. Так что твой дед решил, а это был 1926 год, он решил собрать свой собственный полька-бэнд. Созвал приятелей: скрипка, вторая не нужна, раз у них аккордеон, кларнет, барабан, и очень хороший. Они придумали себе имя — «Полькальщики». Барабан был такой быстрый, только успевай шевелить ногами. У него был хороший глаз, у твоего деда. Иногда в одну и ту же ночь им надо было сразу в два места, тогда он нанимал новых музыкантов, обе команды сидели, где положено, а сам он бегал взад-вперед и только успевал собирать деньги. Это были не такие старомодные польки, как в парке. Получалось быстрее и громче из-за аккордеона и барабана. А потом ему пришло в голову устроить детский полька-бэнд, он взял твоего отца Иеронима, всего шесть лет, и еще пять или шесть маленьких детей, он научил их немножко играть — специальные детские польки. Расческа с бумагой, треугольник, у них еще была маленькая певичка, ой, какая хорошенькая! Как их все любили! Но твоему деду не везло, все деньги за игру пропивал. Потом он забросил музыку, но

твой отец, Иероним, он все равно играл, уже с другими группами, кто бы ни попросил, даже когда был еще совсем молоденьким, и все деньги отдавал мне.

Дедушкины кошмары

— Дедушкины кошмары! Святая Мария, кошмары твоего деда — это было что-то ужасное, от его криков просыпался весь дом. А в прошлый раз, когда я тебе про это рассказывала, знаешь, что случилось — ты проснулся среди ночи и закричал. Так что я лучше не буду. Ну ладно, ладно. Только не забудь, ты сам просил. Он говорил: «Мне снилась отрезанная голова, перевязанная гнилой травой и корнями. Рот порван, веки тоже, но глаза все равно крутятся и смотрят. Это было лицо моей матери». А то про голову, у которой отпилили верхнюю часть, так что можно заглянуть внутрь, а там — старая отцовская аптека, еще в Польше, за углом стоит молодой человек и смотрит прямо на твоего дедушку — так, словно знает, что за ним наблюдают — и тут он просыпался. Или рассказывал, как во сне что-то ел, какой-то ужасный суп с живыми жабами и белыми змеями, он давил их ложкой, но чувствовал, как они оживают и шевелятся прямо во рту. А еще рассказывал, как он во сне получил из Польши деревянный ящик, открывает крышку, а там — его младшая сестра, вся обросла густым

красным мехом, руки и ноги ей сломали, чтобы впихнуть в ящик, но она живая и смотрит прямо на твоего деда. Ему снились лошади со свиными головами, листы бумаги, которые превращались в окровавленные ножи, аккордеоны, которые разваливались во время игры: кнопки летели по небу, меха отдирались и шипели, шарниры плавились. Но потом ему стало даже интересно, что это за кошмары, он перестал их бояться, даже наоборот, ждал с нетерпением, сам входил в собственный сон и как бы фотографировал эти странные штуки.

На этой сигарной фабрике он попал в мир сильных запахов. Табак пах так, что весь первый день он бегал на улицу и выворачивал желудок наизнанку. Все из-за того, что там табачная пыль летает. Окна забивают гвоздями, потому, что в помещении должно быть очень влажно, чтобы табак не высыхал. Если кто-то по незнанию думал открыть окно, все вскакивали с мест и начинали кричать, чтобы он перестал. Хотя все равно бы ничего не вышло, раз окна забиты гвоздями. Твой дедушка был там на хорошем счету, у него проворные руки, не зря же он играл на аккордеоне, и острый взгляд, а еще он хорошо чувствовал кончиками пальцев. Через несколько лет он

зарабатывал больше всех в округе, ему доверяли скручивать гаванские кларо. Мы нашли этот дом и начали за него платить. Но ему было мало. Он смотрел на всех с важным видом, красиво одевался, работал, когда хотел, выкуривал по три сигары в день и все так же пил. Он чурался нашего маленького домика. Червь проедал ему мозг.

Он уволился с «Американских сигар» и перешел на «Соединенный Табак». Потом начал делать то, что и многие хорошие крутильщики: катался по стране, заезжал во все городки подряд, пока не находил себе по нраву, но чтобы там обязательно была табачная фабрика — а в те времена в каждом американском городе обязательно была табачная фабрика, а то и две — он показывал боссу, что он умеет, жил там шесть-семь месяцев, а иногда и недель, потом уезжал. Их были сотни, этих сигарщиков — итальянцы, немцы, поляки, в каждом поезде, взад-вперед, вверх-вниз, все ищут, ищут свою золотую Америку, которую сами же и придумали, как будто она вообще где-то есть.

Он слал домой деньги, сперва регулярно, а потом все кончилось. На несколько месяцев. Я с ума сходила. Думала про себя: этот человек с песьей кровью, этот *psiakrew*, чтоб он там подох среди чужих людей. У меня было отложено

немного денег, и все ушло на еду и плату за дом. Пятеро детей. Пришлось пустить пару жильцов. Самым лучшим был дядя Юлюш. Что это был за человек! Ты знаешь, его назвали так в честь великого предка Юлюша Ольжевича, который потом стал французом по имени Жюль Верн. Он помог мне написать жалобное письмо твоему деду — наверное, ему досталось по наследству чуток писательского таланта — я дала в газету объявление; была такая специальная газета, которую читали все сигарщики. Никогда не забуду. Это письмо заставило бы плакать даже ангела. Вот, слушай: «Дети сигарщика Юзефа Пжибыша мечтают услыхать что-нибудь о своем отце, поскольку они в сильной нужде». Это объявление печатали целый год — ни ответа, ни привета. Так я больше и не видала твоего деда. И что он оставил детям, что мы нашли в его драгоценном чемодане, который он вез от самого Кракова и никогда никому не позволял даже заглядывать? Какие-то непонятные металлические инструменты, модель ледокола, маленький глобус с каплей красной краски на том месте, где должен быть Чикаго и две гибкие пластинки: *«Zielony Mosteczek»* и *«Pod Krakowen Czarna Rol».* Что все это значило? Ничего! Ох, песни? По-американски

они называются «Зеленый мост» и «Черная земля Кракова». Песни с родины, старые грустные песни, не знаю, зачем они ему. Совсем не его музыка. Он уважал классику или что-нибудь смешное и не очень приличное, ну, ты знаешь: *«zyd się ‘smial, w portki sral, ‘yd się ‘mial, w portki sral»*, «Жид заржал, в портки насрал», — такая вот гадость ему нравилась.

А добрый дядя Юлюш уговорил меня саму пойти скручивать сигары. Сказал, они частенько берут женщин в сигарное дело. Сперва только на грязную работу, вроде уборки. Ну, сам знаешь — собирать прожилки от листьев. Потом товарки показали, как сворачивать сигары. Платили, в основном, по пять центов — самая хорошая работа на гаванских кларо доставалась мужчинам — но мне хватало, как говорил дядя Юлюш, чтобы поднять детей. Моей старшей девочке Бабе, твоей тете Бабе, было уже двенадцать лет, вполне взрослая, она смотрела за малышами.

Так вот и вышло. Я теперь работала в «Американских сигарах». Начинала с уборки, но я все время спрашивала одну женщину, которая там уже давно работала, и она показывала, как что делать — конечно, я и сама кое-что знала, потому что слушала, как рассказывал твой дед;

самое главное — точно отмерять пучки, и у меня очень быстро стало получаться. У нас были специальные сигарные прессы для пятицентовиков. Твой дед никогда к ним не прикасался, он был аристократ от сигар. Берешь эти два деревянных кусочка, внутри у них ямки, маленькие такие, специально под сигару, скручиваешь листья в пучок, суешь их в эти дырочки и кладешь под пресс на двадцать минут. Он придает листьям форму. Как мне там нравилось — ты и представить себе не можешь. Мы так дружили, придумывали друг дружке прозвища. Я была Зося-молния, потому что у меня все получалось быстро; женщину, которая все замечала, называли Орлиный Глаз. Остальных я уже не помню. Мы болтали обо всем: разговоры, шутки, кто-нибудь вечно придумает что-то смешное, однажды мне в ящик для листьев запустили змею, представляешь. Какой я подняла крик! Мы устраивали чтения после полудня, кто-то читал вслух газету или книгу — «Черную Красавицу»[287] мне в жизни не забыть, так мы плакали, и у нас тогда получились плохие сигары. Мы даже пели — в одном сигарном цеху стояло пианино. Угощали друг дружку пирогами. Все

[287] Примечания: 287

«Черная красавица» (1877) — роман классика детской американской литературы Анны Севелл (1820 — 1878).

мои самые лучшие подруги были из сигарщиц. Самые счастливые мои годы.

Говорю тебе, это были самые счастливые годы в моей жизни. Я зарабатывала, хватало выплачивать за дом, да еще откладывала понемножку и могла дать детям образование. Бабя вышла за дядюшку Юлюша, как ты знаешь. Правда, ей было всего тринадцать лет, но все получилось славно, дядя Юлюш подарил ей на свадьбу очень красивую куклу, она давно о такой мечтала, только у нас никогда не было денег.

Джо, я купила твоему отцу костюм, чтобы он прилично выглядел, когда играет на аккордеоне, я заплатила за школу стенографисток для Марты, за школу хиропрактиков для твоего отца, за школу медсестер для Розы, всем своим детям я дала хорошее образование, все мои дети ходили в танцевальный класс «Татра», я хотела, чтобы они выучились, не забывали, что они поляки, и чтобы им никогда не пришлось скручивать сигары. Но Иероним меня расстроил — бросил школу хиропрактиков и пошел работать на завод швейных машин «Полония», а потом женился. Конечно, он тоже играл на аккордеоне — «Польку Защитников нации», «Польку бомбардировщиков», «Польку хилли-билли», — спроси его сам, я

уже не помню. Когда я устроилась на сигарную фабрику, я стала активисткой в нашей церкви, вступила в замечательные общества, такие интересные обсуждения, праздники, я помирилась со своими родными и дальними родственниками с гор, дядя Тик-Так все хотел научить твоего отца старым горским песням, велел записывать в тетрадку, чтоб не пропали, все-таки песни прошлых поколений, они выучили их в своей деревне, когда были еще молоденькими. Но твой отец больше увлекался новыми польками, например «Полька киллер-дилер» и еще одна, мне она не очень нравится, вот я и не запомнила, что-то про «человечка на углу», особенно когда он вернулся с войны, столько всего потерялось. Может ты, мой маленький внучек, раз ты так любишь музыку, придумаешь, как сберечь польские песни.

Что Иероним (также известный как Гэрри) сказал Джо

— Папаша? Да ну, я даже говорить не хочу об этом ублюдке. Бабка навешала тебе лапши на уши. Хреновый музыкант, его только доллары заботили. У него была не музыка, а одна похабень — «корова срет, а бык пердит в одну и ту же дырку. Пойду я тоже погляжу, а может и посру» — вот, что ему нравилось. Похабщина. Самый низкий уровень. Он ревел на весь дом, когда слушал «Ангелов» или что-то вроде. Говорит, был на родине аптекарем, но я кое-что проверил — простой мужик, как и все. А корчил из себя черт знает кого. Когда свалил, стало только лучше. Я тогда играл на свадьбах — по три-четыре за неделю. Я был на седьмом небе. Отличное время, но не потому, что все женились, а потому что он свалил.

Ну да, а когда вернулся после войны, в Чикаго все испортилось. Все! До войны на танцах хотя бы веселились — что сказать о поляках, мы знаем толк в веселье — был еще мужик, здоровый такой с красным носом, как помидорина, на сталелитейном работал, не пропускал ни одного танца,

пот ручьем, а сам все орет *«ale się bawicie?»*[288] Всем весело? — и площадка в ответ тоже ревет: «да, да, да». Свадьбы? Гуляли по три дня. Зато после войны все стали такие серьезные, куда там веселиться, если свадьба, то три часа поплясали и разошлись — это вместо трех дней; польские залы и общества позакрывались, кругом ниггеры одни, целые улицы, целые польские кварталы как посмывало. И люди стали совсем другие, я говорю про белых, про поляков. Заставь их теперь веселиться, хотя музыка, я говорю о польках, была жуткой, сейчас лучше: и напористее, и громче, и быстрее. Ну да, я о музыке — Лил Валли Ягелло[289], он начинал с польских лирических песен, хороший голос, до него были только инструментальные. Ну да разве это веселье? Разве народ сейчас тот, что раньше? Ни тепла, ни дружелюбия. Кто теперь обнимет огромными ручищами, поднесет тебе стаканчик или чего пожевать? Нет, куда там, все круты, все заняты, осади-ка немного, не напрягайся, не корчь из себя такого уж поляка. Сплошная крутость — точно тебе

[288] Примечания: 288
Играй, давай *(польск.)*.

[289] Примечания: 289
Лил Валли Ягелло (р. 1930) — польско-американский певец, композитор и аккордеонист, король польки.

говорю, набрались от ниггеров, эти вечно стоят, как статуи, спокойно так, даже не пошевелятся, только смотрят, кто чем занимается, а сами не двинут ни мускулом, полное безразличие, зато круты — старый добрый поляк на их месте уже повыдирал бы волосы, молясь своим святым. Видишь, поляки больше похожи на макаронников, если говорить про эмоции. Вот тогда и стали закрываться польские танцзалы и общие клубы, теперь если и услышишь где польскую музыку, то только на свадьбах, польских праздниках, фестивалях и так далее. Ну и пластинки, пластинки тоже все портят — ну да, если можно слушать польку на диване и с проигрывателя, но зачем искать живых музыкантов. Так мы все и теряем. На прошлой неделе мне в первый раз довелось послушать рок-номер в ритме польки, какие-то дурковатые мальчишки, называют себя «Варшавская Пачка». Ха-ха. Вот увидишь, через десять лет полька совсем вымрет. И не спрашивай меня больше про папашу. Кусок дерьма, да и только.

Третья радость

Третья радость доставалась Иерониму, когда кто-нибудь — всегда кто-нибудь, он сам ни разу — приводил в заднюю комнату проститутку, которая обслуживала всех, кто был достаточно пьян.

Зимой рыбалки не было, и весь день он проводил в Польском клубе. Но имелась еще одна причина, по которой он так любил туда ходить. Бармен Феликс — огромное родимое пятно делало его до жути похожим на человека, снимавшего у них комнату, когда Иерониму было одиннадцать или двенадцать лет, мистера Брудницкого.

После отбытия папаши дом постоянно заполняли квартиранты: кто-то работал на фабрике, кто-то что-то продавал, проезжая через их места, иногда попадались музыканты или актеры. Мистер Брудницкий был молодым человеком с распухшими руками и тугими складками губ, родимое пятно от внутреннего угла глаза и до самого уха превращало половину его лица в маску, а куча точек и черточек рассыпались по щеке странным пурпурным алфавитом. Он выступал в какой-то программе, мужчины знают — такие

шоу и представления есть везде. Иногда заглядывал в кухню и, если никого не было рядом, пальцем манил к себе Иеронима, или Гэрри, как он — симпатичный и уже большой мальчик с белыми, как снег, волосами и по-волчьи зелеными глазами — уже называл себя в то время; мистер Брудницкий вел его в свою верхнюю комнату с завешенной портьерой кроватью; если дома никого не было, он прислонялся к кровати, а Иероним становился напротив. Мистер Брудницкий расстегивал брюки так, что выпрыгивал «Красный Дьявол» (как он его называл), затем выпускал «Маленького Дьявола» Иеронима, гладил его, оттягивал кожу и прижимал головку к обрезанному Красному Дьяволу, после чего оба дьявола тыкались, пихались и терлись друг о друга до тех пор, пока мистер Брудницкий не поворачивал Иеронима спиной, толкал его на кровать, и мальчик чувствовал, как Красный Дьявол, одетый в холодную рубашку из лярда, который мистер Брудницкий доставал из спрятанной под кроватью банки, хрипя и корчась, входит в «тайную пещеру». Когда все заканчивалось, мистер Брудницкий умолял Иеронима никому ничего не говорить и давал четвертак — невероятную сумму, стоившую каких угодно

дьявольских тычков, хотя тайная пещера потом болела и проливалась поносом.

Однажды, чувствуя странное возбуждение, Иероним повел в комнату мистера Брудницкого своего кузена Казимира, намереваясь обучить его кое-каким трюкам, но, встав на колени, чтобы достать из-под кровати банку с лярдом, они нашли там маленький красный чемоданчик. Он был заперт на замок. Иероним заглянул в старую ободранную зеленую коробку, где мистер Брудницкий держал свою одежду, и обнаружил там на проволочной вешалке нечто поразительное — сверкающий наряд, платье изо льда. Он поднял подол, тяжелый и холодный, расшитый крохотными стеклянными бусинками.

— Казимир, смотри. — Кузен придвинулся поближе и потрогал платье. Их окутал мрак картонного ящика, пряный мускусный запах. Иероним слышал дыхание кузена, чувствовал щекой теплый поток. Они вжались в ящик, и бисерная бахрома ледяного платья позвякивала, пока они терли друг другу разбухшие члены.

— Я все время так делаю, — с трудом выдохнул Казимир.

— И я, — соврал Иероним. Комковатая сперма выплеснулась на ледяное платье, и он решил, что

не будет говорить Казимиру о мистере Брудницком и четвертаках, потому что это все же другое, низменное, несмотря на то, что вгоняет в дрожь и приносит доход. Когда Казимир тоже кончил, они рассмеялись, с тех пор Казимиру достаточно было сказать:

— Это бисерное платье… — как они начинали глупо ухмыляться и надувать губы в полусмехе над своим общем приключением. Прошли месяцы, и мистер Брудницкий начал исчезать — часто и ненадолго, обычно забывая оплатить комнату; наконец он пропал больше чем на две недели, хотя чемодан и банка с лярдом все так же стояли под кроватью, а загадочное платье лежало в коробке. Прошло шестнадцать дней.

— Хватит! — кричала мать дядюшке Юлюшу. — Он не платил уже больше двух недель. У меня есть хороший человек, рабочий человек, он хочет эту комнату. Если этот не появится до субботы, я все выбрасываю. А комнату сдаю.

Суббота прошла. В воскресенье после полудня мать вошла в комнату, сорвала висевшее над кроватью одеяло и принялась выкидывать в коридор брюки и ботинки, ледяное платье, банку с лярдом; стукнувшись о лестницу, красный чемодан раскололся, крышка откинулась, и на ступеньки

посыпались парики, косметика, мази, блестящие маски и смешной костюм с эластичной спиной и резиновым передом, на котором красовалась пара больших грудей с бордовыми сосками.

— Иисус, Мария, Иосиф! — запричитала мать, а дядя Юлюш, заглянув на кухню, поднял этот странный наряд с пола. Потом подошел к висевшему над раковиной зеркалу, приложил костюм к себе, но смешно было только до тех пор, пока он не снял рубашку и не натянул эти груди на голое тело. Эффект получился поразительный. Это был как бы дядя Юлюш: знакомое плоское лицо, всколоченные усы, красные руки с пучками вонючих волос, но при этом он превратился — не в женщину, нет, но в часть женщины. Дядя Юлюш носился по кухне, вереща фальцетом:

— Ах, негодник, — и хватал руками воздух.

В эту минуту, когда все покатывались от неприличного хохота, дверь открылась, и на пороге появился мистер Брудницкий. Он был худ и бледен, а голову, точно шлем, охватывала грязная повязка. Мистер Брудницкий окинул трагическим взором сначала их всех, потом блестящее платье, валявшееся на полу невзрачной, словно тающий лед, грудой, повернулся и сбежал по лестнице прочь.

— Что я должна была делать, ждать до второго пришествия? — кричала мать в спину убегавшему жильцу.

Червячный щуп Иеронима

В 1967 году Джо женился на Соне — красавице с гладким невозмутимым лицом, пухлыми губами, словно стягивавшими на себя щеки, и кокетливо-раскосыми голубыми, как фарфор, глазами под тяжелыми веками; всю неделю перед тем, не переставая, лил дождь, каждое утро начиналось туманом, марево густело, превращаясь сперва в морось, потом в мелкий дождь, затем, уже к ночи, в ливень, и под аккомпанемент барабанивших по крыше капель всем хорошо спалось. Иногда между четырьмя и пятью пополудни дождь прекращался, на пару часов появлялась надежда, что наступит, наконец, сухая погода, но потом все начиналось сызнова.

В то воскресное утро Иероним почти уверился, что погода прояснится. Ветер разгонял туман, и сквозь рваные облака проглядывало небо. День был наполнен нежной влагой, пахло землей. Иероним выбросил в окно электрический шнур, вышел во двор и соединил его с червячным щупом. Ступая по земле босыми ногами с шишковатыми наростами у больших пальцев и высматривая место получше — в одной руке

чашка кофе, в другой щуп — он прошел через всю рыхлую лужайку. Мокрые листья узорчатой капусты, которую посадила жена, навевали легкую грусть — жемчужно-фиолетовые, с лиловыми оборками, что за красота. Он погрузил щуп в землю и включил ток. И в ту же секунду взлетел в воздух, пробитый так, будто его вывернули наизнанку, а кожу содрали одним резким движением, точно с кролика; а когда приземлился лицом в мокрую траву, он был почти мертв и через минуту стал мертв окончательно, в ореоле сраженных электрическим током червяков и малиновок — таким и увидела его жена из окна кухни четыре часа спустя.

Это она подарила ему червячный щуп два года назад на именины.

Песий вой не достигнет небес

Отпевание Иеронима — это было что-то, последнее в их квартале отпевание, старый, старый польский ритуал, и никто уже не знал, как его проводить, кроме старика Буласа из Польского клуба; этот дед носил на руке часы для слепых — удивительный механизм с колокольчиками и колечками, объявлявший, если нажать специальную кнопку, сколько сейчас часов и минут. Они с Иеронимом много выпили и вдоволь наговорились за все прошедшие годы, оба глубоко и мистически чтили Николая Коперника, отца астрономии. С тех пор уже никто не знал, как устраивать погребения, ибо через две недели после похоронно-свадебных дней старик Булас тоже умер, и его отпели скомканно, по-американски. Какая ирония судьбы, сказала миссис Юзеф Пжибыш, громко стуча тростью о пол и вытирая слезы.

В юности Булас изучал литературу, но после эмиграции в Америку единственным местом, куда он смог устроиться, оказался сталелитейный завод, где через шесть лет он получил ожоги и был отправлен вон с небольшим пособием. Кожа

на правой руке от ключицы до кисти морщилась, как молочная пенка, шрамы на плечах словно вытерли до белизны жестким полотенцем, но он был главным запевалой, знал все гимны и записывал их в свой *'spiewnik*, толстую самодельную книгу в черной обложке.

— Важно! — говорил он. — Важно, потому что даже мессы они проводят по-английски. Это трагедия. — Он был последним из тех, кто знал поэзию магических слов и могущество тайны.

Прихватив с собой хороших певцов из польского клуба, он пришел в похоронный дом, когда спускались сумерки. Иероним, вымытый, выбритый и одетый в шелковый костюм, лежал в ореховом гробу, как полированный нож в серебряном футляре. Певцы встали вдоль стены. Слева от них, на покрытом белой скатертью небольшом столике стояла тарелка мятных конфет и блюдечко гвоздики. Зазвучали гимны и молитвы: «Аве, Мария» в честь Богоматери, гимны святым; через час мужчины ушли к машинам, подпитать свою печаль пивом и виски; женщины, пока их не было, читали молитвы и перебирали четки, возвышая голос и растягивая древние слова. Мужчины вернулись с пылающими щеками, отрыгнули, подтянули ремни и вновь выстроились

у стены. Все темнее и отчаяннее становились гимны, словно выпрашивая у Бога позволения избавить певцов от телесного проклятия: «Я потерян, я проклят, я грешен». Они пели о сырой могиле, о последнем часе — полная грехов человеческая тщета молила о милосердии:

— Бьют часы, и жизни нить ускользает от меня, снова бьют часы… — В полночь накрыли ужин: черный кофе, бананы и холодная свинина. Всю ночь продолжалось пение, голос старика Буласа дрожал и срывался от напряжения, на рассвете они прочли последнюю молитву за упокой, и старик Булас затянул «Ангелюс»: — Я говорю тебе прощай. — В семь утра работники погрузили Иеронима на катафалк, следом в машинах с открытыми, несмотря на холодное утро, окнами двинулись певцы; мужчины по-прежнему пели, на траве выступал холодный пот, у певцов болели головы, а голосовые связки натягивались так, что вместо музыки получался бездыханный вой.

На следующий день сыновья устроили безобразную сцену из-за отцовского аккордеона; Раймунд рыдал и театрально, как Тарзан, стучал себя кулаком в грудь, кричал, что Джо рвет на части семейную собственность, что отец обещал аккордеон ему, что отец перевернется в гробу,

как червяк. Сравнение вышло неудачным — Дороти охнула, а Джо выматерился. Представление предназначалось публике, ибо в глубине души Раймунду было плевать на аккордеон.

Поспешная свадьба

После таких похорон, думала Соня, какая уж там свадьба, даже польская?

Она ошиблась. Старик Булас, возбужденный сверх меры атавистичной страстью к церемониям, проспал после отпевания восемнадцать часов, встал, составил список и отправил внука к родителям невесты, вдовствующей матушке жениха и еще многим другим. Жене он объяснил, что мрачный обряд похорон Иеронима необходимо уравновесить как можно более *wesele* [290] стилем, хотя жених с невестой и разослали приглашения по почте вместо того, чтобы обзвонить предполагаемых гостей и позвать каждого лично или хотя бы отправить им *drużba*. Поскольку свежепохороненный отец жениха был музыкантом-любителем, да и сам жених полупрофессионально занимается музыкой, на свадьбе обязательно должны быть хорошие исполнители, начиная со скрипача, который специально для Сони, покидающей отчий дом, сыграет «Посажу тебя в повозку, о любимая».

---

[290] Примечания: 290
Свадебный *(польск.)*.

— Ах, — воскликнул старик Булас. — Помню, я был еще ребенком, мужчины стреляли из пистолетов, а будущая невеста, вся в лентах, усаживалась в повозку. Это было ужасно. Кто-то выстрелил и попал ей прямо в сердце — случайно. Вместо свадьбы получились похороны.

Свои услуги предложил полька-бэнд, и ужин с танцами из отеля «Венцеслас» перенесли в шикарный зал Польского клуба. Булас объявил, что они с миссис Булас берут на себя обязанности *starosta* и *staroetina* и намерены руководить незнакомой другим гостям церемонией. Сначала все шло хорошо, хлеб-соль, только музыкантам порядком осточертел «Великий марш», который требовалось играть с самого начала всякий раз, когда появлялся новый гость; во время бесконечного ужина старик Булас поминутно вскакивал чтобы произнести речь или сказать тост, у него заплетался язык, а слова терялись в воспоминаниях о какой-то другой злосчастной свадьбе, еще в Польше — та свадьба была испорчена недотепой-поваром, который быстро-быстро смешал тесто, потом куда-то убежал, что-то ему там надо было сделать, потом стал носиться взад-вперед, вылил тесто в кастрюлю, сунул кастрюлю в печь, затем остудил этот свой замечательный торт и

чем-то разукрасил, а когда настало время невесте его резать, она почувствовала под ножом что-то твердое, сказал старик, а потом взяла в руки отрезанный кусок и увидала крысу, крысу в торте, дохлую, конечно, но хвост вылез наружу, когда она отрезала кусок, и все увидели торчащую лапку и, боже мой, ее вырвало, а гостей, глядевших на все это тоже стало рвать, ох, это было ужасно, все успели хорошо накачаться вином и сытной закуской, и рвота повсюду. Он запел:

— *Czarne buty do roboty, czerwone co tańca* [291].

Когда пришло время менять вуаль, Соня и ее подружки выстроились в ряд, но одна девушка, возможно от размышлений над историей старого Буласа, пронзительно завизжала и упала в обморок. Через полчаса, когда ее привели в чувство и отвели за боковую линию, все выстроились снова. Сонина мать дрожащими руками сняла с дочкиных светло-русых волос украшенную апельсиновыми цветами, но мокрую от слез фату с вуалью и надела ее на голову лучшей подруги; зал наполнился печальными глубокими голосами — «Сегодня ты уж больше не девица», — и тут заревел сигнал пожарной тревоги. Несколько ми-

---

[291] Примечания: 291

Черные туфли для работы, красные для танцев *(польск.)*.

нут спустя Джо повел свою невесту в центр зала, поскользнулся на неосторожно упавшей на пол капле воска и ушиб колено. Он психанул, громко выругался и отправился прямиком в бар, предоставив Соне самой решать, идти за ним или нет. Постепенно, особенно после того, как объявили, что записи полек будут отправлены во Вьетнам поднимать боевой дух солдат, начались нормальные танцы — сперва спокойные, но затем вирус плясового сумасшествия захватил всех, это была уже не старая добрая полька раз-два-три-четыре, а настоящие цыплячьи подскоки, *«Siwy Koń»* [292], «Серебряный башмачок» и другие новомодные бешеные па; пляски продолжались до самого утра, музыканты молили о пощаде, измученные танцоры прямо в парадных костюмах складывались у стены в штабеля, да так и засыпали. Среди них — старик Булас, но он не спал: он был в глубокой коме, от которой ему уже не суждено было очнуться вплоть до самой своей смерти неделю спустя, когда он открыл глаза и произнес:

— Пусть те, кому я пел, споют теперь для меня. — Родня завыла в голос, уверившись, что он зовет хор мертвецов.

---

[292] Примечания: 292
Серая Лошадь *(польск.)*.

Джо и Соня

— Черт побери, кажется, мы все-таки поженились, — объявил Джо уже в мотеле и зевнул так, что хрустнула челюсть. Соня улыбалась.

— За долгую и счастливую совместную жизнь. — Он звякнул своим бокалом шампанского о Сонин. — Сколько у нас денег?

— Не знаю. — Она подхватила чемоданчик и ушла в ванную.

Джо погрузил руки в атласную сумку и, вытащив оттуда охапку банкнот, занялся подсчетами, но Соня вскочила на кровать в короткой нейлоновой рубашке, тонкой, бледно-голубой, обшитой по краям кружевом, и он отвернулся от денег. Он смотрел на темные кружки ее сосков, треугольник, пухлые икры и белые лодыжки. Она подпрыгнула, кровать заскрипела, ноги утопали в толстом одеяле. Деньги посыпались на пол, и он бросился на нее, как ныряльщик бросается с высокого борта прямо в синюю глубину. И когда Джо вломился в нее тараном, она могла думать лишь о том, как в самый первый раз много лет назад увидала его пенис: ей было тринадцать лет, и вместе с подругами Нэнси и Милдред они

плескались в муниципальном бассейне, темные головы торчали из воды, как плавучие караваи, сотни людей стояли или прогуливались по мокрому бетону вокруг бассейна, девочки подтягивали купальники. До этого она видела Джо лишь мельком — большой мальчик, старше ее на два класса. Он стоял у стенки, пальцы ног скрючились у самого края, и смотрел, как они плавают на спинах, а желтые ноги под водой мягко колышутся, плоские и изломанные. Он вытащил свой сморщенный ствол так, чтобы они все видели. Пошевелился и встал прямо напротив девочек.

— Кажется, он что-то потерял, — хихикнула Нэнси.

— Если ему было что терять.

— Вот сейчас и потеряет.

— Боже, какой страшный!

Он приподнял головку, направил прямо на них и начал писать. Струя разбрызгивалась в нескольких дюймах от их ног. Девочки закричали и отпрянули, все так же не сводя с него глаз, но он быстро нырнул между Соней и Нэнси, успев ткнуть рукой в промежность Сониного купальника — от неожиданности она погрузилась в воду и тут же с криком выскочила наружу.

Пирог

Наверное, это случилось, когда они остановились выпить кофе.

Его пошатывало, руки немели. Лучше бы он взял кока-колы, сказала Соня своим обычным хрипловатым голосом, там больше кофеина, а она пока сходит с детьми в туалет и приведет их в порядок. У Арти был понос, и вся машина провоняла обкаканными подгузниками, которые она меняла, встав коленями на переднее сиденье и перегнувшись над спинкой. Неизвестно что, но болезнь оказалась заразной, Флори тоже ее подхватила, у нее начинался жар. Самое неподходящее время. Хорошего в этом было только то, что дети стали вялыми и все время спали — все лучше, чем если бы они с воплями скакали по машине. Он ушел пить кофе, она с детьми следом, вымыла Арти в заляпанной раковине, вонючие подгузники запихала в крошечное мусорное ведро — туалет размером со стенной шкаф тут же заполнился вонью — она полюбовалась в зеркало на свои серые щеки, смочила кусок бумажного полотенца, который тут же расползся под струей воды; но вода была хотя бы горячей, и чувство-

вать эту теплую струю после холодной машины было удивительно приятно — опять что-то с обогревателем, ну почему он никогда ничего не может починить по-человечески; дети стояли на грязном полу туалета, но не плакали, и то слава богу. Надо купить им имбирного лимонада. У нее было четыре доллара, должно хватить хотя бы на имбирный лимонад для этих засранцев.

Она вышла из туалета. Джо, ссутулившись, навис над стойкой, но не расплачивался, а пил кофе и заглатывал огромными кусками треугольный кусок вишневого пирога, надеясь доесть до того, как она вернется: совсем недавно он орал во всю глотку, что у них денег еле-еле на бензин, и что надо потерпеть до того, как кончится конкурс. Вот когда они выиграют, когда получат эти призовые деньги, он купит каждому по куску мяса размером с ляжку — даже Арти, у которого во рту было всего четыре зуба. Она стояла и смотрела, как он неуклюже возится с пирогом; в животе заурчало от одной только мысли о сладкой начинке и теплой сахарной корочке. Они поссорились на глазах у всех, потому что она встала перед ним и спросила, понизив голос: нам хватит денег на бензин?

— Послушай, если я веду машину, мне нужны

силы, как ты думаешь?

— А мне? Меня в расчет не берут. Считается, что я должна возиться с детьми, с твоей одеждой, со всем этим барахлом, выступать — и все это на голодный желудок. Я могу и потерпеть, правильно?

— Правильно, — подчеркнуто спокойно ответил он, давая понять, что она зашла слишком далеко. — Мисс, дайте нам, пожалуйста, еще кусок пирога, и побольше.

— Не нужен мне пирог, не нужен твой проклятый пирог, понимаешь? — Она слишком сердилась, она уже плакала. — Мне нужно человеческое отношение, а не пирог. Я не хочу, — последние слова были обращены к официантке, та пожала плечами и затолкала обратно заранее отрезанный кусок пирога — все они были одинаковыми. Посетители во всю на них таращились. Парень, судя по виду — водитель грузовика, в ковбойских сапогах и кепке, уплетал за обе щеки яичницу с ветчиной и тостами. Пахло едой.

— Хорошо, — сказала Соня. — Я передумала. Дайте пирог. — Ей было стыдно, но очень хотелось есть. Резким движением официантка достала пирог и поставила перед ней, с лязгом положила вилку, бросила салфетку, налила в

стакан воды.

Соня села на табурет рядом с Джо, посадила детей на колени, придерживая обеими руками. До вилки дотянуться было нечем. Джо смотрел прямо перед собой. Она прижала Арти животом к стойке, по-прежнему держа левой рукой Флори. Первый кусочек пирога тоже достался Флори, хотя ее все равно потом вырвет. Соня ела быстро; выпила воду и направилась к дверям, когда Джо еще не успел допить свой кофе. Он тянул его из стакана и курил, очевидно, наслаждаясь теплом после холодной машины. (К тому времени все уже, наверное, произошло.)

Она сделала шаг навстречу шершавому ветру — холод, вполне подходящий для снега, дорога наверняка обледенеет — и потащила детей к машине, господи, ну и колымага. Стоянка была пуста. В машине по-прежнему воняло, но было так холодно, что ей и в голову не пришло оставить дверь открытой. Она уложила детей на заднем сиденье, накрыла одеялом и тут вспомнила об имбирном лимонаде. Через окно забегаловки она видела, что Джо все еще стоит у прилавка. Рядом с телефоном-автоматом была машина с напитками.

— Сейчас приду, — сказала она Флори и побе-

жала обратно к закусочной. Имбирного лимонада не оказалось, и она купила «севен-ап», понадеявшись, что там нет кофеина. Джо расплачивался за пироги и кофе, выбирая из горсти однопенсовые монеты, официантка терпеливо следила, как пальцы выуживают медь из скомканных чеков за бензин, моточков проволоки и ниточных клубков; к монетам пристали ворсинки. Чаевых от этого урода в жизни не дождешься. Не глядя на Джо, она ссыпала горсть центов в ящик.

— Что же вы не говорите: «Приходите еще»? — многозначительно спросил он. Официантка бросила взгляд на водителя грузовика, словно хотела сказать: вот с кем приходится иметь дело — и отметила про себя, что парень отыгрывается на ней за жену и этот ее кусок пирога.

Он завел машину со словами:

— Ну и вонь, эти мелкие ублюдки что, подохли там на заднем сиденье? Соня с любопытством смотрела на декорации: город словно бы утолщался, дорога стала многополосной, сперва четыре ряда, а потом и шесть, движение уплотнялось, показались приземистые бары и склады автопокрышек, громоздились железнодорожные сортировочные станции, простые дома громоздились тоже, высокие, близко друг к другу, автобусы

и грузовики, грузовики перегораживали дорогу. Похоже и непохоже на Чикаго. Они ехали сквозь трущобы, где было много чернокожих. Соня занервничала, особенно когда они остановились на светофоре, и какие-то черные оборванцы с огромными ртами, состроив презрительные мины, приблизились вихляющей походкой к ветровому стеклу, стали тереть его мятой газетой — однако через секунду они рассмотрели огромную голову Джо, его налитые тяжестью веки и кусок лица, недвусмысленно выражавший: «с каким удовольствием я бы пристрелил вас, простите, ребята», — и круто развернулись к тонированному стеклу другого лоха.

— Ты знаешь, куда ехать? — Соня говорила как можно беззаботнее, показывая, что, по ее мнению, ссора позади — перед конкурсом нужно привести себя в подобающее настроение. Он не ответил. — Хорошо бы залезть под душ в мотеле.

Все устроено: он забронировал комнату в двух кварталах от зала, ответил он, и заплатил вперед. Мотель дешевый, ничего особенного, сказал он, но комната нормальная, тепло, есть телевизор, кровать и маленькая кроватка для Арти. В прошлом году он водил грузовик и останавливался там пару раз. Флори поспит с ними, это же всего

одна ночь, только пусть ложится с краю, помнишь, куда полезла рука, Джо, когда в прошлый раз они взяли ребенка к себе в постель. Он же спал, так что ни в чем не виноват. Как все мужчины. Увидев пустую бутылку, они не могут не сунуть в нее палец.

— По крайней мере, время еще есть, — сказал он. — Сколько сейчас — пол-четвертого? А начнется не раньше восьми. Успеем отмыться. Надо будет поспать, выпить пару кружек пива, потом разок прогнать все номера. — Она успокоилась. Ссора позади. У них хорошая программа, хоть и рискованная. Сперва выходит на сцену он один, но словно бы неохотно, оглядываясь за кулисы, в голубом сатиновом костюме, в руках сверкает пурпурный аккордеон, — становится вполоборота так, чтобы на брюках вспыхнула блестящая тесьма, которую она специально туда пришила. Он хмурится, напускает на себя озабоченный вид и качает головой. Нисколько не наигранно, словно и в самом деле волнуется. Ждет. Затем, в тот самый момент, когда судьи начинают перешептываться, явно собираясь объявить следующих исполнителей, из-за кулис выбегает Соня в пурпурном сатиновом костюме с голубым аккордеоном, и зал устраивает овацию

еще до того, как они берут первую ноту, — просто от радости, что она его не бросила. Это зал. Когда на Джо нападал кураж, он мог рассмешить деревянный бочонок. Потом они играли и доводили этих балбесов до полного экстаза.

— Вот он, — сказал Джо.

— Где? — Она не видела никакого мотеля. Покореженные тротуары, белый грузовик на разгрузке, вывески баров, булочная, клуб Общества по борьбе с преступностью, витрина мясной лавки вся в гирляндах из сосисок, куда-то шаркал старик, сцепив за спиной пальцы — руки, словно вилы, которыми собирают картошку; на углу два мужика поедали огромные сэндвичи и вытирали тыльными сторонами ладоней рты.

— Да вот же, черт побери, ты что, ослепла? Купить тебе очки? — Он свернул в переулок и объехал вокруг закопченного кирпичного здания, задев по пути мусорный бак. ОТЕЛЬ «ПОЛОНИЯ». Семь или восемь оранжевых дверей с номерами, за стеклом надпись от руки — «Администратор». Из пятого номера вышла пара: молодая женщина в черных брюках и модном меховом пальто — какой-то рыжий мех, наверное лиса, догадалась Соня — и крупный мужчина средних лет, приглаживал волосы. Не глядя на женщину, он

обогнал ее и направился к стоявшему неподалеку фургону с надписью «Озерный берег контор — все для вашей конторы». Женщина сплюнула, достала из сумочки сигарету, прикурила и зашагала по улице.

— Это же дом свиданий.

— Что с того? Зато дешево. — Не выключив мотор, он ушел за ключами. Она наблюдала через лобовое стекло — сначала за падающими снежинками, потом за тем, как он внутри смеется и кивает кому-то невидимому, крутит головой, опять кивает. Потом он вернулся и подрулил на машине к номеру один, совсем рядом с комнатой портье.

— Марджи посмотрит вечером за детьми. Она тут начальница. Все равно будет сидеть в конторе, и если заплачут, придет и наведет порядок.

— Там есть кроватка для Арти? Ты говорил, будет. — Она уже знала, что никакой кроватки в номере не окажется, им придется всем вместе спать в одной постели, и Арти загадит все на свете.

— Есть, есть. Господи, посмотрела бы сначала, а потом уже напрягалась. — Он вышел из машины, отпер дверь, открыл и щегольским жестом протянул руку Соне. Та надеялась, что есть хотя бы

душ. Из машины донесся голос Флори:

— Мама, у меня болит живот.

В крошечной комнатке была раковина, ничем не отгороженный туалет в углу, за покрытой белым налетом клеенчатой занавеской с оранжевыми цветами — полуальков-полуниша, в ней капающая душевая головка; кровать-полуторка и магазинная тележка, с трудом втиснутая между кроватью и стеной. Соня никак не могла взять в толк, причем тут тележка, пока не разглядела в ней постельку со сложенным одеялом вместо матраса. Никакого телевизора. Все было понятно без слов. Она вышла за дверь и вернулась с Арти и Флори. Опустила обоих на кровать. Джо повалился рядом с ними на прогнувшийся матрас; кровать скрипела, как ненормальная.

— Ути, мой маленький, ути моя девочка. — Он пощекотал Флори. Девочка села, скорчилась, он продолжал ее щекотать, она встала на четвереньки, и тут ее вырвало вперемешку со слезами.

(Двадцать лет спустя, прокрутив коммерческий ролик фирмы «Исудзу», Флори захлопнула крышку своего электронного гибрида — MIDI-усовершенствованной «Петозы» с шестнадцатью каналами, стереофоническими магнитными переключателями, а еще ретушь, шумовой кон-

троль, ключевая скорость для басов и дискантов, контроль ритма, легкость в переносе и подвижной переключатель клавиатуры, — кивнула инженеру Банни Беллеру — безнадежен: весь в порезах, козлиная бородка, сеточка для волос, — выходившему из-за своей перегородки с бутылкой «Эвиан» у рта, капли катились по дырчатой рубашке и падали на ее лакированную кожаную куртку; услыхав, как продюсер Томми говорит, что все это хорошо разыгранное дерьмо, она ответила: да, но у мисс Платинум проблемы со слюноотделением, так что ее плевки лучше бы отсюда убрать; не волнуйся, сказал тот, но она уже была за дверью, поглядывала на часы и раздумывала, откуда взялась жуткая головная боль, эта плавающая слабость, и что следом, неужели грипп? Она села в серебристую «камри» и подалась вперед, чтобы включить зажигание, когда вдруг что-то, упав прямо с неба, ударило по крыше с такой силой, что машина качнулась, а это что-то разломилось на три больших куска. Флори вышла из машины и подобрала один обломок. Пицца — замороженная пицца — кто-то скинул с самолета? Божья весть?)

— Ради Христа, — сказал Джо. — Мы пробыли в этой комнате две минуты, а эта мерзавка уже все

изгадила. — ПРИВЕДИ СВОЮ ДОЧЬ В ПОРЯДОК! — заорал он на Соню, выскакивая из кровати. И ушел к машине.

Скорее всего это произошло у той закусочной, а может и раньше, но не исключено, что и за те несколько минут, что они пробыли в мотеле.

— Неужели нельзя было потерпеть? — Соня зло шикнула на девочку, грубо схватила ее и потащила в туалет, где ту опять вырвало. Было слышно, как Джо захлопнул дверцу машины, и как с громким лязгом опускается крышка багажника. Стены этого мотеля — не толще бумаги. Машину кое-как починили после аварии — еще до того, как Джо ее купил: рама слегка погнута, двери и крышка багажника визжали, колеса снашивались с одной стороны раньше, чем с другой, но зато дешево. Джо влетел в комнату, когда она еще не успела вычистить кровать.

—

Ты брала аккордеоны? ТЫ БРАЛА АККОРДЕОНЫ?

Она покачала головой. Стало страшно.

— В багажнике их нет. Их нет в этом ЕБАНОМ БАГАЖНИКЕ. — Он заглянул под кровать, выбежал из номера и принялся выбрасывать из машины на землю — детские одеяла, карты, мятые мешки, чемоданчик, сумку с пеленками. Он

бросился к багажнику и открыл его опять, словно аккордеоны могли вдруг там появиться, может, вышли прогуляться до угла и обратно. Он плюхнулся на водительское место — туда, где просидел всю дорогу, единственное место, которое он мог контролировать. Он попытался сосредоточиться. Вернулся в мотель.

— Я укладывал их в багажник, оба, перед самым отъездом, я помню, как проверял на твоем замок — прямо в багажнике, он не был защелкнут.

— Ага.

— Послушай. Если ты что-то сделала с аккордеонами, я тебя убью.

— Что я могла с ними сделать? Я всю дорогу была с тобой.

— Ага? А в той забегаловке? Ты сбежала, когда я еще не допил кофе. Запросто успела бы вытащить и запихать под машину. Я поехал и ничего не заметил. Твоя работа? ЭТО ТВОЯ РАБОТА? — Тяжелой ручищей он схватил ее подбородок и вывернул к себе голову. Она ничего не могла поделать — по лицу текли слезы. Он заставил ее смотреть в глаза. Говорить с перекошенным ртом не получалось.

— Ме. То нья.

— Нет, это твоя работа. Ты что, не могла подо-

ждать в машине, пока я выпью кофе, а? Ты не знала, что этот ебаный багажник не закрывается, и что там лежат аккордеоны по две штуки каждый? Прекрасно знала и бросила без присмотра, как же оставить меня хоть на минуту. Что ты думаешь, я собирался делать — трахать эту обезьяну-официантку прямо за прилавком? Бросила машину, чтобы первый же сукин сын открывал багажник и пялился, что там лежит. Этот козел, небось, обосрался от радости, представляю, как заверещал: «ойй, госпди-бозе, ета з нада, как подфартила!» Ебаный ниггер схватил аккордеоны подмышки и почесал по улице. Зуб даю, он пялился, когда мы уезжали, да еще нассал в штаны от ржачки — а чего не ржать, если он так ловко нас провел. — Голос звенел. Джо готов был лопнуть от злости. Выскочил на улицу, оставив дверь открытой. Она слышала через стенку, как он разговаривает с администраторшей мотеля. Потом вернулся в номер.

— Как называлась та забегаловка? А лучше вспомни, что это за город. Я позвоню фараонам и скажу, что их черножопая гнида сперла мои аккордеоны. После этого поеду к черту на рога искать два проклятых аккордеона, чтоб нам было на чем играть. — Он посмотрел на часы.

— Сейчас четверть четвертого. Чтобы к семитридцати ты была готова, и привела в порядок мой костюм. — Он бросил чемодан на кровать. — Я вернусь с аккордеонами, даже если придется спереть.

— Можно же одолжить у кого-нибудь?

Он был за дверью и не слышал ее слов. Как всегда по-бычьи, он наваливался на трудную задачу, у которой чаще всего имелось простое решение.

— Они хорошие ребята. Уолли даст нам аккордеон, у него всегда есть в запасе. Эдди и Бонни будут только рады.

Она изучала карту, словно сосудами, испещренную линиями: к низу штата, пульсируя, направлялась главная артерия, а жилки поменьше ветвились от нее на восток и на запад, упираясь тонкими капиллярами в городки. Соня вспоминала, как утром, готовясь к отъезду, они складывали вещи, она пыталась сообразить, видела или нет, как Джо выносил аккордеоны. Флори торчала тогда у окна и разглядывала улицу, Соня подошла к ней и тоже посмотрела вниз. Там стояла их машина с закрытым багажником, а Джо топал к дому огромными шагами, вбивая каблуки в землю. Через дорогу, напротив «Спинорастяжки», томился без дела старый «кадиллак», за ним

хлебный фургон, из выхлопной трубы тянулась струйка маслянистого дыма, а темнокожий водитель тянул свою сигарету. Из магазина вышли две женщины в длинных ситцевых юбках.

— Смотри, Флори, цыганки.

— Где? Где? А они кусаются?

— Они же люди, глупышка, как они могут кусаться, сама подумай.

Но тут хлопнула дверь, и Джо прокричал:

— Давайте, поехали, все готово.

Она было надумала попросить администраторшу Марджи присмотреть за детьми, а самой сходить в зал для выступлений, объяснить, что случилось, может кто-то поможет. Но побоялась.

Ломбард

Холодало. Цифровой градусник на фасаде банка показывал 8 по Фаренгейту. Падал, клубясь, мелкий снег, больше похожий на туман. Начинало темнеть, зажигались огни, неоновые вывески. Он включил фары. Пар от дыхания замерзал на лобовом стекле, и его приходилось отдирать кухонной лопаткой, сбрасывая вниз ледяную труху. Из телефонного справочника он выдрал две страницы, и теперь, на светофорах, постоянно на них косился. Поток машин то останавливался, то двигался вновь. Приметив свободное место, Джо втерся на стоянку такси, оставил мотор работать в знак того, что через минуту вернется, но потом передумал, выключил двигатель и опустил ключи в карман. Если сопрут еще и машину, ему только и останется, что сидеть по уши в дерьме с воздушным шариком в одной руке и динамитной шашкой в другой.

Над запертой дверью стальная решетка и табличка «Звонок у окна».

— Звонок, звонок, — проворчал он вслух, но послушно нажал кнопку у оконной решетки.

— Да? — раздался голос. — Что у вас за дело?

— Мне нужны аккордеоны. Кто-то украл мои аккордеоны, сегодня вечером конкурс, и я не знаю, что делать. Мне нужно два аккордеона.

— Читайте вывески, мистер. Золото и серебро, монеты. Я не занимаюсь аккордеонами. Через два квартала отсюда «Американские Инвестиции». У них есть аккордеоны. И трубы. И гитары.

— Ладно. — Вернувшись к машине, он снова нырнул в поток; свет фар преломлялся в проклятой наледи его дыхания, так что сквозь лобовое стекло он почти ничего не видел. Проехал мимо концертного зала, где скоро начнется конкурс. Огни уже сияли, а над входом трепыхался безграмотный красно-белый плакат «*NAZDROWIE!* 1970 — СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ ПОЛЬКА-МАТЧ». Еще там висел список участников — крупными красными буквами с белыми звездочками вместо точек над *i:* Вольт Золек, Братья Мрозински, «Близнецы из Коннектикута» — черт, только в Чикаго им не хватало этого дерьма — Тубби Купски, Большой Марки, «Веселые Девчата», потом взгляд поймал их собственные имена вполне приличного размера: «Джо и Соня Ньюкамер». Все в сборе, кроме Фрэнки Янковича[293], наверное, посчитал себя

[293] Примечания: 293

Фрэнк Джон Янкович (р. 1915) — американский аккордеонист, исполнитель полек.

слишком крупной рыбой для таких мероприятий. Хотя он все равно словак, а не поляк, кнопочник и любитель банджо. Джо не волновался. Большинству дуэтов только крендельки лепить, им не сыграть, как они. Кроме братьев Бартосик — вот кто был хорош и по-настоящему опасен. В Гэри эти ребята увели большой куш прямо у них из-под носа — современной обработкой песенки «Синие глаза плачут под дождем» в стиле Элвиса Пресли и «Бич Бойз». Ублюдки.

«Американские Инвестиции и Ломбард» оказались здоровенным домом; парень из «Серебра и Золота» не соврал — еще из машины Джо увидел аккордеоны, господи, их там целая стенка. На этот раз ему повезло, со стоянки только что отъехал грузовик, и Джо занял его место. На окне висел мятый плакат: «КАК ЖИЗНЬ? КАКАЯ ЖИЗНЬ БЕЗ АККОРДЕОНА!»

За прилавком сидела женщина с фигурой футбольного полузащитника, невозмутимая физиономия словно слеплена из околопочечного сала. Он разыграл перед ней номер с песнями и танцами на тему стыренных аккордеонов. Женщина не проронила ни звука, но лицо ее говорило без обиняков: не пизди. Однако Джо читал ее, как газету. Те же гены, тот же взгляд, что у его бабки.

— Послушайте, — произнес он так, словно втолковывал что-то последнему тупице, но не терял при этом терпения, — мы с женой, мы поляки, у нас программа, очень хорошая программа, мы участвуем в конкурсе. Полечный дуэт, а она еще и поет. У нас уже записано три ленты. Сегодня тут большой конкурс, недалеко от оружейного склада, полька-матч, и у нас хороший, очень хороший шанс получить первый приз в смешанных дуэтах, тысячу баксов. Я не вру. Какая-то забегаловка на дороге, два черномазых вломились в машину, пока мы водили больных детей в туалет, и вытащили наши аккордеоны, мы обнаружили это только в мотеле. — Он чуть-чуть давал волю эмоциям, голос слегка дрожал.

Женщина сказала что-то по-польски. Джо улыбнулся, пряча мимолетную злость.

— Я не говорю по-польски, разве что несколько слов, научился у бабушки. *Na zdrowie.* Вы же понимаете. — Он вздохнул. — Обидно, что новые поколения забывают язык, это правда. Я бы с удовольствием выучил, но… — Он растерянно развел руками.

Женщина пожала плечами и ткнула большим пальцем в аккордеоны. Если он хочет посмотреть аккордеоны, то к чему эти песни с плясками? Он

задумал какую-то выходку, уж она-то знает.

— Можно посмотреть вон тот, зеленый? Наверху. — На самой верхней полке и никак иначе. Она раздвинула перекладины приставной лестницы, взобралась наверх, поглядывая из-под руки на случай, если этот пройдоха что-нибудь выкинет. Но его глаза следили за аккордеоном, а не за кассой с деньгами. Может и не врет, кто его знает. Она спустилась с лестницы и поставила аккордеон на прилавок. А пыли-то. Он и сам не знал, зачем ему понадобился именно этот инструмент; аккордеон был кнопочный, а не клавишный. Из них всех на этой чертовой штуке могла играть только Соня, да и то чуть-чуть. Ее папаша сходил с ума по таким кнопочным ящикам, она сама с них начинала. Джо осмотрел его: старый, слишком старый и слишком маленький. Кожаные меха еще очень гибкие, несмотря на слой пыли. Он взял инструмент в руки и сыграл пару аккордов, затем поставил обратно на прилавок и окинул взглядом полки, уставленные мелодионами, каджунскими диатониками с открытыми клапанами, большими квадратными «Хемницерами», английскими концертинами, маленькими одноголосыми бандоньонами, электроклавишниками, югославскими *melodijas,* пластмассовыми аккордеонами,

китайскими *mudan*, был даже *«баян»* из России, две пакистанские гармонии и ряд за рядом: «Бастари», «Кастиглионы», «Сопрани», «Хенеры — черные кнопки» — господи, можно подумать вся американская эмиграция притащила свои аккордеоны в этот ломбард — на потрескавшемся лаке, целлулоиде и деревяшках закручивались хромированные итальянские имена: «Коломбо», «Италотон», «Сонда», «Ренелли», «Дюралюмин» в форме арфы, — кто на нем будет играть? — большой хроматик с кучей кнопок в пять ярусов, сдохнешь, пока выучишь, а над всем этим одинокий «Бассетти», вроде того, на котором парень по имени Леон Саш[294] играл джаз — и Баха, Баха он тоже играл, с таким аккордеоном можно.

— Дайте мне посмотреть «Коломбо», полечную модель, вон тот, черный, как раз на таких мы играем, на клавишниках. Этот кнопочник положите обратно — я подумал, это тоже клавишник, незаметно в тени. — Женщина принесла ему большой «Коломбо». На полке стояло пять или шесть таких же. Он перепробовал их все, один за другим, у каждого имелся дефект, западающие клавиши или плохие язычки, меха пропуска-

[294] Примечания: 294
Леон Саш — американский джазовый аккордеонист.

ли воздух или казались слишком тугими. Была еще полечная модель «Гуррини» со словенской настройкой, но ему не понравилось. Наконец он остановился на трех вариантах. На этих они, пожалуй, сыграют, он гнал от себя мысль, что победить с такими инструментами будет тяжеловато. Быстро прострекотал «Польку-мядяки», продемонстрировав их фирменный стиль: дикий кабацкий минор, варварское напряжение, из-за которого казалось, что еще секунда, и он потеряет контроль над собственными звуками — никто больше так не умел, и это сводило танцоров с ума. Он посмотрел на женщину, чтобы оценить реакцию — вид у той был удивленный, но кислый. Джо осклабился, источая обаяние.

— Похоже, вы и впрямь играете, — сказала она.

Теперь, чтобы обтяпать с этой старой сукой дельце, оставалось лишь разжалобить ее подходящей историей.

Приготовления

Когда он вернулся, дети спали — Флори в кровати, Арти в магазинной каталке — а Соня, склонившись над зеркалом, крупными мазками наносила на лицо косметику; из-под халата торчали босые ноги. Идеально выглаженные костюмы висели на двери.

— Нашел, — объявил он, шлепая ее по заднице. — Еще только шесть часов. — Он достал из кармана пинту виски и с громким щелчком открыл пробку. — Выпьешь?

— Ага. Хорошие? — Она разглядывала инструменты. Большие черные ящики совсем не подходили к их костюмам. Она взяла в руки один из «Коломбо» и чуть-чуть поиграла — вступительные аккорды к их прежнему новоэтническому номеру, который они уже давно не исполняли, — «Дингус пьет целый день»; музыка там постепенно становилась все свободнее и глуповатее, Джо, поставив стакан с остатками пива, изображал пантомиму, затем стегал ее по ногам воображаемой ивовой розгой, она подпрыгивала, не выпуская аккордеона из рук и встряхивая как следует меха. Тон получался не слишком живой,

да и прыгать с таким тяжелым инструментом было трудновато. Но они все равно забросили этот номер из-за сложной смеси путаных ритмов и знакомых мелодий. Джо был уверен, что дуэтам, если они действительно хотят побеждать, лучше держаться подальше от экзотики, зрителям нужны знакомые и удобные мелодии, быстрые, с кучей трюков: «Любава», «Ай да мы», «Удивительное время», «Мой милый малыш». Соня вспоминала свой потерянный инструмент: деки из норвежской ели, язычки ручной работы, на решетках вырезаны их имена.

— Тяжелый, — сказала она — И звук грязный. — Взяла другой аккордеон. Этот был немного лучше, но одна клавиша болталась и клацала всякий раз, когда Соня на нее нажимала. Было очень жаль голубого аккордеона. На самом деле он принадлежал Джо, который отсудил его у брата, когда умер старый Иероним-Гэрри. Старик оставил только один аккордеон, и обоим хотелось забрать его себе, но Раймунд едва умел играть, так что Джо нанял недорогого адвоката, выстроившего защиту на том, что инструмент должен принадлежать человеку, который умеет с ним обращаться. Раймунд собирался его продать и получить деньги. Ради денег он готов был продать и душу, но ему

не везло. Такие загребущие руки, как у обезьяны. Как-то он стащил пакет бумажных банкнот, три высоких толстых пачки, плотно сложенные и замотанные коричневой оберточной бумагой — в универмаге «Кей-март», у самого прилавка, он вырвал их из рук женщины — импульсивно, не раздумывая, ему хватило одного взгляда на то, как женщина так вот запросто стоит со своими деньгами, пытаясь другой рукой удержать открытую холщовую сумку. Он бросился бежать. А на стоянке перед магазином пакет разорвался, выпустив в воздух целое облако красной краски и обрызгав Раймунду нос, лицо и шею. Тот бросил деньги и кинулся к своему старому бордовому фургону, но красное облако так и летело за ним следом, а стоило ему прикоснуться к машине, окутало и ее тоже, да еще и мотор никак не заводился.

Теперь, в этом мотеле для свиданий, Джо заиграл соленую комическую пьеску «Что за штука между нами?», голоса сливались — глубокий хрипловатый Сонин и его тенор, неожиданно чистый и высокий для такой могучей грудной клетки: она выводила мелодию, а он подпевал. Звучало хорошо, и Соня успокоилась. Может, все у них и получится. Голоса многого стоят. Она

заиграла рулады, раздражаясь на западающую клавишу и прикладываясь по чуть-чуть к его «ершу». Немного выпив, он играл свободнее. Как и она. Лучше всего действовал линимент.

— Ты их взял напрокат? — спросила она.

— Небольшое дельце. Не волнуйся, все в порядке. Ты вспомнила, как называется та забегаловка? И что за город? Я добуду наши аккордеоны, не волнуйся.

— Я посмотрела по карте. Это может быть только Морли — помню, там была длинная пустая дорога, перед этим городом. Но я не посмотрела, как называлась закусочная.

Он бросил на нее презрительный взгляд.

— Ну и какой от тебя толк? Вот что я тебе скажу: мы уедем завтра утром, и я проторчу в этом ебаном Морли хоть целый день, но найду ублюдка, который забрал наши инструменты, я размажу этого черномазого по дороге, он у меня превратится в клубничное варенье. — Джо опрокинул в себя виски и со стуком поставил стакан на стол.

— Хорошо, хорошо. Возьми вот. — Она достала бутылку «Краснокаменного лекарственного линимента доктора Джоупса» с силуэтом бегущей лошади на этикетке. Джо отмерил ей в стакан крышечку и долил сверху пива.

— Пей медленно, лучше подействует.

— Не волнуйся! — Едкое горькое тепло расползлось по всему телу, вслед за вторым глотком натянулись голосовые связки. Стакан опустел, а рот и горло стали совершенно сухими.

— Хватит? Или еще? — Ему было жаль бутылки линимента.

— Я готова, я готова, все отлично. — Высокий хрипловатый голос звучал теперь так, как он любил больше всего, — экстазом и саднящей болью.

Польская честь

До концертного зала «Полония» они доехали на такси, чтобы аккордеоны не переохладились на колючем морозе. Улица была запружена машинами, клаксоны гудели, а возвышавшийся в этой гуще полицейский взмахами рук направлял поток в нужную сторону.

— Ну и толпа, — заметил Джо, когда они объехали здание и свернули за угол к служебному входу. Настроение поднималось. Добрая толпа — вот что им было нужно. Он даже озаботился Сониным самочувствием:

— Ты как? — Она не ответила. В огромном зале топтался народ, кучкуясь у концессионных ларьков и столиков — там громоздились искусно раскрашенные яйца, расшитые жилетки с треугольными лацканами, деревянные кружки, кольца колбасы, пироги, замысловатые бумажные фигурки, срезанные с «Дерева жизни», петухи и курочки, флажки, подписные квитки на «Польско-американский репортер»; в одном киоске собирали деньги семье преподобного Юзефа Журчука из западной Польши — какой-то маньяк ворвался в церковь прямо посреди мессы

и его зарубил его топором — брошюрки о круизах через Атлантику на пароходе «Баторий», гордости «Гданьско-американских линий»; на другом ларьке висел большой красный транспарант: «ЗАЩИТИМ ПОЛЬСКУЮ ЧЕСТЬ!»

— Ты иди, — сказал он Соне, — а я посмотрю, что там такое. — Оказалось, «Общество защиты польских американцев» собирает деньги, чтобы выставить иск Ассоциации американских кинематографистов за фильмы, оскорбляющие честь и достоинство поляков — назывались «Тарас Бульба»[295], Тони Кертис и Юл Бриннер, а также «Не позволяйте никому сочинять мне эпитафию»[296] вместе с целым списком других картин, о которых Джо никогда не слыхал; отдельная петиция предназначалась голливудским продюсерам и призывала их представлять поляков в хорошем свете, благо тем есть чем гордиться, и почему бы не снять фильм о военной карьере, например, Пуляски или Косцюшко.

---

[295] Примечания: 295

«Тарас Бульба» — экранизация повести Н. В. Гоголя, поставленная в 1962 г. режиссером Дж. Ли Томпсоном (1914 — 2002), Тони Кертис (наст. имя Бернард Шварц, р. 1925) сыграл в нем роль Андрия, а Юл Бриннер (1915 — 1985) — Тараса Бульбы.

[296] Примечания: 296

«Не позволяйте никому сочинять мне эпитафию» — фильм, снятый в 1960 г. режиссером Филипом Ликоком (1917 — 1990).

Вокруг будки с «Польской честью» собралось множество хиппи. Джо стало слегка не по себе: польские хиппи, какие-то дикие наряды, яркие деревенские рубашки и короткие штаны, но большинство успело облачиться в расшитые жилетки, так что длинные волосы цеплялись за жесткие нити толстых плечевых стежков. Немало было и ветеранов вьетнамского контингента — мускулистых коротко стриженных парней в футболках, каждый с легкостью раскрутил бы тяжелый молот — они хлопали друг друга по плечам и поглядывали на выстроившиеся вдоль задней стены холодильники, которые откроют только после конкурса, когда начнутся танцы. Шум голосов перекрывал клацанье откидных кресел — там, в глубине, рассаживалась по местам спрессованная толпа.

Гримуборную оборудовали в коммунальном стиле — перегородки отделяли раковины и места перед зеркалами. Соня вытащила прокатные аккордеоны из футляров и поставила их под стол рядом с обогревателем. Она рисовала на раскрасневшемся лице дуги бровей, красный кончик дожидавшейся своей очереди губной помады торчал из позолоченной коробочки, как собачий член. Костюм Джо висел на крюке. Соня подняла

голову и подмигнула, мотнув подбородком в левый закуток. Джо сделал непонимающие глаза, и она показала, снова кивком головы, чтобы он посмотрел сам. Джо с равнодушным видом прошел через весь зал к двери туалета, бросив по дороге взгляд на соседей — там готовились к выходу братья Бартосик. Но на месте был только Генри. На обратном пути Джо остановился и спросил:

— Здорово, Генри, как дела? А где Кэсс? Все в порядке? — На виду был только один аккордеон и один набор грима.

— Застрял в пробке, там страх что творится. — Метнув на Джо быстрый злобный взгляд ледяных глаз, Генри отвернулся, теребя полоску материи.

Уже в собственном закутке Джо усмехнулся Соне и принялся намазывать на лицо жирный слой грима, придавая себе вид жизнерадостного здоровяка. Если Кэсс где-то пьет и не успеет приехать, или уже приехал, но валяется пьяный, то первое место у них в кармане — даже с прокатными инструментами. На сцене уже начался конкурс, открыли его «Король и королева детской полечки», в уборной были хорошо слышны чересчур быстрые переборы «Польки конькобежца», волна аплодисментов и одобрительный свист. Овация стихла, только когда вышли «Лучшие

комики с аккордеонами». Пока Джо волновало только одно: они с Соней выступали предпоследними, а самый желанный последний номер достался Бартосикам. Ну что ж, тут ничего не поделаешь. Он бочком пробрался к кулисам, чтобы хоть пару минут посмотреть на комиков. Толпа орала, заливаясь смехом по любому поводу, радовалась даже шутке о том, как женщина спускается с горы на лыжах и с аккордеоном в руках.

«Польские полечные лодыри» Стас и Станки показали грубоватый, но смешной номер. Стас нарядился в юбочку из резиновых цыплят и соорудил себе гигантский розовый бюст с елочными лампочками вместо сосков, которые загорались вишневым светом, когда он нажимал на спрятанную в ладони кнопку. Волосатые ноги заканчивались башмаками с большими круглыми носами, в таких обычно ходят литейщики. Нелепые груди и эти красные лампочки застревали в мехах аккордеона, и Стас то и дело вскрикивал АХ! АХ! от притворной боли, распевая одновременно «Они всегда в пути». Станки, одетый в тесный черный костюм, играл, сильно наклонясь назад и продев руки под коленями — поясница выгнулась, а аккордеон лаял что-то свое между черными шелковыми лодыжками.

Слышались выкрики:

— А это вы слыхали? Сколько надо поляков, чтобы сделать попкорн? Четыре. Один будет держать кастрюлю, а трое трясти печку! Эй, а кто такой Александр Грэйм Ковальски? Первый телефонный пшек! Эй, а как вы отличите польский самолет? У него будут волосы под крыльями! Эй…

Затем появился Горка, длинный-предлинный и тощий, в мешанине из женских тряпок, рыжем парике, с фальшивым носом, на шее хромированный свисток — он свистел в него, лил себе в ухо воду, изумленно смотрел, как она бьет фонтаном из рукавов и ботинок, прикуривал гигантскую фальшивую сигару, которая тут же взрывалась облаком зеленой пыли. Трюковой аккордеон у него был приделан к стамп-скрипке, Горка ревел клаксоном, звенел колокольчиком и лупил по сковороде, исполняя при том «Да, сэр, это мое дитя». Потом, пританцовывая, выскочил Скиппо, запонки из оникса вытягивали из-под пиджака рукава, манишка из оранжевого шелка пузырилась золотыми и зелеными ромбами, а коричневый бархатный воротник был так заплиссирован, словно под подбородком у него уместился крошечный аккордеон.

После комиков показали два переходных номера: сначала на сцену в сопровождении матери вышел Аркадий Крим, слепой мальчик из Дюранго, Колорадо, — в десять лет он потерял зрение и три пальца на правой руке, решив поиграть с динамитной шашкой. Аркадий был одет в голубой костюм с блестками на лацканах. Аккордеон он перевернул вверх ногами и исполнил что-то религиозное, объявив, что музыка — это Божий дар, и что он регулярно отклоняет выгодные предложения поиграть в придорожных клубах, считая свой талант собственностью высшей силы. После двух бисов его сменила женщина средних лет в вечернем платье с открытыми плечами, она начала с «Баллады о голубых беретах», потом сыграла «Винчестерский собор», «Вальс Теннесси», а закончила старой доброй польской мелодией «Грек Зобра».

Опять в гримерке

Джо еще до женитьбы на Соне стал завсегдатаем польских фестивалей и конкурсов, подстраивая под них свою жизнь — катался из штата в штат, повсюду, где проходили этнические фестивали, танцы, приходские междусобойчики: «Польские дни» в дюжине штатов, с полными автобусами туристов, калифорнийский фестиваль «Золотой аккордеон», техасская «Чешская фиеста», «Дни польки в сердце страны», «Ночи под полечку», «Скотоводы Хьюстона» и «Полечный гала-концерт в честь святого Патрика» — вплоть до «Польки-Аляски» в Фэрбенксе и «Праздника польки» в «Холидей-Инн» у международного аэропорта «О'Хэйр» под грохот реактивных самолетов. Только через год Соня начала выступать с ним вместе, сумев-таки побороть страх перед потной толпой, змеевидной веревкой вокруг пыльной сцены, оглушительными воплями и уверенностью, что она сейчас хлопнется в обморок на глазах у всего честного народа. В горле после линимента першило так, словно его натерли занозистой щеткой. Она едва могла говорить, вся сила ее голоса уходила в песни. Потом дела пошли хорошо, особенно,

когда они стали побеждать в конкурсах, ей уже нравилось, как толпа выкрикивает имя Джо — и ее имя! — орет и свистит.

Входили в моду экзотические аккордеоны, прекрасные инструменты от Карпеков — все цвета и оттенки, перламутровое и бриллиантовое напыление, горный хрусталь, блестящие надписи, решетки из серебра, а то и настоящего золота, переставленные местами черные и белые клавиши.

Организовывала фестивали обычно какая-нибудь грузная пара, посвятившая свою жизнь полькам и полякам. Они знали, как и что надо делать, не меньше чем за год снимали зал, приглашали прессу, сочиняли афиши и объявления, которые потом появлялись в «Мире аккордеона», «Новостях техасской польки», «Польско-американских поклонниках польки»

В шестидесятых, когда первые фестивали только еще раскручивались — покажем черным, что такое поляки — больше Польши, больше музыки, организаторам нравилось, они просили участников петь на своем языке или местном диалекте, предпочитали необычные мелодии и замысловатые танцы, выучить которые стоило немалого труда, музыку изолированной от мира малень-

кой Польши. На выступления тогда ходили в основном поляки. Но фестивальное движение росло, превращалось в музыку для всех, в вечера под пиво, приятный отдых — организаторы знали, что нужно толпе, а нужна ей была отнюдь не культура для посвященных. Позвонив как-то Джо, миссис Граб пустилась в объяснения:

— Ни экзотического, ни экстремального, понимаете? Такое теперь правило, ассоциации придумали себе правила. — Она записала их участниками «Августовских полек свиноводов Миссури» — Мы опять сняли аудиторию в центральном зале. — Джо хмыкнул. Акустика там была ни к черту, вместо мониторов — кое-как заклеенная старая рухлядь, что глушит музыку металлическим лязгом.

— Что за дела, сняли бы водосточную трубу размером с кинотеатр. Тот же эффект.

— Послушайте, Джо. Сувенирные киоски на восточной стороне, продуктовые на западной, столы для пластинок и кассет, а сзади мы поставим столик для лотереи. В этом году разыгрывается переливающийся «форд» цвета металлик, с рефлексной краской. И билетеры тоже у задней двери. Послушайте, музыкальные исполнители — то есть вы — имеют шесть минут на номер,

во время танцев группы сменяются каждые пятнадцать минут. Побольше разнообразия. Танцы только в линию, танцоры должны стоять лицом к исполнителям, толпу нужно как следует завести, понимаете, для большей отдачи, люди хотят получать удовольствие, а не глазеть на веночки старомодных фанатиков и двухчасовые свадебные пляски. Танцы в линию хорошо смотрятся. На польском одну песню. Большинство не понимает языка, но одна песня придаст этнический колорит. Вот на что нужно сделать ударение: этнический колорит. Позвольте вам кое-что сказать, Джо. Этническая музыка уже не считается устаревшей. Сейчас всем подавай что-нибудь этническое, на этом можно делать неплохие деньги. Люди идут слушать музыку и проводить время. Ну и за пивом с колбасой. Зачем им унылый фолк или эти суперсложные парные хороводы, когда надо выгибаться не пойми как, падать на задницу и сталкиваться с другими рядами. Никаких *«Kozacy na Stepi»*. Чтобы в них разобраться, надо быть польским профессором. Никому не в радость. Вы знаете, я не полька, я чешка. Что такое современный чех? Это выва-

ренная смесь *kolác* [297], пряников и польки. Так что выходите на сцену и играйте погромче, дайте им быструю веселую польку. Быстро и весело. Покажите им, что такое этническая музыка. Три сотни я вам гарантирую, а если выиграете — победитель определяется силой аплодисментов — то пятнадцать сотен и корона «Августовской польки скотоводов Миссури»

Выступление тогда получилось кислым. Соня ждала Флори, похудела на десять фунтов и чувствовала себя мерзко. (И Флори, и Арти родились в один день, пятнадцатого сентября, с разницей в два года.) Джо разучил медленную версию *«Zły Chłopiec»,* которую все называли «Очень плохой парень». Песню встретили не так, чтобы хорошо, но получше, чем номер Джерси Валда: тогда вышли танцевать всего три пары, а скудные аплодисменты тут же умолкли, когда здоровяк с прилипшими ко лбу тонкими волосами вдруг запрыгал и заорал во весь голос:

— Это не польская полька, это не польская музыка. Я поляк из Польши, в Польше бы вас оборжали, как я сейчас — Ха! Ха! — только заикнитесь, что этот мусор — польская музыка!

---

[297] Примечания: 297
Хоровод *(польск.).*

А это что, польская еда! — он махнул рукой в сторону лужайки с этнической кормежкой: в каждой палатке десять на пятнадцать футов стояли плита, ледник, складные столики, и всем этим командовала бой-баба соответствующего вида. — Это НЕ польская еда, это дерьмо, которое у вас называется колбаса и кишка. Нормальный человек не возьмет это в рот, даже с голодухи. И еще американская хрень — картофельный салат с двуцветными оливками, ананасами и приторным майонезом. Ха! Язык? Я смеюсь вам в рожу! Ха! Ха! Запихали раздолбанные слова в веселенькие фразы, от вашей грамматики у настоящего поляка будет истерика, это вы называете языком предков? Никогда! Это не польский язык, а свинский! — И так далее. Позже Джо опять попался на глаза этот мужик — он сидел в одиночестве под деревом и поедал американский картофельный салат, зажав в каждой уке по ложке.

Победители

Они вышли на сцену, и все получилось отлично. Прокатные «Коломбо» служили, как надо, со временем они уложились тютелька в тютельку, Сонин голос звенел окровавленным кинжалом — вот что значит полька: подавленное отчаяние, несправедливость с рождения, сила, закаленная в несчастьях, выносливость — этот резкий шершавый голос мог держать ноту так долго, что зал глотал воздух и выдыхал вместе с певицей. А следом — невозможная полька, хиппи захлопали в такт музыке, остальные подхватили — хороший знак, зал был с ними. Они сорвали больше аплодисментов, чем все, кто выступал до сих пор, объявил Ян Реха, кивая на измеритель и пожимая им руки с притворным изумлением.

Они убежали в уборную — в поту и восторге оттого, что все уже прошло, и прошло хорошо.

Готовый к выступлению Генри Бартосик трясся от ярости у выхода из своего отсека, не сводя глаз с задней двери сцены и Кэсса Бартосика, который только что оттуда появился, а сейчас срывал с себя пальто, одновременно нащупывая защелку аккордеонного футляра.

— Где тебя, блядь, носило? Наш выход. Я чуть с ума не сошел!

— Эти пробки, это что-то невозможное, я перся восемь кварталов пешком — господи, как я замерз, пальцы не гнутся. Отвлеки их на минутку. — Он пустил в раковину горячую воду. — Подержи аккордеон у батареи, совсем заледенел, быстро, ну быстрее же.

— Это ты мне говоришь быстрее? Черт подери, я отсюда слышу, как ты провонял виски.

— Иди на хуй, я зашел перекусить. Я хреново себя чувствовал, неужели не ясно? Одну рюмку, всего одну рюмку, чтоб не болел живот. Отъебись от меня. — Один растягивал меха, подставляя их под теплый воздух, жал на холодные клавиши. — Ах, ты боже мой! — Кэсс слабо рыгнул. Аплодисменты, предназначенные Джо и Соне, утихли, и конферансье объявил:

— Ну как, понравилось? Невероятный дуэт, муж и жена, одна сатана, Джо и Соня Ньюкамер. А теперь те, кого вы, мои юные друзья, так долго ждали, дуэт, окутанный свежей и печальной славой милуокского триумфа, лауреаты «Фестиваля польской улицы», непревзойденные исполнители польских мелодий в популярном стиле, братья Бартосик, Генри и Кэсс БАРТОСИК. — Братья то-

пали по лестнице, Генри проклинал все на свете, Кэсс рыгал, икал и бормотал, запинаясь:

— … от мертвого осла уши.

— Сегодня братья Бартосик — кстати говоря, друзья, Кэсс Бартосик еще и быстрее всех в Америке печатает на машинке — решили нас удивить, популярные мелодии в полечном стиле немного меняются — дуэт исполнит мемориальное попурри из Джими Хендрикса и Джэнис Джоплин — но они вовсе не собираются топтать свои аккордеоны и бросать их в костер — словом, слушайте рок! Братья Бартосик!

Раздались аплодисменты, затем тишина ожидания, и два аккордеона запыхтели полькой «Я и Бобби Макги»

Джо засмеялся.

— Ты только послушай, инструмент совсем холодный — меха еле тянутся. Вот влипли. — Он наполнил бумажный стаканчик виски на полдюйма, и Соня опрокинула его в рот, сразу почувствовав, как по телу разливается теплая слабость. И тут медленный аккордеон замолчал, повисла пауза, потом шквал смеха в зале, хохот все разрастался, несмотря на перекрывавший его более близкий шум потасовки и приглушенные крики. Все, кто был сейчас в уборной, наблюдали,

сгрудившись у дверей, как на верхней ступеньке лестницы дерутся Кэсс и Генри. На самой сцене Ян Реха, смеясь, успокаивал зал, отпускал шуточки, старался перекричать взвизги и завывания.

— Что случилось, черт побери? — воскликнул Джо и скоро разглядел, что Генри изо всех сил дубасит Кэсса, а тот сгибается все ниже, пытаясь укрыться от братских кулаков. В ту же секунду Кэсс сильно подался вперед, и его вырвало прямо на ступеньки.

Джо заверещал:

— Господи, да он же заблевал всю лестницу. Совсем дошел. О благословенный Иисус, о Дева Мария, святые и великомученики, а если бы мы выступали после? Что за день сегодня, всех вокруг рвет. — Но уже опустили занавес, и на сцену бросились две женщины со швабрами и ведрами. Генри, не поднимая головы, ушел в уборную, а рыгающего Кэсса охранник повел по коридору к туалету. Генри был вне себя от ярости, в нем пенилось грандиозное польское бешенство; Соне казалось, он выкинет сейчас что-то ужасное и непоправимое — так пылали его щеки и такими белыми стали глаза — но он всего лишь сунул аккордеон в футляр, надел пальто и ушел в ночь. В коридор ворвался крапчатый снежный вихрь.

На сцене Ян Реха называл их имена, победители, *победители*, муж и жена, нежные голубки, дуэт Джо и Соня Ньюкамер! Женщина средних лет, та, что заполняла паузы между номерами, затянула «Взбирайся на каждую гору», и они поднялись на сцену — получать чек и жать руку Яну Рехе.

Подарок

— Золотко, ты что хочешь, пойдем поужинаем или возьмем с собой — бутылку вина, жареного цыпленка — можно ведь поесть в мотеле? Послушай, золотко, я знаю, это кошмарное место, но представь, если б мы не выиграли — без этих денег другой отель нам просто не по карману. Смотри, какой чек, пятнадцать кусков — миленькие, миленькие денежки. А ты у меня миленькая маленькая куколка, хочешь, переедем в другой мотель, куда-нибудь пошикарнее? Все, что ты пожелаешь, только скажи.

Интересно, что если бы она сказала да?

— Не знаю. Не хочется никуда идти, там очень холодно, может, лучше побудем до конца программы, поесть можно и здесь: добрая польская кухня, слышишь, как вкусно пахнет. У них там пироги с картошкой и ростбиф. И танцы.

— Джо любил танцевать, но больше на уличных фестивалях, где не так тесно.

— Ага, отлично. Господи, ну и рожа была у этого Генри, видала? Им теперь кранты, это уж точно. Пилить ему на хордовоксе под спевки вашингтонских сенаторов. Это ж разойдется, как лесной

пожар. Представляешь, звонит он Джерри и говорит: хочу засветиться в Дойлзтауне. А Джерри ему в ответ издевательским голосом: «Нет уж, спасибо, я не думаю, что из рыгалова на сцене получится хороший номер». Послушай меня, солнышко, эти аккордеоны надо сдать до одиннадцати. Давай я схожу в мотель, проверю, как там детки, возьму машину, отвезу аккордеоны, а потом вернусь, и мы отлично проведем время. Утром пойдем на мессу, на польскую мессу, прямо через дорогу, потом съедим польский завтрак и двинемся назад. Надо еще заехать в этот Морли — потолковать с легавым насчет наших инструментов. А завтра к вечеру сесть бы часика на два и заплатить кое-что по счетам. Давай так, ладно? — Она кивнула.

— Вот и хорошо, я побежал. Вернусь через часик.

В полночь она еще ждала, ерзая на откидном стуле, болтая со знакомыми о музыке, братьях Бартосик и постоянно поглядывая на двери, потом вдруг почувствовала, что ужасно устала, и пошла в мотель — пешком, по снегу, уже восемь дюймов, все сыплет и сыплет. В уличной хляби ползли и буксовали грузовики, легковушки, и Соня совсем продрогла, когда наконец показалась

вывеска ОТЕЛЬ «ПОЛОНИЯ». Под фонарем в сотне футов от «Полонии» торчала из снега какая-то мелкая штука. Соня подняла, и это оказалась завернутая в бумажку и перетянутая резинкой стопка карточек. Бумажка — десятидолларовая банкнотой. На карточках — проститутки в причудливых позах.

Он появился в два ночи, вошел бочком, от самой двери распространяя запах перегара. Она только что успокоила Арти, горло болело от линимента, пения и винегретного соуса, которым была полита свекла. От усталости Соня уже не держалась на ногах. Он, чертыхаясь, потыкался вокруг, нашел кровать и тяжело опустился на край. Она подвинула Флори поближе к стенке.

— Солнышко, — сказал он. — Я опоздал. Вернулся в зал, а там уже никого нет. Пришлось ехать домой.

Он сражался с ботинками, пропитанные снегом шнурки не хотели развязываться.

— Заглянул в бар, а там все на взводе. Ну и сцена. Кэсс там же, нахрюкался, полез драться. Один старик играл на бандоньоне, слышала когда-нибудь? Танго. Какая-то пара пошла танцевать. Господи, как два кенгуру с клеем на подошвах. Так пристукиваются, будто собаки цапаются.

О. У меня для тебя подарок. — Она нащупала что-то твердое и квадратное, пальцы прошлись по кнопкам. Села на кровати и включила свет, приглушенный замотанным вокруг абажура полотенцем. Джо сидел весь расхристанный, волосы мокрые от растаявшего снега, лицо горит, глаза красные, рубаха расстегнута до пупа. Он протягивал ей маленький зеленый аккордеон.

— Вот. Ты ж умеешь на таких играть. Маленький аккордеончик для моей маленькой женушки. Или отдай его маленькой Флори, как хочешь. — Он сморщился и простонал: — Солнышко мое. — Соня выставила вперед руки и притянула его к себе; может она его все-таки любит. Зажатый между ними аккордеон жалобно хрюкнул.

«Пудра белая на твоем лице...»

Сдав аккордеоны, он вдруг понял, что совсем не хочет возвращаться в убогий мотель к нытью, кашлю и тошноте детей. Он замерз, он был вне себя от радости, чек в кармане рубашки согревал ему грудь. На полуночной станции он заправил машину бензином, залил банку антифриза, так что мороз ей теперь не страшен. Потом вспомнил о заглохшей печке, быть может, виноват предохранитель — как он сразу не подумал? Так и оказалось. Надо было проверить с самого начала.

Проползая по заледенелой улице, поглядывая на лежавший рядом подарок и с удовольствием ощущая ногами поток теплого воздуха, он заметил красную неоновую вывеску «Клуб Высоко-Низко» и хлопавшую по дверям тоже красную афишу «NA ZDOROWIE, ДРУЗЬЯ ПОЛЬКИ». Он втиснулся на забитую до отказа стоянку — Господи, ну и холодрыга, — и направился прямиком в шумный бар к взрывам аккордеонной музыки — Кэсс Бартосик у микрофона, во всей своей пьяной красе — пиво с виски, совсем немного, потом мимо длинной узкой стойки, вдоль всей стены к единственному свободному табурету. У

половины посетителей были с собой аккордеоны; отовсюду лились звуки музыки или просто звуки — «Осенние листья» мешались с «Что новенького, киска?» и с польками.

На соседнем табурете сидел человек в сером свитере и черной шляпе, уже немолодой, с крупным носом, и слушал, как Бартосик наяривает свою рок-версию «Оки из Маскоги»

— Я презираю эту музыку, — сказал серый свитер.

— Я тоже. Бартосик всех достал. Печатал бы лучше на своей машинке.

— Вы знаете этого человека? — Свитер разговаривал с акцентом, который Джо не сразу распознал, что-то латинское. До него донесся запах кошек и консервированного тунца.

— Ага. Я только что с полька-матча — этот хмырь заблевал всю сцену. А потом удрал, когда все заржали.

— Значит, вы играете на аккордеоне?

— Ага. А вы?

— Нет. — Он показал на квадратный футляр у себя под ногами — Бандоньон. Лучший из свободно-язычковых. Звучный, трагичный, яростный и всегда — всегда — чувственный. Я не играю попсу, эти несчастные польки — я играю только

танго, музыку трагических характеров, соединенную с муками любви, соединенную с сердцем, со страданием.

— Правда? — переспросил Джо. — А откуда вы?

— Буэнос-Айрес. Аргентина. Но я покинул свою страну несколько лет назад, поскольку думал, что передо мной откроются возможности. Жизнь в Буэнос-Айресе имеет некоторые аспекты, не слишком приятные.

— Правда? — поинтересовался Джо. — Хотите выпить?

— Спасибо, сэр. Вы человек с тонкими чувствами. Я играл во многих группах, почти никогда танго, только раз или два. Американцы не понимают танго. Они не знают бандоньона. Должен вам сказать, я презираю Америку — кухню, женщин, музыку. Это моя ошибка, давайте смотреть в лицо фактам. Я многое сделал. Я высокомерен, признаю, поскольку считаю себя высшим существом и принадлежу к высшей культуре. Но здесь, сначала я старался, потом стал зол и надменен — такова моя природа — затем, поскольку я жаден до всего, я пошел по пути преступления. Я украл в супермаркете мясо, я пил прилюдно, я мочился на тротуар, я произносил безумные тирады всем, кто мог слушать, я выкрикивал непристойности

в кинотеатрах, я безобразничал в ресторанах. Я мстителен. Если кто-то скажет обо мне плохое, я сплету заговор и уничтожу обидчика. — Серое, как цемент, лицо человека в свитере скривилось от отвращения.

— Похоже, вы человек суровый, — заметил Джо.

— Знаете, что я вам скажу, — продолжал тот, доставая из кармана полускуренную сигарету, разминая ее и щелкая зажигалкой. — Недавно меня оскорбил бармен. Я дождался на улице, пока он не пошел домой. Я следил за ним до самой двери. На следующий день, когда он был в баре, я вошел к нему в квартиру для отмщения.

— Что же вы сделали?

— Я его уничтожил. Я снял наклейки со всех его консервов. — Он засмеялся. — Пусть теперь думает, суп это или грушевый компот. — И все?

— Еще я выкрутил болты из унитаза.

— Да, не хотел бы я быть вашим врагом. Выпейте еще.

— Я вам вот что скажу. Я уеду в Японию. Вся Япония сходит с ума по танго. Япония и Финляндия. Там живут понимающие люди. В Буэнос-Айресе меня называли Тигром Танго, Легендой бандоньона.

— Не слабо. Вы в самом деле хорошо играете?

— Возможно, я лучший в мире игрок на бандоньоне, лучше чем Астор Пьяццолла[298], и должен вам сказать, мои танго не так диссонантны, не так похожи на «новую волну», как у Пьяццоллы, который визжит, точно пластиковая молния на дешевой куртке, и эти его заговорщицкие паузы, и скрип, как два резиновых шарика друг о друга. У него серьезная, неулыбчивая, трудная музыка; лица танцоров напряжены, а его темп, и еще пристукивания, как будто кто-то взбирается по бетонной лестнице в горящем небоскребе. Там есть качество расчески с бумажкой, от которого дрожат черепные швы. Его набухание страсти — как музыкальная крапивница. Я вспоминаю этого коротышку в кожаных туфлях, измученная скрипка истекала влагой, гнев, порывы, затрудненное дыхание, рулады, словно бисерины монпасье на полоске бумаги, иллюзия снега и паутины на падающих деревьях. Партии сталкиваются, как поезда. Занятие для цыплят. Назойливость петухов. Предсмертное мычание коров на бойне. А в моей музыке не так: в моей

[298] Примечания: 298

Астор Пьяццолла (1921 — 1992) — аргентинский композитор и аккордеонист, автор и исполнитель танго, привнесший в него элементы джаза и классической музыки.

музыке настоящая дикость, неистовство в моей музыке, в моих танго. Во мне живет зверь — он похож на лягушку с острыми когтями, прыгает и рвет меня на части. — Человек вытянул вперед руки и показал деформированные большие пальцы.

Джо уже порядком надоел вой Бартосика. Он встал и прокричал:

— Внимание! Леди и джентльмены. Внимание! Сегодня с нами — как вас зовут?

— Карлос Ортиз.

— Сегодня с нами знаменитый аргентинский виртуоз свободно-язычковых инструментов, Тигр Танго, мистер Бандоньон, сам Карло Ор Тиз! — Все захлопали; они тоже были сыты по горло Бартосиком. Джо вытолкнул человека в свитере к микрофону и помог ему расстегнуть футляр инструмента, приговаривая: давай, давай, давайте послушаем танго, что-нибудь новенькое, сядь, Бартосик, иди куда-нибудь наблюй.

Человек встал перед микрофоном, взял в руки серо-серебряный восьмиугольный инструмент с узорами блестящих кнопок — сто сорок четыре штуки. Потом сел на стул, расслабил руки.

— Спасибо. Это, конечно, неожиданно. Я сыграю вам несколько танго, такая вот музыка, чувствен-

ный и жестокий танец, его родина очень далеко от вашего города, в Буэнос-Айресе. Я начну с грустного и немного тоскливого *«Lágrimas»*, или, как у вас говорят, «Слезинки».

Народу понравилось, музыканту предлагали выпить, все оценили сложность инструмента и виртуозность исполнителя. Как следует приложившись, он сыграл «Злые мысли», «Тайные мечты», «Сумасшедший», «Мое прошлое в огне», «Шершавый и жесткий», *«La yumba»* Освальдо Пульези и даже невообразимую «Прекрасную марионетку» Карлоса де Сарли[299].

Средних лет пара вышла танцевать. Они понимали толк в танго — блистательная работа ногами, сближающиеся тела, статичные позы и медленные, тягучие шаги, низкий изгиб, резкий поворот головы. Они словно хвастались перед Ортизом: мол, тоже понимают эту мрачную, почти раздражающую музыку; он играл все неистовее. (Позже, этой же ночью, в номере отеля, после рискованных упражнений, которыми часто заканчиваются вечера с танго, мужчина-танцор получил сердечный приступ и в последнюю свою минуту проклял танго.)

---

[299] Примечания: 299

Освальдо Пульези, Карлос Де Сарли (1903 — 1960) — аргентинские композиторы и исполнители.

Но зрители уже устали от этой драматичной, словно израненной, музыки.

Кэсс Бартосик, соорудив воронку из своих неуклюжих рук, прокричал:

— Послушай, парень. Эй, ты, это невозможно слушать. — Он попер на Тигра, и вечер закончился дракой перед микрофоном, тычками и воплями сражающихся сторон. Тигр шипел:

— Пошел на хуй, козел, только сломай мне бандоньон, таких уже не делают. Прояви уважение к отличному инструменту. Польская свинья! Я тебя сейчас убью.

Джо ушел и не видел, чем кончилось дело.

(Когда в 1972 году вернулся из изгнания Перон, Тигр уехал в Аргентину. После смерти Перона он пожал плечами и решил остаться, поскольку был тогда влюблен в художницу, рисовавшую растения, и наслаждался успехом своих новых танго. В один прекрасный день он сыграл танго *«Mala, mala, Junta»*, намекавшее на плохих компаньонов, необратимый упадок и вызывавшее опасные ассоциации с криминальными личностями, чем пробудил к себе интерес какой-то мелкой шавки из военной хунты. Ночью за ним пришли, забрали, пытали, перебили пальцы. С тех пор он больше не играл на бандоньоне.)

Подарок

Флори разбудила ее затемно.

— Мама, мама, я хочу жареной картошки.

— М-м-м?

— Мама, я хочу шоколадного молока.

— Ты проголодалась?

— Ага. — Соня потрогала девочкин лоб, теплый и влажный, но жара не было.

— Значит тебе лучше? — Она пыталась сообразить, что можно найти съестного в этой душной комнате в полпятого утра. Потом вспомнила, что в коридоре есть автомат с напитками и конфетами, а может и сухим печеньем. Шепнув: сейчас что-нибудь принесу, она перебралась через пьяно храпящего сквозь открытый рот Джо, подхватила сумочку и убрала дверную цепочку. Дверь она оставила приоткрытой. Пол в коридоре был усыпан серым тающим снегом, такого же цвета бумажками, уличными рекламками, зазывавшими партнеров по медленным танцам, фотографиями грудастой девахи с губками, сложенными в многообещающее «О», обрывками билетов, пустыми бутылками, мятыми банками из-под кока-колы, в углу валялась мокрая синяя

варежка. Автомат жужжал и подрагивал в конце коридора. Ничего лучше апельсиновой шипучки и сырных крекеров Соня там не нашла.

Флори набросилась на еду, как волчонок, и одним глотком выпила всю шипучку. Она уже выспалась, была готова к началу нового дня, глаза гуляли по убогой, но уже привычной комнатенке,: отцовская одежда свалена на спинку стула, лучик света, пробившись сквозь плотно-белое окно, блеснул на хромированной решетке магазинной тележки со спящим Арти, затем поймал отражение тумбочки и зеленый квадратный предмет с красным бантом.

— Что это? — осторожно спросила девочка.

— А ты как думаешь? На что похоже?

— На подарок. — От смущения, что вообще осмелилась произнести это слово, она спрятала лицо в одеяло.

— Это и есть подарок. Смотри. — Соня перегнулась через Джо, и дала зеленый аккордеон Флори в руки, отстегнула ремешки, провела детской ладошкой по мехам, нажала на кнопки.

— Это кордион. Такой маленький. Мама, а где клавиши?

— У него нет клавиш. Только кнопки. Твоя мама как раз на таком училась играть. Слушай. Она

пробежалась по клавишам, наигрывая «Черная овечка, бе-бе-бе, где же твоя шерстка?»

— Это мне, мама? Это мне подарок?

— Да. Тебе.

Шериф

Небо нависало тучами, темными от нового снега, и Джо гнал машину, надеясь уехать как можно дальше до того, как повалит. Дорогу почистили, но остался коварный лед. Обогреватель снова капризничал, и Соня, все той же кухонной лопаткой, которую Джо всегда держал на приборной доске, соскребала ледяные стружки с лобового и боковых стекол.

— Это? Этот город, «Морли, шесть миль»?

— Тут была забегаловка. Где мы ели пирог.

— И там у нас сперли аккордеоны. Ставлю сотню баксов, полиция знает, где искать этих пацанов.

— Джо, ты же не видел никаких пацанов.

— А чего мне на них смотреть? То я не знаю этих проклятых ниггеров и ихних жирных боссов, бабки на дурь, небось, понадобились. Кто, черт побери, еще будет таскать у людей аккордеоны?

Они пересекли черту города: щебенка со складками льда, невзрачные магазинчики, цементные дорожки перед домами делят пополам квадратные площадки снега, седаны, гаражи на одну машину, бесполезные баскетбольные кольца

над открытыми дверьми. Они уткнулись в хвост здоровенного трейлера, заклеенного эмблемами штатов, в которых тот успел побывать; Джо подъехал поближе и разглядел красно-желтую надпись «Флорида — наш солнечный дом», посередине задней двери, над колышущейся занавеской и закрытым жалюзи — улыбающееся личико солнца странно контрастировало с похожим на мошонку силуэтом какого-то другого штата.

— Что, черт возьми, он тут забыл среди зимы? — воскликнул Джо. Но обогнав трейлер, они рассмотрели, что этот старый раздолбанный фургон тащит на себе аварийка.

Они проехали мимо той самой забегаловки, сейчас наполовину загороженной фургоном, и Джо свернул на заправку «Шелл», где им навстречу вышел средних лет чернокожий в кепке, штанах и рубашке, напоминающей пижаму; он вытирал тряпкой руки, на коричневом черепашьем лице сидели бифокальные очки размером с пару соленых крекеров, нижние линзы ловили свет двойными бугорками.

— Залить доверху, сэр?

— Ага. Где тут у вас полиция?

— В Морли нет полиции. Казармы полиции

штата примерно в двадцати милях к северу.

— А что делать честным гражданам, если совершается преступление — например, прут из багажника аккордеоны, пока человек жрет холодные помои в проклятой придорожной забегаловке? Что им тогда делать?

— Идти к шерифу. Пять семьдесят, сэр, проверить масло?

— Нет. А где он?

— Очевидно у себя в кабинете, в ратуше. Проедете авторесторан, потом «Макдональдс» и школу, вы не пропустите, большое белое здание, там еще на площадке пушка и танк. Так это с вами приключилось? У вас украли аккордеоны, пока вы кушали? Можно сказать, музыкальное преступление. — Он протер тряпкой заляпанное стекло.

— Точно, черт бы их побрал. — Забрав мелочь в потную ладонь, Джо протянул ее Соне.

Он остановился в десяти футах от знака «ОСТОРОЖНО, СОСУЛЬКИ», затем, перескакивая через две ступеньки и хрустя не то льдом, не то крупинками соли, взбежал по гранитной лестнице. Перегнувшись через спинку сиденья, Соня подоткнула Арти мотельное одеяло и дала Флори палочку жевательной резинки, но не успела она

повернуться обратно, как Джо выскочил из дверей, плюхнулся на водительское место и взревел мотором.

— Его там нет?

— Есть.

— Слишком ты быстро.

— А чего ждать? Не буду я посвящать шерифа Гамадрила в свои дела. Этот сукин сын черный, как пиковый туз. Хорошо хоть не сблевнул, когда увидел. Шериф-ниггер. Ебал я их всех. Купим новые.

Он вел машину обиженно и молча. Флори на заднем сиденье принялась жать кнопки зеленого аккордеона и запищала:

— Ой ты ниггер-шериф, у нас ниггер-шериф в городе живет.

— Эй, — злобно выкрикнул Джо, и девочка заплакала. Обернувшись, Соня увидела, как Флори лепит к аккордеонным мехам жвачку, и забрала у нее инструмент.

(Через год или два, прямо перед Польским клубом, три китайских юнца ограбили Джо.

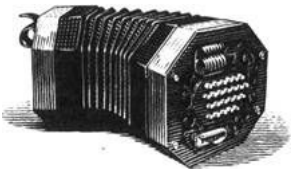
— Валим отсюда, — объявил он. — В Техас. К черту ебаный снег и ниггеров с узкоглазыми. — Во время дворовой распродажи под вывеской «Уезжаем в Техас» зеленый аккордеон возвышал-

ся на верстаке; рядом лежал фотоаппарат «Чарли Тунец», пластмассовые водяные пистолеты, грузовики, шарик на резинке, одноногая Барби с мольбой простирала тонкие ручки, настольная лампа в форме прозрачного гуся, пластмассовые линейки, набор бледно-желтых, почти бесцветных меламиновых тарелок, солонка в форме атомной бомбы, вафельница, коробка из-под конфет с пуговицами с обрывками ниток, бусы, три фонарика без батареек, продавленная коробка старых номеров «Полонского Горна» и стопка пластинок на 78 оборотов.

Они переехали сперва в Коскюшко, Техас, затем в Панна-Мария, где Джо устроил сомовую ферму, на которой потом стал выращивать божьих коровок для рынка органических огородов; за десять лет он добился некоторого успеха, но не показывал виду, гордился только про себя и покупал продукты все в том же магазине «Снога». Он выучился ездить верхом, стал носить ковбойские сапоги, шляпу и кожаный ремень ручной работы с серебряной пряжкой, на которой было выгравировано «ПОЛЬКА ТЕХАСА». В Сониных волосах появились серебряные нити, но в 1985 году они полностью выпали из-за химиотерапии — наступали последние месяцы ее мучений от

рака горла. Когда в 1987 году в Сан-Антонио прибыл с визитом Папа Иоанн Павел II, Джо со своей второй женой был удостоен чести представлять панна-марийцев на специальной аудиенции, Арти же, воспользовавшись подходящим моментом, удрал в Лос-Анджелес. Сперва он отправился прислуживать трем клезмер-музыкантам, игравшим эпизодические роли в комедийном фильме «Скряга», потом эмигрировал в Австралию и там, в какой-то глухомани, устроился скотником.)

ЦВЕТА ЛОШАДЕЙ



Концертина

Древний Египет

Коня, значит, похоронили, а он вернулся — вынесло из-под земли неизвестной антигравитационной силой, и вот он лежит на боку, зубы расслабленно скалятся засохшей землей, веснушчатые губы и нос покрыты белоснежными волосами, изгиб верхней ноздри напоминает вход в загадочную страну тела. Окровавленное ухо напряжено и словно к чему-то прислушивается, грива распутана и перевязана веревкой, глаз не видно. Это Древний Египет, и, господи боже, как же ей хотелось, чтобы добрый Фэй Макгеттиган никогда его не показывал — никогда.

Эта штука на крыше

Она ехала на ранчо примерно в то же время — летом 1980 года, но не одна, а с Вёрджилом Уилрайтом, ветераном вьетнамской войны; это навсегда, писала она им, это настоящее. Он рулил вместе с ней через всю страну, она везла его к отцу и матери, которых не видела пять лет, с того самого дня, когда ее первый муж Саймон Ульц застрелил коня и получил от отца пулю. Она не рассказывала родителям, что Вёрджил был раньше женат на медсестре, познакомившись с ней еще во Вьетнаме, — их неудачный брак, полный умопомрачительного пьянства, наркотиков, ругани и мордобоя, развалился, когда Лили, так звали его жену, подала сперва на Вёрджила в суд, потом на развод и уехала в неизвестном направлении. Так это все и кончилось.

Время от времени она говорила: вот подожди, познакомишься со старым Фэем, ему, должно быть, уже семьдесят лет, это работник с их фермы, он, можно сказать, ее вырастил; вспоминала стеклянную молочную бутылку с монетами у него в трейлере, как он хорошо разбирается в лошадях, знает все конские болезни. Была еще

фотография — пришпиленная к стене, сказала она, — Фэй там совсем ребенок — одному богу известно, кто и зачем направил на него камеру — он там сидит на деревянном бочонке, босой, лет, наверное, двенадцать, в рваных штанах и мужском пиджаке без единой пуговицы, вместо пуговиц такие коротенькие деревяшки, наверно их пришивали иголкой для мешков с зерном и двойной ниткой, они кривые, эти иголки, а дюймовые деревяшки на тех местах, где должны быть пуговицы — он продевал их в петли, и вроде бы все держалось. Она больше говорила о Фэе, чем о Кеннете и Бетти, своих родителях. Рассказывала, как Фэй хватал ее за лодыжки и поднимал в воздух вниз головой, все тогда плыло, как на качелях, руки вытянуты, пальцы растопырены, все вертится, желтый горизонт закручивается в воронку, силуэты коней куда-то несутся, глаза разбегаются, а Фэй поет: «Все наши бумаги упали в цене…» — какую-то свою песню. Этих старых, всеми забытых песен он знал сотни — в основном похабные ковбойские, но были еще ирландские, он затягивал их грустным, но таким красивым тенором и подыгрывал себе на маленькой пищалке.

Она описывала свои вращения так, словно эти

приключения ее детства были чем-то экстраординарным, хотя на самом деле, думал Вёрджил, они банальны, как трава, — любого ребенка когда-нибудь да крутили в воздухе; гораздо интереснее было бы послушать о той стрельбе — но о стрельбе она не говорила почти ничего. Выкручивалась, ускользала и резко переводила разговор на другое. Он поглядывал время от времени на знакомые волосы цвета сухой пшеницы, зачесанные наверх от широкого лба, бесцветные брови и ресницы, которые она изредка подкрашивала коричневым карандашом, длинный нос краснел на холоде, ноздри такие тонкие, что, кажется, ей должно быть трудно через них дышать, и все равно, все равно она постоянно мучилась от воспаления пазух. Рот узкий и бесцветный. Про себя он называл это нордическим лицом, хотя она говорила — ничего подобного. Он не знал ее национальности, да и какая разница? Ему нравились невзрачные женщины.

Оставалось еще два штата, но это уже был запад, все в порядке, и они ехали по красной и пыльной дороге. Затем показался горбатый переезд, рельсы рассекали шоссе, а скалы с двух сторон нависали так близко, что, казалось, они сейчас обвалятся, сползут прямо у них на глазах

и улягутся осколками камней вокруг шпал и под ними. Шпалы горят, шпалы дымят, толстые белые веревки закручиваются кольцами в застывшем воздухе. Изогнутые рельсы отражали свет, гладкая поверхность, только и всего.

Они остановились: здесь кто-то разводил огонь из палочек и сухой травы — прямо на шпале, левая сторона дымилась. Он забросал кострище землей, она вылила туда кувшин родниковой воды — поднялся столб пара, словно там, внизу, укрывался дьявол, а из-под шпалы торчали его рога. Вёрджил, присев на корточки, смотрел на ее серьезное, даже хмурое лицо, молочные незагорелые ноги, гладкие и расслабленные, перламутровый лак на ногтях, босые пальцы в деревенских босоножках — он вдруг подумал, что все это ради нее, вся эта поездка к чужим людям, которые наверняка окажутся нудными уродами. Родители его первой жены Лили строили свою жизнь по астрологическими прогнозами и спонтанным предчувствиям, кормили его замороженными тако и консервированным грушевым компотом, заставляли сидеть и улыбаться, пока сами отщелкивали бесконечные фотографии и уговаривали не смотреть так серьезно. Он женился на Лили через три недели после Вьетнама. За тридцать

шесть часов он перебрался из Да-Нанга сперва на военно-воздушную базу в Трэвисе, потом в фабричный городок Нью-Гемпшира, где прошло его детство. Два часа он болтался по дому и слушал отцовские разглагольствования о том, как искать хорошую работу; мать лишь подталкивала ему миску политого маргарином попкорна. Он сбежал в Бостон, забурился в мотель и целую неделю провисел на телефоне, лихорадочно названивая Лили, уговаривая ее немедленно лететь в Бостон, они должны пожениться. По тридцать раз в день он жал в туалете на спуск — просто посмотреть, как льется вода.

— Кому приспичило поджигать шпалу?

— Джесси Джеймсу[300]. Доебаться до экспресса и обобрать пассажиров.

Несколько минут спустя он чуть не впилился в брангусскую корову, застывшую прямо посередине дороги, теленок остался за изгородью. — Блядь! Ебаная телка.

От резкого толчка хлам на заднем сиденье сдвинулся и пополз вниз. Джозефину тянуло на приключения, и в каждом штате она выискивала дворовые распродажи: в сельской части

[300] Примечания: 300

Джесси Джеймс (1847 — 1882) — один из самых знаменитых разбойников американского Запада.

Нью-Йорка они купили разукрашенную фанерную табличку «БЛАГОСЛОВИ ЭТОТ БАРДАК», в Пенсильвании — безликого «Пражского младенца»[301] и книжку Зэйна Грэя «Ступени песка»[302], в Огайо — двенадцатифутовую трость, инкрустированную стекляшками, и кожаную подушку с выжженным изображением бегущего страуса, в Индиане — пепельницу с корридой. Иллинойс? Ничего там не было, кроме жутких пробок и бесчетных будок на дороге, десять центов, двадцать центов, сорок пять центов, пока на самой окраине Чикаго Вёрджил не свернул раньше времени, и она сразу увидела эту дворовую распродажу: верстак перед убогим, проеденным пылью домиком, надпись на картонке «Уезжаем в Техас».

Джозефина потрогала куклу, лампу-гуся, набрала горсть пуговиц и высыпала их обратно, покрутила в руках солонку в форме атомной бомбы с надписью «Толстяк».

— То, что надо! — воскликнула она и заплатила доллар.

---

[301] Примечания: 301

Имеется в виду копия статуи Младенца Христа, установленной в Праге.

[302] Примечания: 302

Зэйн Грей (1872 — 1939) — американский писатель, один из основателей жанра авантюрных вестернов. Книга «Ступени песка» написана в 1928 г.

— Эта хуйня, что — от Лоренса Уэлка? — Вёрджил взял в руки аккордеон и просопел двумя аккордами. Три бакса. — На хуя нам это дерьмо? — Он запихнул солонку в бардачок и кинул аккордеон на заднее сиденье, к остальному барахлу. — Ладно, — добавил он, — это Чикаго. Что дальше, ебучая Айова?

— Ебучая Айова. Поехали отсюда. — Улицы портились, появилась грязь, полусгнившие дома, на тротуарах толпы чернокожих.

— Влипли, блядь, давай-ка сюда, — сказал Вёрджил, карабкаясь на пандус, но на полпути выяснилось, что въезд перегорожен, и ему пришлось сдавать назад, вывернувшись на сиденье и глядя в заднее стекло. Сверху доносился грохот автотрассы.

— Господи, нет бы поставить эту блядскую загородку в самом начале? Ладно, будет другой въезд. Прорулим под трассой, найдется, скрутила бы косяк, что ли? — Это тянулось долго: очень долго и опасно было пробираться через кишащие народом улицы, черные перлись по диагонали, не обращая внимания на движение и светофоры, пьяно пошатывались, по щиколотку в водоворотах бумажного и пластикового мусора, каждое второе здание оказывалось винным

магазином или гадальной конторой, темные лица поворачивались в их сторону, смотрели на машину, смотрели на них, кучки крепких молодых людей в спортивных штиблетах и рубашках — толкались, швыряли в воздух всякую дрянь, беспокойно оглядывались.

— Боже, — воскликнула Джозефина, — как же отсюда выбраться? — Вёрджил молчал.

Какой-то человек с ногами, как ходули, бросил взгляд в их сторону, потом состроил гримасу, словно отдавал команду; один из пацанов подобрал с земли пинтовую бутылку и, прислонившись к исписанной стене, лениво метнул ее в их сторону. Бутылка разбилась прямо перед машиной, осколки стекла простучали по капоту.

— Ебаный ишак, — ругнулся Вёрджил.

— Слава богу, промазал, — сказала Джозефина, хватаясь за сиденье; этой машине не повредили бы тонированные стекла.

— Недоебыш промазал специально. Попугать решили — эти уебки дуются в баскетбол по шестнадцать часов в день, влепить с сотни футов по летучей груше рисовым зерном им как нехуй делать.

— Это утешает. — Она смотрела в боковое зеркало на то, как они притворно швыряют им вслед

всякий хлам — возможно, опять стеклянные бутылки, этого она уже не видела — блестящие снаряды неслись к заднему стеклу со скоростью пятьдесят или шестьдесят миль в час.

— Вот оно. — Ехавшая впереди машина свернула на пандус, они двинулись следом, через несколько секунд оказались на трассе и, вместе с уплотнявшимся потоком, двинули на запад — начинался час пик. Поток все замедлялся, потом встал; высунувшись в окно, Вёрджил увидал далеко впереди мигание красно-синих лампочек.

— Авария. — Они ползли, поглядывая сверху на пустыри за кирпичными и деревянными заборами, прислушивались к громовому пульсу и рокоту завода; мимо проплыла реклама пива «Бад», а прямо под ней — закопченная фотография Папы Иоана Павла II; заброшенные трущобы, кирпичные дома с выбитыми стеклами, выпирающей арматурой, дренажными трубами, пожарными лестницами, проводами; на первых этажах уродливые лавчонки: «Парихмахерская», «Все для рестарана»; прислонясь к ограде, стояла проститутка, над ее лбом цвета яичной скорлупы вздымался черный блестящий парик, у подъездов каркасы с остатками бледных вывесок: «Мясо Банжо», «Маленькие барашки», у дверей откры-

тые кузова грузовиков. Показались пилоны, и Вёрджил сказал:

— Нет, это дорогу ремонтируют, — впереди замаячила оранжевая табличка «Объезд», и полицейский, взмахнув из-за своей загородки рукой, отправил их обратно, в лабиринт улиц и ежовые рукавицы светофоров.

— Господи, мы когда-нибудь отсюда выберемся?

Они стояли на перекрестке, запертые со всех сторон рокочущим потоком, красноватое мигание тормозных огней придавало всей сцене тепловатую интимность, грузовики и легковушки прижимались друг к другу плотно, как створки устричных раковин. Светофор переключался снова и снова, несколько машин пытались выбраться из пробки, но железный узел затягивался все туже, и тут что-то плюхнулось на крышу машины — раздался тяжелый удар, потом скрежет. На секунду в ветровом стекле показалась мохнатая морда с красными глазами и тут же исчезла.

— Ах! — только и могла сказать Джозефина, а Вёрджил поинтересовался, что это еще за хуйня. Хуйня, кем бы она ни была, резво промчалась у них над головами и пропала. В соседнем ряду кто-то жал на клаксон: бип-бип-бип-бип.

— Вот она. — Джозефина показала на непонятную живность, которая, проскакав по передним машинам, запрыгнула на крышу белого грузового фургона с надписью «Быстрый» на задней двери. Пробка начала рассасываться, поток разъезжался — от греха подальше, запирались магазинчики, зажигались фонари и витрины, Вёрджил рывком перестроился в соседний ряд, но следующий въезд на трассу тоже оказался закрыт, и поток отправили в новый объезд.

— Кто, черт побери, это был, ебучая обезьяна? — От белого фургона их отделяло восемь или десять машин. Перед самым концом объезда серой дырой открывалась какая-то улица, и машину подбросило так, будто они наехали на что-то колесом.

— Это пандус. — Джозефина вгляделась в зеркало заднего вида. Но рассмотреть ничего не удалось. Это могло быть все, что угодно.

И вновь Вёрджил нырнул в западное течение грузовиков и легковушек, а Джозефина резко откинулась на сиденье — теперь она была спокойна, ей даже нравилось смотреть в небо, само как тонированное стекло, чистое на горизонте и плотно синее на полпути к зениту. Одинокие облака, словно ленты рваного тюля, потом еще

и еще, подтертые белые мазки, грязноватые и чуть розовые. Какая-то белая точка быстро проплыла над трассой с юга на север, почти у них над головами — детский воздушный шарик из милара, она хорошо его видела и не сводила глаз, пока шарик не исчез. Дорога серела, яркие фары встречных машин били в глаза, но небо было ясным, теперь янтарно-розовым, его заполняли неизвестно откуда набежавшие облака, усыпанные мерцающими кляксами.

— Давай поищем, где остановиться, — предложила Джозефина. Она с удовольствием думала о том, как залезет в ванну, выпьет чего-нибудь, с часик почитает «Имя розы» Умберто Эко, весь день этот толстый том ерзал туда-сюда по нейлоновому коврику у ее ног. Она добралась всего-то до пятьдесят третьей страницы. Вёрджил ничего не ответил, но она знала, что он сейчас тоже мечтает о том, как будет лежать голышом на кровати, в стакане позвякивает лед, пахнущий смалкой дымок затеняет свет телевизора, там показывают новости, он слишком устал, лень идти ужинать, может она закажет прямо в номер, давай, а потом полезай в постель, смотри, как торчит, сделай что-нибудь хорошее, какого черта? Что еще за дела, она что, теперь фригидная? Нет, ответит она и

сделает все, как он захочет. Она включила радио, по Национальному государственному каналу рассказывали занудную историю о человеке, придумавшем строить из переработанного пластика бунгало для районов с тропическим климатом. Они проехали мимо перевернутого грузовика с химическими удобрениями, колеса еще крутились, а по дороге растекалось что-то белое.

— Как пить дать, обезьяна, — сказал Вёрджил. — Съебалась откуда-то. Я тебе рассказывал, как в Наме хавал ебучие обезьяньи мозги?

Дороги

Выезжая на следующий день из Колдаста, он спросил: как ты думаешь, сколько ебучих фруктовых палаток поставили на священных камнях? Она не знала. Ладно, а сколько ебаных дорог проходит через ебаные колдовские ущелья? Опять не знала. Охуеть, ты, наверное, думаешь, эта страна настоящая, сказал он.

— Настоящая что?

К этому времени над каждым черным строением уже клубилось розоватое по краям облако, а некоторые даже исторгали из себя пар цвета наступающего дня. Выхлоп электростанции, жирный и прекрасный, как фиолетовая туча, муаровые отстойники лазури и кобальта, пурпур, гигантские равелины бульдозерных отвалов, которые пассажирам реактивных самолетов, что любят выглядывать в окна размером с их головы, наверняка казались наползающими друг на друга фруктовыми дольками топографического *tarte aux pommes* [303]. Черные угольные конусы железнодорожных приемников поднимались,

---

[303] Примечания: 303
Яблочный пирог *(фр.)*.

словно египетские пирамиды, в ореоле легкой пыли, хибарки с зелеными крышами и газовыми баллонами, окна с красными рамами. По бокам простиралась грязно-коричневая земля, когда-то давно — ровная прерия, когда-то давно — шелестящая на ветру трава.

Вёрджил прочно держался центральной трассы, мимо проплывали трейлерные городки: две ступеньки перед каждой дверью, антенны на крышах, драные занавески в открытых окнах — у самого шоссе с его копотью и ревом — а за этими трейлерами сотни, тысячи других, желтая вывеска над трейлерным кафе «Прыгунок». Над ними священные узлы облаков влажноватого цвета пропускали сквозь себя неоновый отсвет. Обжигающе горячий воздух из выхлопных труб грузовиков, запах дизельного масла и жженой резины; они двигались к ночи и дождю.

Кивнув на темнеющий утес, Вёрджил сказал: что это, наверное, трафаретная копия чьей-то руки, знаки жизни, напоминание. Подписи и головоломки на самых черных скалах, следы птичьих фекалий изгибались плавными линиями там, где ничто другое не могло изогнуться. Где-то далеко — белый обожженный камень, к которому с незапамятных времен запрещено прикасаться,

и который все же превратили в линию фронта, в потрескавшийся пейзаж с поверхностью пережаренной яичницы, утыканной глубокими ямами бомбовых кратеров, брызгами покореженных грузовиков, поломанных сенокосилок и жаток, бульдозерными хлопьями на рябой земле. Все это изувечено умышленно, сказал он, чтобы доказать, что все это можно изувечить.

На следующий день они пересекли реку. Охуеть, как глубоко, сказал Вёрджил. В четверти мили под ними сальная вода цвета хаки вгрызалась в бурый камень, тянула за собой скалы и откосы, вылизывала пещеры, длинные горизонты известняка и окаменелостей, толстые панцири белых тростников, похожих на птичьи кости, простыни камня. И сам унылый мост, линейка дороги на вершинах красных, упирающихся в бетон арок, по бокам монотонная изгородь, больше символ, чем надежная защита.

Этот день подошел к концу на площадке для отдыха у серо-аммиачного бассейна, мелкого пенящегося овала щелочной воды, забитого пивными банками, детскими стульчиками, мятой пластмассой, камнями. Вокруг холмы, тридцатисемиградусные склоны, темно-синие на блеклом небе, неустойчивый горизонт. Свет зажжен, все

двери нараспашку, радио вопит; она вышла из машины, присела в грязи и расставила ноги, но видимо недостаточно, потому что брызги все равно попадали на лодыжки, она стала смотреть на белый радиатор машины. В надвигавшихся сумерках, машина вызывала такое же тоскливое чувство, как зажженное окно в какой-нибудь северной деревушке.

Фэй Макгеттиган

Бетти Свитч встретила их в тугих расшитых джинсах и мужском пуловере — она открыла дверь, обняла Джозефину и протянула Вёрджилу руку. От нее пахло бурбоном, духами и тунцом. Она провела их в гостиную, обставленную в западном стиле бревенчатой мебелью, на полу ковер из медвежьей шкуры, края пергаментных абажуров обшиты пластиком, стилизованным под сыромятную плеть.

— Вы впервые на западе, Вёрджил? — Она смотрела в сторону.

— Нет. Бывал раз десять. Еще в колледже два лета подряд вкалывал на ранчо, «Триппл-Уай Бригинс» в пятидесяти милях к западу, в самом ебучем округе Гонт-Ривер. Тридцать две тыщи акров. Океан травы. И так далее.

— Ну что ж, вам должны нравиться открытые пространства. Здоровая сельская жизнь. На зиму мы с Кеннетом обычно уезжаем, оставляем все на Фэя, это наш работник, Джо вам наверняка рассказывала, они так дружили, когда она была маленькой. Прошлой зимой мы были в Монсеррате на Карибском море — я бы осталась там

навсегда, сине-зеленая вода и белый песок. Но в этом году мы едем в Самоа. Вы бывали на Южных морях, Вёрджил?

— Ага, два года назад, в Западном Самоа, на Уполу.

— Если будет возможность, обязательно поезжайте — это исключительное место. В том пансионате, куда мы собрались, есть пляж с черным песком. Однако, сейчас мы в Монтане, так что приятно провести время. Коктейль в пять часов, когда вы немного отдохнете.

— Я не пью, — соврал Вёрджил, чувствуя примерно то, что должен чувствовать пожарник, позади которого обвалилась лестница — на самом деле, он пил бочками.

— Ну и отлично, выпьете фруктового сока или минеральной воды, чего пожелаете. Чувствуйте себя, как дома. — И она ушла наверх.

Меньше чем через тридцать секунд с лестницы спустился Кеннет, пожал руку Вёрджилу, поцеловал дочь. Джозефина сказала:

— Папа, это Вёрджил. Он был во Вьетнаме. Во флоте.

Кеннет ответил:

— Отлично. Покажи своему другу, что тут есть интересного, девочка. Мы с мамой должны кое

о чем поговорить. — Перепрыгивая через ступеньки, он умчался по лестнице наверх, и через минуту оттуда послышались резкие выкрики.

— Не нравится мне все это, — понизив голос, проговорила Джозефина. — Ничего не меняется. Пошли, познакомишься с Фэем. Единственный, кто того стоит.

Первым делом Фэй сказал ей, что позавчера вынесло наружу Древнего Египта, коня ее детства, ее добросердечного мерина.

— Это молния, Джо, все из-за нее. Две недели назад тут была такая гроза, все раскалывалось от молний. Я прибивал дранку на сарае — эти чертовы штуки сыпались оттуда, как перхоть с головы — и поглядывал сверху, как Древний Египет пасется себе за фургоном (ты, наверное, не знаешь, года два назад Кеннет купил у какого-то орегонского мужика старый фургон «Конестога» и притащил его домой). Ветер разносил пыль, и конь повернулся к нему задом. Мог спрятаться в сарае, дверь была открыта, но ты же знаешь, как ему всегда нравился дождь — такие кони очень любят дождь. Я торопился закончить свои дела, пока гроза не разошлась, но не успел — пошел град, у меня сорвало шляпу, потом жуткий грохот, вспышка, я думал — ослепну, этот яркий

голубой свет и такая штука, будто по земле бежит здоровенная голубая крыса, шипит, трещит и поджигает траву, и тут смотрю — Древний Египет лежит на земле и молотит ногами, как будто удрать хочет. Наверное думал, что и в самом деле куда-то бежит. И тут вторая вспышка — расколола Кеннету грушевое дерево, пополам, так что я в сарай и не вылазил, пока молнии не убрались на более-менее приличное расстояние, потом подошел к Древнему Египту. Он не двигался, но был еще живой. Пахло от него паленым волосом, от правого уха до носа все обгорело, пропалина шла дальше по шее, грива тоже сгорела. На ощупь холодный, а глаза выкатились. Я хотел было его поднять, но он не шевелился, потом сильно задрожал и затих. Фургон «Конестога» весь прокоптился. Я только никак не возьму в толк, почему его потом вынесло наружу. Мы вырыли мотыгой здоровенную яму, чего еще надо. Если только посмотреть разок на тебя. — Фэй засунул в левое ухо мизинец и, выковыривая оттуда серу, добавил: — Ладно, как говорится, коням помирать, а воронам поживать.

— Слишком это грустно, — сказала Джозефина. — Мы тебе кое-что привезли.

— Правда, Джо? Вот спасибо. Ах, ты ж моя ла-

почка.

Такая бурная благодарность привела Джозефину в замешательство — что он ожидал получить, кожаный пиджак, набор импортных ножей для бифштекса?

— Это ерунда, на самом деле, больше шутка, чем подарок. Заглянули по пути на дворовую распродажу. Кеннету и Бетти я привезла солонку в форме атомной бомбы. А Вёрджил купил тебе этот старый аккордеон. Я же помню, ты когда-то играл на таком маленьком аккордеончике. И знал кучу деревенских песен, я помню.

— На концертине, — сказал он. — Я и сейчас играю. Досталась от объездчика мустангов, а ему еще от кого-то. Если с ними обращаться, как положено, переживут хозяина. Но, ты знаешь, я всегда хотел аккордеон. Вот, думал, добуду хороший маленький си-до двухрядник — то что надо для старых добрых ирландских мелодий. Давай-ка поглядим.

Вёрджил достал из-под заднего сиденья перепачканный инструмент, меха исчерканы фломастером, лак облупился, кожаные полоски болтаются. Фэй осторожно взял его в руки, бросил взгляд на ряды потертых кнопок и растянул меха: до-аккорд прогремел громко и властно, затем

невнятная звуковая вспышка, спотыкающаяся дорожка западающих кнопок, кислая одышка, от которой у Вёрджила заломило зубы.

— Что ж, неплохой двухрядничек. — Фэй запел, заглушая скрип: — *Ох как пляшет та красотка и цветет, что маков цвет, всем дает за пару баксов, никому не скажет нет…* Живой еще. Пожалуй, можно привести в чувство. Голос вроде грудного.

Он обнял Джозефину, сказал спасибо, но Вёрджил видел, что старик разочарован, примерно как он сам в детстве, когда, рассчитывая на этот ебучий калейдоскоп — столько было намеков — получил в подарок замотанный куском рваной гнилой кожи дедовский телескоп с мутными линзами, через которые можно было разглядеть разве что рой каких-то точек.

Он подумал, что Фэй похож на потертого мужичка из тех, что сидят у края стойки в каждом дублинском пабе: недорасчесанные непослушные волосы, из плоского уха торчит желтая сера, костистое румяное лицо, вся мышечная масса сконцентрировалась в губах, которые с силой тянутся к кружке горького пива, блеклые голубые глаза. Однако вместо униформы пьяниц: засаленного пиджака и кривого галстука на тощей

шее, — Фэй был наряжен в потертую рубаху и джинсы, которым не давал упасть ремень, утыканный стеклянными бляхами, в большинстве отвалившимися, так что на их месте остались только металлические штырьки; на ногах сбитые башмаки, а на голове — шляпа, потертая и почерневшая настолько, что носить ее можно было только с вызывающим видом. Протянутую руку Фэй сдавил безжалостными тисками и безо всякого выражения посмотрел Вёрджилу в глаза — так бесхитростно смотрят на свою жертву некоторые собаки перед тем, как вцепиться в глотку.

— Ну и как тебе Фэй? — спросила потом Джозефина. — Правда, он настоящий? — Подразумевалось, что Кеннет и Бетти не настоящие, а самозванцы, аппалузское ранчо — сплошное надувательство, и что все это давно бы рухнуло, как уже было два раза, если бы не Фэй, который удерживает его в целости силой своей шляпы.

— Да уж, — сказал Вёрджил, — этот ебаный щелкунчик непрост.

— Щелкунчик? Так звали того подлого брыкучего мустанга, если можно так выразиться, и только эта женщина, индеанка по имени Красная Птица в 1916 году смогла его объездить, — раздался из соседней комнаты голос Кеннета.

Ранчо

В 1953 году Кеннет и Бетти Свитч перебрались из Бостона в Монтану с небольшой суммой денег, которые, как думала Бетти, достались Кеннету в наследство (он украл их, работая в кредитном обществе — после того, как правление отказалось повышать его в должности), и купили старое запущенное ранчо по соседству с резервацией кроу. Ранчо примыкало к землям, отведенным резервацией под разведение бизонов. Много лет спустя Кеннет любил повторять, что когда они только начинали растить коров и телят, они «совершенно не понимали, как можно дышать, не набирая полные легкие пыли». Пробираясь на машине по красной дороге к вздымающимся гребням, они дрожали от возбуждения: ландшафт разворачивался на шестьдесят миль и втыкался в Биг-Хорнз, а на передний план выступали твари из непристойного западного прошлого — опущенные вниз громадные головы, выпученные сверкающие глазки; появлявшиеся милей дальше их собственные лысые создания казались нелепыми, как раскрашенная фанера.

Беда пришла через два года, на стадо напал

бруцеллез; окружной чиновник сказал, что, скорее всего, занес какой-нибудь бизон, и теперь придется уничтожить всех животных, а через несколько лет начать все сначала, может быть.

— Что тут скажешь, — сообщил чиновник, — если дела хоть иногда не идут плохо, то откуда нам знать, что они идут хорошо? На ошибках учатся. — Он явно держал их за восточных придурков, у которых денег больше, чем соображения, и которые могут позволить себе каждые несколько лет начинать все сначала, словно это институт экспериментального животноводства. Дожидаясь, пока земля излечит саму себя, Бетти устроилась по пятницам секретаршей в суд, а Кеннет стал помогать местному лошадиному аукционщику Гибби Амакеру — сперва разбираться со счетами, билетами и другими бумажками, но постепенно он учился понимать толк в лошадях, в их породах и окрасах, узнал, что кони бывают буланой масти и каракотовой, рыжие, чубарые леопардовые и чубарые с попоной, серые в яблоках и серые в гречку, с медицинскими колпаками и военными беретами, светло-бурые, гнедые и серые, вороные, каштановые, коричневые, мышастые и пегие, игреневые, соловые, красно-бурые, оверо, тобиано, товеро и калико, изабелловые, черно-пегие

и золотисто-гнедые, чалые и розовато-чалые; аппалузы с белыми пятнистыми попонами, леопардовыми и тигриными плащами, со снежинками, ледяным и мраморным отливом, с отпечатками ладоней или двухцветных павлиньих хвостов, в крапинку и гладкие; лошади с отметинами на лбу — полосами, надрезами, дождевыми каплями, долларами, брызгами и звездами, с мордами фартуком, шапочкой и просто гладкомордые; день за днем он смотрел, как кони разных пород выходят на аукционный ринг и сходят с него: рысаки, морганы, арабские, полуарабские и англо-арабские скакуны, аппалузы, квартехорсы.

Он вдруг заметил, что присматривается к аппалузам — с нетерпеливым любопытством и даже со страстью. Их стоимость постоянно росла с того самого дня, как он стал работать на Гибби: если раньше стартовая цена была не больше тридцати долларов, то позже за некоторых лошадей, особенно за выращенных на определенных ранчо, в частности у Пиви Лавлесса, давали уже сотню; Пиви Лавлесс задался целью вернуть, как он говорил, былую славу этим прекрасным равнинным коням, охотничьим и военным, самой этой породе, испорченной неотесанными

иммигрантами и ничего не понимающими в конском деле восточными переселенцами, которые скупили у нез-персэ остатки северо-западных «палоузов» с ободранными копытами и белыми ободками вокруг глаз; табун был конфискован правительством США и продан на пункте сосредоточения, перед этим вождь Джозеф и его команда прогнали их тысячу сто миль, сперва по разлившейся Змеиной реке, потом через Биттеруты по тяжелейшему перевалу Лоло, сквозь тринадцать сражений и стычек с десятью различными подразделениями американской армии, и каждый бой, благодаря этим великолепным животным, кончался разгромом федеральных врагов и их бегством к месту дислокации — все это, однако, лишь для того, чтобы в конце концов прибыть в Айдахо, в резервацию Лапвай, где коней отобрали, а каждому всаднику выдали по Библии. Везучие, но бестолковые покупатели невероятных лошадей превратили их в нечто, передвигающееся на четырех ногах и помахивающее гривой, так что за двадцать или тридцать лет эти пятнистые равнинные кони, потомки лошадей ледникового периода, изображенных на стенах французских пещер, легендарных коней Ферганы, взращенных между Сыр-Дарьей

и Аму-Дарьей в степях Центральной Азии и Узбекистана, потомки Ракуша, пятнистого коня храброго Рустама, увековеченного на персидских миниатюрах и в эпической поэме Фирдоуси[304] «Шах Намэ», дальневосточных китайских серебристых скакунов, мифических коней, что потели кровью, галопирующих кобылиц Монгольской Орды и хана Аттилы, андалузских лошадей Испании, привезенных на корабле в Мексику для диких набегов конкистадоров, целого трюма пятнистых скакунов из табуна липпизанов самого Триеста, высадившегося в Веракрузе примерно в 1620 году, тех самых коней, которых шестьдесят лет спустя бросили перепуганные восстанием пуэбло испанцы и продали куда больше интересовавшимся овцами землепашцам — шошонам, каюсам, нез-персэ, черноногим, кайна, арикара, сиу, кри, кроу — так что теперь в степях Северной Америки, больше известных как Великие Равнины, эти кони были низведены до уровня собачьего мяса.

Через несколько месяцев, наслушавшись от Пиви аппалузских историй, Кеннет спросил его прямо:

---

[304] Примечания: 304

Фирдоуси (935 — 1020) — персидский поэт. «Шах-Намэ», или «Книга царей» — выполненное им переложение персидского народного эпоса.

— Пиви, как ты думаешь, если разводить аппалузов, что-нибудь получится? На них есть спрос?

— Хороший вопрос. Знаешь, мой младший сейчас на каникулах, заговорили, чем ему заняться, и тут он заявляет, что и не думает оставаться на ранчо. Ладно, говорю, не хочешь, не надо, ты уже взрослый. Но будь я помоложе и начни все с начала, я бы подумал об аппалузах, много кто приглядывается сейчас к аппалузам. И знаешь, что он мне ответил? Ни за что, говорит, не буду возиться с лошадьми, хочу, говорит, найти работу с телекамерой, повторял тебе тысячу раз. Ну да, он с детства возится с фотокарточками, но они все какие-то странные, и кто будет платить за это деньги? Но он говорит, это совсем другое дело, это все новое, видеоленты или что-то вроде, вот что он имеет в виду. Может, спутался с чертовыми коммуняками, не знаю. Ладно, ему охота туда, где потруднее. А на твой вопрос — если человек хоть что-то понимает в лошадях, если есть интерес и кое-какие средства, если не бояться затянуть потуже пояс, то я бы на его месте подумал — аппалузы очень неплохая ставка.

— Предположим, он знает совсем мало, а средств нет, что тогда?

— Тогда он или научится или сломает шею,

чего уж проще? В округе несколько человек уже разводят хороших аппалузов. Это практично, есть даже чертов производитель, да, отличный скаковой конь с естественной плоской поступью, старый индейский шаффл, оттого-то он и ходит так долго и не останавливается. Два моих кореша начинали еще в тридцатых, но война все поломала. Ты с кем-нибудь говорил?

— Только с тобой.

— Я не в счет. Можно потолковать, например, на ранчо Кука Роберда из Колорадо. Он много лет возится с аппалузами и кватерхорсами, вывел весьма качественного чистокровного производителя, поговаривают, из австрийско-польских пятнистых коней, такие тут ходили слухи, ох, сто лет назад, их еще называют липпазанеры, слыхал про таких? А еще говорят, что этот конь достался ему от цыгана, когда через те края проходил табор. Еще есть Клод Томпсон в Орегоне, разводит арабских скакунов. Живет тут неподалеку отставной вояка, Джорж как-там-его, они на пару кое-что сделали для конского аппалузского клуба. Я слыхал, его пра-пра-дядюшка или прабабка, а может еще кто купил пару коней у нез-персэ, давным-давно, на правительственной распродаже, так им досталась эта порода. И еще

пара человек. Нужно сказать, эта порода давно потерялась, а они восстанавливают. Национальная Ассоциация признала ее всего два года назад. Но тебе придется бросить работу. На твоем месте я бы начал с серьезной селекции. Займись качеством: всех, кто не вписывается в первый класс — кастрировать, бесполезных, калек и просто слабых посылай на консервную фабрику. Это будет нелегко. И как следует веди записи.

Через полчаса, проходя мимо чужого забора, Кеннет увидал, как Пиви рассказывает что-то Гибби Амакеру; оба смеялись, как он тут же решил, над новым анекдотом о Кеннете Свитче, разводящем аппалузов — он тогда подумал, что хорошо смеется тот, кто смеется последним, и Кеннет Свитч им еще покажет. (Ему не представилось такой возможности. В середине зимы Пиви утонул — совсем юный жеребенок, на котором он перебирался через неглубокий водослив, вдруг наступил копытом на треснувший лед, перепугался и нырнул в глубину. А в день святого Патрика умер Гибби Амакер — задохнулся, сунув в рот кусок мясного филе; он решил посмеяться над строчками забавного рассказа о пастухах-басках — это был не тот грубый анекдот о баране, резиновых сапогах и заскорузлых трусах, и не

тот, что про чистку ботинок атласным одеялом, и не про скороварку, а всего лишь детская игра в слова, говорил сквозь тяжелые светлые усы его зять Ричард.

— Слушай, Гибби, семейство басков застряло в крутящейся двери. Знаешь, в чем тут мораль? Не толкай все свои баски к одному выходу… Господи, неужели так смешно? Эй, Гибби, что с тобой? Кто-нибудь! Эй, кто-нибудь, ПОМОГИТЕ.)

Зонтико

На следующее после приезда утро Вёрджил проснулся от немилосердного петушиного вопля. Электрические часы, жужжа и потрескивая, показывали 5:47.

Он спустился вниз, и Кеннет налил ему в чашку тепловатого кофе, Джозефина с Бетти еще спали. Вёрджил нервно переминался у кухонного стола. На двери висел плакат с всадником верхом на быке и в клубах пыли, внизу надпись «Господи, помоги удержаться». Небо на востоке было кроваво-оранжевым. Низкий голос Кеннета вжимал Вёрджила в клеенчатое сиденье испанского кресла, восьмиугольные головки гвоздей больно врезались в ляжки. Складки, тянувшиеся от носа Кеннета к углам рта, точно повторяли линию подбородка, получалась ромбовидная печать, разделенная пополам широкими потрескавшимися губами. Огромные глаза глубокого серого цвета частично прикрывались занавесками дряблой кожи, что свисала с бровей и опускалась на веки. Очки с полумесяцами бифокальных линз еще больше увеличивали глаза. Брови и редкие волосы сливались цветом с желтовато-коричне-

вой кожей.

— Ты что-нибудь понимаешь в коневодстве, Вёрджил?

— Ни хрена. — Ему хотелось спросить Кеннета, почему он никогда не крутил свою дочь за лодыжки, предоставив это дело своему работнику.

— Ну что ж, думаю, к тому времени, когда ты покинешь ранчо Свитчей, ты будешь знать немного больше. Могу тебя заверить, что двадцать семь лет назад, когда мы только начинали это дело, я тоже ни черта не понимал. Все мои тогдашние познания о лошадях уместились бы на ногте большого пальца. Но у меня хватило ума понять, что я ничего не понимаю, и я взял к себе на работу Фэя Макгеттигана, который раньше служил у Пиви Лавлесса; Пиви утонул незадолго до этого, и уж Фэй-то знал — знает — лошадей, как никто другой. В первые годы было очень тяжело, особенно Бетти — она с трудом привыкала, но все закрутилось благодаря одному-единственному коню, одному коню: Зонтико — он из самых прекрасных аппалузов-производителей, когда-либо топтавших копытами эту землю. Видел в гостиной картины? Это Зонтико. — (В гостиной действительно висело множество фотографий мускулистого и атлетичного коня мышастой

масти: павлиньи разводы расходились от блестящей белой попоны, прикрывавшей крестец и спину, над копытами белые носки, белая морда, на шее белый щиток. Кроме фотографий там висело еще несколько слабых, нарисованных по квадратам картин с акриловыми лошадиными мордами. Вёрджил догадался, что Кеннет писал их сам. Фотографии запечатлели Зонтико в разных позах и движениях — он несся галопом мимо привязанного к колышку теленка, стоял, о чем-то задумавшись, вырывался вперед на скачках, катался по траве, отдыхал, сидя на заднице, рвал голубую финишную ленточку, бросался в ключевую воду, принюхивался, спал и стоял на высокогорной тропе под качающимися на ветру ветками сосны — некрупный, но превосходно сложенный конь с веселыми живыми глазами, пухлые щеки придавали ему плутовской вид, но клочковатый крысиный хвостик вызывал у Вёрджила отвращение.)

Кеннет тянул сквозь зубы кофе и говорил с искусственным западным акцентом:

— История о том, как я нашел этого коня, забавна сама по себе, я никогда бы не поверил, если бы это произошло с кем-то другим. Я поехал в Айдахо на родео, тогда еще работая несколько

часов в неделю на Гибби Амакера, — это было за пару недель до того, как он решил посмеяться над басками и подавился мясом — один техасский объездчик мустангов продавал там пони, и нужно было выбрать нескольких штук, но так, чтобы не прозвучало имя Гибби; ему позвонили, и старик сказал: нет проблем, я пошлю Кеннета — в этом весь Гибби, в мои обязанности вовсе не входило выбирать для него лошадей, но он мог запрячь кого угодно на что угодно. Фэй тогда только начал на меня работать, так что я уговорил его поехать со мной, и вот мы прибыли на место и смотрим, что у этого мужика неплохие квартехорсы, ему было жалко их продавать, но, видимо, проблемы с деньгами. Что поделаешь, только так этот лошадиный мир и крутится. Значит, мы их погрузили, я дал хозяину чек, но тут одна кобыла заржала во весь голос, и мужик как начнет причитать: ох, моя Жемчужина, ох, я не могу продавать Жемчужину, сует мне обратно чек, бежит отпирать дверь, выводить свою Жемчужину наружу. Послушай, сказал я ему, ты говорил о трех лошадях, я дал тебе чек, дело сделано, кони погружены. Нет, говорит, я дам тебе вместо Жемчужины другого коня. У меня есть аппалуз-производитель, я выставлял его на скачках,

чтобы придерживать, он быстрый и сметливый, забирай его вместо Жемчужины. Она для меня важнее. Услыхав слово «аппалуз», Фэй посмотрел на меня со значением. И вот мы идем на противоположный конец ярмарки, и там у него стоит этот другой конь, по имени Пятнастик; Фэй так саданул мне локтем в ребра, что я чуть не заорал во весь голос. Тогда я не понял, что в нем такого особенного, зато Фэй влюбился с первого взгляда. Пятнастику было шесть лет, его не холостили, и Фэй сразу разглядел, что это идеальный конь. Ну вот, так все случайно и вышло. Фэй спрашивает, ты что о нем знаешь? Бьюсь об заклад, это метис неизвестной породы. Ага, говорит мужик. Все вышло на родео. Какой-то жеребец на колорадском родео — сорвался и покрыл двух кобыл, одна точно была Жемчужина. Надо думать, ты не знаешь, как звали того жеребца, спрашивает Фэй на всякий случай. Да знаю, отвечает тот, конь Кука Роберда, не то Вискарь, не то Визз. Не сходя с места, я выложил парню двести долларов; ни за какие коврижки этот конь не попадет на арену к Амакеру. А по дороге домой Фэй говорит: «Потому у меня сердце и стукнуло, что этот самый Визз породил Рентгенчику, недавнюю чемпионку мира среди скаковых кобыл-кватерхорсов, так

что Пятнастик — единокровный брат чемпионки мира». Дундук-ковбой этого, естественно, не знал, а то бы он в жизни не продал нам Пятнастика, или Зонтико, как мы его назвали.

— Охуеть можно, а почему именно Зонтико? — Кофе давно остыл, а ярко разгоревшееся солнце не позволяло Вёрджилу смотреть никуда, кроме Кеннета, поедавшего сырые сосиски прямо из пакета. Красный свет отражался в двойном стекле за его спиной, и казалось, будто там за дверью, на всколоченном кусте форситии, прямо у Кеннета над головой повисли две темно-красных ягоды. Когда Вёрджил поворачивал голову, ягоды шевелились.

— Знаешь, я перебрал много имен, но каждый раз объявлялась чертова лошадь, которую уже так назвали и успели зарегистрировать, страшно трудно найти свежее имя, мы с Фэем сидели в этой самой кухне и что-то такое придумывали, и вдруг мне на глаза попался зонтик Бетти, вон там, на вешалке; Зонт, говорю, такого имени точно ни у кого нет, но, ты знаешь, оказалось, есть уже конь с таким именем тоже, тогда, говорю, пусть будет Зонтик, но, черт бы их всех побрал, это имя тоже было занято, так что Фэй назвал его Зонтико, а начальство согласилось. И мы никогда не

жалели. Он прожил у нас с 1973 года, пятнадцать лет, выстроил нашу жизнь и это ранчо. Победитель всеамериканского чемпионата на лучшего производителя, первый приз за внешний вид. Он породил Зонтико-младшего, чемпиона монтанской ярмарки, Малыша-Прицела, который держал мировой рекорд в четыре-сорок на триста ярдов; Вождя Твердопанциря, чемпиона по скачкам и выводкам, победителя во всеамериканском забеге; Записного — больше ста наградных лент и призов, всевозможные каттинги, рейнинги, выездки, неофициальные забеги; Древнего Египта, это конь Джозефины, но он получил больше ста пятидесяти кубков в конкуре; Пегаса, Поэзию, Пуддинга, Мишень — я могу перечислять до вечера. — Он допил остатки кофе и налил еще. Вёрджил наклонял голову, и ягоды повисали каждый раз на новых ветках. Снова зазвучал грозный голос.

— А потом все кончилось: самый бессмысленный акт насилия, который только можно себе представить. Джозефина приехала в гости со своим, если можно так выразиться, мужем — надутый ублюдок, Ульц его звали, спуталась в какой-то чертовой коммуне, чуть пониже, в Нью-Мексико, мужики там отращивают волосы

до задниц и таскают на себе психоделические тряпки, браслеты и всякий разный мусор — господи, этому сукиному сыну невозможно было пожать руку, столько на ней болталось колец. Еще борода и тряпка вокруг головы, как будто от пота. Мы воспитывали ее, как приличную девушку, в шесть лет посадили на лошадь, ни в чем не отказывали, и что же в ответ — поселилась в травяном лагере, напялила на себя сарафан и спуталась с этим Ульцем, отец у него торгует трубами, ему должно быть стыдно за такого сына. Ну вот, этот сукин сын укурился, свихнулся, встал в одно прекрасное утро, снял с двери мое ружье тридцать на тридцать, ввалился в конюшню, вывел оттуда Зонтико и застрелил его, не сходя с места. Естественно, я проснулся от этого выстрела, смотрю в окно и вижу, как Зонтико корчится на земле, Ульц тащит куда-то ружье, а на роже такая полуулыбка, ясно, что накачался наркотиками, нетрудно догадаться, что произошло, и что произойдет следом, так что я перемахнул через три ступеньки вниз и выскочил через заднюю дверь в ту самую секунду, когда он ступал на крыльцо, с ружьем; он стал его поднимать — о, у меня ни на миг не возникло сомнений, что он собрался меня застрелить, и

не только меня: Джозефину, Бетти, меня, может даже кошку — но я не оплошал, до сих пор не понимаю как — возможно, от неожиданности, но я выхватил ружье у него из рук и выстрелил ему в плечо прежде, чем он успел понять, что происходит. Он заверещал, свалился с крыльца, да так и растянулся там в грязи. Я забежал в дом, налил себе стакан виски, быстро проглотил и бросился к Зонтико — пришлось перешагивать через этого чертова Ульца, так что заодно я дал ему хорошего пинка — но мой самый лучший чемпион-производитель был мертв, я позвонил в контору шерифа, объяснил, как все было, и сказал, что если бы не остановил этого Ульца, он бы довершил свое черное дело. Бетти и Джозефина совсем помешались, можно подумать, они что-то понимали. Джозефина винила во всем меня, орала: как ты мог в него стрелять? Мы надолго поссорились, она увезла его в больницу, а может в какой притон, но видишь, какое дело, вскоре после того они развелись. Я не знаю деталей, до сих пор не знаю, но они развелись меньше чем через год, если вообще были женаты. Разве что какая-нибудь идиотская хипповая церемония с травой, ситаром и тофу. Не знаю. Спроси ее сам.

— Не говорит.

— Ее можно понять, разве нет? Я сам ненавижу вспоминать те дела. Это было воскресенье, Фэй бухал с кем-то в городе, а когда прослышал, что стряслось, плакал, как ребенок. Коня потом похоронили, я сам его похоронил. — Кеннет отправил в рот еще одну сырую сосиску. — Фэй, что Фэй? Я лучше расскажу тебе, какая у нас тогда была повариха. Оделла Хуки, из какой-то вегетарианской подсекты трясунов. Не прикасалась к мясу, вообще ни к чему животному. Ни бекона, ни бифштексов, ни яиц, ни печенья на лярде, ни масла. Мы думали приучить ее готовить на кукурузном масле, но она не верила, что масло бывает из кукурузы. С фасолью все было в порядке, но в ней же никакого вкуса. И вот наконец Фэй не выдержал, явился в кухню с пятифунтовым куском мяса в одной руке и горячей сковородкой в другой, видно было, как дрожит над ней разогретый воздух, явился и говорит: «Ты сейчас пожаришь мне это мясо или я пожарю тебя», — берет ее руку и держит над сковородкой, в полудюйме от железа, она вырывается, а он тянет все ниже, так что она все-таки обожгла пальцы, шипело аж на другом конце кухни. Так что мясо она тогда пожарила, хоть и причитая, что это неслыханно, но на следующее утро ушла, и целых полгода

готовить приходилось Фэю, пока мы не нашли новую повариху.

Вёрджил и Фэй

Джозефина уехала кататься. Нет, сказал он ей, я буду чистить тебе сапоги и куплю «кадиллак», только не сажай меня на лошадь, меня уже сто лет назад заебали эти непредсказуемые, безмозглые, блядские твари. Он подпирал забор, щурясь сквозь сигаретный дым на солнечный зайчик, игравший на заутюженной складке джинсов, и тут подошел Фэй.

— Я в город. Поедешь со мной?

— Ну, бля! — удивленно воскликнул Вёрджил. Ему неохота было никуда ехать, особенно со стариком Фэем, но почему бы и не сгонять, делать все равно нечего, разве что сидеть в гостиной среди всех этих рогов, черепов, шпор и индейских попон, да листать старые выпуски «Западного лошадника» и «Монтанского дикаря». — Конечно поеду. Помогу дотащить корм. — Он слышал, как Бетти говорила старику, чтобы тот не забыл опять про куриный корм, его уже почти не осталось.

— Кто ж откажется от подмоги? — Ровный взгляд щелкунчика.

Кабина грузовика была завалена хламом: нераспечатанные конверты со следами ботинок,

«Человек весом в 500 фунтов победил в родео», бутылка «Мочи рыжей лисицы» Хобейкера, пивные банки, снежные цепи, веревка, старые уздечки, мятая шляпа, пара галош с уплотненным носком, чтобы подходили к ковбойским сапогам, конфетные обертки и скомканные сигаретные пачки. Сидеть было неудобно, левая нога, задранная выше правой, упиралась в груду цепей. Из кресла во все стороны торчал поролон. Из пепельницы вываливались чинарики, Фэй закурил еще одну. Лобовое стекло представляло собой два мутноватых полукруга в поле грязных полос. До города было сорок три мили, и всю дорогу Фей то бормотал, то напевал:

— *Эй ты, шляпа-ковбой, зря кобылку шпоришь, я-то знаю, что ты ни гроша не стоишь,* — лишь хмыкая в ответ, когда Вёрджил задавал вопросы, или высказывал предположения о глубине снега на дальних вершинах, или интересовался, кто живет в старом товарном вагоне посреди семидесяти или восьмидесяти раздолбанных машин, будто после взрыва.

В середине дороги он подумал: пошло оно все к черту, и скрутил из остатков травы косяк. Когда они приехали в город и остановились у магазина «Машины Басри», Фэй, подобрав с сиденья список

покупок, наконец открыл рот, чтобы сказать: тут, в четыре, — Вёрджил перевел дух и очень обрадовался. Он побродил по городу, заглянул в аптеку, купил там аспирин и крем для бритья; в буфете выпил кофе и съел клейкий кусок пирога с чем-то красным, официантка сказала, клубника с ревенем; в «Уголке ковбоя» пощупал скроенные на западный манер рубашки, примерил пару штиблет от Ларри Махана:

— Ручная работа, ручная колодка, прибивка тоже ручная, широкая стальная набойка и утолщенная подошва, сносу не будет, — бубнил продавец — серые, жесткие, как шерсть шнауцера, волосы, красное пятно между глаз; он стоял, привалившись к стене, рядом со вставленной в рамку бумагой, чем-то вроде диплома: «Награда Присуждена Советом Гражданских Патриотов В Знак Благодарности За Добровольно Взятые На Себя Обязанности По Ежедневному Поднятию Нашего Государственного Флага», Вёрджил только теперь сообразил, что хлопавший над окном кусок материи был уголком громадного флага, прикрепленного к раме на верхнем этаже, но башмаки сидели как-то странно, ему не нравилась эта давящая дуга на подошве и смущал высокий каблук.

— Я еще подумаю, — сказал он приунывшему продавцу и бросил взгляд на шляпы — черт, а хорошо бы прикупить себе эту ебучую ковбойскую шляпу, ему бы такую в Наме, но вместо этого вышел на улицу и там рассмотрел флаг, рваный и грязный. Вывеска в окне гласила: «Покупайте американские товары». До четырех часов он успел заглянуть во все магазины: крошечный гастроном с надписью от руки «Не самый худший в мире инжир. И есть хороший изюм», контора городского клерка, поликлиника, почта. Мимо прошел старик в грязной шляпе с носом, как куриная табакерка, на шее у него висел плакат: «От Волка Не Бывает Толку».

Фэя в грузовике не было, равно как мешков или ящиков, и Вёрджил полчаса прокорячился бугристом сиденье — изогнув шею, смотрел, как плывет на север небо, а длинные ребра облаков загибаются у самой земли, — временами он изучал афишу фильма «Приключения Баккару Банзая»[305].

Он остановил в магазине продавца, у которого одна щека казалась больше другой, и трудно было понять, где на левой стороне его лица начинается

---

[305] Примечания: 305

«Приключения Баккару Банзая в восьмом измерении» — фильм, снятый в 1984 г. режиссером У. Д. Рихтером.

рот, но продавец сказал: не-а, не видал я твоего Фэя, глянь-ка через дорогу.

Он заметил его не сразу. Фэй сидел у дальнего конца стойки, выпрямив спину, и склонившись к смуглому, как орех, и вонявшему овцами старикашке; кружка пива прижимала к стойке листок бумаги со списком покупок. Каждый посетитель этого заведения нес на себе какую-то отметину — надпись или картинку на пряжке ремня, футболку, кожаную нашлепку на джинсах, имя, вышитое на шляпной ленте, тисненое «Король лассо» на кепке. Вёрджил махнул, чтобы ему налили пива, и сел рядом с Фэем, который тут же обернулся и спросил:

— Все купил?

— А чего мне покупать? Зубную пасту. И еще эти ебаные марки.

— Ты не забыл про куриный корм? — Голос прозвучал жутковатым подражанием Бетти.

— Я думал, ты купишь.

— О господи! «Я думал, ты купишь»... — Он сморщился. — Нет! Это ТЫ должен купить куриный корм, а у меня других дел по горло.

— Еб твою мать, Фэй, откуда я знал, что ты решил повесить этот хлам на меня? Сколько ей надо? Сейчас принесу.

— Все в этом проклятом списке, каждую неделю в этом проклятом списке первой строчкой, куриный корм, куриный корм — проклятые куры дорастут до мулов, если их так кормить.

— Давай сюда свой ебаный список, Фэй. Давай список, будет тебе куриный корм.

— Там не только куриный корм, там еще корзинка для негров, запихиватель тампаксов и микстура от техасской чесотки.

Вёрджил взял листок. Половину прочесть невозможно, пиво размыло чернила.

— Куплю, что будет.

— Давай, давай. — И Фэй затянул своим гладким тенором: — *В каждой деревне свои мудаки — мерзавцы, придурки и пьяницы…*

Выйдя на улицу, Вёрджил направился к этому ебаному грузовику, надеясь, что ебучие ключи на месте. Четверть, блядь, пятого. Если ебаные магазины закрываются в пять, ему пиздец. Первым делом этот проклятый ебаный куриный корм. Чтоб ты охуел, Фэй.

Продавец в магазине ему обрадовался и с довольным видом хлопнул по мухе пластиковым пакетом с сушеной фасолью.

— Куриный корм.

— Сусло? Молотая кукуруза?

— Хуй его знает, что всегда берет Фэй?

— Ничего он ни разу не берет. — Шуршащий смех, как радиопомехи.

— Можно телефон? Позвоню на их ебаное ранчо.

Никто не ответил, и Вёрджил припомнил, что они, кажется, собирались ехать к большой луже в северной части ранчо. Эти уебки говорят «луржа», даже Джозефина. Наверное, они там, а может, уперлись еще куда на своих кобылах. Он попытался рассмотреть, что еще перечислено в списке: *Куриный корм. Спички. Сухое молоко. Распорки для заборов. Добавки. Бекон. Ключи. Попкорн.* И еще шесть или семь ебаных пунктов, которые он не мог разобрать — бритва или брюква, вакцина или вазелин, сода или вода, мясная кость или мучная каша

— Давай каждого по мешку.

— Пятьдесят фунтов?

— Ага. А эти ебаные распорки у вас есть?

— Сколько и какого размера?

— По десять каждого. Счет присылай Свитчам на ранчо. А как насчет добавок?

— Кену Свитчу? — продавец хихикнул. — Как там его любовь? Какие он хочет добавки — лошадиные, коровьи, бараньи, козлиные, кошачьи

или человеческие? Тоже каждого по десять?

— Блядь, откуда я знаю? — Куриный корм у него по крайней мере есть.

Фэй был не настроен уходить из бара, он смеялся, курил, заглатывал виски с пивом и обсуждал со стригалем человека, которого они называли Псих, «ублюдок из ублюдков», «мудак, ссыт в раковину, так хоть бы затычку вытащил» и «в башке вареные опилки»

Ладно, подумал Вёрджил, этот уебок работает не на меня, а я ему, блядь, не родственник. Он заказал рюмку «акульих соплей», потом еще одну или две. Куриный корм он, по крайней мере, купил. Прислушался, о чем говорят вокруг.

— Тока и сделал хорошего, это когда с гремучей змеей. Знаешь, про что я? У него вечно за щекой табак. Так вот, гремучка выползает из ворот, а он подъезжает на лошади и недолго думая выпускает струю прямо гремучке в рот, смертельный удар, змеюгу точно вывернуло наизнанку — все, насмерть. С другой стороны сидела пара работников, у одного шляпа лежала на стойке.

— Я ему так и сказал, нет проблем, говорю.

— В том-то и беда. Стараешься по-человечески, говоришь, я не могу, но нет проблем, а он говорит стоп. Я говорю, это ты сказал стоп.

— Я никогда так не говорю. У меня свои способы. Коротко, мягко. Но только не на трезвую голову.

Бармен наклонился над стойкой и спросил Вёрджила, понизив голос:

— Зачем баски таскают в кошельках говно?

— Не знаю, а зачем?

— Вместо паспорта.

Пьяный за рулем

Было уже темно и неизвестно, который час, когда они вывалились из бара и влезли в грузовик.

— Сколько времени? — спросил Вёрджил.

— Черт побери, откуда мне знать? У меня отродясь не было часов, колец и золотых цепей. Я не рассказывал, как мой батя заполучил часы? Часы, ванну, унитаз, газовую стиральную машину — и все за один день. Лучший день в его жизни, бедный затраханный ирландец. Продал своих коров, здоровых и крепких, в удачное время, цены подскочили, один раз за всю его жизнь. Через год правительство вытрясло из него душу, и он остался без ранчо. А в тот, значит, день, про который я тебе говорю, он в первым делом полез в ванну. Установил ванну и унитаз — «чтоб вы мне больше не ныли, что нам ссать некуда» — на кухне и завесил одеялом. Не доставало до пола на восемнадцать дюймов. Мы уселись смотреть, как теперешние дети смотрят телевизор. Матушка нагрела на плите воду — все горшки и кастрюли, который только были в доме, — и вылила в ванну, он еще разжился куском туалетного мыла, и слышно было, как там, за одеялом поет «Розу

Трайли», раздевается, снимает башмаки и ссыт в унитаз. Мы видели только ноги. Он расстелил на полу полотенце, рядом с ванной. Снял часы — Иисус и Иосиф, как же он гордился этими часами — никогда в жизни у него не было никаких часов: слышно было, как он кладет их на полку, там, на стенке, была такая маленькая полочка. Потом лезет в ванну, плещется, валяется, поет песни, до нас долетал запах этого мыла и бульканье, он кричит, чтобы принесли кружку, набирает воды и льет себе на голову, сползает вниз, лезет под воду, верещит, как койот в колодце. Через час вылезает из ванны. Становится на полотенце, ноги — два вареных свинячих окорока. Потом берет другое полотенце, чтоб вытереться и, шутя, хлопает им в воздухе — весь чистый, первый раз в жизни помылся в настоящей ванне — и тут край полотенца задевает полку с часами, и они летят прямо в унитаз. Который он так и не спустил. Господи, как он тогда матерился, настоящие вопли банши[306]. Полез прямо в засанный унитаз, вытащил часы, но поздно, они встали. Тогда еще не придумали ссаконепроницаемых часов. Два года эта несчастная херовина проваля-

[306] Примечания: 306

Банши — в ирландской мифологии привидение-плакальщица, чьи громкие крики, предвещают смерть.

лась в сигаретной коробке, пока мой братишка Доннел не взялся их разбирать, там разжалась какая-то пружина, раскрутилась, как гремучка, и заехала ему в правый глаз, так что он до конца жизни, хоть и недолгой, остался одноглазым. Так что не надо мне теперь никаких часов, от них одни неприятности. *Ох, я веселый булочник, пеку я пирожки, и скалка моя больше всех, понятно, мужики?*

Вёрджил сказал, что он, блядь, запросто сядет за руль, но Фэй тут же встрепенулся:

— Тока через мой труп. Ты надрался в зюзю, и ни хера не петришь, что такое пьяный за рулем. Это искусство. Смотри и учись. *И рано утром бабонька в мою стучится дверь, в одной рубашке беленькой, уж ты-то мне поверь…* — Он медленно сдал назад, переключился на первую скорость и с рычанием покатил по улице; ни вой клаксонов, ни мигание встречных машин не заставили его включить фары, и лишь в темноте городской окраины, когда кончились уличные фонари, он догадался, что что-то не так. Когда на хороших тридцати пяти милях в час они нырнули во тьму, и правое переднее колесо воткнулось в белую линию, Фэй заговорил опять.

— Расслабься: ночь, пьяный шоферюга медлен-

но везет тебя домой, а в ветровое стекло пялится пузатая луна. Кругом ни души. Ты сам по себе. Тебе еще и домой не захочется. *Елда у них заместо трости, вот же сукины сыны.*

— Мне, блядь, уже хочется, — сказал Вёрджил. — Ты мудак. В Наме я хуярил по таким местам, где бы ты сдох за пять минут. Меня пронесло, старик. Но насмотрелся такого, что ты бы ослеп на месте.

— Послушай, я знаю, что надрался в зюзю и вообще мне пора на тот свет, но, что за дела, мы все тут еле дышим, нет, скажешь? Я просто первый в очереди. *Ах, целых двадцать годиков не видел он седла.* Ты видал, как я умею поворачиваться? Когда-нибудь видал, как я бегаю или танцую, мистер Всезнайка? О, я умею шевелить ногами. Теперь, ясное дело, уже не то, но каков я был в прежние времена, никому со мной не сравняться, и никто мне слова поперек не скажет, особенно бабы, — я плясал, как бешеный, до кровавых мозолей на подошвах. Был там парень, высокий, стройный сто двадцать фунтов весу, полиэфирный костюмчик, шляпа с полями, морда как будто мелом намазана. *Ах, целых двадцать годиков не видел он седла, зачем такого дурика кобылка родила.* Рот, как шнурком затянут, всегда

в ботинках, со сцены вообще не слезал. Но играет хорошо. А почему нет. Лучше сказать играл. Напоролся на перо. И все. *Очи черные, очи блядские.* Но лучше всех та баба. В таких же точно тряпках: белые штаны и пиджак, ковбойская шляпа, вместо рожи вощеная бумага. Но вытворяла такое, что никогда не подумаешь. Швыряла ноты, как конфетные обертки — они мялись чуть ли не в труху, а то еще размотает что-то вроде шелкового шарфа и кинет тебе прямо в морду. И хоть бы раз улыбнулась. Да, эта девка могла из кого хочешь вить веревки. Так и не узнал, как ее звать. Может она и сейчас где-нибудь за рекой, дудит себе в расческу и ждет, когда я притащу к ней на небеса концертину. Вот это инструмент. *Ах, на мутном коралле дорожная пыль, я на камень свалился и жопу отбил… кобылка, пруууу.*

Вёрджил открыл окно, чтобы проветрить. Над пепельницей клубился ядовитый дым.

— Ты кусок дерьма, нет, что ли, ублюдок из ублюдков, ты забоишься тиканья часов, если они свалятся тебе в тарелку, нет, что ли, ты бы позабыл собственное имя, если б не татуировка на херу, а? Без меня ты пропадешь, кто еще допрет тебя домой через темную ночь, да, тебе надо вытирать сопли, сам не можешь. В этой куче

дерьма только Джозефинка чего-то и стоит. *Тебе про ковбоев засрали мозги, такая любовная драма.* Я? Я с одиннадцати лет сам себе хозяин. Рос в нищете, зимой вместо рукавиц старые носки, шмотки с городской помойки, школу бросил в четвертом классе. Эти маленькие ублюдки заебали дразнилками, да и батя заставлял работать. Самое поганое — топить котят. У нашей старой кошки как раз народились, она притаскивала их вроде каждые три месяца, так что батя совал мне вилы и говорил, чтобы их тут не было. *А вся любовь торчит в штанах, чего еще тут думать*… звенит, слышь? Если звенит в правом ухе, значит к хорошей новости, если в левом, то к плохой. У меня в обоих. А у тебя?

— Тоже. — У него звенело в обоих ушах. Но это был не столько звон, сколько длинный, бесконечный не то стон, не то мычание, откуда-то с поля.

— Что еще за хуйня?

— Не знаю. Что теперь, не дышать?

И вдруг на расстоянии вытянутой руки зажегся свет и стал ясно слышен перестук товарняка, темно-красные огни паровоза вспыхнули всего в нескольких ярдах, Фэй ударил по тормозам, Вёрджил дернулся вперед, еб твою мать, поезд был так близко, что они видели искры из-под колес и

чувствовали запах металла.

Последние двенадцать миль они не могли придти в себя от счастья: они обманули смерть, отвели руку судьбы, предотвратили ужасную катастрофу. Фэй опустил стекло, кричал, подставив лицо мерному дуновению воздуха, они выли и пели, а когда воткнулись во двор, Фэй почти орал:

— Я пас овец в Вайоминге, и шкуру драл в Нью-Мексико, я травился бананом в далекой Монтане и не помер от траха в вонючем Айдахо.

А когда умолк мотор, они еще долго виновато ржали в оглушительной тишине, потом, под прикрытием распахнутых дверей грузовика помочились на сухую землю, и звуки их голосов вместе с бледно-серой полоской горизонта разбудили петуха.

Отсоси, мудачок, думал Вёрджил, в конце концов, я, а не ты добыл этот проклятый куриный корм. Вёрджил бросил взгляд в кузов, освещенный бледным светом, но двух пакетов с кормом там не было.

— Где этот ебаный куриный корм?

Фэй забрался в кузов так проворно, словно ночное приключение выдуло из его тела все прошедшие годы, ощупал дальние углы, потом пошарил в кабине, достал фонарик и провел им

по разболтанным рейкам бортов, по широким двойным следам, тянувшимся во всю длину кузова.

— Похоже, пошел погулять. — Не переставая бубнить, он уселся на край кузова и радостно заболтал ногами.

Вёрджил и Джозефина

Он забрался в кровать, весь в испарине после липкого ночного холода, полежал, подрожал и захотел Джозефину. Минут через десять встал и, пройдя через весь коридор, медленно отворил дверь ее комнаты. Она спала на животе. Он осторожно поднял одеяло и уже приладился задницей, чтобы умоститься рядом, но тут Джозефина спросила, не забыл ли Фэй про куриный корм?

Оооо, простонал он от притворной боли, обвивая ее холодными руками, прижимаясь ледяными коленями к теплому телу, втягивая носом аромат шеи и волос, словно собака на заячьей тропе. Холодными, как у мертвеца, руками он задрал ночную рубашку, приткнулся застывшим ртом к ее полнокровной шее, кажется, начиная понимать, что должны чувствовать вампиры.

— От тебя несет табаком и перегаром.

— Я целый день проторчал в этом ебаном баре, я поперся за Фэем в город. Мы чуть не въебались в этот блядский паровоз, а ваш ебучий куриный корм валяется где-то на дороге.

— Вы потеряли куриный корм? Мать же убьет

Фэя. Как вы могли его потерять?

— Наверное, когда чуть не въебались в этот проклятый поезд. Пришлось херачить по тормозам. Эти блядские мешки съебались на землю. Наверное. Если только не ебнулись, когда мы перли в какую-нибудь гору. Но я, блядь, не помню там никаких подъемов.

— Нет там подъемов. Перестань. Прекрати немедленно!

— Джозефина. Джо-Джо, иди ко мне, Джо-Джо, хватит пиздеть, иди ко мне. — Крепко прижимаясь, чувствуя, как член разбухает от крови, забираясь холодной рукой ей в промежность, а другой пощипывая сосок.

— Я серьезно, ты можешь остановиться прямо сейчас. Я еду за куриным кормом, а ты идешь спать в свою постель. Матери уже неделю нечем кормить курей, потому что каждый раз, когда Фэй отправляется в город, он напивается и забывает обо всем на свете. Она кормит их кукурузными хлопьями. У нее и без того хватает проблем, чтобы еще забивать голову курями. У тебя есть спички?

— Ага.

— А папин дождевик тоже у тебя?

— Как насчет пяти ебучих фунтов ебаного сахара. В списке было что-то про сахар.

— Ага, наверное. Остальное меня не волнует. Поехали за куриным кормом. — Она опиралась на локоть и смотрела прямо на Вёрджила, на подушке остался отпечаток ее правой щеки.

— Ты себя ведешь, как последняя пизда, понятно? Двадцать ебаных миль. Больше некому забрать эту хуйню?

— Тут так не принято. — Она вскочила и резкими движениями запихала себя в одежду.

Ему хотелось ее ударить. Убить. Она это понимала? Он таскался за ебаным куриным кормом, пока этот недоебок Фэй надирался в баре и валился со своего ебаного табурета, и он его припер, хотя эти ебучие мешки и валяются теперь хуй знает где на дороге. Он сел. Этот петух совсем охуел. Понемногу накатывало похмелье. Внизу кашлял и прочищал горло Кеннет. Ебаный бог. Он подумал о том, что еще битый час ему предстоит ерзать на ебаном испанском стуле, глотать вместо кофе тепловатые помои, и слушать, как старый пердун пиздит о своем ебучем Зонтико. Теперь ясно, почему недоебок Ульц пристрелил этого ебучего коня — наверное, чтобы недоебок Кеннет наконец заткнулся.

— Хорошо. Поехали. — Голос прозвучал холодно и многозначительно.

Он прошел по коридору до своей комнаты, натянул провонявшую одежду, промокнул горячим полотенцем лицо и, не дожидаясь Джозефину, спустился в кухню. Кофейник был почти полон. Он налил в чашку дымящихся помоев и попытался их выпить, отвернувшись от расплывчатых глаз Кеннета.

— Ты, я вижу, ранняя пташка и большой любитель кофе, Вёрджил. А я тут стою, смотрю в окно и размышляю о войне — о войне и солдатах. Передавали рассказ одного заложника. Что за безобразие. В древнем Китае был хороший обычай: там в армию набирали преступников, тех, кто умел стрелять из лука, и не боялся убивать, отборных молодцев с плохой репутацией — получалась грозная армия, во всей округе устанавливался мир и покой, никакой преступности. Американцы же призывают в армию хороших мальчиков, которые воюют против своего желания. Что нам нужно сделать — так это сбросить на Тегеран атомную бомбу, избавиться от аятоллы, и никаких проблем. Вот ты служил в морской пехоте, был во Вьетнаме — ты со мной согласен?

— Там же заложники, в этом блядском Тегеране. Ты хочешь ебнуть по заложникам? — Не дожидаясь ответа, он выскочил за дверь и направился к

лихо припаркованному грузовику.

Обратно в город

Небо было чистым и розовым, иней на пятачках скошенной травы походил на соляную корку, а рядом с канавой тянулась гряда подсыхающего сена. Джозефина села на водительское место, напряженно сгорбившись, высыпала через боковое окно окурки из пепельницы; теперь в кабину врывались влажные утренние запахи, перемешанные с горечью шалфея, квамассии, люпина и марихуаны. Джозефин вела машину, и они молчали — только дрожала кабина, и подавленно гудел мотор.

Серебристые от росы мешки с куриным кормом лежали посреди дороги по ту сторону железнодорожного полотна, ближе к городу. Он закинул их в кузов и вдруг почувствовал, что ему хорошо, что он почти счастлив — то ли кофе наконец подействовал, и похмелье отступило, то ли дело было в гордости за этот ебаный подвиг. Он залез в кабину и захлопнул дверцу, и тут из-за поворота, гулко стуча, показался товарняк, он шел из города, может, это возвращался назад тот же самый ебучий поезд. Вместо того, чтобы развернуться к ранчо, Джозефина поехала вперед. Ночное при-

ключение раскручивалось в обратную сторону.

Они припарковались у того же самого кафе, где полдня назад он пил этот хуевый кофе, и взяли по чашке не менее хуевого, устроившись в обитой красным пластиком в кабинке, меню было закатано тоже в пластик, жидкий хуевый кофе им принесли в пластиковых чашках, он прихлебывал его с удовольствием и с таким же удовольствием поглощал яичницу с ветчиной, макая в зенки ебучего желтка кусочки жареной домашней булки. На стене было написано «Под сиденьем жвачка — бесплатно».

— Ладно, — сказала она. — Прости меня. Я была сукой. Пока вы с Фэем катались в город, я разговаривала — вернее, она говорила, а я слушала — с матерью. Ты не поверишь, что она вылила на меня. Они разводятся. Папа встречался с женщиной в два раза моложе его, я даже ее знаю, мы вместе учились в школе; он как-то увлекся, и две недели назад она родила ребенка, девочку — так что у меня теперь есть сестренка на тридцать один год младше меня. Кошмар начался через день после родов, когда она вышла из больницы — их теперь выпихивают домой на следующий день. Она направилась прямиком в клуб ветеранов, вместе с ребенком; несколько часов торчала там

со своими сальными приятелями, напилась, накурилась и как-то умудрилась свалить ребенка со стойки прямо на пол. Поговаривают, что она специально ее толкнула. Девочка сейчас в больнице с серьезной травмой головы — мать говорит, что лучше бы ей умереть, — эту блядь будут судить за покушение на жизнь ребенка и жестокое с ним обращение, а имя моего отца полощут в вечерних новостях и газетах по всему штату. И только я до вчерашнего дня ничего не знала.

Он начал что-то говорить, но она остановила его движением руки.

— Теперь слушай. Ты, кажется, умирал от любопытства, почему Саймон застрелил Зонтико. Хорошо. Я расскажу. Все получилось ужасно глупо. Просто недоразумение. Он хотел помочь папе. Ты же знаешь, как папа разговаривает — говорит и говорит, так что невозможно вставить слово, и через некоторое время его просто перестают слушать.

— Точно, — подтвердил Вёрджил.

— Попа говорил о Зонтико — это бы ничего, он всегда о нем говорит — но он завис на том, что будет, когда Зонтико состарится и заболеет, когда-нибудь в будущем. Еще и выпил немного. И пошел: нельзя допускать, чтобы животные

болели, нельзя заставлять ослабевших животных тянуть лямку, страдать и мучиться от боли. Больных животных нужно убивать, — но все время повторял, что сам, когда придет время, ни за что не сможет этого сделать, что у него разорвется сердце, если придется убить старого Зонтико, который когда-нибудь ослепнет, ноги его перестанут ходить, зубы вывалятся, есть нечем, рак, неизлечимые кожные болезни. Он перечислял все, что может случиться с конем, все время возвращался к мысли о том, что придется самому убивать Зонтико, и начинал плакать. Он говорил, что не сможет этого сделать; нужно всего-навсего один раз выстрелить в голову, но он не сможет.

— И что?

— Это подействовало на Саймона. Чушь, недоразумение, он невнимательно слушал первую часть, а к тому времени, когда наконец сосредоточился, папа говорил так, словно все эти ужасы происходят с Зонтико уже сейчас, что его уже сейчас надо убивать, но папа не может этого сделать.

Всю ночь Саймон метался и ворочался, а под утро решил встать и сделать то, что не может папа, — застрелить Зонтико, и тем избавить папу от мук. Папа ему нравился, он хотел ему помочь.

Ему просто не пришло в голову, что есть Фэй, который и застрелит Зонтико, когда дойдет до дела, но в то время Зонтико был всего двадцать один год, и он прекрасно себя чувствовал. Он прожил бы еще пять, а то и десять лет, и с пользой. Папа брал по тысяче долларов за вязку. Он все подсчитал — Саймон опустил его на пятьдесят тысяч долларов, когда застрелил Зонтико. И все это была чушь, простое семейное недоразумение.

— И?

— И ничего. Мы с Саймоном вернулись в Нью-Йорк, но он никак не мог успокоиться после того отцовского выстрела, винил себя за то, что убил Зонтико, и очень скоро спутался с подружкой своего босса, которая по случаю была еще и моим гинекологом, так что выболтала ему, что я беременна. Мы развелись, он женился на этой суке, они уехали в Миннеаполис, и я с тех пор ни разу его не видела. Все эти годы я обвиняла отца. Он не имел права стрелять в Саймона. Так же как не имел права ебаться с этой блядью, моей школьной подружкой.

— А я, блядь, считаю, что он все сделал правильно. Он говорил, что Саймон чуть вас всех не перебил. У него был такой вид, как будто он свихнулся. Что до бабы, то какой козел может знать,

почему происходят такие вещи. Такое бывает сплошь и рядом. Это их ебучие заботы, а не твои. Она смотрела на него.

— Ты мудак. Полный. У тебя нет моральных устоев. Поехали в горы. Возьмем вина, пару кусков мяса и одеяло.

— Джозефина. Позволь напомнить, что твоя мать ждет, когда ты привезешь на ранчо этот ебаный куриный корм.

Она смотрела на его красивое американское лицо: обе половинки вполне симметричны, ясные светлые глаза за неестественно маленькой проволочной оправой очков поблескивали враждебными искрами; она смотрела на клочковатую щетину, родинку под носом, две почти совсем безволосых руки. Он так же почти не отрываясь смотрел на нее, и за несколько секунд все стало ясно — так, словно он знал ее целый год, а может и больше. Привязанность перешла в раздражение. И быстро двигалась к антипатии.

— Она тебе не нравится, да? Моя мать.

— Нет, — ответил он, зная, что говорить этого не следовало. — И твой ебаный папаша тоже. Ульц затеял хорошее дело — пустить их в расход. — Он не этого хотел, я же тебе только что сказала.

И все же они купили вина, поехали в горы и

там, на лугу, среди горящих цветов кастиллеи, она убегала от него полураздетой и смеялась, как в рекламе гигиенических салфеток; он поиграл с ней минут пять, потом это говно его взбесило, он повалил ее на землю, сорвал одежду, обеими руками отвесил два звонких шлепка, когда она сказала стоп, раздвинул ноги и влез внутрь, взбрыкиваясь, как во время гона. Нагретые солнцем волосы пахли ореховым маслом и горячей листвой. Небо было пурпурным, они истекали потом, кусали друг другу губы, она царапала ему спину, а он наваливался на нее всем своим весом, толкал и таранил, трава впивалась в кожу мелкими жалящими лезвиями, вино открылось и пролилось на землю, они катались по нему, рыча и завывая, ставили свои заляпанные вином, разодранные, лоснящиеся тела с прилипшими к ним травой и пыльцой в причудливые позиции, кричали и плакали, она повторяла о боже, о боже, до крови сломала ноготь, он поранил колено кусочком острого кварца, комары искусали всю его резвую задницу и ее белые ноги, а когда ему захотелось отлить, она, опустившись на колени, заботливо придерживала его член, потом настала ее очередь, и тогда она присела на корточки, а он подставил под горячую струю сложенную ло-

дочкой руку, затем опять пришло время криков и богов, ползаний и перекатов по каше влажных цветов, и для каждого из них это было самым экстравагантным признанием в глубокой, глубже самой жизни, любви, и на все на это смотрел с далекого склона пастух-баск, держа в левой руке сирсовский бинокль, а в правой — член.

— Это изнасилование, — сказала она.

— Ага. Но тебе же, блядь, понравилось.

— Ты ошибаешься, — сказала она. — И еще пожалеешь.

Налетели оводы. Вино кончилось. Они молча оделись, полуотвернувшись друг от друга. Потом, побрели прочь от этого луга, прихрамывая и стараясь не смотреть на помятые цветы. Все было кончено.

Его визит подошел к концу на следующее утро; перед тем, как уехать, Вёрджил смотрел ей в глаза, в прямом и искреннем взгляде читалось, как ему обидно и неприятно оттого, что оно все так обернулось (эта поза оскорбленной невинности была всего лишь позой, ибо несколько лет спустя он сел в тюрьму за мошенничество и обман доверчивых обитателей первоклассного дома для пенсионеров — фальшивая инвестиционная компания пообещала выгодное вложение

средств в особо избранные «Экологически чистые звукозаписывающие корпорации»), а Джозефина седлала Овсянку, голубовато-мраморную кобылу с глянцевыми пятнами на морде, голенях, коленной чашечке, локте и, глядя в сторону, повторяла: ну еще бы, еще бы. Она сказала родителям, что поживет на ранчо, поможет Кеннету вести племенной журнал и немного разгрузит Бетти по хозяйству. Возможно, останется насовсем, сказала они им, — дочерняя благодарность за решение не расходиться, принятое после того, как маленькая дочка этой бляди умерла, и Кеннет подписался в искреннем желании хранить супружескую верность.

(Но той же осенью она вышла замуж за Мэттью Хэндсо, ранчера ростом шесть футов два дюйма, тоже вьетнамского ветерана, уроженца Амхерста, Массачусетс; в первую брачную ночь с ним случился эпилептический припадок. Она сидела в больничном коридоре и читала «Кролик разбогател», но на пятьдесят третьей странице уснула. Они превратились в затворников, но через несколько лет Хэндсо счел, что федеральное правительство увезено в неизвестном направлении на реактивном самолете, над Организацией объединенных наций нависла угроза темно-

кожего кривоногого переворота, а недостаток школьных священников уничтожил моральные устои американцев, и потому необходимо срочно заколотить стальные ворота ранчо. Вдвоем они вырыли серию бункеров и тоннелей, ведущих в десятиакровый подземный город с тайными кротовыми входами.)

«Bizitza hau iluna eta garratza da»

Однажды ранним вечером, в последнюю субботу июня, Фэй, нарядившись в джинсы с острыми, как нож, складками, рубаху с перламутровыми пуговицами, шелковый шейный платок, туфли из кожи ящерицы и новый, украшенный самоцветами ремень, поехал по дороге на гору Оленьей Ноги; на соседнем сиденье подпрыгивал зеленый аккордеон, а квадратный футляр его собственной концертины, замотанный сверху лошадиной попоной, лежал на полу, среди полудюжины бутылок отличного ирландского виски. Эта концертина была у него уже очень давно. На ее деревянной стенке болталась табличка с надписью «С. Джеффрис». Он всегда думал, что это имя давно помершего ковбоя, бывшего хозяина инструмента; Фэю нравился звучный голос концертины и золотые фигурки дельфинов, которые уже почти стерлись, но еще прыгали. Он, как мог, починил зеленый аккордеон, хотя по-прежнему не знал, что делать с западающей кнопкой и с той, другой, которая вообще не играла. Он не был особенно искусен в таких делах.

Баски веселились целый день, хотя большая

танцевальная платформа посреди цветочного луга сейчас пустовала, неподалеку танцоры в национальных костюмах вымучивали непостижимые фигуры *jota* [307] под аккомпанемент трех или четырех музыкантов в рубахах, беретах и мягких сапожках с замотанными вокруг лодыжек шнурками. Они играли на старых инструментах: один дул в *txistu* и одновременно стучал по *tambouri*, крепкий мужичок с рябым, как вафля, лицом растягивал и стягивал *trikitixa* [308], ее особым образом настроенные язычки пискляво выводили *«Zolloko San Martinak»* [309], а за повозкой двое мужчин лупили толстыми концами палок по резонирующей деревянной доске. Музыканты не были похожи на местных, скорее всего, их выписали из Лос-Анджелеса.

Под деревьями стояли беспорядочно припаркованные грузовики и внедорожники, люди вылезали из них и забирались обратно, неподалеку расположился отгороженный веревками

---

[307] Примечания: 307

Национальный танец басков

[308] Примечания: 308

Баскские народные инструменты: духовой тскисту, разновидность барабана — тамбури и аккордеона — трикитикса.

[309] Примечания: 309

«Плач святого Мартина» — баскская народная песня.

загон для лошадей. От решеток барбекю поднималось возбуждающе жирное дымовое марево, под навесами и открытыми палатками играли в карты, сквозь струи музыки пробивались женские разговоры, ржание коней, чьи-то выкрики. Накопившееся за день тепло разглаживало напряженные лица, в горячем воздухе дрожали пятна осин, пыль и косые горные тени.

Фэй побродил минут десять, прижимая аккордеон правой рукой и выискивая Мишеля, двоюродного брата Хавьера, пока наконец не увидел: тот сидел на перевернутом ящике неподалеку от двух лошадей с перекрещенными шеями и то ли дремал, то ли курил самокрутку.

— Мишель, — окликнул Фэй, подходя поближе. Тот поднял взгляд, потом встал, потом задрал губы с желтых зубов и, махнув Фэю головой, двинулся к заляпанному грязью внедорожнику. Они выехали на мокрую тропу, и празднество осталось позади. Мишель молчал, хмуро смотрел вперед, уголек сигареты жег ему губы. Фэй тоже закурил, протянул пачку Мишелю, и тот взял новую сигарету, погасив бычок о приборную доску. Грузовик толчками прорывался сквозь широкохвойные сосны, спускался в седловину, карабкался по склону нового холма и медленно

приближался к бездорожной внутренней гряде, укрепленным гребням, огромному вздутию из глины и камней, безлюдная местность — лишь сдавленные крики пустельги да свист ветра можно было услыхать в этом краю. Вой двигателя вплетался в звуки чужеродным проигрышем. Тропа исчезла совсем, машина теперь терлась о скалы, прижималась к валунам и каменистым осыпям, стебли полыни и стволы горных кипарисов скребли по ее бокам. Мишель показал пальцем направо, и Фэю пришлось долго напрягать глаза, прежде чем он разглядел россыпь валунов, которые вполне могли быть и овцами.

Мишель молчал. Фэй попытался было запеть, *«ты плакала, заламывая руки»*, но дорога была слишком неровной для песен, слова толчками вырывались изо рта, мелодия сбивалась.

— Тут надо бы коня, а не внедорожник.

Мишель кивнул, потом остановился. Овцы были все так же далеко. Задрав физиономию в небо, Мишель указал прямо и немного направо. Там была тропинка. Взглянув куда-то мимо Фэя, он развалился на сиденье и закрыл глаза.

— Я подожду, — сказал он. Вокруг его головы уже клубилось небольшое комариное облачко.

— Я недолго, — ответил Фэй, ступил на зарос-

шую травой пахнувшую лакрицей дорожку и помочился, прежде чем отправиться в путь. За плечом, на веревочной петле болтался аккордеон; он карабкался вверх, ругаясь и соскальзывая в своих неподходящих для этой дороги ботинках. Но идти было недалеко, всего несколько сот ярдов, за крутым поворотом у двух валунов, похожих на чью-то задницу, начиналась кромка скошенного луга, на котором он увидел овечью повозку с круглой, как белая консервная банка, крышей; в проеме открытой дверцы сидел Хавьер и чистил ружье. Вокруг плескался ветер, волновалась трава и пурпурный люпин, а рубашка Хавьера то вздымалась, то снова припадала к его телу.

Когда Фэй подошел поближе, Хавьер повернул голову влево — он был мрачен и застенчив после стольких лет отшельничества в горах, среди одних лишь отар; длинный нос маслянисто поблескивал. Из-под повозки послышалось рычание собаки.

— Мишель остался в машине. Как вы тут поживаете, братцы?

— Поживаем хорошо. Временами. Ему боязно. Оттого мне и надо эта коробка. Мою старую он оставил в кабине, пять часов под солнцем,

пока бухал. Ты бы видел. Только выкинуть, все покорежилось, внутри потекла вакса. Такой вот недотепа. Только и знает, что страдать, какая у него тяжелая жизнь. Кислый тип — к таким ничего не идет в руки. Это оно и есть? — Хавьер взял аккордеон, осмотрел со всех сторон, сморщился по поводу нарисованного дьявола и потертого пламени.

— Красиво тут у тебя. Траву хорошо скосили. А вот мусор собирают не очень. — Фэй бросил взгляд на пирамиду из жестяных банок и бутылок.

— Механик из лагеря потом заберет. Он умеет сюда заезжать, вокруг той скалы по восточному склону. Мишель тебя вез по южному. — Он протянул Фэю бутылку теплого пива.

— Ты пропустил большой праздник, Хавьер. Говорят, ты последний баск, который еще возится с овцами, теперь все нанимают мексов или перуанцев. И еще говорят, что овечьи повозки остались только в музеях и во дворах богатых ранчеров, для украшения.

— Ага. Я тоже стар для этого дела. Внизу мне неловко. А наверху хорошо, как-нибудь слезу, пропустим по стаканчику. Старого пса не научишь новым трюкам. Прижился уже. Неохота

менять привычки. На новое не тянет. Ладно, поглядим, что за штука. — Откинув в сторону левую ногу, он повертел аккордеон. — Черт, ну и хлам.

— Я зашил петлю для большого пальца и кое-что еще.

Хавьер посмотрел на толстый деревянный шуруп, которым держалась кожаная петля.

— Тебе, пожалуй, не стоит идти в мебельщики. Ладно, для забавы сойдет. Мне тут в самый раз — кому нужен хороший инструмент, чтобы бренчать в повозке. Да, я слишком стар для этой верхотуры, потому на ней и сижу. Слишком стар, чтобы переползать в другое место. Только овец и знаю. С ними и помру. Все равно скоро во всем мире не останется шерсти, кругом одна синтетика.

Слегка отвернувшись, он придирчиво изучал аккордеон. Провел пальцем по царапинам на лаке, треснувшим кнопкам; металлические глаза ослепли от ржавчины, полусгнившие меха Фэй заклеил лентой, решетка давно отвалилась, полировка стерлась, а бледные буквы французского имени на боку затерли наждачной бумагой. Хавьер поставил свои веснушчатые мускулистые руки в нужную позицию, медленно растянул меха, медленно сложил обратно. И еще раз. Потом заиграл, одни ноты звучали слишком тихо,

другие хрипели, у третьих получалось два звука одновременно. Он запел сипловатым заунывным голосом печальную и удивительную мелодию — она скользила от ноты к ноте и медленно набирала высоту, оставляя далеко внизу начальные звуки гаммы.

— Ах, какой прекрасный друг, притащил мне музыку, он вскарабкался наверх с тонкой папироской, он так любит пиво пить и живет под камнем, этот ненадежный друг мне так много должен, он от пива так ослаб, не подняться в гору, к ангельскому пенью… — Тут снизу донесся крик Мишеля, и резкое переливчатое ржание оборвалось на таком пронзительном визге, что его не могло уже различить человеческое ухо, один лишь пес залаял, почувствовав его глубину.

— Подожди, — сказал Хавьер и нырнул в повозку. Когда он появился опять, с его шеи и почти до колен свисало странное ожерелье из маленьких косточек.

— Это что, индейское? — спросил Фэй.

— Не, баскское, старое доброе баскское. Сам делал. У деда была такая штука, но я тебе скажу, на этого ублюдка не угодишь. — Согнутым указательным пальцем левой руки он подцепил край ожерелья и оттянул его как можно дальше. В пра-

вой руке он держал полированную палочку. Этой палочкой он постучал по костям, и чистый воздух наполнила мелодия — хрупкая, прохладная, быстрая и ломкая. Прокуренным голосом Хавьер запел мягкую грустную песню: — *Ah, bizitza hau iluna eta garratza da, жизнь печальна и горька…*

— Из чего это делается, из костей?

— Орел. Жаворонок. Гусь. Ястреб. Куропатка. Птичьи кости. За десять футов уже ничего не слышно.

— Спрячь эту штуку под кровать. А то посадят лет на десять за музыку из орлиных костей.

Но Хавьер смотрел на темный язык наползавший с запада тучи, где-то далеко тянулись к земле скрученные вены дождя и града, он устал от разговоров, ему хотелось быть одному — в этот перламутровый час ранних сумерек, время между собакой и волком.

Фэй пожал плечами и зашагал по тропинке вниз. Еще пять часов ему предстояло добираться до дома Падрика, старого Падрика, единственного его родственника. Праздники бывают не только у басков.

В армии

Январским полнолунием 1863 года шестнадцатилетний Райли Макгеттиган, плотно сложенный, с кукольными ступнями, покинул кишевшую полудикими сородичами семейную ферму и перебрался в Голуэй, где за пять ночей обчистил достаточно пьяных карманов, чтобы хватило на билет до Нью-Йорка. Напоследок его воспаленные от дыма глаза ухватили кающегося грешника, который, опираясь на короткую палку, елозил сбитыми до крови коленями по шершавой набережной.

В легендарном городе, голодный и без гроша в кармане, он занялся сперва все той же очисткой карманов, месяц или два удачно, потом его поймали и как следует отлупили, но едва поимщик отвлекся на бутылку с джином, пленнику удалось бежать, затеряться среди улиц и вступить в банду, называвшую себя «Ирландские юнцы»; он тяжело и жарко сражался во всех бунтах призывников, ревностно лупил попадавшихся под руку черных, оказался замешанным в трех повешениях и вместе с толпой таких же отморозков устроил пожар в приюте для цветных на Пятой

авеню. В конце лета, за небольшую плату он отправился служить вместо какого-то янки, сына торговца кухонной утварью (как же любили в ту войну американцы это ирландское пушечное мясо), и вместе с дюжиной других «пэдди» очутился в прорывавшейся на юг армии Шермана — один полумиллиона тех, кто искал не смерти, но богатства, и закончил свою жизнь на марше, в такт барабанам, чьи палочки вполне можно было делать из бедренных костей, под знаменем, на котором хорошо бы смотрелась мертвая голова.

Он прошел с боями от разгрома в горах Кеннесо до океанского побережья Джорджии, распевая бодрую песню мятежников «Берег скалистого острова», хохоча над остроумной депешей Шермана президенту Линкольну: «Почитаю за честь преподнести вам в качестве рождественского подарка город Саванну», постигая премудрости игры на свистульке, и в конце концов так полюбил эту грубую жизнь, что, когда война закончилась, остался на сверхсрочную драться с индейцами.

Он женился на Мэри Бланки, закаленной в нищете красноухой девице, прибитой каким-то ветром к федеральной армии и мечтавшей о доме и хоть самом плохоньком, но муже. Такой ей и до-

стался — беременная и дрожащая от одной лишь мысли о краснокожих индейцах, она осталась на восточном берегу Миссури, а Райли осенью 1866 года отправился по Бозманскому тракту в форт Фил-Кирни.

В декабре в составе кавалерийской колонны под командованием хвастливого капитана Уилли Феттермана он сопровождал обоз с пиломатериалами из сосновой рощи в восьми милях от форта. Феттерман, свято веря в миф о непобедимости белой расы, въехал на своей лошади прямиком в ловушку. Худенький индейский мальчик, бежавший перед ними, казался до смерти перепуганным, он петлял и уворачивался, но не сокращал промежутка. Эта легкая добыча, этот неуклюжий юнец довел галопирующую колонну от тропы до горного кряжа, где трава, булыжники и овраги вдруг изрыгнули из себя стрелы; орда улюлюкающих воителей, классическая ловушка «Бешеной лошади» — стремительные броски острых томагавков и крепких деревянных дубинок, тучи свистящих дротиков уничтожили колонну меньше чем за двадцать минут. Девятнадцатилетний Райли Макгеттиган упал на землю с застрявшей в горле стрелой, успев лишь изумиться краткости жизни

(Он выжил. Нервная похоронная команда притащила его обратно в форт, откуда он отправился в тыл долечиваться, но как-то лунной ночью, решив, что с него довольно индейцев, сбежал из полевого госпиталя и двинулся в Техас, где влачил жалкое существование скотокрада вплоть до 1870 года, когда его поймал на месте преступления один из ранчеров с неплохим чувством юмора. Этот ранчер собственноручно забил и ободрал корову, прострелил Райли локти и колени, засунул его в коровью шкуру, так что из швов торчали только голова и ноги, и оставил это сооружение на солнце, пообещав через месяц принести чего-нибудь выпить. Целый день шкура усыхала и скукоживалась все сильнее и сильнее, к вечеру на вонь расплывавшейся туши сбежались койоты, они пускали слюни и заполняли ночь своей заунывной музыкой, пока не настал день, и их не сменили канюки, похожие на рассыпанный по небу перец.)

Четыре года Мэри Макгеттиган не выходила замуж, хотя и родила за это время трех сыновей с весьма удобной фамилией Макгеттиган — Райли-младшего, затем второго, который, едва научившись ходить, упал на раскаленную плиту и умер от ожогов, и самого маленького,

не вынесшего холеры. Наконец она перебралась в Динамит, штат Монтана, где железнодорожный рабочий Фрэнсис Дермот покорил ее сердце песней «Прекрасный мечтатель» и безумным ирландским тенором. Она вышла за него замуж и в следующие десять лет родила четырех сыновей и трех дочек, все они благополучно выжили и разбрелись по континенту, став женами и матерями, лаборантом, карточным шулером, закончившим свою жизнь в корсете из колючей проволоки, погонщиком мулов и железнодорожным рабочим, сочинявшим по воскресеньям изысканные стихи.

Папаша Фэя

Райли-младший, папаша Фэя, был редкостным неудачником, настоящее несчастье Макгеттиганов, как он говорил. Он батрачил и жил бобылем до сорока лет, пока скопив немного денег, не купил паршивенькое засушливое ранчо и не выписал себе из Ирландии невесту, семнадцатилетнюю сиротку по имени Марджи, тихую, работящую и проворную певунью — лучше всего она выводила «Белогрудую жемчужину», аккомпанируя себе на крошечном аппликатурном диатонике, который называла «приди-уйди». Она передала своим детям вкус к звуку — человеческому голосу, что прорывается сквозь шелест травы, стены и даже небо, нависшее на невидимыми горными кряжами. Что бы ни выпадало на ее или на их долю, у этой женщины всегда находилась песня, свернутая клубочком в ее легких; она знала сотни стихов и сотни мелодий, помнила каждый музыкальный отрывок, что доводилось слышать, и ловко подражала щебету птиц. Она по ржанию узнавала лошадей, слышала гул урагана за день до того, как он обрушивался на поселок, своим грудным голосом брала самые высокие

ноты и в 1921 году расплакалась посреди улицы, впервые услыхав фонограф, с которого тенор Том Бёрк[310] выводил «Если ты меня не забудешь».

Ее муж, Райли-младший, был упрям, искал успокоения в выпивке, его раздражали мужчины, женщины, дети и лошади, он едва умел читать, сделал Марджи семерых детей и в один прекрасный день 1919 года вышел из дому, вскочил на верного коня и ускакал на закат, оставив жене заложенное ранчо, грудного младенца и сто двенадцать голов тоже заложенного стада.

(Он добрался до Сан-Франциско, где попал под разворачивавшийся «кадиллак» с автоматическим стартером.)

Когда старик их бросил, Фэю было одиннадцать лет; рядом с ним, на ступеньку ниже находился десятилетний Падрик — «оторва», как называла его мать. (Это имя он заработал в пятилетнем возрасте, когда мать впервые взяла его в город. В магазине он вовсю таращился на удивительные предметы, которые висели, стояли, валялись и лежали на полках, а особенно на мириады отраженных в зеркалах конфет, когда вдруг распахнулась дверь и в зале появилась собака.

---

[310] Примечания: 310

Том Берк (1890 — 1968) — известный английский оперный певец.

Марджи изучала бумажную упаковку с иголками, прикидывая, достаточно ли велики их ушки для шерстяных нитей, а в нескольких футах от нее Падрик разглядывал конфетные обертки и, мучаясь от выбора, зажимал в ладошке тяжелый пятак. Собака, которую сначала никто не заметил, шатаясь, побрела по боковому проходу; сухие тяжелые глаза вращались, а на черной губе застыла пена. Потом она вдруг с шумом выскочила из-за полок, свалив по пути стекло от керосиновой лампы, на звон обернулся продавец:

— О, господибожемой, бешеная собака, — заорал он и вскарабкался на прилавок, скользнув башмаками по сколотому кнопками бумажному вентилятору и успев потянуть за руку какую-то покупательницу. Падрик видел, как собака прошествовала мимо, но мать обернулась, только когда псина с рычанием и чавканьем вцепилась зубами в ее юбку. Марджи завизжала и протянула руки к Падрику, чтобы поднять его повыше. Мальчик решил, что мать зовет на помощь и, поскольку ничего лучшего под рукой не оказалось, схватил тяжелую восьмигранную банку пряного печенья с корицей, выскочил вперед и шарахнул ею по голове бешеной собаки. Свалившись на бок, пораженная псина сучила ногами до тех пор,

пока не испустила дух под ударами спрыгнувшего с прилавка продавца. Оторву чествовала вся улица, всю дорогу домой его рвало сахаром, зато в кармане у него лежали два окровавленных собачьих уха.)

— Ты теперь мужчина в доме, — сказала мать. — Тебе придется работать. Нужно зарабатывать на жизнь. — Для себя самой она представляла лишь один, классический заработок — стирку. Всякий раз, вспоминая мать, Фэй видел перед собой ее мягкие руки, слышал хлюпанье мыльной пены и сладкий голос, выводивший «Белогрудую жемчужину».

Отвергнутая любовь

С раннего детства Фэй считал себя бедным, некрасивым, скромным и необразованным ирлашкой, которому не светит семейное счастье. Эта болезненная уверенность сочеталась в нем с тайной, безнадежной и безрассудной способностью влюбляться во всех более или менее привлекательных женщин или девушек, попадавшихся ему на глаза, живьем или на фотографии. Он краснел, бледнел, смотрел на прелестниц только сквозь ресницы или, в крайнем случае — на их отражения в оконном стекле.

В разгар Депрессии, когда ему исполнилось двадцать четыре года, на конюшне появилась батрачка по имени Юнис Браун, тощая костлявая женщина, с лицом сумасшедшей святоши — выпученные блестящие глаза, рот, обезображенный шрамом от ожога, когда узкоглазая кузина замахнулась на нее раскаленным утюгом. Новая работница явно втюрилась в Фэя и приводила его в замешательство, тараща свои овечьи глаза, всякий раз, когда по какому-нибудь делу он заглядывал на конюшню. Старик Раббл говорил, что силы у этой бабы не меньше, чем у мужика,

она готова работать почти задаром, и даст фору любому ковбою, поскольку не пьет, но Фэй думал про себя, что у старика, наверное, отшибло нюх и зрение, потому что за пазухой эта девка таскала пинтовую бутылку, и он сам раз или два к ней прикладывался. Но Фэй любил только красавиц, и с этим ничего нельзя было поделать.

Как и его старый папаша, Фэй занимался крестьянской работой, переезжая от одного ранчо к другому по всей долине, но мог бросить все и уйти из-за воображаемой обиды, или просто потому, что ему надоела еда и соседи по койкам, — однако лишь для того, чтобы в нескольких милях от этого места найти еще более убогую работу у нового безрассудного ранчера в новом донкихотском климате; несколько месяцев подряд он прожил под одной крышей с человеком по имени Баллах, который пиликал на концертине с кнопками, сделанными, по его словам, из костей русалочьих пальцев; этот Баллах и научил Фэя играть на инструменте.

Дело было на ранчо Драузи, но они называли хозяина Проверялой из-за любимой фразы старика Драузи «Обязательно все как следует проверьте». Там был глубокий каньон и колодец на самом его дне. Чтобы поймать хоть какой-то

ветер, мельницу водрузили на самую верхушку стодесятифутовой башни. Самая ненавистная и проклятая богом работа — еженедельно карабкаться на эту башню, чтобы там, под стоны и качания рахитичного сооружения, смазывать мельничные механизмы. Первое выступление Фэя перед публикой было связано с этой мельницей — он играл на концертине незнакомого ковбоя, во время праздника в честь пожара, что разгорелся в каньоне и спалил дотла ветряную мельницу.

Он пошел работать к Кеннету в 1957 году, в сорок девять лет и только потому, что влюбился в Бетти — с первого взгляда, лишь увидав ее ирландское лицо, очаровательные золотисто-каштановые, словно перекрученные медные нити, волосы, выпирающий живот с ребенком внутри, старомодный льняной рабочий сарафан с кофейного цвета оборками у горловины и на рукавах — это платье для беременных было скроено так, что женщина становилась похожей на маленькую девочку, а когда огонь Бетти разгорелся в честь черноволосого почтальона с голубыми, цвета сойкиного крыла, глазами, Фэй проработал на месте слишком долго, чтобы все бросать. С тех пор он питал слабость к беременным женщинам.

Но себя считал достойным разве что самых убогих проституток — из тех, что колются наркотиками, расчесывают струпья, грызут красные ногти и не интересуются ничем вообще.

Танец на холодном линолеуме

Раз в год, на праздники, они встречались с Оторвой, это был их ритуал — двух страшноватых на вид, пьяных пожилых братьев, не обладающих никакими талантами и радостями, кроме виски и музыки, ибо Падрик со своим белым чубом, плутоватыми глазами и перекошенным ртом играл на ирландской волынке, так что когда Фэй ставил на стол бутылку виски и доставал концертину, а Падрик выпускал первую порцию воздуха в зажатые подмышкой клетчатые легкие, наступало их время.

Они играли песни своей матери, песни, сплетенные из ритмов и созвучий старого языка, на котором братья никогда не говорили и редко слышали. Падрик записал названия на листке бумаги, и каждый год кто-то из них припоминал отрывок из «Босого бобыля», «Коулин» или «Дженниных цыплят». Оторва помнил все песни о любви, ведь во время Второй мировой войны был женат целых четыре дня, но о том, что тогда произошло, не знал ни Фэй, ни кто-либо еще, кроме Падрика и той женщины, кем бы она ни была.

Сейчас братья стояли в прихожей у Оторвы, вцепившись друг другу в локти, брат склонил голову на плечо брата, родной запах ядреного табака и обертонов виски соединялся в памяти с теплом и уютом темно-коричневого одеяла, которое они делили семьдесят лет тому назад.

— Ось же ш «Ирландски час», — сказал один, выплескивая в стакан первую порцию принесенного другим виски и на свой собственный шутливый лад передразнивая ирландский акцент. — А что б тебе раздобыть аккордеон в хорошем бемоле, хотя бы ми-бемоль, а?

— Ага, только лучше бы ре-до. Для всего годится. Эх, мне бы деньги, да время, чтобы подучиться. Ладно, сойдет и это. Надо же старому ковбою Хавьеру что-то петь своим лонгхорнам, а мне и так сгодится. — Пальцы его правой руки согнулись и запрыгали в такт «Собак средь кустов», из концертины полились рулады и триоли, букет был расцвечен так ярко и насыщенно, что Падрик ощутил аромат этой музыки, сладкий и немного маслянистый. Он собрал для брата стопку ирландских газет, а у Фэя для него всегда были в запасе одна-две истории и пара кассет, чтобы слушать в машине. Он думал, как там несчастный баск — на одиноком склоне со своим убогим инструментом

из птичьих костей — у него ведь нет брата, чтобы поддержать компанию и спеть песни детства.

— Знаешь, что я думаю, — сказал Фей, — столовые горы, хребты, всякие кряжи — это ведь разломы, так? Поломанная земля? А с музыкой не то же самое? Звуки ломают воздух, да? Опять разлом, хоть и его никто не видит.

Поздно ночью, когда оба упились и унеслись в свою гибкую молодость, Оторва встал и, под щипки и перестуки «Разбитой тарелки», стал танцевать; у смотревшего во все глаза Фэя перехватило дыхание, не желая отставать, он тоже отложил инструмент и под безмолвную музыку пустился в пляс на грязном кухонном линолеуме.

Ломбард «Бедный Мальчуган»

Фэй спустился с горы, и Хавьер заиграл — он играл и пел в сгущающейся темноте, пил и снова пел; голос вместе с покореженными, разваливающимися — а какая разница? — созвучиями и безумными нотами зеленого аккордеона отражался эхом от огромных валунов, и Хавьеру казалось, будто эти ноты, отскакивая от булыжников к скалам и обратно, вычерчивают в пространстве треугольники и трапеции, и это было прекрасно, прекрасно слушать их тут, в одиночестве.

Но открыв на следующее утро инструмент, он стал смотреть, что в нем можно починить. Язычки проржавели, ясное дело, но и ось, опора для клавиш, очевидно, покрылась коррозией, проваливалась, из-за этого и западали кнопки. Он подумал, что качающаяся на ветру овечья повозка — не самое лучшее место для замены оси, все же тонкая операция, но решил, что испортить этот инструмент уже невозможно. О клапанах он не беспокоился, под койкой у него лежал рулон кожи и большой ремень.

Он порылся в своих железяках, разыскивая

клещи, чтобы подцепить ось, но почему-то их там не оказалось. На дне ящика обнаружились старые и ржавые овечьи ножницы и древние хирургические щипцы для кастрации.

— Подойдет, — сказал он аккордеону, — наверное. — Но вместо того, чтобы хватать ось за конец и тащить ее рывком, приладил кусачки. Сойдет.

Язычки молча страдали от зерен ржавчины, забивших входные отверстия, и он прочистил их шелковой нитью из коробки с рыболовными штуками. Сталь на язычках была покрыта ржавыми островами, он соскреб их острием ножа, стараясь, чтобы опилки не падали внутрь. Потом вычистил язычки зубной щеткой и дул, пока не закружилась голова.

По уму менять нужно было все — меха, язычки, пружины, язычковую пластину, решетку и так далее. Но у аккордеона был удивительный голос: звучный, протяжный, он навевал печаль на горные склоны.

Как-то этим же летом, уже в другом лагере, ближе к западу, Хавьер положил аккордеон на землю и, позвав собаку, отправился выяснять, с чего вдруг дальние овцы стали так нервно блеять, с виду ничего особенного, но беспорядок на земле заставлял задуматься, не появилась ли в округе

какая-нибудь кошка; однако, отчетливых следов не было, все овцы живы, никаких признаков резни. Пес тоже не проявил особого интереса к взъерошенной площадке.

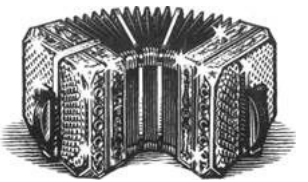
Он уходил на два часа, может на три, а когда вернулся и наклонился за аккордеоном, по-прежнему раздумывая о кошке, которая, как ему теперь казалось, все же была там, на вершине склона, задел мехами притаившуюся под инструментом гремучую змею, и тут же в вену на сгибе локтя впились острые зубы.

Десять дней спустя его нашел лагерный механик — от высокого солнца кожа пастуха почернела и высохла. Наверное, разрыв сердца, подумал механик, бедный старый ублюдок, и вместе со всем имуществом уложил Хавьера на заднее сиденье пикапа. Его похоронили на краю кладбища, без могильного камня, а вещи сложили в баскском отеле, где он обычно проводил зиму и те мрачные времена, когда не было работы.

Через два года хозяин продал отель молодой вьетнамской паре и вернулся в рыбацкую деревушку Эланчоув, где родился шестьдесят семь лет назад — он надеялся найти там невесту и несколько лет семейного счастья. Новые хозяева выкинули из задней комнаты коробки со старой

одеждой, Библии и катехизисы, шпоры, сапоги и рваные седла, пожелтевшие календари, которые день за днем перечеркивались кривыми, вдавленными иксами, еще там валялись пастушьи крюки, ружья, древние трубы и зеленый аккордеон. Все, что выглядело более-менее прилично, ушло на комиссию в ломбард «Бедный Мальчуган».

ДОМОЙ
– С ПРИШИТЫМИ РУКАМИ



Хемницер

Безобидный

Айвар Хасманн, младший сын Нильса и Элизы Хасманн, внук иммигрантов Гуннара и Маргарет Хасманн в конце 70-х был заметной фигурой в Олд-Глори, штат Миннесота; он катал по улицам магазинную тележку со скрипучими колесами, подбирал консервные банки, бутылки, иногда засаленные трусы с отпечатками подошв, не брезговал и камнями интересного рисунка, ковылял, согнувшись и опираясь на ручку тележки, светлые волосы падали на плечи пыльными веревками, он завязывал их под костлявым подбородком, когда в спину дул сильный ветер, глаза цвета небесного стекла все время моргали; у него было ясное лицо, но ржавые мозги и скверный характер. Люди относились к нему спокойно, но с опаской: одни говорили, что он ест бродячих собак, другие считали, что он живет по-свински.

И все же он приносил обществу кое-какую пользу. Женщины отдавали ему ненужные вещи: трехногие журнальные столики, пятнистые подушки, банки для печенья в форме бульдожьей головы, доставшиеся им бесплатно, в придачу к стиральному порошку, секции игрушечных

железных дорог, настенные таблички в стиле модерн с летучими гусями, пыльные эвкалиптовые листья, бананы и артишоки из папье-маше, розовые колыбельки — наутро после смерти их обитателей. Все это добро он тащил под куст сирени в хижину, служившую в начале века лошадиным стойлом — вытянутое сооружение заваливалось на один бок, словно поднимающийся на ноги верблюд, а крышу Айвар кое-как заделал приплюснутыми банками из-под соды.

Он не знал, что такое секс с женщиной. К мужчинам же, после особых отношений с поваром из гриля «Уилли», относился двойственно.

Нильс и Элиза

Айвар появился на свет в последний год Второй Мировой войны, его родители в то время фермерствовали к северу от города на земле, когда-то черной от густой тени гигантских сосен. (Лес извели задолго до того, как старый Хасманн купил свою ферму, его вырубили лесорубы и пильщики с острова Принца Эдварда, из Мэна, Квебека, Нью-Брансвика, Финляндии, Норвегии, Швеции; они продвигались на запад, а покрытую пнями землю заселяли немцы, чехи, скандинавы, словаки, хорваты, литовцы, поляки, русские, сербы, несколько ирландцев и французов, чтобы фермерствовать там каждый на свой лад.)

Гуннар Хасманн в 1902 году явился из Норвегии (корабль плыл по тем самым водам, где через девяноста три года на оффшорном газовом месторождении Тролл установили самую большую в мире плавучую бетонную буровую), десять лет он таскался по Висконсину и Мичигану, устраиваясь разнорабочим на свинцовые рудники, лесопилки или батраком на фермы, прежде чем семья купила участок вырубки по пятьдесят центов за акр. Упрямый недотрога Гуннар расценивал любое

приветливое слово как снисхождение до себя и таил обиду на всякого, кто был настолько плохо воспитан, что смел называть его по имени. Учебу и книги он считал выпендрежем для сопляков из среднего класса и всех своих детей забрал из школы. Он знал одну-единственную шутку, и обращал эту язвительную браваду ко всем, кто оказывался на его пути: а не пойти ли тебе туда, откуда пришел я?

Мальчик Нильс под властью обидчивого папаши вырос практически неграмотным, но зато научился обращаться с топором — подходящий навык для лесоповала, где он начал работать в пятнадцать лет. К двадцати же стал известным на все айдахские горы тесальщиком шпал.

(Его сестра-близняшка Флоретта ушла с фермы через месяц после брата. Сперва она прибилась к шоу Джека Брэди «Все девушки Дикого Запада», потом, переключившись на родео, стала чемпионкой по трюковым заездам и в скачках на мустангах. В 1927 году в Тукумкари, Нью-Мексико, она упала с лошади, ударилась затылком и умерла на месте от перелома шейных позвонков.)

Нильс не любил фермерство, но, пусть и с неохотой, возвращался к нему каждый год, когда кончался сезон работы, пьянства и матерщины

в интернациональном лагере, болтавшем на шведском, норвежском и английском языках. Летом, после сплава, мучаясь от «скрипучих пяток» — звучной болезни ахиллесова сухожилия, одолевавшей почти всех, кому приходилось спихивать бревна в низвергающуюся талым снегом воду, — он добирался на попутках до Олд-Глори, где его жена Элиза управлялась на ферме; помогала ей полоумная кузина Фредди, хорошая работница, которой не нужно было платить деньги.

Но как только последний стог сена укладывался под крышу сеновала, и кончался обмолот кукурузы, Нильс доставал топоры, обычный и плотницкий, шкуровку и вновь отправлялся в лесной лагерь, горя желанием дорваться, наконец, до табака, виски и тяжелых запахов грубой мужской компании — в этом лагере он остался без зубов, если не считать двух нижних и двух верхних в мертвой точке, остальные вылетели зимой 1936 года, когда вязальщик шпал по имени Олесон, заехал ему в челюсть промасленными клещами. (В 1943 году этот Олесон ушел в морфлот, прослужил там до 1947-го и вместе с шестью сотнями таких же, как он, погиб в Техас-Сити, Техас, когда у причала взорвался корабль с полным трюмом нитрата аммония.) Нильс заказал пла-

стинку, послав дантисту отпечаток своих десен на жевательной резинке. Зубы сидели непрочно, частенько выпадали в питейных боях, так что пришлось нагретым острием ножа выжечь на них инициалы Н. Х.

— Знаешь, что это значит? — спросил Олесон. — Н. Х. — Ничего Хорошего.

В лесу он был как дома, — ловкий и неутомимый тесальщик превосходных, семь дюймов на восемь футов, шпал; уши торчком в ожидании звона било, воображение прокручивает прекрасные бордельные или салунные сцены, а то просто: лунная ночь, скрипка, аккордеон, на пнях свежей лесосеки расположились шпальщики-музыканты, а на грубой земле, растаптывая в пыль конусы болиголова, танцуют с тенями друг друга пары.

В 1938 году Нильс рубил сосну; от ее падения задрожал крутой снежный склон, и вниз покатилась небольшая лавина — белое шипящее облако из пудры и камней. Отшвырнув топор, Нильс бросился наутек и успел убежать довольно далеко, так что живьем его не закопало, а лишь присыпало до колен ноги, но перед этим шальной булыжник, подпрыгнув и нырнув в облако, стукнул его по голове так сильно, что Нильс потерял сознание. Когда он пришел в себя, было темно, в

глаза ему бил луч фонаря Олесона, но Нильс не помнил ни своего имени, ни где он находится. Он сказал:

— Привет олдсмобиль, — вместо Олесон, — и лесорубы одобрительно захлопали. По крайней мере, он был жив, ведь все еще помнили молодого Сома Аксела, который два года назад, топая вдоль железнодорожного полотна по свежему снегу, тоже попал под лавину — его нашли замерзшим и скрученным в кольцо, ноги в снегоступах плотно прижимались к лопаткам.

Нильс поправился, но в памяти остались провалы, на пустом месте он впадал в крикливую ярость, словно тот шальной булыжник пробудил к жизни дикий необузданный нрав. Компания вручила ему обходной лист, и Нильсу некуда было деваться, кроме как обратно в Олд-Глори, на ферму.

Терпение, терпение

Вот кем он был, когда родился младший сын Айвар — фермер против своей воли, с протухшими мозгами, и это в то время, когда мужчины, головы которых были пока целы, уходили сражаться с силами Оси Зла. В стельку пьяный, он явился домой на рассвете — этой ночью, послушав минут двадцать Элизины стоны, он отвез жену в больницу, потом отправился в бар для лесорубов и надрался там виски с пивом. На ее же долю досталась мучительная работа и пронзительные вопли — вопреки своему желанию. Чуть позже она с облегчением погрузилась в то, что толстый косоглазый врач называл «сумеречным сном» и так родила ребенка, однако запомнила все и поклялась, что никогда больше не подпустит к себе Нильса, этого бешеного кобеля.

— Да все ты забудешь. Встретимся через год, — сказала акушерка.

Пьяный Нильс ввалился в дом, зевая и мечтая поспать хотя бы часик перед утренней дойкой — в сладкой и непривычной тишине, ведь их старшего сына Конрада Элиза отправила к сестре, а полоумная кузина еще храпела, зарывшись в

сальное одеяло; он рухнул в кровать и проспал ровно семь минут, когда этот уродский дятел разбудил его жутким стуком по кровельной дранке. Схватив ружье, Нильс голышом выскочил из дома, но птица улетела, попискивая, как жеманная красавица. Он выругался. Он повалился обратно в кровать, положил ружье на Элизино место, но только натянул одеяло на плечи, как дятел застучал снова. Грохотало точно над головой. Вне себя от ярости он пальнул в потолок, оглох от выстрела, разнес кровельную дранку и еще раз выскочил из дома, полюбоваться на труп врага. Птица сидела на яблоне и выдалбливала дыру размером с грейпфрут. Нильс бросился обратно, схватил ружье, выскочил опять, спрыгнул с крыльца, но дятел уже улетел. В хлеву мычали коровы. Опять в дом, трясясь от ярости, но стоило ему подняться на две ступеньки, как издевательский стук раздался вновь; Нильс кинулся в кухню, уже не помня себя и изрыгая проклятия, рывком вытащил ящик красного буфета, в котором Элиза держала спички, смял кусок газеты, залез на чердак и поджег крышу точно в том месте, откуда доносился стук. Ярость угасла через минуту, но пламя уже охватило крышу. Пожарным удалось спасти первый этаж, и остаток зимы семья прове-

ла в тесных, воняющих гарью комнатах. Весной он перестроил верхнюю часть дома, однако, отпилив балки для лестницы, обнаружил, что отмерил все неправильно, но слишком разозлился, чтобы покупать новые доски и начинать заново, так что просто забросил работу. С тех пор, чтобы попасть в верхние комнаты, им приходилось карабкаться по приставной лестнице.

Айвар рос в постоянном ужасе перед необузданным гневом отца, которого рикошетило от шлепков и воплей в сарае к имбирному печенью со сливками на кухне.

Нильс, когда на него находило рассудительное настроение, давал Элизе подробные инструкции о том, как надо воспитывать детей. Его собственные родители твердо держались рецептов из книги измученного ностальгией техасского колониста «Как эмигрантам сохранить норвежскую культуру»; этот труд подробно растолковывал достоинства норвежского языка, ежедневных утренних и вечерних молитв, норвежских гимнов, одежды, пищи и, если повезет, необходимости вернуться в страну *«elskede Nord»*[311]. Каждый день они пели *«En Udvandrers Sang»*,*«O*

[311] Примечания: 311
Любимый север (норв.).

Norges Son»[312] или другие песни. Мать хотела бы жить в норвежской коммуне, где земля принадлежала всем. Но Гуннар орал, что ему нужна независимость, собственная земля, и купил могучий звездно-полосатый флаг. Много лет подряд Нильс затягивал по пьяни «Пирушку скелетов», в ней пелось о мире и свободе за морем: *«Bliver os Skatter, Afgifterforsvor, reiseviVestoverSe, tilMissisippisBreder, oder, ja, o der i Frihed vi blegne og doe…»* но своим собственным детям запрещал учить слова этого калечащего рот языка. Живите в Америке, говорил он им, Олеана — это норвежская утопия, приснилась как-то Оле Буллу [313], нелепость, да и сами норвежцы — нелепые люди, у них нелепый акцент, они выглядят по-дурацки со своими нелепыми обычаями, низкими комедиями и песнями, в которых нет ничего, только пердеж, красные распухшие носы и закатанные короткие штаны. Ни над кем так не смеются, как над норвежцами, никто не орет «кто бросил палтуса на палубу полуюта?» с таким нелепым преувеличенным акцентом, кто еще будет пили-

---

[312] Примечания: 312

Гимн «Сын Норвегии» (норв.).

[313] Примечания: 313

Оле Булл (1810 — 1870) — композитор и скрипач-виртуоз, посвятил свою жизнь пропаганде норвежской культуры.

кать на гармошках под коленками или за ушами, пока не взвоешь. И что за упрямые люди, им и в голову не приходит посмотреть на других. Так погиб в семье Хасманнов родной язык старых Гуннара и Маргарет.

Чтобы показать, насколько упрямы и узколобы норвежцы, Нильс рассказывал историю о том, как старый Гуннар с дядюшками копал на ферме колодец. Вырыв семь футов, они наткнулись на жилу из блестящих зерен и красных самородков. Медь? Возможно. Упакованные в коричневую оберточную бумагу образцы загадочной руды должны были отправиться в лабораторию. Но вода была нужна сейчас, и мужчины стали копать дальше. По непонятной причине этот интересный пакет так никуда и не послали, и время было упущено.

— Ради воды забросили медную шахту. Мы были бы сейчас миллионерами, — говорил Нильс, — если бы не эти норвежские дурни. — Но сам он и пальцем не пошевелил, чтобы покопаться рядом со старым колодцем, которым не пользовались уже много лет. Гораздо приятнее размышлять, как вместо того, чтобы горбатиться на ферме, они летали бы на крыльях удачи.

Атомная странствующая церковь

В 1951 году, когда Айвару исполнилось семь лет, к ним во двор заехал проповедник — на двухцветной машине с прицепленным фанерным трейлером, теннессийкими номерами, кучей женщин, детей и коробок. Проповедник постучал в дверь, сказал, что его зовут Говард Поплин, и спросил Нильса, нельзя ли им пожить пару дней на нижнем поле рядом с дорогой, он с радостью заплатит доллар или два. Нахмурив бесцветные брови, Нильс сказал да, живите, платить не нужно, мы все братья в этом бренном мире, он рад приветствовать на своей земле любого честного христианина. Он не улыбнулся, он вообще никогда не улыбался. После обеда отправился смотреть, что они там делают — как бы чего не поломали — и позвал с собой Айвара, велев Конраду задать свиньям корм.

Женщины Поплина, сгрудившись в сторонке, возились с ящиками — жена и пожилая женщина, должно быть, мать жены, решил Нильс, глядя на их вытянутые головы и длинные космы — у старухи седые, а у той, что помоложе светлорусые, но форма головы одинаковая, у обеих на

лбу выступают вены, у обеих сонно-изумленные глаза. Ни та, ни другая не представляли особого интереса.

Проповедник раскладывал трейлер. Две поджарые девочки с мучнистыми лицами помогали ему выдвигать длинные шарнирные секции крыши. С пронзительным деревянным скрипом раскрылись боковые стенки; священник нырнул в середину дырявой конструкции и вытащил крюки, поддерживавшие пол, затем установил и сам пол на шлакоблоках, которые девочки уже разложили по земле.

— Екэлкмене, господи Иисусе, — только и сказал Нильс.

— Не поминай имя Господа всуе, брат. Да! Он и есть, дом-странник, если разложить, шесть человек разместятся с большим удобством. Загляните внутрь, там вполне просторная гостиная. Хорошая кухня, две спальни. Разработан специально для странствий, должен стоять в системе парков по всей стране, национальная программа, все одинаковые, ладные, с иголочки, бери с собой домишко, становись на колесики и езжай, куда глаза глядят, — за теми, кто уже странствует от Калифорнии до Нью-Йорка и Флориды. Привет, сынок, — сказал он Айвару, — ты, наверное, хотел

бы так победокурить, а? Вот и я непрочь.

— Что еще за система парков? — спросил Нильс. — Никогда про такое не слыхал.

— Ну, парки еще не построили, но построят, как только Эйзенхауэр доведет до ума свою систему дорог. Ко мне это пришло после молитвы. Дома-странники пойдут хорошо. У меня свое дело, я проповедую божье слово и рассказываю людям об этих домиках. Они нужны миллионам. Жена с матерью занесли в дом коробки. Айвар слышал, как они там переговариваются, расставляя тарелки в складном буфете.

— Мы столько времени проводим в дороге, — сказал Говард Поплин. — Рискнул бы предсказать, что через десять лет полстраны будет жить в таких вот мобильных домах, в домах на колесах. Налоговый пресс — вот, кто это сделает. Вы строите дом, селитесь туда со всей своей растущей семьей, и вот они тут как тут со своими вечными налогами. Вы у них в клешнях, вам никогда не вырваться, вы привязаны к этому дому. По соседству селятся негодяи, кричат и дерутся ночи напролет, их собака пролаяла вам все мозги, но вы ничего не можете сделать. Через дорогу строится ипподром или танцзал, вы терпите и это. Плюс цена за строительство стационарного

дома воистину ужасна, эксперты говорят, во всем виноваты профсоюзы; простой шестикомнатный дом обходится вам в десять тысяч долларов. Маленький дом-странник — вот настоящая Америка, такая, какой она должна быть. Он борется с налогообложением. Он за свободу и независимость. Он взывает к инстинкту первопроходцев.

— Звучит разумно, — сказал Нильс. Говард Поплин провел его в дом. Стены из лакированной фанеры, на окнах мятые занавески в красную клетку. Пол прогибался под ногами, в доме было темно и гуляло эхо.

— Угостила бы мальчугана печенинкой, — сказал Поплин жене. Айвару позволили взять у женщины черствое печенье с изюмом. На лбу у нее пульсировала жилка.

— Один только раз с этим домом случилась неприятность — на узком мосту большой трактор пропорол ему бок, но поскольку этот всего лишь фанера, я залатал ее за полчаса. А теперь посмотрите сюда, — сказал проповедник, когда они снова вышли на воздух, и стащил с крыши машины плоский тряпичный мешок. Вытянув длинный деревянный треугольник, он развернул его в пространственную фигуру.

— Держите, — скомандовал он девочкам. Те

вскарабкались на крышу, и подхватили треугольник. Затем установили блоки, с помощью крючков и глазков закрепили фигуру, получился настоящий купол. Теперь настала очередь флага, который Говард Поплин и повесил над входной дверью. «АТОМНАЯ СТРАНСТВУЮЩАЯ ЦЕРКОВЬ ИИСУСА! Мы Верим в Предзнаменования! Мы с Тобой!»

— Готов спорить, ты никогда раньше не видел странствующих церквей, — сказал он Айвару.

Обращение

— Который час? — спросил Нильс самого себя. В темноте он не разглядел зеленовато поблескивающих стрелок часов. — Ого, — буркнул он, дернув за выключатель лампы. — Два часа ночи. Что там, черт побери, происходит? Как будто свиней режут. — Он сел, сбросил ноги с кровати и натянул брюки. — Не хватало только, чтобы сперли свиней…

Элиза тоже проснулась, вытащила голову из-под подушки.

— Господи, что случилось?

— Проклятый проповедник со своей складной молельней. Понятия не имею, что он там делает — послушай! — Издалека доносился рокот голосов, словно толпа народу убегала от чего-то ужасного.

— Знаешь что, я сыта по горло, сколько еще ты будешь пускать сюда неизвестно кого? Дождешься, придушат тебя ночью твоей же собственной подушкой. Иди скажи им, чтобы убирались с нашей земли. Я бы в жизни сюда никого не пустила. Надоело до смерти. Забыл, как в прошлый раз притащил сюда цыган, как они выкопали розы

и всю ночь распевали похоронные песни? Еще имели наглость поучать, чтобы я не лила на муравьев кипяток, муравьи, говорят, наши друзья, как я могу их обижать. А бродяга, который, таскал у нас на кухне банки? Да еще лез ко мне своими лапами. Ох, как мне все это вынести. — Она повалилась на подушку и натянула на голову одеяло. — Как можно было выходить за человека, если он даже на танцах жует табак, — причитала она, но Нильс не разобрал ни слова из этих приглушенных обвинений. Он перестал их слушать четыре или пять тысяч раз тому назад.

Он спустился по дорожке: издалека была видна гирлянда лампочек, натянутая вокруг складного дома, слышался вой генератора. Подойдя поближе, Нильс разглядел вокруг странствующей церкви неровные ряды людей. Откуда они взялись? — недоумевал он. Женщины со впалыми ребрами и каменными лицами имели вид явно нездешний, мужчины — огромные, как техасские лонгхорны; все они качались взад-вперед и таращились на Говарда Поплина — тот стоял с Библией в правой руке, под лучами электролампочек, покрытый гремучими змеями. Твари ползали у него вокруг шеи, по рукавам куртки, рубашке, оплетали ноги в пузырящихся на коленях

штанах и стекали с пальцев, как замороженное масло. К верхушке похожего на алтарь сооружения была прибита доска.

— От Марка шестнадцать — восемнадцать! — провозгласил Поплин. — Будут брать змей, и если что смертоносное выпьют, не повредит им. Возложат руки на больных, и они ИСЦЕЛЯТСЯ. Не «почувствуют себя лучше», не «пойдут на поправку», наглотавшись дорогих таблеток и заплатив за рентген и гонорары врачам. НЕТ! Иисус СКАЗАЛ: «возложат руки на больных, и они ИС аминь, ЦЕ аминь ЛЯТСЯ! АМИНЬ! Для того мы сегодня здесь, возложим руки на больных, и они ИСЦЕЛЯТСЯ. Для того вы привели нам своих немощных и страждущих. Друзья, я брожу по этой земле от Калифорнии до Флориды вместе с Атомной Странствующей Церковью Иисуса, в этом доме Господа нашего я возлагаю руки на больных, и они ИСЦЕЛЯЮТСЯ. Вниз и вверх по всей стране, куда бы не привела меня дорога — подобно тому, как лодка оставляет за собой белый пенистый след, я оставляю за собой людей, что были больны, а теперь ИСЦЕЛИЛИСЬ. В Балке, Канзас, мать принесла мне младенца. Ребенок не вставал два дня, был вял и сер, как старая половая тряпка, я провел своей рукой — вот так — по гру-

ди, а другой по спине этого ребенка, и младенец открыл глаза: «Мама, я хочу пить», — сказал он. Да, именно так. «Мама, я хочу пить». Я смотрел, как она дает ребенку глоток воды, первый глоток воды за ДВА ДНЯ. Друзья мои, Младенец встал на путь ИСЦЕЛЕНИЯ. В меньше чем десяти милях от этого самого места ко мне подошел человек, старый человек с двумя палками, он с трудом отрывал ноги от земли. «Преподобный Поплин, — сказал он мне. — Преподобный Поплин, я согнут ревматизмом, в молодости меня сбросила на землю лошадь, я замерзал в зимнюю стужу, в метель потерял пальцы на ногах, топор отрубил мне большой палец на левой руке, катаракта затуманила глаза, и я живу в стране скорби после смерти моей жены. Можешь ли ты помочь мне?» «Нет, сэр, не могу, — ответил я, — ибо ты не болен, но стар». БИБЛИЯ говорит: «Я был молод, а теперь я стар. Это приходит к каждому из нас». Те из вас, кто страдает от старости, что совсем иное, нежели болезнь, примите свой удел и глядите вперед во славу Иисуса. Ибо никакая сила не сделает вас вновь молодыми. «Я был молод, а теперь я стар». Это очевидная истина. Но если вы страдаете от болезни — что ж, вот мы здесь. А теперь взгляните на этого несчастного мальчика,

он болен полиомиелитом и не может ходить, но мы поможем ему ИСЦЕЛИТЬСЯ силой АТОМНОЙ молитвы и Иисуса. Я зову молитву АТОМНОЙ, поскольку молитва обладает силой атомной бомбы, молитва сдвигает горы, мы все это знаем.

И тут Нильс с изумлением обнаружил, что мальчик, которого вывела на сцену миссис Поплин, ребенок, что неуверенно волочил ноги, вцеплялся в ее плечо, но все же непреклонно направлялся к ее разукрашенному змеями мужу, был его собственным сыном, семилетним Айваром, который, как считал отец, спал сейчас в своей кровати.

— Айвар, — позвал Нильс, но негромко, потому что мальчик был уже в объятиях Говарда Поплина, и змеи обвивались вокруг его шеи, ползли по руке и падали на пол. Поплин положил ладонь на плечо мальчика.

— Видите, как бледен и слаб этот ребенок? Он едва стоит на ногах, посмотрите, он не может ходить без моей помощи, его ноги искалечены, в них нет силы, его спина перекручивается, словно взбивалка для яиц, едва он пытается сделать шаг, доктора дают ему полгода жизни. Подумайте только! Полгода жизни этой драгоценной юности, чья судьба, возможно, стать великим ученым

и изобрести машину, что превратит траву в манну и золото. Этому мальчику нужна МОЛИТВА, АТОМНАЯ МОЛИТВА. ВоимяотцанашегоИисусаХристаисцелиэтогонесчастногобольногомальчикадайемуздоровьяИСЦЕЛИегоипозвольемуидтивпередиприумножитьисвершитьвеликоеоткрытиеипосвятитьсвоюжизньИисусуХристуславустранствующейатомнойЦЕРКВИАМИНЬ. Теперь, сын мой, посмотрим, сможешь ли ты ходить. — Поплин собрал с Айвара змей, мальчик неуверенно шагнул вперед, затем подпрыгнул, засмеялся, и махнул руками, разбрасывая тени.

Толпа стонала и рыдала, кто-то кричал, Говард Поплин объявил, что пустит по рядам тарелку для пожертвований, пусть дают, кто сколько может, на дело Иисуса Христа и помогают странствующей церкви бродить по земле.

Порка

Айвар совал в карман пятидолларовую бумажку, которую ему с благодарностью вручила миссис Поплин, когда вдруг неизвестная демоническая сила, в которой он не сразу распознал родного отца, ворвалась в центр освещенного круга, резко оттолкнула зашатавшуюся женщину, мозолистыми руками схватила Айвара, с угрожающим шипением подтащила мальчика к себе, вырвала из кармана деньги и бросила их на землю. Отец заорал, чтобы Поплин убирался с его земли вместе со своим мерзким лазаретом, и пообещал, что через полчаса тут будет шериф. Айвар ревел и крутился, пытаясь высвободиться из железной хватки, но все было бесполезно. На Нильса напал самый страшный гнев в его жизни.

Ворвавшись обратно в сарай, он принялся лупцевать Айвара кулаками и хлестать ржавой проволокой; от первого же удара на спине у мальчика лопнула кожа, но отец не унимался, пока из кровавого месива не показались белые кости позвонков. Пронзительные крики умолкли, Айвар потерял сознание, но Нильс продолжал его

избивать, бессвязно вопя о лени и разрушении, лжи, вероломстве и преступных наклонностях — на крики из дома выскочила Элиза, волоча по грязи синельный халат. Увидав, что происходит, она не стала тратить время на вопли и протесты, а схватила стоявший в углу железный лом и опустила его Нильсу на голову.

Отвернувшись от мертвого мужа и дрожа всем телом, она опустилась на колени перед Айваром.

— Позволь мне помочь тебе, — произнес вдруг мягкий голос — в сарай вошел Говард Поплин и присел на корточки, качнув висевшим на шее ожерельем.

— Он умер, — пробормотала Элиза, — Я его убила. — Поплин опустился на колени рядом с телом Нильса и осмотрел огромную рану у того на голове, поблескивавшую стекавшей кровью.

— Займись мальчиком, — сказал Поплин. — Мальчик будет жить. Я останусь здесь и помолюсь за отца. — Ожерелье пошевелилось, и она увидала, что это змея. Элиза застыла; ничто не могло сейчас сдвинуть ее с места, кроме содрогающегося в ее руках ребенка.

Говард Поплин провел около Нильса всю ночь — молился, оборачивал вокруг тела змею, прикладывая мягкие, как бумага, руки ему ко лбу,

и наутро они вдвоем вышли из сарая; Нильс шатался, и гремучая змея, обвив его руку, петлей улеглась на груди.

— Я вразумил его. Змея ползала по нему и вокруг него. Я молился во имя Отца и Сына и Святого Духа, чтобы жизнь вернулась в его тело. Он дошел до черты и познал Истину, он отверг греховное прошлое и осознал, что должен следовать предзнаменованиям, он услышал меня, он принял на себя змею и вот он здесь, чтобы жить и говорить. Аминь. Я тут не просто «дикси» насвистываю.

Так они оба остались живы: молчаливого и заикающегося Айвара вместе с братом Конрадом поселили у Элизиной сестры, а Нильс, обращенный в веру Говарда Поплина, воскрес приняв перед этим смерть от руки собственной жены. За год он научился без страха прикасаться к стеклу горячей керосиновой лампы, брать в руки гремучих змей, смотреть им в глаза и сыпать в чай щепотку крысиного яда — змеи его не кусали, яд не брал, и все это благодаря вере. Он сбросил с себя лютеранское воспитание, словно чужую грязную рубаху. Он предложил Поплину остаться у него еще на год и проповедовать дальше, сказал, что построит церковь — когда же священник отказался, сославшись на необходимость стран-

ствовать и творить угодные Богу дела, пообещал написать на силосной башне обращение — чтобы видно было всем, кто проходит по дороге. Что до убийцы, то Нильс дождался своего часа. Все субботы и воскресенья Элиза проводила с Айваром и Конрадом в доме сестры: первый был молчалив и подавлен, а второй рос ужасным обжорой, нетерпеливым и неуклюжим. Нильс никогда там не появлялся и вел себя так, словно оба мальчика умерли.

(Позже Говард Поплин вложил все церковные деньги в разработку и производство туристических автобусов, которые он назвал Завоевателями, и добился в этом бизнесе невиданных успехов. Он по сей день живет во Флориде, но называет себя Счастливый Джек.)

Небольшая услуга

Возможность представилась Нильсу двадцать лет спустя, когда в животе у его жены выросла раковая опухоль. Элиза съежилась, руки и ноги превратились в палочки, голени покрылись незаживающими болячками, а между перекладинами ребер и тазом разросся огромный надутый живот, словно последняя нелепая беременность. Боль была нестерпимой, и все же, когда по воскресеньям звонил Конрад, она говорила ему бодрым голосом, что ей уже лучше, на ужин у них сегодня курица, надо бы съездить в Миннеаполис купить новую ночную сорочку, как там Айвар, все в порядке? Когда ей станет лучше, говорила Элиза, она куда-нибудь поедет, надо же посмотреть страну.

Стояло пыльное лето, взбиравшееся на небо солнце лило жар на беззащитный дом, размазывая раскаленный воздух по перекрученным простыням; боль заполняла комнату, как вода — сперва тонкой дымкой растекалась по полу, затем обволакивала ножки прикроватной тумбочки, поднималась медленно, но неумолимо все выше и выше, наконец, словно береговая волна,

заливала раскаленную кровать, росла дальше, огромная и злобная, острые гребни боли хлестали песком и жесткими водорослями, заполняли постель, доплескивались до стен, пол и стены от этой тяжести прогибались, в полдень, комната уже тонула в боли, потолок намокал, струи боли, просачиваясь в щели между изношенными досками, вытекали наружу и собирались лужей в пыльной дворовой канаве. Дышать в этом океане боли было невозможно, и она молила, задыхаясь:

— Помогите! Нильс, помоги мне, пожалуйста, помоги. Я не могу, не могу больше. Не могу, не могу. — После полудня боль закипала; Элиза превращалась в рыбу, которую живьем бросили в кастрюлю. Кожа лопалась, как на перезревшем помидоре, мышцы сводило судорогой и натягивало на кости; кипящая жидкость просачивалась в костный мозг, Элиза выгибалась дугой и кричала, пока выдерживали голосовые связки: — *Помогите, не могу, не могу больше…*

Нильс сзывал единоверцев, и они долго молились у ее постели. Бросали друг другу змей, пели, били в бубны, здесь же у Элизы в комнате проводили соборование, разговаривали с духами, но она лишь стонала: *помогите, не могу, не могу*

больше, — и ничего не получалось, а когда на соседней ферме умер, отравившись крысиным ядом, молодой человек, всем стало ясно, что Элизин час настал. Но как же медленно.

Когда в воскресенье зазвонил телефон, Нильс поднял трубку, сказал Конраду, что мать спит, и нажал на рычаг.

Однажды утром, дотронувшись до стены спальни, он почувствовал, как она нагрелась на солнце. Дом был тих этим теплым днем, становилось жарко, но из комнаты для гостей, в которой сейчас лежала Элиза, не доносилось ни звука.

— О, Господи, — пробормотал Нильс, — сделай так, чтобы она умерла ночью, возьми ее к себе, Господи, и пусть это наконец закончится. — Он поднялся, дотащился до туалета и встал напротив унитаза, дожидаясь, когда потечет струя; но проржавевший краник не открывался, и пришлось спускать воду, чтобы привести его в чувство. От Элизы по-прежнему ни звука. Нильс выполз в кухню, включил чайник. К ней в комнату он не заглядывал, боясь сломать такую прекрасную тишину, по крайней мере, можно пока выпить чаю. Господи, хоть бы ты забрал ее ночью. Солнечный луч прошел через окно и лег на раковину. Горячий квадрат расположился на холодиль-

нике, осветив следы пролитой пищи и жирные отпечатки пальцев. Вода в чайнике закипела, он бросил в треснувшую чашку пакетик заварки, налил воды, подождал нетерпеливо, пока она не станет темно-коричневой, капнул молока, но из-за ядовитой заварки оно свернулось творожными хлопьями. А может, прокисло молоко. Ерунда, подумал Нильс, и высосал всю чашку, горячую и прогорклую от испорченного молока. И вот — тут как тут. Из-за двери прорвался первый стон — открытым издевательством над его благословенной тишиной. *Помогите. Не могу больше.*

Это было невыносимо. Ярость перехлестнула вину и сострадание. Нильс выскочил на улицу и промчался вокруг дома. *Помоги мне.* За курятником стоял чурбан для колки дров с воткнутым в него топором. Не обратив на него внимания, Нильс забежал под навес, где лежал его старый топор лесоруба, взялся за рукоятку, пошевелил, проверяя, не болтается ли — есть немного — и вернулся в дом.

— Сейчас помогу, — и ударил.

«Мне бы ангельские крылья»

Кровь заливала комнату. В Элизе было слишком много крови, целые галлоны пурпурно-красной крови, она бурлила, лилась потоком, пропитывала все вокруг. Она пузырилась с шумом и бульканьем, заглушая его безмолвный крик. Тишина ускользала. Так близко, а не достанешь.

По наружной лестнице он поднялся на верхушку силосной башни и потянулся к небу, веря, что либо его подхватит Иисус, либо он заплатит за все.

Узнав о случившемся, старший сын Конрад рыдал в три ручья.

— Она хотела поехать в Эльдерхостел, на Аляску, если бы ремиссия, — повторял он сквозь слезы. — Она же никогда нигде не была. Проклятый ублюдок.

Но Айвар лишь кивал и соскабливал со старого стола краску — а какой еще реакции можно ждать от человека с некоторой, как говорится, задержкой в развитии.

Свет страха

Темная хижина Айвара стояла на темной городской окраине. По ночам он гасил свет, хижина погружалась во тьму, бледно-зеленые листья отливали свинцом, а тени казались гигантскими рулонами черной шерсти. Он тихо бродил по своим дорожкам, на ощупь и по памяти обходя камни, навострял уши и ловил ноздрями запах горностаевой шерсти и лисьего дыхания; он, не глядя, определял контуры столбов, как это умеют только слепые. Иногда падал на влажную траву, прямо на ползучих жуков, и долго смотрел в мигающее небо; ему было радостно — хоть эту радость и омрачала зависшая над поселком оранжевая волна уличных фонарей, да и само небо, прочерченное суетливыми планетами, спутниками и, слишком часто, вертолетами с их клацающим скрежетом — короче, темнота рушилась. Свои мысли он излагал Року, грубоватому на вид псу с вялыми глазами, который слушал разглагольствования Айвара и был единственным его собеседником, ибо разговорчив Айвар становился только в одиночестве.

— Что же это получается, страна боится тем-

ноты, миллионы людей видят небо и звезды только по телевизору, когда пылающие ракеты и кометы выписывают им название стирального порошка. Под ярким светом мы являемся на свет, растем под свет ночников, автомобильных фар, уличных фонарей, неоновых вывесок, маяков на небоскребах и горящих всю ночь витрин; с нами свет холодильника и ручных часов, стенные ходики светятся в темноте, мигалки машин и самолетов, фонарики на шариковых ручках и ключи с подсветкой, по ночам нас преследуют зеленые и красные глаза телефонов, телевизоров и охранных систем, водонагревателя, плиты и простых выключателей. Потом наступает это проклятое Рождество, зажигает окна и елки, огни на крышах, огни вокруг домов, лампочки вдоль главной улицы, каждая паршивая бензоколонка полыхает «Титаником». — Он перечислял заградительные огни, фермерские фонари, свет на пешеходных дорожках; каждый американский сосунок с первого дня жить не может без света, темнота изгнана в космос, и сумасшедшая страсть к люминесценции зажигает полыхающий по всему миру пожар: в топках сгорает уголь, дрова, нефть, газ, уран; электричество генерируют ветряные мельницы, солнечные батареи, приливы

и отливы, турбины на перегороженных реках и ядерный распад. Дерево, жидкости, газы, руды, воздух, солнечные лучи — все это лезвия света, наточенные специально, чтобы пронзать черное кипение ночи.

Айварово счастье

Рабочее место Айвара выглядело так: у самой дороги длинные столы из плотницких козел и досок, а на них — выставка всевозможного хлама: кувшины, консервные банки, скобяные товары — каждая вещь снабжена белым ярлыком на белой хлопковой нитке, шариковой ручкой написана цена; хлопает на ветру тряпичная вывеска — «БЛОШИНЫЙ РЫНОК И КОМИССИОННЫЕ ТОВАРЫ». На проезжих туристах он зарабатывал неплохие деньги, но держал язык за зубами. Пусть думают, что сумасшедший Айвар кормится жареными кузнечиками.

Когда в 1988 году умер Вольдемар Салк, хозяин похоронного бюро «Салк», его дочь приехала в город разбираться с наследством, и ее белая грустная физиономия тут же скривилась от болезненных воспоминаний. Казалось, со времен ее детства не изменилось ничего — вот-вот из кустов выскочат сестрички Тул и заорут:

— Эй, ты, эй, ты, Пэтти, дурнее всех на свете! — Или: — Наша Пэтти как-то раз провалилась в унитаз! — и она опять побежит из Олд-Глори как можно быстрее и как можно дальше.

Она беспомощно бродила по заплесневелым вонючим комнатам: тошнотворный запах пропитал одежду, кровати, диваны и газеты, в кухонном буфете валялась овсяная мука и пшеничные хлопья, рис и масло, которым пропахли занавески, ковер на полу и все ее детство. Она вышла на прогнутое крыльцо и там, закурила в речном тумане, глядя на свою машину так, словно видела ее впервые в жизни. Мимо проехало несколько других машин, люди поворачивали к ней головы. Она отлично знала, что они сейчас говорят друг другу: кто это у Салка на крыльце, должно быть, дочка, как ты думаешь, вот же бедняжка, нет бы явиться, пока старик был еще жив, и ведь когда умерла мать, ее тоже никто тут не видел, стекляшка бесчувственная.

Странный человек Айвар катил по улице тележку, почти пустую, если не считать позвякивающих пивных бутылок. Он неторопливо посасывал вишневого «Спасателя»: сладкое колечко с острыми краями готово было вот-вот треснуть. Он смотрел, как женщина проводит левой рукой по крашеным завиткам волос, с плеч темного костюма летят хлопья перхоти, а французский маникюр на ногтях успел заметно облупиться.

Насвистывая какую-то ноту, он подрулил к крыльцу.

— Что вы думаете делать со всем этим хозяйством?

— Не знаю. Просто ума не приложу. Запах совершенно невыносимый.

— Это бальзамирующая жидкость, пожалуй что.

Да, наверное, так и есть, подумала она, а еще сигары, виски, старая грязная одежда, пожелтевшие простыни, крысиные экскременты, заскорузлые кастрюли и вонючие коты.

— Это какой-то кошмар. — Она, не глядя, теребила часы на руке. — Дом не стоит ни гроша. Кому здесь нужна старая вонючая хибара? Лучше бы он сгорел, меньше забот. Кто его купит с такой вонью? — Она смотрела на восток, в сторону Миннеаполиса.

— Хотите, я займусь мебелью? — предложил Айвар. — Если вы говорите, что вам тут ничего не нужно, подарите этот дом, ну хотя бы пожарникам, им пригодится для тренировок, не надо, чтобы стоял пустой, дети будут лазать, курить всякую дрянь, цеплять болячки, поговорите с Лео Паустером, это начальник пожарной охраны, потом спишете с налогов, а вам останется хороший

чистый участок, делайте с ним что хотите.

Совет пришелся дочери по душе, и она им воспользовалась. Подписала бумагу, согласно которой все, что находится в доме, передавалось Айвару, получила взамен мятую долларовую бумажку и обещание немедленно приступить к делу, после чего позвонила начальнику пожарной охраны и выкатилась к черту из Олд-Глори.

(На обратном пути, когда она подъезжала к границе штата, товарный поезд, сойдя с рельсов, свалился с эстакады прямо на шоссе. Три часа дочь простояла в пробке, обвиняя во всем умершего отца. Прошло время, и ей вдруг стало трудно выбирать. Слишком много было на свете сортов кошачьего корма, форм, размеров и цветов шариковых ручек, видов и сортов шампуней, типов консервированных помидоров — целиком, нарезанные, соусы, пасты — толстых и тонких колготок множества оттенков, с уплотненным верхом, блестящей ниткой, прозрачных или матовых, десятки видов волокна, с толстым носком и промежностью или без, малого размера, большого, удлиненных, обычных или нестандартной длины; виды зубной пасты, размеры и степени жесткости зубных щеток; ткань для простыней номерами от 180 до 320, сотни тонов, в цветочек,

полоску, горох, мультяшные фигурки, льняные, дамасского и египетского хлопка, клетчатые, сатиновые, вышитые, с монограммами, фланелевые; слишком много сортов яблок; напитки от бутылочек размером с палец до галлонных банок, а еще соки, а еще вода из бесчисленных источников; сами магазины: сюрреалистичные, яркие, многократно клонированные в экстравагантных торговых центрах — источники напряженного и ежечасного выбора, в котором на самом деле никакого выбора нет. Через год после смерти отца она ехала в Мичиган на встречу с клиентом — она работала спиритическим каналом для одного охотника ледникового периода, дававшего через нее консультации по семейным проблемам — на мосту Макинак на нее вдруг напала неодолимая паника; проехав треть моста, дочь остановила машину и застыла на месте — руки вцепились в руль, голова прижата к костяшкам пальцев, она боялась даже смотреть на тяжелые амбразуры, в которых где-то внизу плескалась вода. Вокруг шипели и рычали машины, вопили клаксоны, но она не двигалась с места. Лишь плакала и дрожала до тех пор, пока не открылась дверь, и какая-то женщина средних лет не спихнула ее на пассажирское сиденье.

— Сейчас переедем, — бодро объявила незнакомка. — Я тут присматриваю за мостом. Ты не первая, такое тут сплошь и рядом. И шоферы на грузовиках, и даже крутые ребята на «харлеях». Нечего стыдиться.)

Что нашел Айвар

На всю грязную работу по расчистке дома Айвару дали три недели. Древние приспособления для бальзамирования трупов он продал в Северную Дакоту, Музею Искусства Погребения, и туда же ушли старые подшивки «Современного Директора Похоронной Службы». По шаткой лестнице он взбирался на чердак, рыскал по захламленной кухне, словно яйца, раскалывал спальни, со скрежетом оттаскивал от стен бюро и шкафы, поднимал их цепкими пальцами и оглаживал каждую деталь, точно деревянную невесту. Достав из тайного резерва деньги, он взял напрокат фургон и день за днем вывозил из дома барахло: шведское бюро, четыре застекленных книжных полки с первыми изданиями Джека Лондона, шесть кресел мореного дуба от «Стикли», стеатитовую раковину. Какие-то вещи он отвозил в свою ремонтную мастерскую — полуподвальную конуру на заброшенной фабрике шерсти, которую снимал за двадцать долларов в месяц.

На чердаке у Салка он нашел стопку пожелтевших расистских газет: «Звон Клана», «Чистокровная Америка», «Белый рыцарь» и продал их

библиотеке «Союза защиты гражданских свобод». Несколько сотен проволочных вешалок покрасил из пульверизатора в лимонный и огненно-красный цвета, после чего отвез в местную химчистку — по доллару за полсотни; унитаз, бачок с цепочкой и ванна на грифоновых ножках ушли за хорошую цену в отель «Волчья Шкура» города Хьявата-Фоллз. На втором этаже он складывал ненужное — треснувшие пластиковые ремни, рваные галоши, ломаные пластиковые оправы от очков, разнокалиберные пуговицы, коробку с рыболовными крючками, проржавевшими настолько, что они слиплись в один колючий ком.

Осматривая крышки столов и ящики бюро, он нашел двадцатидолларовую бумажку, приклеенную лентой к кухонной столешнице, такая же болталась на ржавой кнопке у задней стенки платяного шкафа. Вонючие стариковские матрасы стали настоящим рогом изобилия.

Он вынес из дома вещи, затем реквизировал плинтусы, прополз по всем полам, поднимая доски и ощупывая дымоход, которым уже давно не пользовались, отпарил обои (кое-что за них давали декораторы, пускавшие в дело пурпурные завитки и выдолбленные в бумаге полоски) в тех местах, где бумага легко отставала от стен. Ста-

рания были вознаграждены кучей скомканных банкнот на общую сумму восемь тысяч долларов и банкой с полтинниками президента Кеннеди.

К концу 1989 года вложенный доллар принес Айвару 111 999. Он купил стоявшую у реки старую фабрику шерсти, и начал собирать подержанную мебель в сотнях развалившихся сберегательных и заемных банков. Из кабинетов и вестибюлей поверженных контор лилась потоком отличная мебель: ореховые столы с серебряными деталями, ящики для бумаг ручной полировки, столы тикового дерева для приема посетителей, журнальные столики беленого дуба, компьютерные столы из карельской березы. Он заполнил этим богатством три этажа — впрочем, состояние мебели не было идеальным, ящики ободрались в тех местах, где клерки царапали ногтями, выслушивая по телефону плохие новости.

Эта мебель и стала основой айваровского богатства. Одна его бизнес-рука хватала старые викторианские дома, расчищала их и продавала после разбора ореховые библиотечные панели, витражи, колонны портиков, лепнину, балясины и ванны на когтистых лапах — в стране начинался строительный бум. Другая копила отборную офисную мебель и садовые скульп-

туры. В сети его магазинов «Западная старина» можно было найти все, вплоть до фальшивых фасадов и коновязей, витрины ломились от шпор, коллекционных мотков колючей проволоки, десятигаллонных шляп, коровьих черепов — болтавшиеся по стране бродяги свозили все это на деревенские аукционы, а сам он собирал новый хлам по ломбардам и комиссионкам мелких городков. С ним вместе путешествовал Девил Бассвуд, специалист по американе, работавший раньше в Сотби, двадцатидевятилетний молодой человек, всегда в отглаженных шелковых брюках от Джорджио Армани, толстовках и белых подтяжках. За ними следовал полутрейлер, и как только он наполнялся, Девил вызывал новый. (Зимой Бассвуд утонул в озере Вермилион, когда его буер соскользнул в открытую воду.)

К сорок восьмому дню рождения Айвар был хозяином ранчо в Монтане и прибрежной виллы на Таити, но внешне почти не изменился: длинные, пыльные веревки волос все так же болтались по плечам грязного льняного пиджака, на ногах хлюпали черные кроссовки. Он по-прежнему собирал по пути невостребованные мусорные баки и интересовался ломаными велосипедами. В занюханном монтанском городишке, таком

маленьком, что некуда даже плюнуть, он купил содержимое ломбарда «Бедный Мальчуган», где среди прочего обнаружилось старое седло со штампом на задней луке «А. Д. Зейцлер и Ко, Силвер-Сити, Нью-Мексико», веревки и пастушьи крюки, полка для журналов с вырезанным на боку кривоногим ковбоем, круглое, обтянутое ячеистой сеткой радио, корзинка с потускневшими серебряными ложками и старый зеленый аккордеон такого несчастного вида, что можно было подумать, будто на него наступила лошадь. Более-менее интересные предметы отправились в лабораторию для оценки и реставрации (таким образом он обнаружил утерянную картину Ремингтона с кавалерийской атакой, а резная полка для журналов оказалась позарез нужна изысканному и экстравагантному Томасу Моулзуорти[314]). Старые ложки годились разве что на переплавку, аккордеон же отправился на долларовый прилавок олд-глориевского склада, открытого двадцать четыре часа в сутки, днем и ночью, настоящей Мекки для коллекционеров, способных проехать сотню миль, чтобы вдоволь порыться в мусорных корзинах.

---

[314] Примечания: 314

Хозяин одноименной фирмы, продающей антикварную мебель в западном стиле.

Подземелье

Элиза Хассманн была лишь одной из неправдоподобно большого числа жителей Олд-Глори с диагнозом «рак». Утомляемость в городе заметно превышала среднюю по стране: мужчины по вечерам надолго застывали перед телевизорами, женщины шатались на рабочих местах и клевали носом в автобусах. Встревоженные чиновники от здравоохранения катались по окрестным фермам, брали пробы почвы, воды и воздуха, проверяли местную кукурузу и свиней. Кому-то пришло в голову исследовать известняковые пещеры, что прятались глубоко под черной землей. Люди годами жаловались на низкий подземный гул, который в разное время года превращался то в нескончаемый скрежет, как будто, по утверждению прихожан-пятидесятников, там катился в ад бесконечно длинный подземный поезд, а то в резкие завывания, похожие, по мнению доморощенных историков, на гуляющий в подземных казематах ветер. Штат прислал в город женщину-геолога, которая, в свою очередь, выписала команду ученых с непонятными приборами; они-то в результате и сообщили, что действи-

тельно, из пещер вырывается низкочастотный звук — мощная вибрация, семнадцать циклов в секунду, дополнительный обертон семьдесят циклов в секунду и еще пульсация с гораздо более высокой частотой, причина неизвестна, и явление, безусловно, представляет собой загадку природы. В довершение ко всему, в пещерах обнаружили опасно высокий уровень радона, который и проникал в подвалы Олд-Глори. Город лихорадочно распродавал дома и разъезжался. Недостроенные прямоугольные скелеты отбрасывали трудноразличимые тени, а кучи кирпичей и песка зарастали травой.

Брат Айвара Конрад Хасманн

— Так вот откуда взялись эти белые фазаны. Все от радона. — Конрад Хасманн с женой Нэнси сидели за столом на старой ферме Хасманнов, он выплевывал на тарелку нежующийся кусок бекона и водил рукой по лбу, откидывая нависшую над глазом седую кудрявую прядь. В наследство от Нильса ему достался длинный шишковатый нос, близко посаженные светло-голубые глаза придавали странноватый вид, а уши плотно прижимались к голове. Ферма перешла к обоим братьям, но Айвар, проведя в полном одиночестве в доме ровно один день — таково было его условие — продал свою долю Конраду, который тут же избавился от всей земли, кроме четырех окружавших дом акров, и остался работать на газовой компании Руди Генри. (Когда его дочь Вела была еще маленькой, он говорил ей, что просто обязан там работать, потому что его фамилия Хасманн, а это почти что Газман. Потом к ним взяли на работу Джона Рупа, и отец объяснил девочке, что рупом называется редкий невидимый газ, благодаря которому летают птицы.) Вместе с домом он получил в наследство фотографию

покойной тетушки Плоретты — во всех регалиях Дикого Запада и в ореоле уносимых ветром осиновых листьев она восседала на пне, светлые волосы выбились из-под громадной белой ковбойской шляпы, обтянутая перчаткой рука покоится на плетеном аркане, маленькая шпора блестит на солнце, а из кобуры на правом бедре торчит перламутровая рукоятка револьвера, взятого напрокат у фотографа.

— Сколько раз просила не выплевывать изо рта, тошнит уже. Зачем ты это делаешь? — Старалась дышать через рот, Нэнси накручивала на указательный палец прядь волос. — Слышишь, какой ветер? По радио сказали, порывами до шестидесяти. Погода теперь точно переменится. — Она выбросила в ведро сложенную газету. — Дурацкий кроссворд, сплошные реки в Азии и игроки в гольф тридцатых годов.

— Где Вела?

— Не знаю, где-то на улице. Не представляю, что она там делает на таком ветру. А что?

Голос Конрада стал по-кошачьему мягким.

— Я просто подумал, поваляемся немного в спальне, можно чуток вздремнуть. — Мягкий живот свободно колыхался под трикотажной рубашкой.

— Спать днем? То я не знаю, тебе охота спать не больше, чем заполучить рак.

— Хватит про одно и то же. Я уже слышать не могу эти раковые разговоры. Пошли в спальню. — Он шлепнул ее по заднице. Она увернулась, но все же потопала вслед за ним в сумрачную комнату (раньше тут спали его родители, но Нэнси обила потолок тканью с блестками, а стены заклеила обоями в оранжевую полоску), простыни и одеяло после ночи сбились и хранили запах их тел, ветер пронзительно свистел в окнах.

— И, конечно, точно в момент оргазма нашей девочке отрезало руки, — год спустя, шепотом призналась Нэнси своей сестре.

В стороне от дома

На деньги, оставшиеся от страховки Велы, они починили в старом доме изоляцию, на это ушла тысяча долларов, а еще две — на масляный обогреватель и штормовые окна на втором этаже, но все равно зимой в спальне было так холодно, что изо рта шел пар. Нэнси хотела переделать кухню, расширить вечно забивавшийся сток и поменять вздувшийся линолеум, но Конрад сказал: пока подожди.

Он поскоблил стекло и взглянул на белое волнистое поле. На противоположном окне солнце растопило наледь, и там виднелись растянувшиеся вдоль дороги здания, элеватор и афишная тумба, на которой женщины из кружка лютеранок нарисовали личико трехлетнего ребенка с золотыми кудряшками и одинокой, словно маленький значок, слезкой — «АБОРТ ОСТАНАВЛИВАЕТ БИЕНИЕ СЕРДЦА» — вдалеке маячила бензоколонка «Коноко», река, и на другом ее берегу — айваровский склад и автостоянка. На щебенке дороги валялся ком гофрированного железа, прямо на желтой полосе. Мертвая ворона — должно быть, подбирала какую-то гниль и

попала под машину. Проехал синий пикап Дика Куда, вильнув, он придавил воронью тушку и отбросил в сторону перья. Конрад проследил за грузовиком и увидел, как тот остановился у забегаловки под названием «Вдали от дома».

Ни с того, ни с сего Конраду вдруг захотелось кусок вишневого пирога и кружку бодрящего кофе, только не растворимого и не в гранулах, и не из художественного стекла Нэнси. Несколько лет подряд он пил кофе с пирогами в Чиппеве, в гриле Уилли, но не раз обращал внимание, что каждое утро у забегаловки «Вдали от дома» собирается приличная толпа.

Когда он ехал мимо силосной башни, настроение, как обычно, испортилось — тысячу раз за лето можно было забраться наверх и закрасить эту проклятую штуку — облупившееся изображение Иисуса со змеей в каждой руке перед домом-трейлером. Вообще снести башню, если на то пошло. Столько лет стоит пустая. Кристаллики снега на пучках придорожной травы напоминали корку соли. Он миновал плакаты «ОЛД-ГЛОРИ ВЕРИТ В БОГА И В АМЕРИКУ, А ВЫ?» и «ЗДЕСЬ СЛЕДЯТ ЗА ДЕТЬМИ».

Единственное свободное место оказалось рядом с Диком Кудом. Его одежда пахла каким-то

ядовитым стиральным порошком. Ресторан был полон, сюда явилась половина фермеров городка, которым неохота было самим готовить себе завтрак — а может, они пришли ради удовольствия заказать и получить два сочных свиных ребрышка с домашней жареной картошкой, а то и добавку, вместо тарелки с несъедобной дрянью и жалобного нытья. Какого черта Нэнси не может приготовить приличный завтрак? Знает же прекрасно, что он любит испанский омлет, и как часто она его жарит? На День отца разве что. Завтрак в постель, испанский омлет, еще кое-что. А все другие дни — «готовь сам». И только Нэнси такая?

— Дик, ты дома что ешь на завтрак?

Дик поднял красную физиономию — кожа пористая, словно на нее побрызгали горячим сахаром.

— Замороженные вафли. У нас вся морозилка завалена этими вафлями. Их можно есть с маргарином или с кукурузным сиропом, можно со взбитыми сливками из тюбика. В крайнем случае, с желе. Как поживаете, миссис Рудингер? Я, пожалуй, возьму дежурное блюдо.

— Вы уверены? Сегодня у нас пареная репа, ее не все любят. — Она многозначительно посмотрела

на человека из службы доставки, перед которым стояла тарелка с горкой пареной репы.

— Клянусь этим снегом, очень люблю. И побольше жареного лука. — На стене, за кассовым аппаратом висела фотография миссис Рудингер: стоя у венецианских жалюзи, она держала горящую бумагу — закладную — щипцами для спагетти. Над дверью красовалась голова взрослого оленя, которого миссис Рудингер застрелила в 1986 году; голова покачивалась, когда входили посетители.

— Это входит. Печенка, лук, пареная репа, два кукурузных кекса и кофе. Вы будете кофе?

— Лучше молока. Если можно. — Он повернулся к Конраду и сочувственно спросил:

— Как девочка?

— Кажется, неплохо, справляется. Два раза в неделю терапия, дома специальные приборы. Музыку еще слушает, мы купили «Уокман», пока она лежала в больнице. Чуть ли не каждые два дня ей подавай новую кассету, получается недешево.

Два сезонника-гватемальца встали из-за стола, заплатили за свои яичницы и ушли. Мимо проскакала новая официантка миссис Рудингер, наполняя чашки кофе.

— Кто она? — поинтересовался Дик Куд, когда

девушка отошла на приличное расстояние, — китаянка, вьетнамка?

— Думаю, кореянка, — сказал Конрад. — В этом все и дело, азиаты затопили страну — чинки, мексы, паки, теперь еще арабы с Ближнего Востока. Совсем не то, что наши предки — те были белыми, они знали, на что идут, и что такое настоящая трудовая этика, они не слонялись без дела и не взрывали дома. Это не белые люди. Цветные, полукровки. Все просто — страна переполнена, на всех не хватит места, работы тоже не хватит.

— Ладно, ладно, — сказал Дик Куд, — у нас дома куча пленок. У сестры, остались, это Рассела — могу принести. Пусть девочка порадуется. Какую она любит музыку? Надеюсь не черномазое дерьмо — этот реп со всякой похабщиной. Я бы в своем доме такого не потерпел.

— Не. Что она любит? Знаешь, это забавно, но она все время крутит Лоренса Уэлка, всю эту старую попсу. Их теперь много на пленках. Не знаю, что она в нем нашла, но слушает целыми днями. По мне так эта ерунда протухла еще до моего рождения. Буль-буль-шампанское, а не музыка. Прям анекдот какой-то. Песни для богадельни. Но ей нравится. Бодрые мелодии, видимо поэтому. Нэнси хочет свозить ее в Диснейленд,

когда она немного окрепнет, послушать польки, у них там потрясающий оркестр «Диснейленд Полька-Бэнд», до фига аккордеонов.

— Еще перерастет. После всего, что выпало на ее долю, пусть слушает, что хочет. Скажу тебе одну вещь насчет полек — этот диск-жокей из Сент-Пола пару месяцев назад выдал просто так, экспромтом, чтобы слушатели присылали ему названия своих любимых полечных групп, представляешь? За три дня получил двадцать восемь тысяч открыток. Да, позавчера мы смотрели «Мышьяк и старое кружево», это фильм Фрэнка Капры[315]. Сказали, он тоже играл на гармошке, показали клип. Джимми Стюарт, Джон Кроуфорд[316], и они когда-то играли на аккордеонах. Любимый инструмент Голливуда. А как насчет Майрона Флорена [317]? У меня есть записи. Он раньше играл у Лоренса Уэлка. А Фрэнки Янкович? «Катись из бочки...» А как

---

[315] Примечания: 315

Фрэнк Капра (1897 — 1991) — американский режиссер. Фильм «Мышьяк и старое кружево» снят в 1944 г.

[316] Примечания: 316

Джимми Стюарт (1908 — 1997), Джоан Кроуфорд (1904—1977) — американские актеры.

[317] Примечания: 317

Майрон Флорен — аккордеонист, участник шоу Лоренса Уэлка.

насчет Уппи Джона Уилфарта [318]? Что он творил в Нью-Алме? А еще там была, на старой семьдесят восьмой пластинке, аккордеонистка, Виолет, Виола Турпейнин [319]? Финка. Бог ты мой, как она играла. Наверное, уже умерла. Красиво очень, эти скандинавские мелодии, но сейчас их мало где услышишь, разве только на фестивалях, это все хорошо, но в обычной жизни, как во времена моего детства, такую музыку разве найдешь? Мой дед еще играл. Он когда-то работал вместе с финнами, они там пели песню, что-то про почтальона. Черт их побери, ужасно смешно. У нас до сих пор валяется старая венгерская скрипка, правда, треснутая. Странно, сейчас вся эта старая музыка, многие интересуются, ты знаешь, финны, шведы, хорваты, но если хочешь знать мое мнение, это все равно, что заливать в мертвеца свежую кровь. — Он хотел сказать, что понимает толк в аккордеонах, ранах и бедах, но Конрад не хотел об этом слушать.

— Ну, эти песни ее чем-то трогают, у других

---

[318] Примечания: 318

Уппи Джон Уилфарт (1893 — 1961) — аккордеонист, исполнявший фольклорную музыку.

[319] Примечания: 319

Виола Турпейнин (1929 — 1945) — финско-американская аккордеонистка.

людей не так. Говорит, поднимают настроение. Как-то сказала врачу, что если когда-нибудь сможет шевелить руками, то хотела бы научиться играть на аккордеоне.

— Правда? А что они говорят, это возможно?

— Нет.

— Что делать. Просто чудо, что она вообще жива. Чудо, что их пришили. Могу себе представить. В газете писали, это второй случай. Подумать только, сшить все крошечные сосудики, соединить мускулы? Я не понимаю, как они это сделали. Сильная, мужественная маленькая девочка. Кто-то там наверху за ней присматривает. Хотел бы я, чтобы Он так присматривал за Расселом. Наверное, ходит в какую-нибудь из этих групп взаимопомощи, есть ведь всякие — анонимные картежники, анонимные обжоры, сексоголики, магазинные воры. Должно же быть что-то вроде для слепых и увечных, правда?

Конрад посмотрел на часы. Он уже знал, к чему клонится разговор, но вовсе не хотел в очередной раз слушать о Расселе, которого посреди пустыни выбросили из автобуса. Оставалось двенадцать минут, чтобы добраться до «Газа Олд-Глори». Хорошо, если Пит уже там, поможет закинуть в грузовик баллоны. Всяко лучше, чем слушать

Дика Куда — красная морда съежилась, сейчас заплачет.

— Что тут скажешь, — проговорил Конрад. — Днем светло, а ночью темно. Летом тепло, а зимой холодно. До встречи, — добавил он.

Дик доел репу и попросил добавки; он смотрел, как Конрад выезжает со стоянки на тарахтящем грузовике, между прочим, не пристегнув ремень — что за глупость так рисковать. Потом закурил. Что за бессмысленность во всей этой семейке. Уж как сестра заботилась о Расселе, и все равно с ним приключались беды — одна за другой. Дик допил молоко и пожалел, что кончились тосты. Потом ему вдруг пришло в голову:

— А рисового пудинга у вас нет?

— До обеда не будет, Дик. Мало кто заказывает на завтрак рисовый пудинг.

Он оставил ей десять центов, затем, скорчившись, вышел навстречу морозному ветру, в котором крутился сейчас чувствительный снежок, и двинулся к грузовику, оставленному перед почтой, в восьми кварталах от забегаловки. Он всегда там парковался. Ветер дул в лицо так сильно, что каждые несколько шагов приходилось отворачиваться и шагать вслепую. Жуткий холод, думал Дик, руки замерзли, даже в теплых

перчатках. Цифровой термометр на фасаде банка показывал восемь градусов ниже нуля, но порывы ветра достигали сорока. Конрад ввалился в магазин — это была «Западная старина» — чуть-чуть согреться, все лучше чем ниточная лавка или магазин здоровой пищи — и стал бродить по рядам, приглядываясь к инструментам: старые красивые панели красного дерева, небольшой, но хорошо сбалансированный молоток, кованые дверные петли. На столе навален всякий хлам — обычно там не на что было смотреть, но как-то раз на этом самом столе он нашел крошечный медный ватерпас — спиртовой, с забавной гравировкой, настоящий инструмент краснодеревщика. Теперь там обнаружился маленький зеленый аккордеон, и Дик тут же ухватился за находку. Надо подарить девочке Конрада, ничего, что она никогда не будет играть. Пускай слушает свои пленки, смотрит и думает, что играет. Заплатив доллар, он и потащил старый аккордеон к грузовику.

Дома он решил слегка привести инструмент в порядок — по правде сказать, это был кусок дерьма; он положил его в раковину, включил душик, которым моют овощи, брызнул жидкого мыла. Проклятая хреновина пропиталась водой. Отя-

желевший, но чистый инструмент не издал ни звука, когда Дик растянул меха, хотя он и жал на все кнопки сразу. Просто надо высушить. Он положил аккордеон под окно на решетку с горячим воздухом. К вечеру тот, естественно, высох и был достаточно чист, чтобы стало видно, насколько стара и разбита эта игрушка. Меха оказались жесткими, как дерево, и растягивались всего на несколько дюймов, дико при этом дребезжа. Дик побрызгал «Ви-Ди-40» и внутри и снаружи, но лучше от этого аккордеон не стал. А, к черту, все равно ей только смотреть.

На следующее утро он направился к той же забегаловке; переезжая через пути, посмотрел, как рельсоукладчики, устроившие себе недавно перерыв, вытирали рты бумажными салфетками и выбрасывали пластиковые бутылки вместе и бумажные кофейные стаканчики в установленную на платформе мусорную корзину, потом включил радио — это оказалась государственная станция, поскольку вчера после ужина на грузовике каталась жена — и стал слушать, как Джон Таунли поет «Край земли», под аккомпанемент редкой концертины «Диппер Шантиман»; ее делали из западно-индийского дерева кокоболо и кожи козленка, язычки ручной работы, на боках гра-

вировка с морскими мотивами — пышнотелые русалки на гребнях волн — воздушные кнопки из полированной кости поблескивали на темном дереве, словно рычаги *deux ex machina* [320].

Глубокие, как у гобоя, тона оттеняли голос Таунли, но на полуслове «великое море ре...» Дик выключил радио. Морские песни всегда кончались потерями и утопленниками.

(Его племянник Рассел родился слепым, и вся семья сочла за великую милость, когда у мальчика вдруг обнаружились музыкальные способности. Знакомая итальянка научила его играть на аккордеоне, а первой его сольной пьесой стала шведская версия «Жизни в финском лесу» — та, что потом превратилась в «Гору пересмешника». Женщина дала хороший совет:

— Старайся играть так, чтобы в этих песнях себя узнавали все нации — и ты никогда не будешь без работы. — К тринадцати годам он играл на большой квадратной концертине «Хемницер», заработал на детских конкурсах шестьсот хрустальных кубков — все благодаря собственной версии «Коровьего колокольчика», которую он

[320] Примечания: 320
Бог из машины *(лат.)*.

исполнял на манер Эдди Арнольда[321] так, что восьмидесятилетние обитатели Олд-Глори узнавали в проигрышах «Вальс Сент-Пола». Отец, с тревогой наблюдавший за тем, как мальчик понемногу приносит деньги, стал записывать его на пятничные часовые представления, проходившие на местной летней базе отдыха. «Озеро Хайдэвей» принадлежало его другу Харли Уэстхолду (урожденному Варенскьёльду), который совратил и очаровал Рассела за двадцать минут до его первого концерта.

— Давай малыш, прими по-быстрому душ. От тебя пахнет. Нельзя играть перед высококлассным залом и так потеть. Давай сюда, я тебя раздену. Душ вот здесь. Ах-ах-ах-ах. Только никому не говори, а то я тебя убью.

К двадцати одному году Рассел стал ходячим несчастьем. Пусть и слепой, но он тайком убегал из дому по ночам и стоял на дороге, пока его не подбирала попутка. В городе он играл на своей концертине для пьяных и накуренных, призывал художников по татуировкам «делать все, что угодно». Иллюстрации получались банальными, забавными, иногда непристойными. Год или

---

[321] Примечания: 321
Эдди Арнольд (р. 1918) — американский кантри-музыкант и певец.

два он проработал в Миннеаполисе уличным музыкантом, затем, одурев от химии, излишеств и грез о сверхъестественном, купил билет до Лас-Вегаса. За сорок миль до места он заглотил кучу разноцветных таблеток, вскочил на ноги, достал из футляра концертины пистолет и принялся палить в крышу автобуса. Две пловчихи из команды Университета Огайо разоружили его очень быстро. Водитель автобуса подрулил к обочине и попросил девушек выкинуть негодяя вон. Они столкнули его со ступенек, потом подняли, перекинули вместе с инструментом через забор из пяти рядов колючей проволоки и оставили в пустыне. С тех пор его никто не видел.)

Скука

А все потому, что было скучно. Она болталась по двору и замахивалась метелкой на ласточек. Несколько дюжин этих птичек поселились под карнизом старого сарая и внутри него, жухлые гнезда качались на пыльных балках, лепились под самой крышей, и половину лета птицы сновали туда-сюда, таская в клювах жуков, муравьев, ос, пауков, мух, пчел, мотыльков и толстые иголки.

Гроза надвигалась с севера: кудрявая, высоченная сливовая туча с темными клиньями у основания выпускала из себя злобные языки ветра. Ветер бесил и сводил с ума — чтобы укрыться от пыли, приходилось поворачиваться к нему спиной. Так оно все и вышло: ветер, гроза, где-то на севере дождь. Очень скучно и совсем нечего делать в Олд-Глори, нечего делать дома с глупыми родителями, и хуже всего по воскресеньям, когда просто нечего, нечего, нечего делать, и телевизор не работает, и некуда пойти, и ничего съедобного в холодильнике, только сырая индюшка валяется там уже неделю и успела протухнуть. Отмечая щели, в которые влетали и вылетали

ласточки, она лупила по птицам, представляя, что это теннисные мячи, а она сама — чемпионка по теннису. Налетали порывы ветра, свистели и срывали с деревьев листья. Приближался грузовик, громыхая так, словно сейчас развалится на куски, она изящно повернулась, не выпуская из рук метлу-ракетку, и через темное стекло разглядела черные бачки Эда Канки, а рядом его сына Уайти, красавчика Уайти, старше ее на один класс, героя ее грез — ей виделось, как она сидит на детском стульчике, длинная до щиколоток юбка колоколом падает на пол, он подходит и что-то ей протягивает, она никогда не знала, что — букетик цветов, свернутый лист бумаги, или конфету (несколько лет спустя это выяснил психоаналитик) — потом наклоняется и целует, поцелуй похож на комара и едва касается сперва губ, потом, если это была ночь, волос, и тут в своих мечтах она падала в обморок. Сейчас же она высоко подняла метелку, с трудом удерживая ее против ветра и намереваясь зафигачить очередную ласточку в середину следующей недели. Но ласточек не было, грузовик проехал совсем близко, дребезжа и громыхая зубчатыми краями железных листов, мелькнул у сарая старого Надсена и понесся на север. Три ласточки ныр-

нули в самые высокие гнезда, она подпрыгнула, замахиваясь метлой, и в эту секунду страшный порыв ветра вырвал из кузова кусок листового железа. Острый лист, словно летучая серебряная гильотина, спорхнул через весь двор, отрезал ниже локтей обе ее поднятых руки и ударил по лицу, поранив и сломав нос.

Канки даже не заметили, что их оброненное железо отрезало девочке руки, они поднялись в гору и исчезли из виду. Она стояла, ошеломленная, пригвожденная к земле и смотрела, как семена дерева сыплются на обшивку сарая, краска на нем давно облупилась от дождя и перемешанного с песком снега, равнодушные ласточки то исчезают, то появляются вновь, насекомые у них в клювах похожи на усы, разорванное ветром небо, черные окна дома, старое стекло швыряет в нее синее крутящееся отражение, из обрубков рук хлещут фонтаны крови — в первую секунду, она, кажется, услыхала влажный шлепок, с которым кисти стукнулись о стену сарая, и тонкий звук железного удара. На землю она не смотрела и не видела там своих рук, еще согнутых так, словно они удерживали метлу.

Она взвыла.

Из натянутых легких вылился невероятный

переливчатый крик, мятежный рев умирающей жизни — крик, которому хотят научиться все, но дается он немногим. Этот крик выбросил из постели ее родителей, словно острия пружин.

Гости

Меньше чем за неделю Конрад приучил себя завтракать «Вдали от дома». Кормили там вкусно, место было веселое, полное суеты и новостей. Там не нужно было слушать, как жена причитает над Велой. Конрад любил свою дочь, но не выносил больных — он не мог смотреть на ее изуродованные шрамами руки, слушать стоны и тяжелое дыхание, когда физиотерапевт, густобровая женщина с писклявым голосом и огромной задницей, мучила девочку упражнениями. Как же часто они теперь плакали — и дочь, и жена. Дом пропах горем и промок от слез.

Конрад положил политую кетчупом глазунью на тост и откусил, другое яйцо он размазал по панированному в кукурузе мясу и попросил миссис Радингер принести два пончика с повидлом. Появился Дик Куд, волоча за собой пластиковый мешок для мусора.

— Что это, Дик, — твой обед?

— Нет, это для твоей девочки. Заметил у входа машину. Ты говорил, что ей мало этих старых лент? Тут штук пятьдесят, и еще аккордеон, нашел у Айвара, представляешь, может сгодится

— будет смотреть на него и слушать пленки, как ты думаешь? Даже если просто смотреть, тоже ведь неплохо, а? Просто чудо. Маленькая мужественная девочка. Ты знаешь, я бы за это судил — навалить в кузов листовое железо без парусины и даже не привязать. Не представляю, как Эд Канки будет смотреть тебе в глаза. Преступление. Его мальчик учится вместе с Велой? Ты наверняка уже говорил с адвокатом. — Он протянул черный мешок Конраду, давившемуся в эту минуту первым пончиком.

— Слыхал историю? Разбился самолет, и погибли все, кроме одного мужика. Где-то в глуши, на Аляске, не знаю. Бедолага болтался по лесу почти неделю, ни одного человеческого следа, чуть не свихнулся. Потом видит: на дереве болтается веревка, а в ней черномазый. Мужик говорит: «Слава Господу, цивилизация». Здорово, да?

— Ага. Это южный анекдот. Рассказывали в Чиппеве. Но этого не может быть. В Северной Америке дороги через каждые двадцати миль. Не мог он блуждать целую неделю. Об этом писали в «Нэшнл Джиогрэфике». — Он доел второй пончик, проглотил остатки кофе и мотнул головой, скидывая со лба седую прядь. В горле застрял горький привкус.

— Спасибо, — Конрад встал, у него вдруг зачесалось все тело, будто на нем завелась парша. — Я отдам ей сегодня вечером. Пора на работу, делать доллары. — Он вышел за дверь, Дик Куд смотрел через окно, как он забрасывает мешок в кабину, и по тому, как садится за руль, скребнув ногой по полу, можно было догадаться, что пленки вывалились наружу. Он затолкал их в мешок довольно плотно, могли и расколоться. Эти пластиковые футляры для кассет, с острыми краями. Дик заметил, что Конрад опять не пристегнул ремень и закурил, выезжая с площадки. Если все время так сбрасывать со лба волосы, можно и шею свернуть. Дик поджал губы.

Вечером, подруливая к дому, Конрад увидал, что окна сияют сквозь сумерки мангово-желтым светом, а на площадке припаркованы три машины. О Господи, только бы ничего не случилось, сказал он вслух; ветер захлопнул дверцу и натянул шарниры, а Конрад, взбежав по ступенькам, окунулся в запах орегано и дрожжей, грохот музыки с верхнего этажа, топот и разговоры. Жена колдовала над взбитым кремом, а на стойке был сооружен буфет с синими и белыми пластиковыми тарелками, веером чайных ложек, палочками морковки и сельдерея, кубиками оранжевого

сыра и геометрическими фигурами из оливок, деревянная миска щетинилась картофельными кольцами.

— Что, черт побери, тут происходит?

— Только не говори, что забыл. Я сто раз повторила: пятого числа у Велы гости, к ней приходят в гости школьные подружки. Они сейчас наверху. Я испекла слоеный торт с клубникой. Никогда больше не буду его делать — на этой проклятой старой кухне жуткая темень — все равно что вдевать нитку в иголку посреди угольной шахты. Они будут кушать у нее в комнате, забрали все стулья. Мы поедим в гостиной. Я там поставила карточный столик. В леднике для тебя пара банок пива. Что это за мешок?

— Для Велы. Дик Куд передал то ли пленки, то ли еще что. Господи, не могу я больше слушать, как он трындит об одном и том же. Как будто не о чем больше говорить, да еще таким слюнявым голосом. О чем бы шел разговор, все сворачивает на Рассела.

— Рассел — это кто?

— Племянник. Проклятый богом кудовский племянник, которого выкинули из автобуса посреди пустыни. — От музыки, что тяжелыми громкими ударами пробивалась со второго эта-

жа, у него лязгала челюсть.

— Там кто?

— Одри. Дочка твоего босса. Одри Генри и еще несколько девочек. Я сейчас отнесу им закуски, или, может, лучше ты сам скажешь, что еда готова? Поднимись, если хочешь.

— Нет, лучше ты. Может они заодно приглушат басы и дадут нам спокойно поесть?

Она засмеялась, но не обычным своим смехом, а театральным «ха-ха», которому научилась у телевизора.

— Сомневаюсь, они же веселятся.

Пять девочек расселись на краю кровати и на деревянных кухонных стульях. На подоконнике выстроились банки из-под шипучки. Одри Генри держала на коленях кассетник и легонько барабанила по нему пальцами. Серебристые волосы подстрижены под горшок, затылок выбрит. На ней были мешковатые армейские штаны, переливающийся лиловый свитер не доходил до пояса.

Нэнси остановилась в дверях, улыбнулась девочкам, и проговорила старательно-веселым голосом:

— Одри, какой чудный свитерок, что это, мохер? Кашемир! Очень красиво. Девочки, пицца готова, так что берите, не стесняйтесь. И поболь-

ше, вторая в духовке, я поставила на маленький огонь. Вела, Дик Куд передал тебе пленки.

Вела опиралась спиной на дорогую треугольную подушку, на подносе перед ней стояла банка кока-колы с длинной соломинкой. На лице россыпь прыщиков, длинные волосы уныло висят, несмотря на все мучения Нэнси с плойкой. Бесполезные руки спрятаны под художественным покрывалом, которое Нэнси сшила сама, и, посчитав, что это элегантно, украсила узором из листьев плюща.

— Пленки. Ну, ладно, пленки, а какие? Тяжелый, их там, наверное, штук сто. — Одри высыпала пластиковые кассеты на кровать. Туда же повалился и старый жесткий аккордеон.

— Господи, что это?

— Аккордеон. Ну и развалина. — Ким, которая с пятого класса играла на клавишном аккордеоне, но терпеть не могла этот инструмент и мечтала о гитаре, взяла подарок в руки. Заскорузлые меха не желали растягиваться, и она сдалась, после того, как эта пищалка выпустила из себя несколько тонких ноющих звуков, словно астматический младенец. — Не играет. А что за пленки? Майрон Флорен, кто это? «Полька на всю ночь», «Полька для любимой»? Смотрите, смотрите, какой урод.

— Давай поставим. Для смеха.

— Давай, вот какие-то «Полька-маньяки». Включай.

Они визжали от смеха, они чуть не умирали от хохота, передразнивая дурацкие «умпа» танцоров и топая ногами с силой, которой позавидовал бы сваезабойщик.

Вела сидела с обиженным видом.

— Ма, зачем мне этот хлам? Убери его. Выброси в мусор. И это тоже, — указывая подбородком на аккордеон. Одри нажала на кнопку, и кассета выскочила из плейера. Словно вонючую кость, девочка бросила ее в мешок, вернула на место прежнюю и щелчком прибавила громкость.

— Что это за группа? — спросила Нэнси. — Звучит красиво.

— *«Заворачивай роту, базука, и схема...»*, — пел низкий мужской голос.

— «Враг Общества». Я их обожаю. Мама, подарите мне на день рождения эту кассету.

— Папа говорит, слишком громко.

— Это же рэп! Он должен быть громкий.

— Ладно, девочки, не забудьте про буфет. На десерт слоеный торт с клубникой и взбитым кремом.

— Можно я выдавлю крем из баллончика, мис-

сис Хасманн? Мне ужасно нравится.

— К сожалению, Одри, этот крем я взбивала в миске, она слишком тяжелая.

— Тогда я пас. Я такой не люблю, он совсем не сладкий. — Я буду только клубнику. У вас есть «Тропикана»?

Нэнси не понимала, чему они все смеются.

— Вела, ты говорила своим подругам, что мы весной поедем в Диснейленд?

— Боже мой! — воскликнула Одри. — Диснейленд.

(Через год, ранним темным утром Одри улетала в Бостон — она первая из женщин своей семьи отправлялась учиться в колледж. Внизу, словно светящееся тесто, раскатывались желтые огни городов, длинные потоки фонарей чертили дороги, из темноты возникали занятые своим делом рабочие. Улицы казались светящимися бороздами. На востоке, сквозь угрюмое облако, пробился кроваво-оранжевый луч, и самолет снижался, направляясь к сплошному полю шрамов и рубцов — Чикаго.)

Нэнси с Конрадом сидели в гостиной на креслах, таращились в телевизор и слушали, как грохочет второй этаж.

— Кто притащил эту помойную молотилку?

Одри? — Он откинул назад седую прядь.

— А кто же еще? Вырядилась в кашемировый свитер, двести баксов, не меньше. — Они опять уставились в телевизор.

— Одна сплошная война, — сказала Нэнси. — Один сплошной дым. Ничего не видно, даже оружия.

— Ага. Иракцы подожгли скважины.

— Дать тебе кусочек торта?

— А медведь срет в лесу? — Корки пиццы лежали на ручке кресла одутловатыми улыбками.

Мусор

Олд-Глори и еще несколько городков округа за определенную плату отсылали мусор в Миссисипи, когда штат закрывал свои накопители, а в местные свалки отбросы уже не помещались. Горячим солнечным мартовским утром Уайти Канки и рыжебородый Мартин Х. Свон, работавшие по субботам на городском мусоровозе, забрасывали в кузов машины пластиковые мешки и коробки «Край света» — если среди хлама находилось что-нибудь стоящее, они тащили это в кабину. Неделю назад, на помойке у Баннбергера им попались наполовину полные бутылки джина и бурбона — почистив от кофейных зерен и ошметков жирного бекона, они опустошили их, потом Мартин скрутил пару косячков, которые тоже пошли в дело. Прибавка к зарплате.

— Старик Баннбергер, должно быть, крепко закладывает, — сказал Мартин Х. Свон, расчесывая пальцами бороду.

— Или его баба, втихаря.

Но сегодня улов был небогатым — рваная баскетбольная сетка, которую может и удастся починить, поломанная велосипедная рама, с ко-

торой уже ничего не сделаешь, немецкий тостер с торчащими наружу горелыми английскими кексами и старый зеленый аккордеон. Тостер и аккордеон они бросили в кабину.

В конце работы пришлось ждать грузового полуприцепа, который потащит это все в Миссисипи. Водил его чудик в кожаной куртке по имени Снэйкс. Он еще носил ременную бляху с косым крестом — подарок фирмы за три года безаварийной работы. Свой грузовик он арендовал у христианской транспортной компании «Божий завет», возившей по всей стране мусор, материалы из отстойников и опасные отходы.

— Что-то Снэйкс опаздывает.

— Ага. — Мартин Х. Свон жевал никотиновую жвачку, которая, как предполагалось, должна была помочь ему бросить курить. Двигатель он не выключал — дело шло к вечеру, и становилось холодно.

— В прошлый раз тоже опоздал.

— Он не виноват, это все его напарник, жирный черномазый. Таппер. Похоже, не в себе. Не замечал, как он балакает сам с собой, когда Снэйкс заставляет его что-то делать? — Мартин выплюнул жвачку в окно, и достал из нагрудного кармана сигарету, прикурил.

— Ага. Давай потом по пиву.

— Давай.

— Чтоб миссис Баннбергер еще разок почистить в шкафах. Вон он, разворачивается.

— Он там один. Видишь? Без напарника. Если только этот Таппер не делает ему минет. Поможешь грузить.

— Господи боже, а ты на что? Я и так целый день вожусь с этим хламом.

— Я тут главный. Да ладно, там все на автомате. Только дернуть за рычаг, собрать, если что рассыплется, и натянуть со Снэйксом брезент. Что тут сложного?

— Главный? Пей тогда сам свое ебаное пиво.

— Я так и собирался, мелкий говнюк.

Побег

Когда полработы было сделано, забилась гидравлика, и на прочистку ушло не меньше двадцати минут. Долгая вонючая возня — Уитни выколачивал, выгребал и закидывал обратно валившийся со всех сторон мусор. Он во весь голос костерил Мартина Х. Свона, сидевшего сейчас в чистеньком грузовике, читавшего мотоциклетный журнал и каждые семь-восемь минут поднимавшего голову, чтобы проверить, что там происходит. Снэйкс ничего не отвечал, лишь резво прыгал, поблескивая пряжкой, подключал гидравлику и прилаживал грязно-оливковый брезент.

Соскребая прилипшее к башмаку дерьмо, он посмотрел на Уайти и спросил: — Как насчет прокатиться до Миссисипи? Таппер уволился. Я теперь могу нанимать помощников. Но только сразу. Я и так опаздываю. Если надо позвонить домой или собрать чемодан, даю пятнадцать минут. Этого хватит кому угодно и на что угодно. Так я считаю.

(Таппер Шампань уехал в Оклахому на похороны шестнадцатилетнего брата Ли Дюка Шампаня,

которого отправили на полгода в Академию молодых лидеров исправлять поведение, учиться есть горох, приседать, драить полы и ботинки, говорить «есть, сэр» и сносить невзгоды. Однажды утром, он не встал с кровати, задохнувшись от приступа астмы, которую воспитатель накануне диагностировал как симуляцию.)

— Ага. Точно. Еду. Прямо сейчас. — Он сгреб с соседнего с Мартином Х. Своном сиденья куртку, тостер, аккордеон, забрался в высокую кабину полутрейлера, и, устроившись в удобном кресле, принялся разглядывать полочку с дисками — Дуайт Йокам и Винс Гилл[322], над лобовым стеклом переводные картинки из каждого штата вперемежку с переливающимися крестами и религиозными изречениями; уезжаю, думал он, как это легко и просто, уезжаю. Больше вы меня тут не увидите. Он крикнул с высоты кабины: — Эй, Мартин, я уезжаю, представляешь? Передашь папаше?

— Ладно, — ответил Мартин. Он жевал четыре куска никотиновой жвачки.

Путешествие заняло три дня, спали они прямо в грузовике. Машина была новой компьютери-

---

[322] Примечания: 322

Дуайт Йокам (р. 1956), Винс Гилл — популярные в начале 90-х годов исполнители кантри-музыки.

зированной моделью, и каждые десять часов мотор выключался, заставляя водителя останавливаться; Снэйкс, правда, знал, как это обойти, но говорил, что дело того не стоит; задняя часть огромной кабины напоминала небольшую квартирку с керамической плитой, стойкой для еды, телевизором, складной раковиной и модными панелями из искусственного дерева, так что Снэйкс останавливался за два часа до компьютера и дожидался, пока тот протикает — приятно было провести время, посидеть, поесть пчелиной пыльцы, выпить чашечку эспрессо. Он научил Уайти заваривать крепкий кофе в маленькой угловой кофеварке, сказал, что привык к черному, сказал, что Таппер наваливал в чашку по четыре ложки сахару, получались густые сладкие помои. Снэйкс оказался хорошим парнем, любил посмеяться, так что Уайти вовсю придуривался, передразнивал знакомых, а как-то сел на раздавленный аккордеон — тот хрюкнул — потом растянул на сколько мог меха — аккордеон выдал что-то вроде писка, рыка и под конец перднул. Уайти нравилась добродушная веселость Снэйкса, и на третий день, когда они добрались до Миссисипи, а вокруг стали все чаще попадаться черные, Снэйкс сказал, что там, куда они едут,

где эта огромная свалка, там рядом с ней есть негритянские дома, их не должно быть, но вот стоят, хотя вода в окрестных колодцах пропиталась ядами.

Уайти никогда не помышлял стать шофером-дальнобойщиком, эта работа представлялась ему низкой и грязной, но сейчас, в машине, он почти передумал: он сбежал из Олд-Глори, смотрит на мир, слушает музыку, классные шуточки. В кабине приятно пахнет, поскольку Снэйкс не курит, а над зеркалом заднего вида висит сосновый освежитель воздуха. Однажды разговор зашел всерьез, и Снэйкс рассказал Уайти, как жутко ему было десять лет назад — он тогда разводился, избил свою бывшую жену, просидел некоторое время в тюрьме и там открыл для себя религию; Уайти рассказал Снэйксу, как острый кусок железа вылетел из отцовского грузовика и отрезал девочке руки, и как они ничего не знали до тех пор, пока отец той девочки не ввалился к ним домой — он полез драться к отцу Уайти, кричал и плакал, и никто ничего не понимал, но тут зазвонил телефон, мать сняла трубку, оказалась соседка, она спросила, — у вас там все в порядке? я заметила у дома машину Конрада, и теперь волнуюсь, ситуация, сами понимаете, мать тогда

ответила: приходите быстрее. Он плакал, рассказывая обо всем этом, злился на себя за такую детскую слабость, и чтобы прийти в чувство, открыл окно и зашвырнул аккордеон в чистое поле — к траве и змеям.

— Эх, — вздохнул Снэйкс. — Знаешь, чем я сейчас занимаюсь? Лазаю в горы. Альпинизм, когда есть время. Водилы быстро теряют форму — дрянная дорожная кормежка, задница, как груша, курево, окна закрыты, человек слабеет. Я начал лазить в горы несколько лет назад, после того, как нашел Бога, и, ты знаешь, как будто заново родился. Бросил курить, нарастил мускулы, твердые, как камень, я даже могу носить морскую форму, в последний раз я в нее влезал, в двадцать два года. А какие там места — сразу приводят в чувство. Как будто ближе к Богу. Ты бы попробовал, пока молодой. Самое то.

— Ага, — согласился Уайти. — Как-нибудь попробую. Мартин Х. Свон тоже бросает курить. Жует никотиновую жвачку и тут же курит.

— Ничего не выйдет. Завязывать, так сразу. Чтоб себя не обманывать.

(Через год или два Снэйкс, достав альпинистскую веревку — неоново-розовую и флюоресцентно-желтую на сиреневом фоне — повесился в

кабине своего грузовика. Оставленная на сиденье записка гласила: «Я не буду носить очки».)

Вашу маму ждут большие перемены

Продуктовая лавка «Бриллиант» стояла под палящим солнцем на обочине автотрассы в четверти мили от двойного ряда убогих домишек, разделенных грязной дорогой. Перед самой лавкой — пятнадцать на двадцать футов — торчала заляпанная бетонная ступенька и трехъярусный фальшивый фасад из покореженного выцветшего картона, толстое зеркальное стекло окна пересекала трещина, заклеенная липкой лентой. Под крышей висела рукописная вывеска «ПРОДУКТЫ», а над дверью еще одна, сулившая «ДОМАНЮЮ КАЛБАСУ» и «ГОРЯЧИЙ БУДИН». Окно окаймляли древние объявления, сообщая, что «ДЖАКС — лучшее во всем городе пиво», НЕХИ, Отличное мороженое, Полезный для зубов табак, Браунс-мул, безалкогольное пиво и «Все в открытую», Добро пожаловать, Лучший в штате, Царский, Королевский, любимый Правителями, Принцами и Графьями жевательный табак. Рядом стояла одинокая бензоколонка, 85-е октановое число.

В задней части лавки, под рифленой металлической крышей располагались три комнаты;

Адди, сорокалетняя дочка Кларенса Стрэйнджера (он умер в 1987 году, когда вдруг оборвалась цепь, державшая сиденье карнавальных качелей, и его швырнуло прямо на детскую коляску), ухаживала за маразматиком-мужем, старше ее на тридцать лет, занималась магазинной бухгалтерией, готовила сытные обеды и рисовала на квадратных кусках фанеры сцены из своего детства, растолковывая на полях, что там происходит. (Чернокожая крошка в розовом платьице и белой, со звездами, шапочке убегает по свежей пашне от двух громадин в масках, ноги у них расставлены, словно ножницы, а промежности зловеще выпирают. ОНИ МЕНЯ ЧУТЬ НЕ ПОЙМАЛИ. В ШЕСТЬ ЛЕТ МАМА ГОВОРИЛА, ЧТОБЫ Я НЕ ХОДИЛА НА ДОРОГУ. Я НЕ ПОСЛУШАЛАСЬ. ЭТИ ЛЮДИ ПОГНАЛИСЬ ЗА МНОЙ. КРИЧАЛИ УБИРАЙСЯ ОТСЮДА, ТВОЙ ОТЕЦ Е…) Она была тоненькой и низкорослой, брови на ромбовидном лице с ввалившимися щеками круто изгибались, словно крокетные обручи.

С левой стороны дверей располагалось другое окно, поменьше, чем то, зеркальное, зато с поднимающейся рамой, так что можно было обслуживать покупателей — любителей пива — стоящих прямо на улице. На полке под окном

— мешанина пыльных предметов: две связки с красными бумажными чашками и игрушечными пистолетиками, коробка с шурупами, микстура от кашля «Братья Смит», «Викс» и «Луден», в рваном пакете использованные пробки с приставшим коричневым мусором, четыре пустые стеклянные банки со скособоченными крышками, все это пожелтело на солнце, покрылось пылью и мушиными точками.

В самой лавке рычали два больших холодильника, один заполняли банки с пивом, другой — соки и шипучка, у дальней стены стоял третий — с молоком, беконом, яйцами, вялыми пучками салата; через весь зал тянулись зеленые полки с консервированным добром, сладким картофелем, мамалыгой, арахисовым маслом, хлебом, супами и сахаром.

Облокотившись на раму, она смотрела, как катят по трассе машины. Подрулил белый грузовик с арканзасскими номерами, и тощий хлыщ с трехдневной, а вовсе не пятичасовой щетиной попросил 35-миллиметровую пленку для фотоаппарата — у нее есть. Заглянул мистер Тек со своей миссис, им нужно сгущенное молоко для цикория, им нужен маргарин и спички — у нее есть и это. Завернул почтальон из «Федерал-Экспресс»,

из его наушников неслись пучки кислотного джаза и обрывки цифровых сэмплов, запросил кока-колы — у нее есть. Сигареты, бензин, конфеты, аспирин, колбаски, шариковые ручки, у нее есть, у нее есть.

Неподалеку от двойного ряда домов ей попались на глаза трое детей, лет четырех-пяти, не больше, они во что-то играли — должно быть, близнецы Тини Фолк и их маленький братик. Один притоптывал ногами по пыли, копируя танцора из «Улицы Сезам». Потом они надумали прыгать с провисшего крыльца — в домике жила Тини Фолк, сама еще дитя, тощая и нервная девица: когда она была дома, то все время кричала, чтобы дети заткнулись. Но эти сорванцы, по крайней мере, живут с матерью, она хоть как-то о них заботится, не то что нью-йоркская сучка, про которую писали в газете — родила двойню и ушла из больницы: записалась под чужим именем, ищи ветра в поле. Адди встречала Тини каждое утро, та стояла у дороги в надежде поймать автобус до Ворда — смотрела вдаль, нетерпеливо переминалась с ноги на ногу; в Ворде у нее была работа — то ли на мясоупаковочной фабрике, то ли в прачечной, а может, и там, и там. За детьми присматривала старая миссис Симмс, Тини пла-

тила ей десять долларов в неделю, но старуха была наполовину слепа, на три четверти глуха и хрома на обе ноги, так что по большей части сидела на крыльце с выключенным слуховым аппаратом и дремала. Она почти не слышала, что делают дети, и Адди знала, что рано или поздно запищат тормоза и в лавку с криками ворвется человек: о, боже, я задавил ребенка.

И уж конечно, старшие бегали по краю автотрассы, подначивая друг друга держаться до последнего дюйма, и лишь когда грузовики начинали гудеть, со смехом отскакивали на обочину. Только посмотрите: барахтаются в грязи, вокруг клубы пыли. Она сонно наблюдала, как дети топают мимо домов и исчезают за сараями. Ясно, точно на картине, ей виделось, как их сбивает машина. Если это случится, она нарисует. Она рисовала только то, что уже произошло, — боялась накликать беду.

В полдень она читала «Уордл Джорнал», когда дверь со скрипом отворилась, на пороге возникли близнецы с младшим братишкой и потопали прямиком к холодильнику с пивом.

— Вы куда это?

— Нам шипучки.

— Шипучка стоит денег. У вас есть деньги?

— Ага.

— Хорошо, только шипучка не здесь, здесь пиво для взрослых. Шипучка в другом холодильнике. — Они забрались на ящик, который она держала специально для маленьких покупателей и дотянулись до крышки. Бормоча что-то друг другу, они доставали из ледяной воды бутылки, рассматривали и, наконец, остановились на «Ю-Ху» с апельсиновой мякотью и лаймом. Близнец в полосатой рубашке — невообразимо грязной — протянул ей деньги.

— Что это ты мне даешь? — Она снова и снова разглядывала бумажку.

— Доллар.

— Доллар! Конечно, доллар, а что же еще! Где вы его взяли? — У нее едва не дрожали руки.

— Нашли.

— Нашли! Конечно нашли, а как же еще! Где?

— Около дороги.

— Ага. Около дороги. — Только представьте, думала она. Всему миру позарез нужны деньги, и кто же их находит? Дети, чтобы потратить на сладкую шипучку, они даже не представляют, что попало им в руки. Забрать себе, пусть тащат свою шипучку, кто, черт возьми, что узнает? Они — никогда. Никто — никогда. Небось, какой-то

отвязный грабитель банков или наркокороль — едет по дороге, окна нараспашку, и тысячедолларовая бумажка летит себе зеленой птичкой. А может фальшивка. Скорее всего, так и есть, фальшивые деньги, и она только зря потеряет три бутылки шипучки.

— Пейте свое добро, — сказала Адди. Положила тысячу долларов в кассовый ящик, под специальный зажим, где хранились двадцатки. В лавке сроду не водилось ничего крупнее двадцаток. Дети, сгрудившись под холодным шуршанием вентилятора, крутили бутылки и рисовали линии на запотевшем стекле.

— Я сейчас пройду вдоль дороги — поищу, нет ли там еще таких долларов. А вы сидите на ступеньках и никуда не ходите.

Она прошла в обе стороны, внимательно вглядываясь в траву, линялые пивные банки, сигаретные пачки, заляпанные грязью мешочки из-под картофельных чипсов, обрывки целлофана. Солнце палило без всякой жалости.

— Ничего нет. Видать, только один и был. — Она зашагала обратно к лавке, раздумывая о том, что надо бы ее закрыть часа в два и сходить в банк, проверить, настоящие деньги или нет.

Дети сидели на крыльце, шипучки в бутылках

оставалось на один дюйм, они тянули ее с громким влажным хлюпаньем.

— Мать когда приходит?

— После ужина. Поздно.

— Ну конечно поздно, как же еще! Скажете, чтоб зашла ко мне. Скажете, чтоб зашла в лавку, я отдам ей сдачу. Слышите? Я вам говорю. Если забудете, будет очень жалко, она столько работает. И не лезьте на дорогу, слышите меня?

Они поставили на прилавок пустые бутылки и зашагали к своей лачуге, где старая миссис Симмс уже кричала с крыльца: ну вы идете или нет? Они пинали камешки, подпрыгивали, а тот, на котором были штаны с лямками, приговаривал: оп-ла, как дела. Штанишки на маленьком сползли и намокли. Они поравнялись с торчавшим из травы помятым инструментом, и близнец в полосатой рубашке опять на него запрыгнул. Ваааах, охнула эта штука, и они завизжали от смеха. Малыш в комбинезоне поднял инструмент и кинул его на дорогу. Вдали, на мерцающей трассе, показалась черная точка, потом стала расти, с рычанием приближаясь к детям.

— Ну, вы идете или нет? — кричала миссис Симмс.

Многотонный грузовик с воем и стуком про-

мчался мимо, выпустив из трубы пыльный горячий воздух, в котором затрепетали тысячедолларовые бумажки.

Горе-кладоискатели завопили от попавшего им в глаза песка.

— Ладно, — объявила миссис Симмс, — этот вкусный кукурузный пудинг я буду есть сама. Считаю до пяти, а потом все съедаю. Раз. Два. Три. Четыре. — Она подняла миску и поболтала над ней ложкой.

— ПЯТЬ.